Владимир Беляев

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

Владимир Беляев

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

ТРИЛОГИЯ

книга первая и вторая

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1971

БЕЛ
Б44

В БОРЬБЕ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

(Герои трилогии Владимира Беляева «Старая крепость» и наша современность)

Перед читателем, впервые встречающимся с трилогией Владимира Павловича Беляева «Старая крепость», может возникнуть вопрос: в чем заключается секрет долговечности этого произведения? Почему «Старая крепость» вот уже три с половиной десятка лет по-прежнему волнует читателя, заставляя его переживать все то, что пережили юные герои трилогии в те годы, когда их отцы и они штурмовали крепости царизма и капитализма в России?

Казалось бы на первый взгляд, что нынешнему поколению советской молодежи гораздо ближе и понятнее наша героическая современность с ее научно-техническими чудесами — космическими полетами, полярными и кругосветными экспедициями, гигантскими стройками на могучих сибирских реках...

Безусловно, это в высшей степени увлекательные события, и они не остаются вне поля зрения литературы. Однако в художественном наследии есть и «вечные темы», то есть произведения литературы и искусства, отобразившие и вобравшие в себя важнейшие события родной истории. Взять, к примеру, Великую Отечественную войну. В ней участвовали, страдали и побеждали ровесники беляевских героев, сражался в ней весь советский народ. Антифашистская война сделалась историческим рубежом в жизни народов, и художественная литература часто возвращается к военной теме, находя в ней объяснение великой стойкости и мужеству советского народа, его преданности и верности идеям Великого Октября, идеям ленинизма

Не было в истории народов более величественного подвига, чем революционный подвиг советского народа, его рабочих и крестьян его молодежи Этот подвиг не только в победоносном завершении революционного переворота, но главным образом в его защите Завоевания Великого Октября приходилось отстаивать в жестоких схватках с мировой буржуазией не только в гражданскую войну, но и на протяжении дальнейших десятилетий, включая первую половину сороковых годов.

Таким образом, вся более чем пятидесятилетняя история Советского государства наполнена борьбой за сохранение и развитие завоеваний Великого Октября. И все-таки начало всего, зародыш социалистического развития мира и его преобразования в духе ленинского учения о братстве трудящихся всех стран, относится именно к тем временам, события которых вошли в художественный документ эпохи — в трилогию Владимира Беляева. Вот почему столь глубоко волнует нас все, что испытал на себе главный

герой «Старой крепости» Василий Манджура, что пережили его друзья Юзик Стародомский, прозванный Куницей, Петька Маремуха, Саша Бобырь и все остальные ребята, жизнь которых началась в старинном городке над быстрой речкой Смотричем, под грозными башнями средневековой крепости. А за рекой Днестром, совсем близко, притаился старый, враждебный, буржуазный мир со своей злобой и ненавистью к молодой Советской республике, мир наживы для одних и нищеты для остальных, мир с бесчеловечными, волчьими законами.

Непримиримой борьбе с этим миром посвящены многие книги известного советского писателя и публициста Владимира Павловича Беляева — «Залив в тумане», «Ленинградские ночи», «Под небом Мурманска», «Русское сердце», а затем «Опсра земли» и «Под чужими знаменами», «Иванна» и «В поисках брода», «Граница в огне» и «Формула яда»... Конечно, это далеко не полный перечень произведений Владимира Беляева — художника-коммуниста, человека с беспокойной, суровой судьбой, неустанного борца с фашизмом, буржуазным национализмом — со всеми врагами социализма, в какие бы маски они ни рядились!

Много врагов было у русской революции. Пеструю их галерею нарисовал автор трилогии «Старая крепость»: украинские националисты с пилсудчиками, солдаты гетмана Скоропадского, петлюровцы, затем немцы. А цель у всех у них одна, хотя всяк из них по-своему пытается обмануть народ. Их цель — восстановить старые порядки, поработить труд рабочих и крестьян, сделать его источником роскошной жизни для себя. Однако простые люди, познавшие правду революции, не поддаются ни сладким уговорам националистов и попов, ни насилию.

Не случайно среди героев трилогии мы встречаем таких антиподов, как учитель истории Лазарев и пан Гржибовский. Их действия, характеры, взгляды — это доказательство существования двух непримиримых, враждующих миров, для которых нет и не может быть ни соглашения, ни общего пути. Любимый учитель молодых героев «Старой крепости» Валериан Дмитриевич Лазарев — убежденный противник украинских буржуазных националистов, пытающихся оторвать Украину от России, посеять ненависть и вражду между трудящимися различных национальностей — украинцев, поляков, русских, евреев. Вот почему Лазарев внушает своим ученикам мысль о том, что «нельзя решать судьбу Украины в отрыве от будущего народов России».

Эта верная мысль художественно раскрыта писателем в сопоставлении Лазарева с колбасником паном Гржибовским. Последний верно служит петлюровцам, а его сын Марко превращается в палача украинских трудящихся Автор трилогии дает убийствен-

ную характеристику врагам революции, таким, как Гржибовские, поп Кияница, доктор Григоренко и их молодые последователи, бойскауты, игравшие в то время роль резерва контрреволюции в городе и в его окрестностях.

Юные герои повестей Владимира Беляева уже с ранних лет включаются в борьбу, которую ведут их отцы. Наверно, в этом одна из наиболее ярких особенностей трилогии «Старая крепость», что в ней дается глубокая историческая и художественная мотивировка единства поколений советского народа, их духовного родства в борьбе за революцию. Это родство — в единстве коммунистов и комсомольцев, отцов и детей, связанных мечтой о разрушении старого мира и о построении справедливого, социалистического общества. Молодежь как эстафету принимает в свои руки дело отцов, неся его все дальше и выше, к новым целям, а натолкнувшись на фашистскую агрессию, вступает с ней в смертный бой и побеждает. Такова история страны, таковы и личные судьбы Васи Манджуры и его товарищей, его комсомольских сверстников.

Вдохновляющим примером и идеалом для молодых героев трилогии служит не только древняя история, рассказанная Лазаревым, не только героические образы народных вожаков и заступников, каким был и Кармелюк, сын этого края. Живым, еще более близким и понятным героем был для Васи Манджуры и его друзей большевик Сергушин, зверски казненный петлюровцами в стенах Старой крепости. Мужественный рабочий, вожак-коммунист героически погиб на глазах у мальчиков, и смерть его настолько потрясла их, что они тут же поклялись сохранить навсегда верность тому делу, за которое отдал жизнь Сергушин. В трилогии немало драматических эпизодов, отражающих напряженность и неповторимость далекой революционной эпохи. Однако эпизод с Сергушиным стоит в центре внимания писателя как отправной пункт для изображения дальнейших действий и развития юных героев, на всю жизнь сохранивших верность замечательному своему современнику и, как знамя революции, пронесших ее сквозь битвы и напряженные трудовые будни многих десятилетий. И мужественный подвиг старшего товарища-коммуниста был для наших героев путеводной звездой во всех жизненных испытаниях.

Французский писатель Стендаль называл роман и художественную литературу вообще «зеркалом на большой дороге», отражающим движение жизни. Он тем самым как бы осуждал писателя за пассивное отражение всего, что несет с собой жизнь, даже того, что чувствительно затронуло его сердце. Сама природа советской литературы и социалистического искусства в самом широком смысле противится такому определению, преследуя гораздо более активную цель в обществе — вмешиваться в жизнь, быть активным

борцом в ней, сторонником и творцом передовых, революционных идей своей эпохи «Вся история советской многонациональной литературы, — сказал Г. Марков в своем докладе на V съезде советских писателей, — это история неустанного познания жизни народа, познания главного героя современности, поисков художественных средств и приемов, способных с наибольшим проникновением запечатлеть время».

С глубоким проникновением запечатлел время Владимир Беляев в своей трилогии «Старая крепость». В романе нет, или почти нет, вымышленных событий, ситуаций, героев. Все они взяты из жизни, все они так или иначе пережиты писателем. В авторском послесловии к трилогии «Друзьям-читателям» говорится «...я все время старался быть как можно ближе к исторической правде тех незабываемых романтических лет, свет которых должен и сегодня озарять жизнь каждого молодого советского человека, делать ее целеустремленной, воспитывать в нем преданность нашей партии к тому большому делу построения коммунизма, которому мы все служим».

Отношение героев трилогии Владимира Беляева к действительности — это активное участие в делах отцов, взваливших на свои плечи гигантскую тяжесть, чтобы на развалинах отсталой, нищей и полуграмотной России создать передовое, социалистическое общество, в котором истинными хозяевами станут трудящиеся.

Таким образом, трилогия Владимира Беляева — это прежде всего книга-боец, своими жанровыми особенностями связанная с традициями М Горького («Детство», «В людях», «Мои университеты»), автобиографического цикла Ф. Гладкова («Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година», «Мятежная юность»), со знаменитым произведением Николая Островского «Как закалялась сталь». Так же как и у этих великолепных мастеров художественной прозы, герои Владимира Беляева переживают самые напряженные и решающие события в жизни своей Родины, ищут своего места в этих событиях, становясь постепенно активными борцами за новый мир и его самоотверженными строителями и защитниками.

«Старая крепость», изданная в одиннадцати зарубежных странах, как и остальные произведения Владимира Беляева, словно мужественный воин, стоит по сей день на посту, защищая те завоевания, за которые боролись ее герои. Как у всякого воина-патриота, у нее немало и врагов.

И не случайно, в период выступления антисоциалистических и контрреволюционных сил в ЧССР в 1968 году трилогия Владимира Беляева подвергалась жестоким нападкам со стороны «интеллектуалов» из лагеря ревизионистов марксизма-ленинизма и злостных

противников социалистического интернационализма. Они знали, что такие произведения советской литературы «работают» против них, что трилогия Владимира Беляева учит молодежь стойко бороться за самое прекрасное в мире — за освобождение человечества, как писал о своем Корчагине Николай Островский. И вокруг «Старой крепости» велась в чехословацкой печати тех лет острая полемика между сторонниками некоего «купеческого» социализма и защитниками нерушимой дружбы Чехословакии с Советским Союзом и остальными странами социалистического лагеря, без которой нет и не может быть свободного социалистического развития ни в одной из стран, вступивших на путь революционного преобразования.

Книги Владимира Беляева устояли в этой схватке, как устояла и вся советская литература Благодаря бескорыстной братской интернациональной помощи советского народа и других стран социалистического содружества трудящиеся ЧССР, руководимые своей Коммунистической партией, отстояли завоевания революции, знамя марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. И здесь непобедимыми оказались те идеи, за которые сражались юные герои «Старой крепости», первое поколение советского комсомола, проложившее путь к строительству коммунизма не только многомиллионному советскому народу, но и другим народам и странам, последовавшим вдохновляющему примеру рабочего класса и трудового крестьянства России.

И в наше время герои «Старой крепости» так же близки молодым читателям, как они были близки и дороги их отцам и старшим братьям. Романтика революционной борьбы не устарела, хотя во всем мире произошли изменения в пользу социализма. Пятидесятилетняя история полностью подтвердила жизненность и высокую человечность советского общественного строя, за установление которого совместно со своими отцами сражались комсомольцы двадцатых годов. Выросли и возмужали новые поколения борцов в Советском Союзе и за его рубежами В социалистических странах Европы, на далеком острове Свободы Кубе, на фронтах Вьетнама и в джунглях Камбоджи и Анголы — везде там, где трудящиеся люди стремятся к новой жизни, идет борьба под тем же Красным знаменем, под которым десятилетия назад сражались рабочие парни из Заречья, что раскинулось под бойницами средневековой крепости, с таким мастерством и художественной достоверностью увековеченной Владимиром Беляевым в настоящей трилогии. Может быть, именно в этой близости идей, роднящих людей самых различных национальностей и рас нашей планеты, и заключен секрет популярности и долговечности «Старой крепости». Ведь это ее герои первыми как разведчики нового мира начали прокладывать путь в неведомое до тех пор царство труда и равенства всех лю-

дей На них равняются молодые коммунисты всех стран. Вспоминаются слова В. Маяковского о том, что «коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым...»

Герои «Старой крепости» близки и дороги нашему современнику также благодаря тем ценным человеческим качествам, которые рождаются только сознанием долга. Василий Манджура и его товарищи уже в ранней юности гордились независимостью и достоинством рабочего человека. В романе Владимира Беляева они противопоставлены бездельникам, мещанским сыночкам и их подружкам-белоручкам, собиравшимся в заведении мадам Рогаль-Пионтковской в поисках развлечений. Комсомольцы принимают активное участие в разоблачении многих «привидений», за которыми скрывались недобитые защитники старого, враждебного мира. Всякие григоренки, бойскауты, печерицы и им подобные не могли безнаказанно совершать свои преступления против революции также благодаря бдительности рабочей молодежи; новая, советская жизнь — это была ее жизнь, за нее наши герои не жалели ни труда, ни сил, ни даже собственных жизней.

Характерен в этом отношении эпилог трилогии, названный писателем «Двадцать лет спустя». Не все герои «Старой крепости», прошедшие через многочисленные испытания, выпавшие на долю Советской страны, встретились под стенами старой твердыни, где прошло их детство. С волнением и чувством горячей любви к родному городу и родному краю вспоминают уже взрослые, видавшие виды воины Советской Армии своих друзей и ровесников, не доживших до победы над фашистской Германией: морского капитана Юзика Стародомского, оставившего на вечные времена вахтенный журнал своего корабля; мужественного летчика Сашу Бобыря, погибшего смертью героя в далекой Испании...

Сколько воспоминаний проносится в памяти автора трилогии, его друга подполковника Советской Армии Петра Маремухи и их любимого учителя истории Лазарева! Здесь, под грозными бастионами Старой крепости, писалась в Отечественную войну не менее славная ее история, чем в средние века. Крепость сослужила верную службу советским воинам, сдержавшим бешеное наступление фашистских войск в первые дни войны в 1941 году. В ней, по рассказам старого учителя, была завершена еще одна героическая страница летописи этого края, и, хотя многие защитники крепости погибли, память о них живет и будет жить до тех пор, пока живут и работают благодарные их потомки на советской земле.

По задушевности, глубокой искренности и детальности повествования читатель, познакомившись уже с первыми главами трилогии Владимира Беляева, чувствует, что у автора очень много общего с героями его книг. Частые лирические эпизоды лишний

раз подтверждают это впечатление читателя Однако только в эпилоге «Двадцать лет спустя» автором приводятся убедительные доказательства об автобиографичности главного героя трилогии Василия Манджуры, о теснейшей его связи с жизнью автора, с жизненным путем Владимира Павловича Беляева.

Интересно проследить, как сочетаются, то сближаясь, а нередко и совпадая, то расходясь, чтобы вновь сблизиться, две основные сюжетные линии в повествовании — личные приключения молодых героев и исторические события, участниками которых были эти герои. Художественное мастерство в области автобиографического жанра заключается в том, чтобы в произведении найти наиболее верное решение темы, то есть отыскать и соблюсти равновесие между фактами личного мира (иными словами, «микромира») и фактами широкого, общественного плана, имеющими историческую значимость Прочитав «Старую крепость», вы убедитесь в том, что ее автору удалось в высшей степени верно сохранить равновесие между этими двумя сферами человеческой жизни, создать художественные образы, явившиеся синтезом личного и общественного начал в деятельности героев, иными словами, события эпохи обогащаются личным опытом живых людей, а их личный опыт в то же время напоминает и документирует жизнь страны со всеми потрясениями и переворотами, совершающимися в ней. Перед нами проходят в трилогии «знакомые незнакомцы», люди, типичные для своего времени и в то же время в своей индивидуальности новые, неповторимые. Мы, читатели, словно приобретаем новых друзей: они как будто приходят к нам не из книжки, а из того далекого уже прошлого, свидетелями и участниками которого были писатель и рассказчик в его трилогии комсомолец Василий Манджура. В своем теоретическом очерке-послесловии к «Старой крепости», «Друзьям-читателям», обобщающем творческий опыт писателя в области автобиографического жанра, Владимир Беляев рассказывал о неразрывности личного и общественного в человеке, о единстве фактов и художественного вымысла, играющего в творчестве роль общего знаменателя при оценке событий и впечатлений, при их художественном осмыслении.

«Старая крепость» представляет собой, таким образом, настоящую исповедь сына века; повествование о том, что романтика и героизм человеческой жизни всегда связаны с делами народа, с движениями истории. Понимание этих категорий Владимиром Беляевым удивительно созвучно мысли чешского национального героя коммуниста Юлиуса Фучика о том, что «героизм — это значит совершить необходимое в необходимое время», то есть делать то, что более всего нужно твоему народу, твоей партии в тех или иных обстоятельствах. Быть на передовой борьбы и труда, взять

на свои плечи часть той тяжести, того груза, который возложен на плечи твоей страны, ее народа.

Всякая книга, получив путевку в жизнь, находит в ней своих друзей и врагов. У «Старой крепости» их накопилось столько, что о них можно было бы написать новую книгу, а то и трилогию. В архиве писателя Владимира Павловича Беляева имеются не только газетные и журнальные статьи и рецензии о «Старой крепости», написанные известными советскими литераторами, но также сотни, тысячи писем и отзывов советских и зарубежных читателей Многих из них, никогда не занимавшихся литературным трудом, трилогия заставила взяться за перо и попытаться высказать свои впечатления, поделиться с автором и издательством своими мыслями, навеянными образами «Старой крепости». Среди корреспондентов писателя мы найдем известных поэтов и публицистов, советских и зарубежных, видных партийных и общественных деятелей, строителей и рабочих, педагогов, историков и военных. Из самых различных концов Советского Союза, Европы и даже с других континентов шли письма и пожелания в адрес писателя и издательства. В них читатели делились своими мыслями и впечатлениями, высказывали пожелания и критические замечания по поводу поведения отдельных героев трилогии. Но чаще всего они восхищались молодыми героями «Старой крепости», разделяли их мысли, соглашались с их поведением, с их действиями.

Нет и не может быть более благородной цели у художественной литературы, чем волновать сердца людей, заставлять читателей задумываться над своими поступками, учить искать и находить правильное место в жизни, будоражить и звать, вести на большие дела, на подвиг. Прочитав трилогию Владимира Беляева «Старая крепость», вы убедитесь в том, что она обладает всеми этими качествами, что все ее страницы от начала до конца насыщены пафосом борьбы и созидания, романтикой великих дней, когда закладывался фундамент социалистического мира. Герои трилогии — это наши предшественники, старшие братья и отцы, и, узнавая их жизнь, мы познаем лучше и себя самих, познаем смысл и величие своего времени, своих дел и свершений.

Остается пожелать молодым героям «Старой крепости», чтобы вошли в жизнь нынешнего поколения советских читателей так же прочно, как они вошли в нашу жизнь, чтобы они стали для них такими же близкими, как они стали близки и дороги предыдущим читателям, поколениям борцов за правое дело во всем мире.

Доктор И. Щадей, доцент Университета имени Пуркине,
город Брно ЧССР

книга
первая

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Гимназистами мы стали совсем недавно.

Раньше все наши хлопцы учились в городском высшеначальном училище.

Желтые его стены и зеленый забор хорошо видны с Заречья.

Если на училищном дворе звонили, мы слышали звонок у себя на Заречье. Схватишь книжки, пенал с карандашами — и айда бежать, чтобы вовремя поспеть на уроки.

И поспевали.

Мчишься по Крутому переулку, пролетаешь деревянный мост, потом вверх по скалистой тропинке — на Старый бульвар, и вот уже перед тобой училищные ворота.

Только-только успеешь вбежать в класс и сесть за парту — входит учитель с журналом.

Класс у нас был небольшой, но очень светлый, проходы между партами узкие, а потолки невысокие.

Три окна в нашем классе выходили к Старой крепости и два — на Заречье.

Надоест слушать учителя — можно в окна глядеть.

Взглянул направо — возвышается над скалами Старая крепость со всеми ее девятью башнями.

А налево посмотришь — там наше родное Заречье. Из окон училища можно разглядеть каждую его улочку, каждый дом.

Вот в Старой усадьбе мать Петьки вышла белье вешать: видно, как ветер пузырями надувает большие рубахи Петькиного отца — сапожника Маремухи.

А вот из Крутого переулка выехал ловить собак отец моего приятеля Юзика — кривоногий Стародомский. Видно, как подпрыгивает на камнях его черный продолговатый фургон — собачья тюрьма. Стародомский поворачивает свою тощую клячу вправо и едет мимо моего дома. Из нашей кухонной трубы вьется синий дымок. Это значит — тетка Марья Афанасьевна уже растопила плиту.

Интересно, что сегодня будет на обед? Молодая картошка с кислым молоком, мамалыга с узваром или сваренная в початках кукуруза?

«Вот если бы жареные вареники!» — мечтаю я. Жареные вареники с потрохами я люблю больше всего. Да разве можно сравнить с ними молодую картошку или гречневую кашу с молоком? Никогда!

Замечтался я как-то на уроке, глядя в окна на Заречье, и вдруг над самым ухом голос учителя:

— А ну, Манджура! Поди к доске — помоги Бобырю...

Медленно выхожу из-за парты, посматриваю на ребят, а что помогать — хоть убей, не знаю.

Конопатый Сашка Бобырь, переминаясь с ноги на ногу, ждет меня у доски. Он даже нос выпачкал мелом.

Я подхожу к нему, беру мел и так, чтобы не заметил учитель, моргаю своему приятелю Юзику Стародомскому, по прозвищу Куница. Куница, следя за учителем, складывает руки лодочкой и шепчет:

— Биссектриса! Биссектриса!

А что это за птица такая, биссектриса? Тоже, называется, подсказал!

Математик ровными, спокойными шагами уже подошел к доске.

— Ну что, юноша, задумался?

Но вдруг в эту самую минуту во дворе раздается звонок.

— Биссектриса, Аркадий Леонидович, это. . — бойко начинаю я, но учитель уже не слушает меня и идет к двери.

«Ловко вывернулся, — думаю, — а то влепил бы единицу...»

Больше всех учителей в высшеначальном мы любили историка Валериана Дмитриевича Лазарева.

Был он невысокого роста, беловолосый, всегда ходил в зеленой толстовке с заплатанными на локтях рукавами — нам он показался с первого взгляда самым обычным учителем, так себе — ни рыба ни мясо.

Когда Лазарев впервые пришел в класс, он, прежде чем заговорить с нами, долго кашлял, рылся в классном журнале и протирал свое пенсне.

— Ну и принес леший еще одного четырехглазого... — зашептал мне Юзик.

Мы уже и прозвище Лазареву собирались выдумать, но, когда поближе с ним познакомились, сразу признали его и полюбили крепко, по-настоящему, как не любили до сих пор ни одного из учителей.

Где было видано раньше, чтобы учитель запросто гулял вместе с учениками по городу?

А Валериан Дмитриевич гулял.

Часто после уроков истории он собирал нас и, хитро щурясь, предлагал:

— Я сегодня в крепость после уроков иду. Кто хочет со мной?

Охотников находилось много. Кто откажется с Лазаревым туда пойти?

Валериан Дмитриевич знал в Старой крепости каждый камешек.

Однажды целое воскресенье, до самого вечера, провели мы с Валерианом Дмитриевичем в крепости. Много интересного порассказал он нам в этот день. От него мы тогда узнали, что самая маленькая башня называется Ружанка, а та, полуразрушенная, что стоит возле крепостных ворот, прозвана странным именем — Донна. А возле Донны над крепостью возвышается самая высокая из всех — Папская башня. Она стоит на широком четырехугольном фундаменте, в середине восьмигранная, а вверху, под крышей, круглая. Восемь темных бойниц глядят за город, на Заречье, и в глубь крепостного двора.

— Уже в далекой древности, — рассказывал нам Лазарев, — наш край славился своим богатством. Земля здесь очень хорошо родила, в степях росла такая высокая трава, что рога самого большого вола бы-

ли незаметны издали. Часто забытая на поле соха в три-четыре дня закрывалась поростом густой, сочной травы. Пчел было столько, что все они не могли разместиться в дуплах деревьев и потому роились прямо в земле. Случалось, что из-под ног прохожего брызгали струи отличного меда. По всему побережью Днестра без всякого присмотра рос вкусный дикий виноград, созревали самородные абрикосы, персики.

Особенно сладким казался наш край турецким султанам и соседним зазбручанским помещикам. Они рвались сюда из-за реки Збруч изо всех сил, заводили тут свои угодья, хотели огнем и мечом покорить украинский народ.

Лазарев рассказал, что всего каких-нибудь сто лет назад в нашей Старой крепости была пересыльная тюрьма. В стенах разрушенного белого здания на крепостном дворе еще сохранились решетки. За ними сидели арестанты, которых по приказу царя отправляли в Сибирь, на каторгу. В Папской башне при царе Николае Первом томился известный украинский повстанец Устим Кармелюк. Со своими побратимами он ловил проезжавших через Калиновский лес панов, исправников, ксендзов, архиереев, отбирал у них деньги, лошадей и все отобранное раздавал бедным крестьянам. Крестьяне прятали Кармелюка в погребах, в копнах на поле, и никто из царских сыщиков долгое время не мог словить храброго повстанца. Он трижды убегал с далекой каторги. Его били, да как били! Спина Кармелюка выдержала больше четырех тысяч ударов шпицрутенами и батогами. Голодный, израненный, он каждый раз вырывался из тюрем и по морозной глухой тайге, неделями не видя куска черствого хлеба, пробирался к себе на родину — на Подолию.

— По одним только дорогам в Сибирь и обратно, — рассказывал нам Валериан Дмитриевич, — Кармелюк прошел около двадцати тысяч верст пешком. Недаром крестьяне верили, что Кармелюк свободно переплывет любое море, что он может разорвать любые кандалы, что нет на свете тюрьмы, из которой он не смог бы уйти.

Его посадил в Старую крепость здешний магнат, помещик Янчевский. Кармелюк бежал из этой мрачной каменной крепости средь бела дня. Он хотел поднять восстание против подольских магнатов, но в темную

октябрьскую ночь 1835 года был убит из предательской засады одним из них — паном Рутковским.

Этот помещик Рутковский побоялся даже при последней встрече с Кармелюком посмотреть ему в глаза. Он стрелял из-за угла в спину Кармелюку.

— Когда отважный Кармелюк сидел в Папской башне, — рассказывал Валериан Дмитриевич, — он сочинил песню:

За Сибирью солнце всходит...
Хлопцы, не зевайте:
Кармелюк панов не любит —
В лес за мной ступайте!..

Асессоры, исправники
В погоне за мною...
Что грехи мои в сравненьи
С ихнею виною!

Зовут меня разбойником,
Ведь я убиваю.
Я ж богатых убиваю,
Бедных награждаю.

Отнимаю у богатых —
Бедных наделяю;
А как деньги разделю я —
И греха не знаю.

Круглая камера, в которой сидел когда-то Кармелюк, была засыпана мусором. Одно ее окно выходило во двор крепости, а другое, наполовину закрытое изогнутой решеткой, — на улицу.

Осмотрев оба этажа Папской башни, мы направились к широкой Черной башне. Когда мы вошли в нее, наш учитель велел нам лечь ничком на заплесневелые балки, а сам осторожно перебрался по перекладине в дальний темный угол.

— Считайте, — сказал он и поднял над вырубленным между балками отверстием голыш.

Не успел этот беленький круглый камешек промелькнуть перед нами и скрыться под деревянным настилом, как все шепотом забормотали:

— Один, два, три, четыре...

Было лишь слышно, как далеко внизу, под заплесневелыми балками, журчит ручей.

— Двенадцать! — едва успел прошептать я, как из глубины темного колодца донесся всплеск воды. Эхо от него пролетело мимо нас вверх, под каменный свод башни.

— Так и есть тридцать шесть аршин, — сказал Лазарев, осторожно пробираясь к нам по гнилой перекладине.

Когда мы вышли из затхлого полумрака на крепостной двор, Лазарев объяснил, откуда взялся в Черной башне этот глубокий колодец.

Его выкопали осажденные запорожцами турки.

В это же воскресенье возле самой Донны Куница под кустом шиповника нашел ржавый турецкий ятаган. Он и по сей день лежит в городском музее с выцветшей надписью: «Дар ученика высшеначального училища Юзефа Стародомского».

В одну из наших прогулок по крепости мы помогли Валериану Дмитриевичу выковырять из стены Папской башни круглое чугунное ядро. Оно гулко упало на землю и разломило пополам валявшуюся сосновую щепку.

На брезентовой курточке Сашки Бобыря мы донесли это чугунное ядро до самого дома Лазарева.

Вот тогда-то мы и узнали, что Валериан Дмитриевич живет по соседству с доктором Григоренко, в проулочке напротив докторской усадьбы.

В глубине небольшого дворика примостился его обмазанный глиной домик с деревянным крылечком. На крылечке, словно часовые, стояли, прислонившись к перилам, две безносые каменные бабы. Валериан Дмитриевич выкопал их за городом, на кургане, около Нагорян.

По всему двору были разбросаны покрытые мхом могильные плиты, надтреснутые глиняные кувшины, бронзовые кресты и осколки камней с отпечатками листьев. С проулочка дворик Лазарева, похожий на старинное маленькое кладбище, был огорожен невысоким глиняным забором. Мы бросили чугунное ядро наземь у самого крыльца, и, когда стали прощаться с нашим учителем, он пообещал сводить нас в подземный ход, который начинается около крепости.

Мы условились пойти в подземный ход в следующее воскресенье. Куница взялся отыскать фонари, а Сашка Бобырь пообещал принести целую катушку телефонного провода, которую он стащил со склада воинского присутствия.

Очень заманчива была для нас эта прогулка!

Об этом подземном ходе я впервые услышал от

Куницы. Куница уверял, что подземный ход соединяет нашу крепость со старинным замком князя Сангушко, который раньше владел этим краем.

Тридцать верст тянется подземный ход в скалах, проходит под двумя быстрыми речками и кончается в не известной никому потайной комнате княжеского замка. А этот княжеский замок стоит в густом сосновом лесу, скрытый от людских глаз, на берегу широкого озера, в котором водятся жирные зеркальные карпы и золотые рыбки.

Я верил Кунице и представлял себе княжеский замок мрачным, загадочным, с тяжелыми решетками на окнах.

«Должно быть, — думал я, — в ясные, светлые ночи его зубчатые башни отражаются в голубом от лунного света озере, и, наверное, очень страшно, да и, пожалуй, невозможно купаться в этом озере по ночам».

Я с нетерпением ждал воскресенья.

Но пойти в подземный ход вместе с Лазаревым нам не удалось.

НОЧНОЙ ГОСТЬ

По городу прошел слух, что красные отступают и Петлюра с пилсудчиками подходит уже к Збручу. А потом на заборах забелели приказы, в которых говорилось, что Красная Армия временно оставляет город, перебрасывая свои части на деникинский фронт.

Накануне отступления, поздно вечером, к моему отцу пришел наш сосед Омелюстый. С ним был еще один человек, которого я не знал. Я уже лежал в постели, закутанный до подбородка в байковое отцовское одеяло.

Отец сидел за столом и хорошо наточенным ножом резал «самкроше» из пачки прессованного желтого табака.

На плечах у Омелюстого болтался рваный казацкий башлык, на лобастой голове чернела круглая барашковая кубанка, а карманы его зеленого френча были туго набиты бумагами. Спутник его, невысокий человек в пушистом заячьем треухе, шел сзади, медленно переставляя ноги, словно боялся оступиться.

Был он очень бледен, небрит, и на остром его под-

бородке и впалых щеках пробивались черные жесткие волосы. Перешагнув вслед за Омелюстым порог нашей спальни, незнакомец снял свою меховую шапку, тихо, чуть слышно, поздоровался, сел на стул и расстегнул ватную солдатскую телогрейку.

— Поганое дело, Манджура, выручай, — сказал Омелюстый, снимая башлык и здороваясь с отцом. — Наши ночью отступают, а вот товарищ расхворался не вовремя. Нельзя ему ехать... Где б его тут пристроить в городе? Только так, чтобы никто не потревожил. А, Мирон?

— Ладно, потолкуем, — ответил отец. — Разденься сперва, чаю выпей.

Омелюстый вытащил из френча револьвер, переложил его в карман брюк, а френч вместе с кубанкой и башлыком бросил на корзинку у окна. Потом, присев к столу, он облокотился на него и, сжав виски длинными тонкими пальцами, медленно сказал:

— Ты думаешь, наши надолго уходят? Пустяки, скоро вернутся. Вот прогонят Деникина из Донбасса, а тогда и Подолию освободят.

Пока Омелюстый беседовал с отцом, Марья Афанасьевна приготовила больному гостю постель на широком кованом сундуке, а когда он улегся, покрыла его зимним ватным одеялом и другими теплыми вещами, какие только были в нашем доме. Она напоила больного чаем с сушеной малиной. Он лежал на спине под высокой грудой пропахшей нафталином одежды, прислушиваясь к разговору. Свет от лампы падал гостю в глаза, и он все время жмурился.

Вдруг он повернулся на бок, подмигнул мне и кивнул на стену. Я посмотрел на стену — ничего там не было. Тогда больной высунул из-под одеяла худую длинную руку и начал шевелить вытянутыми пальцами.

По стене запрыгали тени.

Из этих смутных, расплывчатых теней стали возникать отчетливые фигуры. Сперва я различил голову лебедя с выгнутой шеей. Потом на белой стене, двигая ушами, запрыгал очень потешный заяц. А когда заяц исчез, большой рак, подползая к окну, зашевелил цепкой клешней. Не успел я наглядеться на рака, как в другом месте, около этажерки, появилась морда лающей собаки, очень похожей на пса наших соседей Гржибовских — Куцего. Вот собака высунула язык и

стала тяжело дышать, точь-в-точь как дышат собаки в сильную жару.

Все фигурки появлялись и пропадали так быстро, что я не успевал даже заметить, как делает их этот чудной человек, укутанный теплой одеждой до самых ушей.

Показав последнюю фигурку, он опять хитро подмигнул мне, высунул язык, а потом снова лег на спину и закрыл глаза.

Я сразу решил, что он, должно быть, очень веселый и хороший человек, и мне захотелось, чтобы отец позволил ему остаться у нас, пока не возвратятся красные.

Ни отец, ни сосед не заметили тех штук, которые показал мне больной. Они все пили чай и разговаривали.

Под их тихий разговор я заснул. Проснулся я поздно и первым делом поглядел на сундук, где лежал вчера ночной гость.

Сундук по-прежнему стоял у стены, покрытый разноцветной дорожкой. Но постели и больного на нем не было.

На чистую, блестящую клеенку обеденного стола падали солнечные лучи.

Вдруг где-то за Должецким лесом грохнул выстрел.

Натягивая на ходу рубашку, я вбежал в кухню. Там тоже никого не было. Только на огороде, около забора, я нашел тетку Марью Афанасьевну. Она стояла на скамеечке и смотрела поверх забора на крепостной мост.

— Петлюровцы, — сказала, вздохнув, тетка и сошла на землю.

Я вскочил на скамейку, оттуда вскарабкался на забор и увидел скачущих от крепости в город всадников. Они мчались по мосту. Над решетчатыми перилами были видны вытянутые морды их гривастых коней.

— А где больной? — спросил я Марью Афанасьевну, когда мы вернулись на кухню.

— Больной? Какой больной? — удивилась она. — А я думала, ты спал. Больной, деточка, уехал с красными... Все уехали. Ты только помалкивай про больного.

— Как все? И отец?

— Нет, деточка, отец здесь, он пошел в типографию.

Тетка моя, Марья Афанасьевна, — женщина добрая и жалостливая. Сердится она редко и, когда я веду себя хорошо, называет меня «деточкой». А я не люблю этого слова. Какой я деточка, когда мне скоро уже двенадцать.

Вот и сейчас я обозлился на тетку за эту самую «деточку» и не стал ее больше расспрашивать, а побежал в Старую усадьбу к Петьке Маремухе — смотреть оттуда, со скалы, как в город вступают петлюровцы.

...А на следующий день, когда петлюровцы уже заняли город и вывесили на городской каланче свой желто-голубой флаг, мы с Юзиком Куницей увидели бегущего по Ларинке Ивана Омелюстого.

Его зеленый френч, надетый прямо на голое тело, был расстегнут. Омелюстый мчался по тротуару, чуть не сбивая с ног случайных прохожих и гулко стуча по гладким плитам коваными сапогами.

За ним гнались два петлюровца в широких синих шароварах. Не останавливаясь, на бегу они стреляли в воздух из тяжелых маузеров.

Омелюстый тоже не останавливался и тоже стрелял из нагана вверх, через левое плечо, не целясь. У кафедрального собора к двум петлюровцам присоединились еще несколько черношлычников. Они гурьбой гнались за Омелюстым и палили без разбору — кто куда.

По извилистым тропинкам над скалой Омелюстый промчался к Заречью. А петлюровцы, не зная дороги, поотстали. Спустившись вниз, Омелюстый перебежал по шагающейся кладочке на другой берег реки и оглянулся.

Размахивая маузерами, петлюровцы уже подбегали к берегу. Тогда Иван вскочил в башню Конецпольского, которая стояла на краю Заречья, у самого берега.

И не успели еще петлюровцы добежать до реки, как из круглой башни раздался первый выстрел Омелюстого. Второй пулей Омелюстый подстрелил прыгнувшего на дрожащую кладочку рослого петлюровца. Ноги петлюровца разъехались в стороны. Он покачнулся, неловко взмахнул руками и грузно упал в быструю речку.

Мы с Куницей с гребня крутого Успенского спуска

видели, как медленно поплыла вниз по течению кудлатая белая папаха петлюровца.

Петлюровцы залегли поодаль, в камнях под скалой. Пока двое из них вытаскивали из воды подстреленного, остальные успели снять со спин свои куцые австрийские карабины и стали палить через речку по башне, в которой спрятался Омелюстый. Никто из петлюровцев, видно, не решался перебежать речку по кладке. Глухое эхо раздавалось над рекой. Скоро на выстрелы стали сбегаться со всех сторон петлюровцы.

В самый разгар перестрелки около нас неожиданно вырос петлюровский сотник в отороченной белым каракулем венгерке.

— А ну, голопузые, марш отсюда! — строго прикрикнул на нас сотник и погрозил Кунице наганом. Мы кинулись наутек.

Окольной дорогой, мимо Старого бульвара, мы вернулись к себе домой.

Уже подбегая к Успенской церкви, мы услышали, как внизу, у реки, застрекотал пулемет. Видно, петлюровцы открыли пулеметный огонь по башне Конецпольского.

У церкви мы разошлись.

Я пошел домой, но у нас дома на кухонных дверях висел замок. Покрутился я несколько минут на огороде и, не вытерпев, побежал к Юзику: уж очень мне хотелось посмотреть, скольких петлюровцев перебил Омелюстый.

Удалось ли ему выбраться из башни Конецпольского? Как мы желали теперь Омелюстому удачи! Из простого, ничем особенно не примечательного соседа Омелюстый сразу вырос в наших глазах в грозного богатыря вроде повстанца Устима Кармелюка.

Куница в это время ел мамалыгу. Я предложил ему сбегать на Старый бульвар и оттуда, сверху, посмотреть, что делается у башни Конецпольского. Куница отломил мне кусок горячей мамалыги, и мы помчались. Но когда мы добежали до бульвара, у башни Конецпольского было уже тихо. Только у речки ходил взад и вперед петлюровский патруль да два каких-то незнакомых хлопца подбирали на берегу стреляные гильзы.

Мы прогнали этих хлопцев и сами стали искать патроны в том месте, где только что была перестрелка.

Кунице посчастливилось. Около забора он нашел боевой австрийский патрон с тупой пулькой. Должно быть, впопыхах его обронили петлюровцы. А мне не повезло. Долго я бродил под скалой, где лежал убитый петлюровец, но, кроме одной лопнувшей гильзы, из которой кисло пахло порохом, ничего не нашел.

Проклятые хлопцы все подобрали.

На небе уже показались звезды, когда я вернулся домой.

Отец почему-то был веселый. Застелив газетой край стола, он разбирал наш никелированный будильник и посвистывал.

— Тато, а его не могли в тюрьму бросить? — осторожно спросил я отца.

— Кого в тюрьму? — откликнулся отец.

— Ну, Омелюстого... Как Кармелюка.

Отец усмехнулся в густые усы и пробурчал:

— Много ты знаешь...

Видно, ему-то было известно многое, но он попросту не хотел откровенничать с таким, как я, пацаном.

До прихода Петлюры мой отец работал наборщиком в уездной типографии. Когда петлюровцы заняли город, к отцу стали часто заходить знакомые типографские рабочие. Они говорили, что Петлюра привез с собой машины, чтобы на них печатать деньги.

Машины эти установили в большом доме духовной семинарии на Семинарской улице. А под окнами семинарии взад и вперед зашагали чубатые солдаты в мохнатых шапках, с карабинами за спиной и нагайками отгоняли зевак.

Пятерых рабочих типографии взяли печатать петлюровские деньги. Один из них жаловался отцу, что во время работы за спиной у них стоят петлюровцы с ружьями, а после работы эти охранники обыскивают печатников, как воров.

Как-то поздно вечером к нам в дом пришел рябой низенький наборщик. Он и до этого бывал у нас. Тетка Марья Афанасьевна уже спала, а отец только собирался ложиться.

— Завтра нас с тобою, Мирон, заставят петлюровские деньги печатать. Я слышал, заведующий говорил в конторе, — угрюмо сказал моему отцу этот наборщик.

Отец молча выслушал наборщика. Потом он сел за стол и долго смотрел на вздрагивающий огонек коптилки. Я следил за отцом и думал: «Ну, скажи хоть слово, ну, чего ты молчишь?»

Наконец низенький наборщик отважился и, тронув отца за плечо, спросил:

— Так что делать будем, а, Мирон?

Отец вдруг сразу встал и громко, так что даже пламя коптилки заколыхалось, ответил:

— Я им таких карбованцев напечатаю, что у самого Петлюры поперек горла станут! Я печатник, а не фальшивомонетчик!

И, сказав это, отец погрозил кулаком.

Утром отца в городе уже не было.

На следующий день за забором в усадьбе Гржибовских завизжала свинья.

— Опять кабана режут! — сказала тетка.

Наш сосед Гржибовский — колбасник.

За белым его домом выстроено несколько свиных хлевов. В них откармливаются на убой породистые йоркширские свиньи.

Гржибовский у себя в усадьбе круглый год ходит без фуражки. Его рыжие волосы всегда подстрижены ежиком.

Гржибовский — рослый, подтянутый, бороду стрижет тоже коротко, лопаточкой и каждое воскресенье ходит в церковь.

На всех Гржибовский смотрит как на своих приказчиков. Взгляд у него суровый, колючий. Когда он выходит на крыльцо своего белого дома и кричит хриплым басом: «Стаху, сюда!» — становится страшно и за себя и за Стаха.

Однажды Гржибовский порол Стаха в садике широким лакированным ремнем с медной пряжкой.

Сквозь щели забора мы видели плотную спину Гржибовского, его жирный зад, обтянутый синими штанами, и прочно вросшие в траву ноги в юфтевых сапогах.

Между ног у Гржибовского была зажата голова Стаха. Глаза у Стаха вылезли на лоб, волосы были взъерошены, изо рта текла слюна, и он быстро, скороговоркой верещал:

— Ой, тату, тату, не буду, ой, не буду, прости, таточку, ой, больно, ой, не буду, прости!

А Гржибовский, словно не слыша криков сына, нагибал свою плотную спину в нанковом сюртуке. Раз за разом он взмахивал ремнем, резко бросал вниз руку и с оттяжкой бил Стаха. Он как бы дрова рубил — то, крякнув, ударит, то отшатнется, то снова ударит, и все похрапывал, покашливал.

Стах закусывал губы, высовывал язык и снова кричал:

— Ой, тату, тату, не буду!

Стах не знал, что мы видели, как отец порол его. Всякий раз он скрывал от нас побои.

При людях он хвалил отца, с гордостью говорил, что его отец самый богатый колбасник в городе, и хвастал, что в ярмарочные дни больше всего покупателей собирается у него в лавке на Подзамче.

В словах Стаха, конечно, была доля правды.

Гржибовский умел готовить превосходную колбасу. Заколов свинью, он запирался в мастерской, рубил из выпотрошенной свиной туши окорока, отбрасывал отдельно на студень голову и ножки, обрезал сало, а остальное мясо пускал в колбасу. Он знал, сколько надо подбросить перцу, сколько чесноку, и, приготовив фарш, набивал им прозрачные кишки сам, один. Когда колбаса была готова, он лез по лесенке на крышу. Бережно вынимая кольца колбасы из голубой эмалированной миски, Гржибовский нанизывал их на крючья и опускал в трубу. Затем Гржибовские разжигали печку. Едкий дым горящей соломы, запах коптящейся колбасы доносились и к нам во двор.

В такие дни мы с Куницей подзывали Стаха к забору, чтобы выторговать у него кусок свежей колбасы.

Взамен мы предлагали Стаху цветные, пахнущие типографской краской афиши, программки оперетток с изображениями нарядных женщин и маленькие книжечки — жития святых с картинками. Все эти афиши и книжечки приносил мне отец из типографии.

Вначале мы договаривались, что на что будем менять, и божились не надувать друг друга.

После долгих переговоров Стах, хитро щуря свои раскосые глаза, вприпрыжку бежал к коптилке. Он выбирал удобную минуту, чтобы незаметно от отца сдернуть с задымленной полки кольцо колбасы.

Мы стояли у забора и нетерпеливо ждали его возвращения, покусывая от волнения горьковатые прутики сирени.

Утащив колбасу, Стах, веселый, довольный удачей, прибегал в палисадник и перебрасывал ее нам через забор.

Мы ловили ее, скользкую и упругую как мяч, на лету. Взамен через щели в заборе просовывали Стаху пестрые афиши и книжечки.

Затем мы убегали на скамеечку к воротам и ели колбасу просто так — без хлеба. Острый запах чеснока щекотал нам ноздри. Капли сала падали на траву. Колбаса была теплая, румяная и вкусная, как окорок.

Теперь Гржибовский резал нового кабана.

Услышав визг, мы подбежали к забору и заглянули в щель.

На крыльце, где обычно курил свою трубку Гржибовский, согнувшись, стоял петлюровец и усердно чистил двумя мохнатыми щетками голенище высокого сапога. Начистив сапоги, он выпрямился и положил щетки на барьер крыльца.

Ведь это же Марко!

Ошибки быть не могло. Старший сын Гржибовского, Марко, или курносый Марко, как его звала вся улица, стоял сейчас на крыльце в щеголеватом френче, затянутый в коричневые портупеи. Его начищенные сапоги ярко блестели.

Когда красные освободили город от войск гетмана Скоропадского, Марко исчез из дому.

Он бежал от красных, а сейчас вот появился снова, нарядный и вылощенный, в мундире офицера петлюровской директории. Ничего доброго появление молодого Гржибовского не предвещало...

ПРОЩАЙ, УЧИЛИЩЕ!

Однажды, вскоре после прихода петлюровцев, вместо математика к нам в класс вошел Валериан Дмитриевич Лазарев. Он поздоровался, протер платочком пенсне и, горбясь, зашагал от окна к печке. Он всегда любил, прежде чем начать урок, молча, как бы собираясь с мыслями, пройтись по классу.

Вдруг Лазарев остановился, окинул нас усталым, рассеянным взглядом и сказал:

— Будем прощаться, хлопчики. Жили мы с вами славно, не ссорились, а вот пришла пора расставаться. Училище наше закрывается, а вас переводят в гимназию. Добровольно они туда не могли набрать учеников, так на такой шаг решились... Сейчас можете идти домой, уроков больше не будет, а в понедельник извольте явиться в гимназию. Вы уже больше не высшеначальники, а гимназисты.

Мы были ошарашены. Какая гимназия? Почему мы гимназисты? Уж очень неожиданной показалась нам эта весть. В классе сразу стало удивительно тихо. Первым нарушил эту тишину конопатый Сашка Бобырь.

— Валериан Дмитриевич, а наши учителя, а вы — тоже с нами? — выкрикнул он с задней парты, и мы, услышав его вопрос, насторожились.

Было видно, что Сашкин вопрос задел Валериана Дмитриевича за живое.

— Нет, хлопчики, мне на покой пора. С паном Петлюрой у нас разные дороги. Я в той гимназии ни к чему, — криво улыбнувшись, ответил Лазарев и, присев к столу, принялся без цели перелистывать классный журнал. Тогда мы повскакали из-за парт и окружили столик, за которым сидел Лазарев.

Валериан Дмитриевич молчал. Мы видели, что он расстроен, что ему тяжело разговаривать с нами, но все же мы стали приставать к нему с вопросами. Сашка Бобырь спрашивал Лазарева, будем ли мы носить форму, Куница — на каком языке будут учить в гимназии; каждый старался выведать у Валериана Дмитриевича самое главное и самое интересное для себя.

Особенно хотелось нам узнать, почему Лазарев не хочет переходить в гимназию. И когда мы его растравили вконец, он встал со стула, еще раз медленно протер пенсне и сказал:

— Я и сам не хочу покидать вас в середине учебного года, да что ж поделаешь? — Помолчав немного, он добавил: — Главное-то, хлопчики, в том, что они набирают в гимназию своих учителей, а я для них не гожусь.

— Почему не годитесь? — удивленно выкрикнул Куница.

— Я, хлопчики, не могу натравливать людей одной

нации на людей другой так, как этого хотелось бы петлюровцам. По мне, был бы человек честным, полезным обществу, а то, на каком языке он говорит, — дело второстепенное. Мне абсолютно безразлично: поляк, еврей, украинец или русский мой знакомый, — была бы у него душа хорошая, настоящая, вот основное! И я всегда считал и считаю, что нельзя решать судьбу Украины в отрыве от будущего народов России... И никогда они мне не простят, что я рассказывал вам правду о Ленине...

Невесело расходились мы в этот день по домам. Было жалко покидать навсегда наше старое училище. Никто не знал, что нас ожидает в гимназии, какие там будут порядки, какие учителя.

— Это все Петлюра выдумал! — со злостью сказал Куница, когда мы с ним спускались по Старому бульвару к речке. — Вот холера, чтоб он подавился!

Я молчал. Конечно, прав был мой польский друг! Что говорить, никому не хотелось расставаться со старым училищем.

Да и как мы будем учиться вместе с гимназистами?

Еще от старого режима сохранялись у них серые шинели с петлицами на воротнике, синие мундиры и форменные фуражки с серебряными пальмовыми веточками на околыше.

А когда пришли петлюровцы, многие гимназисты, особенно те, что записались в бойскауты, вместо пальмовых веточек стали носить на фуражках петлюровские гербы — золоченые, блестящие трезубцы. Иногда под трезубцы они подкладывали шелковые желто-голубые ленточки.

Мы издавна ненавидели этих паничей в форменных синих мундирах с белыми пуговицами и, едва завидев их, принимались орать во все горло:

— Синяя говядина! Синяя говядина!

Гимназисты тоже были мастера дразниться.

На медных пряжках у нас были выдавлены буквы «В. Н. У.», что означало: «Высшеначальное училище». Отсюда и пошло — увидят гимназисты высшеначальников и давай кричать:

— Внучки! Внучки!

Ну и лупили же их за это наши зареченские ребята! То плетеными нагайками, то сложенными

вдвое резиновыми трубками. А маленькие хлопцы стреляли в гимназистов из рогаток зелеными сливами, камешками, фасолью.

Жаль только, что к нам на Заречье, где жила преимущественно беднота, они редко заглядывали.

Почти все гимназисты жили на главных улицах города: на Киевской, Житомирской, за бульварами, а многие и около самой гимназии.

Наступил понедельник. Ох и не хотелось в то ясное, солнечное утро в первый раз идти в незнакомую, чужую гимназию!

Еще издали, с балкона, когда мы с Петькой Маремухой и Куницей переходили площадь, кто-то из гимназистов закричал нам:

— Эй вы, мамалыжники, паны цибульские! А воши свои на Заречье оставили?

Мы промолчали. Хмурые, насупленные, вошли мы в темный, холодный вестибюль гимназии. В тот день у нас, у новичков, никаких занятий не было. Делопроизводитель в учительской записал всех в большую книгу, а потом сказал:

— Теперь подождите в коридоре, скоро придет пан директор.

А директор засел в своем кабинете и долго к нам не выходил.

Мы слонялись по сводчатым коридорам, съезжали вниз по гладким перилам лестницы, а потом забрели в актовый зал.

Там, в огромном пустом зале, горбатый гимназический сторож Никифор снимал со стен портреты русских писателей.

Вместо писателей Никифор стал вставлять под стекло петлюровских министров, но министров оказалось больше, чем писателей, — девятнадцать человек, и золоченых рам для них не хватило. Тогда Никифор постоял, поскреб затылок и заковылял в кабинет естествознания. Он притащил оттуда целую пачку застекленных картинок разных зверей и животных.

Но едва он принялся потрошить эти картинки, как в актовый зал вбежал рассвирепевший учитель природоведения Половьян.

Природовед поднял такой крик, что мы думали —

он убьет горбатого Никифора. Половьян бегал вокруг стремянки и кричал:

— Что ты выдумал, изверг? Да ты с ума сошел! Я не отдам своего муравьеда! Ведь это кощунство! Такой муравьед на весь город один.

А Никифор только огрызнулся:

— Та видчепиться, пане учителю, чого вы тутечки галас знялы? Идить до директора.

Покружившись в актовом зале, Половьян убежал жаловаться директору, но тот только похвалил горбатого Никифора за его выдумку.

Сторож, хитро улыбаясь, стал выдирать из вишневого цвета рамок львов, тигров, носорогов, а с ними и половьяновского муравьеда.

— Ну ты, изверг, вылезай, — сказал Никифор, вытаскивая муравьеда из рамки.

Сидя на паркетном полу, Никифор клещами выдергивал из рамки гвоздики, фанерная крышечка выпадала сама. Никифор вынимал картинки, обтирал рамки влажной тряпкой и клал на стекло кого попало — то морского министра, то министра церковных дел, то хмурого усатого министра просвещения.

Когда все портреты были развешаны, сторож Никифор покропил водой паркетный пол актового зала и вымел в коридор весь мусор и паутину.

Вместе с нами он расставил перед сценой несколько длинных сосновых скамеек. Все высшеначальники собрались в актовый зал и сели на скамейки. Бородатый директор гимназии Прокопович вылез на сцену, откашлялся и, поставив правую ногу на суфлерскую будку, стал говорить речь.

Половину его слов мы не разобрали. Я запомнил только, что мы — «молодые сыны самостийной Украины» — должны хорошо учиться в гимназии и заниматься в скаутских отрядах, чтобы, окончив учение, поступить в военные петлюровские школы.

Маремуха, Сашка Бобырь, Куница и я попали в один класс.

Первое время мы держались вместе и даже могли при случае дать сдачи любому гимназисту.

Но потом Петька Маремуха стал все больше и больше подмазываться к ловкому и хвастливому гимназисту Котьке Григоренко.

Они, правда, и раньше, по Старой усадьбе, были

знакомы друг с другом. Петькин отец, сапожник Маремуха, арендовал у доктора Григоренко флигель в Старой усадьбе. Котька иногда приезжал со своим отцом в Старую усадьбу и там познакомился с Петькой. Здесь, в гимназии, они встретились как старые знакомые, Котька вдобавок подкупил Маремуху архивной бумагой с орлами, и Петька Маремуха совсем раскис.

Отец Котьки был главный врач больницы. Он позволял своему сыну рыться в больничном архиве и выдирать из пахнущих лекарствами ведомостей чистые листы. Котька часто брал с собой в больничные подвалы и Маремуху — добывать чистую бумагу.

Маремуха не раз бывал у Котьки дома, на Житомирской улице, не раз они вместе ходили на речку ловить раков. Григоренко его и в бойскауты записал одним из первых.

А вскоре вслед за Маремухой под команду Котьки перекочевал и Сашка Бобырь. Он, дурень, похвастался однажды перед Котькой своим никелированным «бульдогом», а Котька и припугнул его, что скажет про этот револьвер петлюровским офицерам. Вот Сашка Бобырь с перепугу и стал также подлизываться к Котьке.

Остались неразлучными только мы с Куницей.

Обидной нам сперва показалась измена Маремухи и Сашки Бобыря, а потом мы бросили думать о них и еще крепче сдружились.

И до чего же скучно было учиться первое время в гимназии! Классы здесь хмурые, неприветливые, точно монастырские кельи. Да тут и в самом деле когда-то были кельи.

Раньше в этом доме был монастырь. В монастырских подвалах, слышал я, замуровывали живьем провинившихся монахов. Здание это много раз перестраивали, но все-таки оно и изнутри и снаружи походило на монастырь.

Гимназисты, которые и до нас учились в этом здании, чувствовали себя здесь хозяевами. Они позанимали лучшие места на первых партах, а нам, высшеначальникам, осталась одна «камчатка».

А гимназические учителя, нудные, злые, слова интересного не скажут, не пошутят, как, бывало, Лазарев в высшеначальном.

Не раз вспоминали мы Валериана Дмитриевича Лазарева, его интересные уроки по истории, прогулки с ним в Старую крепость.

Тут, в гимназии, запретили изучать русский язык, общую историю сразу отменили, а вместо нее стали мы учить историю одной только Украины. А учителем истории директор назначил петлюровского попа Кияницу.

Высокий, обросший рыжими волосами, в зеленой рясе, с тяжелым серебряным распятием на груди, он стал приходить в класс задолго до звонка. Мы еще по двору бегаем, а он уже тут как тут.

Кияница преподавал историю скучно, неинтересно. Часто посреди урока он вдруг останавливался, кряхтел, теребил свою рыжую бороду и лез за помощью в учебник Грушевского — старого украинского националиста. А когда надоедало рыться в этой толстой, тяжелой книге, он начинал задавать нам вопросы.

А однажды Кияница венчал адъютанта самого Петлюры и пришел в гимназию прямо со свадьбы. От него сильно пахло водкой. Кияница поднялся на второй этаж и двинулся прямо в директорскую за учебниками. Он прятал учебники в шкафу у директора. А в этот день директора вызвали в министерство просвещения, и он ушел, закрыв свой кабинет. Мы подсмотрели, как Кияница покрутился около директорской, заглянул в замочную скважину, потом крякнул с досады и, пошатываясь, вернулся в класс. Он долго хмыкал что-то непонятное под нос, совал длинные руки под кафедру, кашлял, а потом вдруг пробурчал:

— Ну-с, так... Да... Так... Сегодня, дети... сегодня мы вспомним, что я рассказывал вам о крепости Кодак... Крепость Кодак знаменита тем, что ее построил около Днепровских порогов... Кто построил крепость Кодак? Ну вот, как тебя, отрок? — и поп ткнул пальцем прямо в Маремуху.

Бедный Петька не ожидал такого каверзного вопроса. Он завертелся на скамейке, оглянулся, потом вскочил и, краснея, сказал:

— Маремуха!

— Маремуха? — удивился поп. — Ну-с, итак, объясни нам, отрок Маремуха, кто построил крепость Кодак?

В классе наступила тишина. Было слышно, как да-

леко, за Тернопольским спуском, проезжала подвода. Кто-то свистнул на Гимназической площади. Петька долго переминался с ноги на ногу и затем, зная, что больше всех гетманов поп любит изменника Мазепу, и желая подмазаться к учителю, собравшись с духом, выпалил:

— Мазепа!

— Брешешь, дурень! — оборвал Маремуху поп. — Мазепы тогда еще на свете не было... Крепость Кодак построил... построил... да... построил иудей Каплан, а наш славный рыцарь атаман Самойло Кошка сразу взял ее в плен...

— Нет, не Кошка! — дрожащим голосом на весь класс сказал Куница.

Поп насторожился, вскинул кверху голову и грозно спросил:

— Кто сказал — не Кошка? А ну, встань!

Куница встал и, опустив глаза вниз, бледный, взволнованный, глядя в чернильницу, тихо ответил:

— Я сказал.

Мне стало очень страшно за Юзика. Я ждал, что Кияница набросится на него с кулаками, изобьет его здесь же, у нас на глазах. Но поп, опираясь здоровенными своими лапами на кафедру, нараспев, басом сказал:

— А-а, это, значит, ты такой умник? Чудесно! Итак, ты утверждаешь, что я извращаю истину? Тогда выйди, голубчик, сюда и расскажи нам, кто же, по-твоему, построил крепость Кодак?

Поп думал, что Куница испугается и не ответит, но Куница выпрямился и, глядя попу прямо в глаза, твердо сказал:

— Крепость Кодак построил совсем не Каплан, а французский инженер Боплан, а в плен ее захватил никакой не Кошка, а гетман Сулима.

— Сулима? — переспросил поп и закашлялся.

Кашлял он долго, закрывая широким рукавом волосатый рот. В эту минуту в классе еще сильнее запахло водкой. Накашлявшись вдоволь, красный, со слезящимися глазами Кияница спросил:

— Кто же это тебя научил такой ерунде?

— Валериан Дмитриевич научил, — смело сказал Юзик и добавил объясняя: — Лазарев.

— Ваш Лазарев ничего не знает! — вспыхнул

поп. — Ваш Лазарев богоотступник и шарлатан! Кацапский прислужник!

— И то неправда! — сказал Куница. — Валериан Дмитриевич все знает.

— Что? — заорал поп. — Неправда? А ну, стань в угол, польское отродье! На кукурузу! На колени!

Даже стекла задрожали в эту минуту от крика Кияницы. Бледный Юзик подождал немного, а потом тихо пошел к печке и стал там, в углу, на колени.

После этого случая мы еще больше возненавидели попа Кияницу.

ГОЛОС ТАРАСА

Очень здорово ехать на грохочущей подводе по знакомому городу в тот самый час, когда все приятели занимаются в скучных и пыльных классах. Если бы не эта поездка за барвинком, сидеть бы и нам теперь на уроке закона божьего да заучивать наизусть «Отче наш».

А разве в такую погоду полезет в голову «Отче наш» или история попа Кияницы?

Куница тоже доволен.

— Я каждый день согласен ездить за барвинком — нехай освобождают от уроков. А ты?

— Спрашиваешь! — ответил я ему. И мне сразу стало очень грустно, что только на сегодня выпало нам такое счастье. А завтра...

— Петлюровцы! — толкнул меня Юзик.

Навстречу идет колонна петлюровцев. Их лица лоснятся от пота. Сбоку с хлыстиком в руке шагает сотник. Он хитрый, холера: солдат заставил надеть синие жупаны, белые каракулевые папахи с бархатными «китыцями», а сам идет в легоньком френче английского покроя, на голове у него летняя защитная фуражка с длинным козырьком, закрывающим лицо от солнца.

Возница сворачивает. Левые колеса уже катятся по тротуару — вот-вот мы зацепим осью дощатый забор министерства морских дел петлюровской директории.

Все равно тесно. Возница круто останавливает лошадь.

Колонна поравнялась с нами.

Сотник, пропустив солдат вперед, подбежал к вознице и, размахивая хлыстиком, закричал:

— Куда едешь, сучий сын? Не мог обождать там, на горе? Не видишь — козаки идут?

— Та я... — хотел было оправдаться возница, седой старик в соломенном капелюхе, но петлюровский сотник вдруг повернулся и, догоняя отряд, закричал:

— Отставить песню!..

И не успели затихнуть голоса петлюровцев, как сотник звонко скомандовал:

— Смирно!

Солдаты сразу пошли по команде «смирно», повернув головы налево. Вороненые дула карабинов перестали болтаться вразброд и заколыхались ровнее. Но чего ради он скомандовал «смирно»? Ах вот оно что!

На тротуаре появились два офицера-пилсудчика. Один из них — маленький, белокурый, другой, постарше, краснолицый, с черными бакенбардами. Пилсудчики идут, разговаривая друг с другом, и не замечают поданной команды. Сотник остановился и смотрит на пилсудчиков в упор.

Не замечают.

Сотник снова командует на всю улицу:

— Смирно!

Заметили.

Белокурый офицер толкнул краснолицего. Тот выпрямился, незаметно поправил пояс и зашагал, глядя на колонну.

Только когда первый ряд подошел к офицерам, оба ловко вскинули к лакированным козырькам конфедераток по два пальца. А сотник вытянулся так, словно хотел выскочить из своего френча, и, нежно ступая по мостовой, приставив руку к виску, прошел перед пилсудчиками, как на параде.

Мы ехали медленно рядом с офицерами по узенькой и кривой улице. Куница искоса разглядывал их расшитые позументами стоячие воротники. Офицеры шли улыбаясь, маленький, покрутив головой, сказал:

— Совершенно ненужное лакейство!

— Но чего пан поручик хочет? Он мужик и мужиком сгинет, — ответил белокурому офицер с бакенбардами и, вынув из кармана маленький, обшитый кружевами платочек, стал сморкаться, да так здорово, что бакенбарды, словно мыши, зашевелились на его румяных щеках. Я понял, что пилсудчики смеются над петлюровским сотником, который дважды подавал

команду «смирно», лишь бы только выслужиться перед ними.

У Гимназической площади пилсудчики повернули в проулочек к своему штабу, а мы с грохотом въехали на площадь.

Замощенная булыжником, она правильным квадратом расстилалась перед гимназией.

В гимназии было тихо.

Видно, еще шли уроки.

Не успела лошадь остановиться, как мы с Юзиком спрыгнули с подводы и побежали по каменной лестнице наверх, в учительскую.

Навстречу нам попался учитель украинского языка Георгий Авдеевич Подуст. Его на днях прислали в гимназию из губернской духовной семинарии.

Немолодой, в выцветшем мундире учителя духовной семинарии, Подуст быстро шел по скрипучему паркету и, заметив нас, отрывисто спросил:

— Принесли?

— Ага! — ответил Куница. — Полную подводу.

— Что?.. Подводу?.. Какую подводу? — удивленно смотрел на Куницу Подуст. — Я ничего не понимаю. Вас же за гвоздями посылали?

Я уже знал, что учитель Подуст очень рассеянный, все всегда путает, и сразу пояснил:

— Мы на кладбище за барвинком ездили, пане учитель. Привезли целую подводу барвинка!

— Ах да! Совершенно точно! — захлопал ресницами Подуст. — Это Кулибаба за гвоздями побежал. А вы Кулибабу не встречали?

— Не встречали! — ответил Юзик, и Подуст побежал дальше, но вдруг быстро вернулся и, взяв меня за пряжку пояса, спросил:

— Скажи, милый... Ты... Вот несчастье... Ну... как твоя фамилия?

— Манджура! — ответил я и осторожно попятился. Всей гимназии было известно, что Подуст плюется, когда начинает говорить быстро.

— Да, да. Совершенно точно. Манджура! — обрадовался Подуст. — Скажи, какие именно стихотворения ты можешь декламировать?

— А что?

— Ну, не бойся. Тебя спрашивают.

— «Быки» могу Степана Руданского, а потом... Шевченко. Только я забыл трошки.

— Вот и прекрасно! — сказал Подуст и, отпустив мой пояс, потер руки. — В этом есть большой смысл: наша гимназия названа именем поэта Степана Руданского, а ты прочтешь на первом же торжественном вечере его стихи. Прекрасная идея! Лучше не придумать... Теперь слушай. Иди немедленно домой и учи все, что знаешь. Нет, пожалуй, не все, а так приблизительно два-три стихотворения. Только, знаешь... хорошо... выразительно!

Он закашлялся и потом, нагнувшись ко мне, прошептал:

— Хорошо учи. Чуешь? Возможно, сам батько Петлюра приедет...

— А домой идти... сейчас?

— Да, да... и сразу же учи. А в гимназию придешь послезавтра. И я сам тебя проверю.

— А если пан инспектор спросит?

— Ничего. Я ему сообщу... Твоя фамилия?

— Манджура!

— Так, так. Манджура, совершенно точно. Будь спокоен, — пробормотал Подуст и сразу побежал в темный коридор.

— Эх ты, подлиза!.. — Куница хмуро посмотрел на меня и, передразнивая, добавил: — «Быки» могу... и потом Шевченко!» Нужно тебе очень декламировать. Выслуживаешься перед этим гадом! Поехали б лучше снова за барвинком.

Целый вечер я разгуливал по нашему огороду между грядками и бубнил себе под нос:

Вперед, бики! Бадилля зсохло,
Самі валяться будяки,
А чересло, леміш новії...
Чого ж ви стали? Гей, бики!

— Быки, быки! — крикнула мне, выглянув из окна, тетка. — Ты мне со своими «быками» все огурцы потопчешь. Иди лучше на улицу!

— Ничего, тетя, не зачипайте! Я учусь декламировать стихотворение, — весело ответил я. — Меня, может, сам батько Петлюра приедет слушать. Если мне дадут награду, я и вам половину принесу!

Проклятые «Быки» меня здорово помучили. Смешно: такое легкое на вид стихотворение, а заучивать его вторично наизусть было гораздо труднее, чем те вирши Шевченко, которые я учил очень давно, еще в высшеначальном училище. Их я повторил раза три по «Кобзарю» — и все, а вот с «Быками» провозился долго. Все путалось, как только я начинал читать наизусть.

Сперва я читал, как созревает хлеб на полях и как текут молоко и мед по святой земле, а уже потом — как быки, вспахивая поле, ломают бурьяны и чертополох. А надо было читать как раз наоборот. Я уже пожалел даже, что вызвался учить именно эти стихи, про быков. Но тогда, пожалуй, Подуст не отпустил бы меня домой.

...Лишь к вечеру следующего дня я наконец заучил правильно стихотворение про быков и утром с легким сердцем вошел в гимназию к Подусту.

— Ага, Кулибаба! — радостно сказал Подуст. — Ты будешь... выжимать гири?

«Вот и старайся следующий раз для такого черта, а он даже не может запомнить меня», — подумал я и ответил:

— Я не Кулибаба, а Василий Манджура. Вы мне велели учить стихи.

— Манджура? Ну не все одно — Кулибаба, Манджура?

Пряча в карман пенсне, Подуст предложил:

— Пойдем в актовый зал, прорепетируем!..

И только мы переступили порог актового зала, изо всех окон мне в глаза ударило солнце.

За те дни, пока я не ходил в гимназию, в актовом зале произошли перемены. Вблизи сцены из свежих сосновых досок выстроили высокую ложу. Через весь зал были протянуты две толстые гирлянды, сплетенные из привезенного нами барвинка. Вместе со стеблями барвинка в гирлянды вплели шелковые желто-голубые ленты. Гирлянды перекрещивались под сверкающей в солнечных лучах хрустальной люстрой. Крашенные масляной краской стены актового зала были хорошо вымыты и тоже блестели на солнце. Вверху, под лепными карнизами, висели портреты петлюровских министров, а у белой кафельной печки, перевитый вышитым рушником, виднелся на стене большой портрет Тараса Шевченко.

Подуст взобрался на суфлерскую будку и, сидя на ней точно на седле, кивнул.

— Давай!

Было очень неловко декламировать в этом пустом солнечном зале на скользком паркете, но я откашлялся и начал с выражением:

Та гей, бики! Чого ж ви стали?
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша іржа поїла?
Чи затупилось чересло?

Я видел перед собой широкий, весь в мелких ямках нос учителя, видел совсем близко зеленоватые близорукие глаза его, посыпанный перхотью и засаленный воротник его мундира.

Подуст в такт чтению притопывал ногой.

Не дождавшись, пока я кончу, он вскочил и чуть не опрокинул суфлерскую будку.

— Дуже гарно! Только чуть-чуть громче. Вирши Шевченко в таком же духе читаешь?

Я кивнул головой.

— И хорошо. Это будет коронный номер. Советую только тебе выпить сырое яйцо, перед тем как выйдешь на сцену, чтобы не сорвался голос. Не забудешь?

— А утиное можно?

— Это не играет роли — утиное или куриное. Важно, чтобы сырое было. Понял?

— Послушайте остальные, пане учитель...

— Ой! — вдруг ударил себя ладонью по лбу Подуст. — Меня же пан директор ждет. Я совсем забыл.

Тут же он спрыгнул на паркет и поскользнулся. Я его поддержал.

— Да, постой, как твоя фамилия?

Вынув карандаш и листочек бумаги, щуря свои подслеповатые глаза, Подуст посмотрел на меня так, будто видел меня в первый раз.

— Манджура! — снова подсказал я и снова про себя обругал учителя.

— Чудесно. Итак, я записываю: ученик Манджура — декламация.

Записочку эту Подуст не потерял. Когда в день праздника я пришел в гимназию, меня встретил на лестнице Юзик и насмешливо сказал:

— Подумаешь, артист...

Он вынул из кармана розовую программку и протянул ее мне. Рядом со словом «декламация» в этой программке я нашел напечатанную настоящими типографскими буквами свою фамилию.

Это было очень приятно.

— Петлюра будет! — наклоняясь ко мне, прошептал Куница.

— Правда?

— А вот смотри, уже караулит!

Мимо нас, высоко подняв голову и, видно, высматривая кого-то, прошел в хорошо выутюженном мундире директор гимназии Прокопович. Из петлицы мундира у него торчал букетик цветов иван-да-марьи. Директор нарочно посылал в соседний Должецкий лес гимназического сторожа Никифора за этими желто-синими цветами. Говорили, что Прокопович дружит с Петлюрой, а Подуст даже рассказывал, что наш директор скоро будет у атамана министром просвещения.

До начала вечера оставалось много времени.

Вдвоем с Куницей мы долго бродили по гимназическим коридорам, зашли в разукрашенный сосновыми ветками буфет, и там он угостил меня сельтерской водой с вкусным сиропом «Свежее сено». Взамен я разрешил ему залезть ко мне в карман и вытащить оттуда пригоршню жареной кукурузы. Мы грызли эти белые, лопнувшие на огне зернышки и следили, как высокий скаут Кулибаба, стоя с посохом на контроле, пускает в гимназию приглашенных гостей. Когда кто-нибудь пробегал мимо меня, я сторонился: боялся, что раздавят утиное яйцо, которое я принес с собой на вечер. Оно лежало в фуражке. Это яйцо сегодня снесла наша старая белая утка, и я тайком от тетки стащил его из гнезда.

Было непривычно гулять по коридору в тесном суконном мундирчике. Я одолжил его у зареченского хлопца Мишки Криворученко, которого еще при гетмане выгнали из гимназии за то, что он побил окна в доме помещика Язловецкого. Мундир жал под мышками, было жарко.

Чем больше собиралось в актовом зале народу, тем страшнее становилось мне. Ведь я никогда раньше не декламировал на таких вечерах. В классе у доски я чи-

тал наизусть вирши, но то было в классе, где сидели свои, знакомые хлопцы из высшеначального.

Здесь же многих людей, особенно военных, я не знал. У меня сильно колотилось сердце и тяжелели ноги, когда мы с Куницей, прогуливаясь по коридору, подходили к дверям зрительного зала.

— Говорят, на Русских фольварках сегодня выключили электричество, чтобы у нас горело всю ночь. Слышал? — прошептал мне Юзик.

— Да? Нет, не слышал! — ответил я.

На Заречье, где жили мы, и вовсе никогда не было электричества. Стоило ли мне теперь из-за этого тревожиться? Зато я все чаще подумывал: а не сбежать ли мне отсюда, пока не поздно? Самое страшное — мне все больше и больше казалось, что я забыл стихи. Шевеля холодными губами, я шептал про себя строчки и с перепугу вовсе не понимал ничего. Чудилось, что это не я читаю, а что рядом со мной идет совсем незнакомый человек и нашептывает на ухо какие-то чужие и непонятные слова. А тут еще Куница пристал. Заглянув мне в лицо, он засмеялся.

— Йой! Чего ты такой белый, Васька, словно тебя мелом вымазали?

— Откуда ты взял?

— Да, откуда, — засмеялся Куница. — Я знаю, ты боишься. Правда? А ну, признавайся!

— И совсем не страшно! — сказал я твердо, но тотчас предложил: — Юзик, а давай я тебе прежде прочту! Вот зайдем сюда! — И я кивнул головой на полуоткрытую дверь темного класса.

Юзик заглянул в класс, но, видно, ему не понравилось, что в классе совсем темно, и он сказал, грызя кукурузу:

— Нет, зачем здесь? Я тебя лучше в зале послушаю.

— А как объявлять лучше: вирш Шевченко или вирш Тараса Григорьевича Шевченко?

— Ну конечно, Тараса Григорьевича. Ведь так нам и Лазарев объяснял.

В эту минуту пронесся черноволосый восьмиклассник с повязкой распорядителя на рукаве и закричал на весь коридор:

— Артисты, на сцену!

— Иди! — и Юзик втолкнул меня в освещенный актовый зал.

По сцене бегали гимназисты, кто-то гремел гирями, выжимая их одной рукой. Пахло пудрой и нафталином. Я осторожно пробирался в глубь сцены, где было потемнее. Откуда ни возьмись навстречу мне выскочил запорожец с седыми усами, в голубом кунтуше. Кривой ятаган висел у запорожца на боку. Я шарахнулся в сторону и чуть не полетел, споткнувшись о чугунную гирю. Яйцо запрыгало у меня в фуражке.

Запорожец засмеялся и крикнул басом:

— Ага, Васька, не узнаешь, а я тебе зараз голову срубаю! — Выхватив ятаган, он и в самом деле занес его над моей головой. Узнав по голосу, что это не настоящий запорожец, а наш одноклассник, долговязый Володька Марценюк, я мигом схватил его за глотку.

— Это еще что за баловство? — послышалось сзади.

Я сразу отпустил запорожца. Возле нас стоял Подуст.

Я посмотрел на него и даже не поверил, что это Подуст. Из-под бархатного воротника его нового мундира торчал чистый крахмальный воротничок, редкие седые волосы были причесаны, даже пенсне он надел новое, парадное, с блестящей золоченой дужкой, которая, точно клешня рогача, впилась в красную, мясистую переносицу учителя. Прямо не верилось, что этот франт и есть наш старый, похожий на сельского дьячка учитель Подуст, которого мы все за его рассеянность прозвали Забудькой.

— Ага... Манджура! — сказал он мне весело и хитро подмигнул. — Ну, держись, держись, я тебя выпускаю первым во втором отделении.

В эту минуту на сцену вбежал черноволосый гимназист-распорядитель. Он бросился к Подусту и прошептал:

— Георгий Авдеевич! Головной атаман едут...

С улицы в открытые окна актового зала донеслось гудение машины.

Все, кто был на сцене, подбежали к занавесу. Но дырок на всех не хватило, а меня совсем оттеснили. Я быстро спрыгнул с подмостков и, отбежав шага два в сторону, остановился у глухой полотняной стенки, которая отделяла актовый зал от сцены. Я мигом достал карандаш и проколупал в полотне очень удобную дырку. Через эту дырку я увидел, как батько Петлюра со свитой вошел в зал. Навстречу ему выскочил Про-

копович и, уронив палку, обнял атамана. Они поцеловались. Даже здесь, за сценой, было слышно, как кто-то из них смачно чмокнул мясистыми губами. Гимназисты вскочили со своих мест и заорали «слава».

Петлюра махнул им рукой, чтобы они садились, а сам направился дальше. Он прошел под самой сценой и сел в ложе, в каких-нибудь пяти шагах от меня. Очень было неприятно смотреть на него в упор, так и хотелось все время отвернуться, но, я, пересиливая страх, смотрел

Одетый в синий, наглухо застегнутый френч, Петлюра сидел в ложе на плюшевом кресле, положив ногу на ногу. В руках он держал фуражку-«керенку» с золотым трезубцем на околыше. Волосы у Петлюры были зачесаны налево и лежали гладко: наверное, он смазал их репейным маслом.

Мне показалось, что я где-то видел Петлюру, но где — я сперва припомнить не мог, а вспомнил только после. На жестяной, выгоревшей от солнца вывеске у нашего зареченского парикмахера Новижена был нарисован вот такой же прилизанный, надменный мужчина.

Петлюра все время озирался по сторонам, один раз он даже нагнулся и незаметно посмотрел под мягкий пружинный стул, на котором сидел, и, увидев, что под стулом никого нет, уже спокойнее стал рассматривать портреты своих министров.

За плечами у батьки на деревянных перилах ложи сидел начальник контрразведки Чеботарев. Даже сами петлюровцы называли его Малютой Скуратовым. Чеботареву было скучно тут, в гимназии. Широкоплечий, с лицом, изрытым оспой, одетый в серую австрийскую форму, с тяжелым маузером на боку, Чеботарев позевывал, — видно, ему очень хотелось уйти. Кроме Чеботарева, других петлюровских старшин в ложе не было.

Петлюру окружали офицеры-пилсудчики в нарядных голубоватых мундирах. Просторная ложа была сплошь забита ими. Среди пилсудчиков я вдруг заметил офицера с черными бакенбардами, которого мы с Маремухой видели несколько дней назад в городе. Он сидел на венском стуле рядом с атаманом и что-то вполголоса ему рассказывал. Петлюра заулыбался. Он вытащил из кармана длинный гребешок и осторожно, так, словно боялся расцарапать кожу, стал зачесы-

вать этим гребешком набок свои липкие, маслянистые волосы. А пилсудчик с бакенбардами хлопнул себя по коленке и затем, круто повернувшись, вдруг поманил кого-то перчаткой. Кого он зовет? А, ксендза!

Высокий, худой, с гладко выбритыми, запавшими щеками, согнувшись, он пробирался между рядами скамеек, и гимназисты, вставая один за другим, давали ему дорогу. На голове у ксендза была смешная бархатная шапочка. Осторожно забравшись в ложу, ксендз поклонился — сперва Петлюре, затем офицерам. Откуда ни возьмись со стулом в руках подскочил черноволосый распорядитель. Даже не посмотрев на него, ксендз ловко одной рукой поднял стул и сел. Сутана его распахнулась, и я увидел под ней хорошо начищенные сапоги с высокими голенищами. Ксендз снял шапочку, и выбритая кружочком на его голове тонзура заблестела под ярким светом люстры. «Наверное, это какой-нибудь знаменитый, особенный ксендз, — подумал я, — раз и Петлюра его знает».

В эту минуту в зале погас свет, и со сцены послышался голос директора гимназии Прокоповича.

То и дело запинаясь, директор густым басом говорил, как ему радостно на душе оттого, что в гимназию пришли такие дорогие гости, да еще в эти дни заключения военного союза с маршалом Пилсудским против большевиков.

Тут через дырку я увидел, что Петлюра и пилсудчики встали. Спрыгнул с перил ложи и Чеботарев, и доски заскрипели под ним. Повскакали со своих мест скауты, гимназисты стали кричать «слава», а оркестр громко заиграл «Ще не вмерла Україна», и зайчики от поднятых медных труб музыкантов побежали в разные стороны полутемного зала.

Петлюра, как только заиграла музыка, надел фуражку и взял под козырек. Так же по команде «смирно» стояли в ложе польские офицеры. Перебирая четки вытянулся вместе с ними и ксендз. Едва затихли последние звуки петлюровского гимна и все стали рассаживаться по местам, как директор гулко, словно в пустую бочку, закричал в актовый зал:

— За процветание нашей дорогой союзницы великой Речи Посполитой и ее маршала Юзефа Пилсудского — слава!

— Слава! Виват! — заорали вразброд гимназисты

Кто-то крикнул «виват» даже и здесь, за сценой. Оркестр снова заиграл, только на этот раз уже польский гимн.

В эту минуту меня взяли за шиворот. Я оглянулся.

Сзади, с тесаком на ремне, одетый в бойскаутскую форму, стоял здоровенный Кулибаба. Вблизи он казался еще выше.

— А ну, дай посмотрю! — властно прошипел он.

— Только недолго! — попросил я и посторонился.

Но Кулибаба, видно, и не думал скоро уходить. Он смотрел в зал, слегка согнувшись и широко раздвинув свои голые до коленей волосатые ноги. Тесак, как маятник, болтался на поясе Кулибабы. Мне надоело караулить дырку, и я пошел прочь. Я не стал смотреть, как бойскауты-спортсмены выжимали гири и делали пирамиды, — эти штуки я видел не раз на гимназическом дворе. Я бродил в глубине сцены и только слышал, как там, за декорациями, ухают, падая на пол, тяжелые гири.

Но вот живую картину я пропустить никак не мог. Пока со сцены убирали ковры и оттаскивали в сторону гири, я хорошо устроился у сигнального колокола. Отсюда сцена была видна гораздо лучше, чем из ложи, а самое главное — артисты бегали рядом, их при желании можно было тронуть рукой.

Занавес, звеня кольцами, раскрылся. На сцене, вокруг деревянного простого стола, сидели запорожцы. Сперва они молчали и даже не шевелились. Вдруг голый до пояса, рыжечубый запорожец затрясся словно в падучей, откинулся назад и наотмашь ахнул кулаком по спине другого, тоже обнаженного до пояса, запорожца в папахе с красным верхом. Удар был очень сильный, бедный запорожец не выдержал и даже глухо крякнул на весь актовый зал. А в это время лысый, с седым чубчиком на лбу, старый запорожский вояка громко засмеялся и, будто бы от смеха, повалился на пивную бочку, что лежала около суфлерской будки. Пока этот лысый смеялся, изо всех углов к столу стали сбегаться с пиками, со свернутыми знаменами остальные запорожцы. Подбежав к столу, они наклонились над писарем, а писарь в черном камзоле с белым воротником что-то быстро зацарапал сухим гусиным пером по бумаге. У меня под самым ухом звякнули в колокол.

И по этому сигналу артисты вдруг замерли на своих местах где кто был, все стало очень похоже на картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта картина висела у нас в учительской. Прошла минута, другая, а запорожцы все сидели и стояли на сцене как вкопанные — мне даже надоело смотреть на них, а в зале стали кашлять.

Занавес задергивали очень медленно, и артисты не трогались с места до тех пор, пока обе его половинки не сошлись совсем. Не успел я отойти от колокола, как ко мне, поправляя пенсне, подбежал Подуст.

— Приготовься, милый! Твоя очередь! — сказал он.

— Как, уже? Лучше я после...

— Ничего, не бойся! — подбодрил меня Подуст и одну за другой проверил все пуговицы на своем мундире. Затем он подошел к зеркалу и посмотрелся.

Пока Подуст прихорашивался, я осторожно вынул из фуражки утиное яйцо, разбил его и выпил тут же, на сцене. Яйцо было теплое, скользкое, очень противное.

Точно во сне, я услышал протяжные слова Подуста:

— Сейчас, панове, выступит с декламацией ученик пятого класса Украинской державной гимназии Василий Манджура!

Не помню, как я выбежал на сцену. Я остановился уже около самой рампы и чуть-чуть не раздавил ногой электрическую лампочку. Освещенные красноватым отблеском сцены, пристально смотрели на меня из первых рядов учителя и гимназисты. Я заметил на плетеном кресле в первом ряду бородатого директора гимназии Прокоповича. Он сидел, зажав ногами палку. Сбоку в темной ложе блестела гладко зачесанная голова Петлюры. В зале было очень тихо.

— Вирш Степана Руданского «Та гей, бики!» — несмело начал я и, сразу отважившись, продолжал:

Та гей, бики! Чого ж ви стали?
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша іржа поїла?
Чи затупилось чересло?

Во всех углах зала, пугая меня, загрохотало эхо. Чтобы заглушить его, я еще громче спрашивал:

Чого ж ви стали? Гей, бики!

Страшный и далекий зал слушал. Как большие косы, отбрасывая на стены длинные тени, свисали над публикой две гирлянды барвинка.

И вдруг я вспомнил кладбище: мы с Куницей рвем барвинок для торжественного вечера. Нам так спокойно меж могил! Высокие бересты и грабы почти сплошь закрывают памятники от солнца, изредка захлопает тугими крыльями вверху, в густой листве, горлица; потурчит немного да и улетит прочь, за реку, в лес, где посветлее и не так пустынно. И мне захотелось убежать отсюда куда угодно, хоть на кладбище... Но я видел пристальные взгляды учителей, они ждали, чтобы я читал дальше.

Вдруг в зале послышался стук шагов. Под самой сценой прошел к выходу Чеботарев. Мне сразу стало легче. Собрав последние силы, я закричал:

Та гей, бики! Зерно поспиіє,
Обілле золотом поля.
І потече ізнову медом
І молоком свята земля
І все мине, що гірко було,
Настануть дивнії роки.
Чого же ви стали, мої діти?
Пора настала! Гей, бики!

В ответ мне громко захлопали. Я сразу повернулся, но не успел забежать за кулисы, как меня остановил Подуст:

— Молодец! Чудесно! Читай еще!

Теперь, после похвалы учителя, мне было не так уже боязно. Я вернулся обратно к рампе, поклонился и объявил:

— «Когда мы были козаками». Вирш Тараса Шевченко!

В зале снова захлопали — видно, им в самом деле понравилась моя декламация, только директор Прокопович вдруг заерзал на своем скрипучем кресле, но я, не глядя на него, смело начал:

Когда мы были козаками,
Еще до унии, тогда
Как весело текли года!
Поляков звали мы друзьями,
Гордились вольными степями,
В садах, как лилии, цвели
Девчата, пели и любились...
Сынами матери гордились,
Сынами вольными... Росли...

Тут я перевел дыхание, глотнул как можно больше воздуха и вдруг услышал шепот:

— Манджура! Манджура!

Я повернул голову.

Сбоку из-за холщовых декораций с перекошенным лицом на меня страшно смотрел учитель Подуст. Он делал мне какие-то знаки. Я решил, что, наверное, ошибся и какую-нибудь строку прочитал не так. Чтобы не заметили моей ошибки, я еще громче и быстрее продолжал:

...Росли сыны и веселили
Глубокой старости лета...
Покуда именем Христа
Пришли ксендзы и запалили
Наш тихий край. И потекли
Моря большие слез и крови,
А сирых именем Христовым
Страданьям крестным обрекли...

Что такое? Теперь очень странно смотрел на меня и директор гимназии бородатый Прокопович. Он вдруг поднял палку и погрозил ею мне так, будто хотел прогнать меня со сцены. Потом он поднес руку к бороде, и ладонью закрыл себе рот. Похоже было — ему не нравилось, как я читаю. И в ложе, где сидел Петлюра, зашумели. Сквозь полумрак зала я увидел, как один за другим поднимались со своих стульев пилсудчики, я слышал, как звенели их шпоры.

— Манджура! Манджура! — неслось из-за кулис.

Я совсем растерялся.

«А может, это все мне только кажется?» — подумал я.

И, чувствуя, как к лицу приливает кровь, чувствуя, как все сильнее тянет меня к себе зрительный зал, едва удерживаясь, чтобы не упасть туда, вниз, на скользкий паркет, я быстро прочитал:

Поникли головы казачьи,
Как будто смятая трава.
Украйна плачет, стонет-плачет!
Летит на землю голова
За головой. Палач ликует.
А ксендз безумным языком
Кричит...

...На меня с визгом несся занавес.

И не успел я прочитать последних строк вирша, не успел даже отскочить назад, как обе половинки

плотного суконного занавеса хлопнули меня по ушам.

Я бросился назад, и в ту же минуту меня со страшной силой, точно тяжелым свинцовым кастетом, ударили под глаз. На секунду все лампочки на сцене потухли, но потом зажглись с такой силой, будто яркие молнии закружились перед моим лицом. И в этом ослепительном свете, вспыхнувшем у меня перед глазами, я увидел бледное и злое лицо Подуста, его выставленные вперед костлявые кулаки.

Подуст хотел ударить меня вторично, но я быстро пригнулся, и кулак учителя пролетел у меня над головой. Я пустился к двери, но Подуст пересек мне дорогу. Его пенсне упало на пол. Мундир расстегнулся.

— Стой! Стой!.. Куда, сволочь?.. — хрипел Подуст и размахивал руками. Уклоняясь от его ударов, я метался из одного угла в другой, я уже прямо ползал по полу. Горячие соленые слезы лились по лицу, застилали мне глаза. Еще немного, и я, совсем обессилев, грохнулся бы на пол. Но в эту минуту я услышал за спиной голос директора гимназии.

— Где он? — спросил директор, опираясь на буковую палку с серебряными монограммами.

— Вот, полюбуйтесь! — сказал бледный Подуст, тыча в меня пальцем и быстро застегивая мундир.

— Вы тоже хороши! — крикнул директор и подошел вплотную к Подусту. — Я же приказывал вам проверить программу... А вы... Это же позор, позор, вы понимаете? Так оскорбить наших союзников!

Прислушиваясь к словам директора, я решил, что меня бить не будут. Мне даже стало радостно, что из-за меня попало Подусту. «Так тебе и надо, черт очкастый, чтоб не дрался!» Но только я подумал это, утирая грязной ладонью слезы, как директор схватил меня за воротник и, повернув свою руку так, что воротник сразу стал меня душить, закричал:

— Мерзавец! Понимаешь, что ты обесславил нашу гимназию? Да еще в такой день! Об этом доложат Пилсудскому. О боже, боже! Понимаешь ты это или нет, байстрюк?

А что я мог сказать директору, когда я ничего не понимал?

Если я, допустим, сделал ошибку, так зачем же драться?

Я думал: «Кричи, кричи, а я буду молчать».

И молчал.

Директор оглянулся. Со всех сторон, из окон и дверей этой размалеванной под украинскую хату декорации, вытянув длинные, худые шеи, глядели на нас перемазанные гримом запорожцы. Одни уже сняли усы и парики, другие еще были в париках.

Вдруг из зала приоткрыли занавес. Оттуда выглянул гимназист-распорядитель и с испугом прошептал:

— Пане директор, вас требуют!

Прокопович вздрогнул и, схватив меня за шиворот, приказал:

— Будешь извиняться! — и сразу же потащил к лесенке, ведущей в зал.

— Куда?.. Я не хочу... Пустите, пане директор... Пустите! Я же ничего не сделал...

— Ах ты, злыдня... Ты еще издеваешься?.. Ты ничего не сделал? Да? — выкрикнул директор и сразу потянул меня за собой так, что я упал на колени и проехал на карачках по скользкому паркету несколько шагов.

Но даже извиниться мне не пришлось.

Не успел директор подтащить меня к ложе, как оттуда, звеня шпорами, спустился пилсудчик с черными бакенбардами. Следом за ним двинулись к нам Петлюра и его свита.

— Кто тебя научил, лайдак? — в упор выкрикнул офицер с бакенбардами.

Директор отпустил меня, и теперь я стоял свободный...

— Пся крев! Кто научил, я пытам? — снова повторил пилсудчик. От него сильно пахло табаком и духами.

— Никто, — ответил я, оглядываясь и думая, как бы удрать.

— Як то никто? Кто научил, мув! Ну? — И офицер поднял над моей головой кулак.

Я съежился. Еще сильнее заныла щека. Я вспомнил, как меня бил Подуст, как не дал он мне дочитать стихи Шевченко, и, всхлипывая, выпалил:

— Подуст научил!

— А-а, Подуст! Кто то та́ки ест Подуст? — офицер пристально посмотрел на директора.

— Прошу прощения. Подуст — это наш преподава-

тель, вот он, кстати, здесь! — ответил директор, показывая на Георгия Авдеевича.

— Вы?

Пилсудчик сразу направился к Подусту.

— Это неправда! — застонал Подуст и попятился. — Это наглая клевета... Я не проходил с ними Шевченко... У них был не допущенный теперь в гимназию Лазарев. Возможно, это он...

— Що ж вы брешете, пане учитель! Вы ж мне наказували, щоб... — всхлипывая, закричал я, но тут рядом с офицером появился ксендз.

— Пшепрашам! — не обращая на меня внимания, сказал он тихо Подусту. — Пан его не учил. Я то разумем. Але ж як пан допустил его читать вирши тэго святотатца? Тэго одвечнэго вро́га косцьолу польскего и Ватикану?

— Я думал... — забормотал Подуст, — я думал, он «Садок вишневый» прочтет...

— Думали, думали!.. — во весь голос закричал офицер, и щеки его налились кровью. — Чего вы нам морочите головы! То есть большевистска пропаганда... от цо! — И, обращаясь к директору, он со злостью добавил: — Прошу убедиться, портрет этого разбойника у вас на главном месте висит. Он научит ваших гимназистов, как убивать людей на большой дороге.

И все, кто был вокруг, задрали головы и стали смотреть под потолок, туда, где в тяжелой золоченой раме, покрытой выщитым украинским полотенцем, висел нарядный портрет Тараса Шевченко.

Сердитый, большелобый, в распахнутом овчинном тулупе, в теплой смушковой шапке, нахмурив брови, он смотрел с портрета прямо на нас.

Петлюра, желая угодить пилсудчикам, шагнул к директору и резко, словно совершенно незнакомому человеку, крикнул ему, указывая на портрет:

— Снять!

И в ту же минуту несколько скаутов, обгоняя друг друга, бросились к стене. Первый из них с шумом придвинул к ней высокую лакированную парту. Кто-то взгромоздил на парту длинную скамейку. Сразу же на эту скамейку полез черноволосый распорядитель. Поймав золоченую раму портрета, он изо всей силы дернул портрет вниз.

С треском лопнула веревка.

Как только портрет Шевченко стукнулся о край парты, его мигом схватили два скаута и поволокли в темный коридор.

На желтой стене зала, под лепными карнизами, торчал теперь только один большой крюк, и возле него колыхалась запорошенная пылью, потревоженная паутина.

— А с ним как быть? — показывая на меня, тихо спросил у офицера с бакенбардами директор Прокопович.

— С ним? — пилсудчик презрительно пожал плечами. — Ну, если пан директор и сейчас нуждается в советниках, тогда мне только остается пожалеть ваших учеников!

Прокопович вздрогнул и залился краской. Он суетливо посмотрел на Подуста. Рядом с Подустом стоял, ухмыляясь, Кулибаба.

Прокопович поманил его палкой. Кулибаба, придерживая тесак, мигом подлетел к директору и козырнул на ходу Петлюре. Кивая на меня, директор приказал Кулибабе:

— До карцеру! И не выпускать до моего распоряжения! А вы, — сказал он перепуганному Подусту, — продолжайте вечер. Завтра поговорим.

Когда Кулибаба выводил меня в коридор, у выхода столпилось много гимназистов. Кто-то тыкал в меня пальцем. Я шел упираясь. Хотелось заползти далеко под парты, чтобы только меня не разглядывали, как обезьяну. Легче стало лишь в темном коридоре. Откуда ни возьмись подбежал ко мне Куница и прошептал:

— Не журись, Василь, выручим!..

Кулибаба с ходу ударил Юзика ногой, и тот, отпрыгнув в темноту, заголосил оттуда на весь коридор:

Кули-баба, Кули-дед,
Бабу просят на обед.

Видя, что Кулибаба молчит, Юзик помчался вперед и, только мы поравнялись с темным классом, громко закричал оттуда:

— Эй ты, волосатый, иди сюда!

Кулибаба не останавливался.

Я понял, что Куница хочет спасти меня и нарочно дразнит Кулибабу. Куница думал, что Кулибаба бросится за ним, а я в это время смогу удрать.

— Боишься? Иди, иди сюда, балабошка, я тебе надаю! — кричал Куница, бегая позади нас.

Но Кулибаба оказался хитрее и меня так и не отпустил.

Карцер помещался в подвальном этаже гимназии, около дровяных сараев. Кулибаба втолкнул меня туда и сразу же, не зажигая света, на ощупь закрыл на висячий замок окованную жестью дверь.

В карцере было сыро, пахло осенним лесом, опенками, давно покинутыми вороньими гнездами. Хорошо еще, что на дворе светила полная луна. Ясный ее свет проникал в карцер сквозь решетчатое окошечко. Стекла в нем были наполовину разбиты, и я хорошо слышал, что делается в гимназии. Вверху, в актовом зале, сдвигали парты.

Потом заиграл духовой оркестр. Начались танцы. Звуки краковяков, матчишей и вальсов долетали ко мне сюда. Я слышал, как шаркали по полу ноги танцующих. Кто-то, возможно черноволосый распорядитель, во все горло кричал там, наверху:

— Адруат, панове! Авансе!

Было очень обидно сидеть здесь, в темном и сыром карцере, а самое главное — не знать, за что именно тебя посадили.

А тут еще щека здорово болела, я чувствовал даже, как напухает глаз, — проклятый Подуст меня очень крепко ударил; я не знал раньше, что он может драться.

И мне так стало жалко, что нет у нас Лазарева, с которым нас разлучили пилсудчики. Да разве позволил бы он себе когда-нибудь ударить ученика! Ни за что на свете! Он и в угол никого не ставил, а не то чтоб драться. И я вспомнил вдруг все то, что рассказывал нам Лазарев о Шевченко. Как мучили его помещики, как загнал его в далекую ссылку царь. Наверное, много ночей просидел Шевченко вот так же, как я теперь, в сырости и холоде, за железной решеткой. И били, наверное, его не раз...

Вспомнилось, как Лазарев рассказывал, что Тарас Шевченко, путешествуя по Украине, заехал и в наш старинный город. Он жил здесь, у народного учителя Петра Чуйкевича, записал от него песни про повстанца Устима Кармелюка, побывал в селе Вербка, где од-

на из гор названа крестьянами горой Кармелюка. Тарас Григорьевич ходил, должно быть, не раз в Старую крепость, осматривал башню, где томился Кармелюк, и холодные каменные ее стены напоминали поэту те тюремные камеры, где держали его жандармы.

И мне стало приятно, что я пострадал за него. И вдруг показалось, что Шевченко смотрит на меня из темного угла карцера — добрый, усатый Тарас Григорьевич. Мне даже послышалось:

— Не журись, Василь...

А музыка в актовом зале все продолжала играть. В перерывах между танцами затеяли «летучую почту»; почтальоны звонко выкрикивали номера.

Сидя на каменном полу карцера, я снова и снова повторял стихотворение Шевченко «Когда мы были козаками».

Здесь-то уже никто не мешал мне прочесть его спокойно, до конца. И в сырой тишине подвала, отчеканивая каждое слово, я читал сам для себя:

Поникли головы козачьи,
Как будто смятая трава.
Украйна плачет, стонет-плачет!
Летит на землю голова
За головой. Палач ликует.
А ксендз безумным языком
Кричит: «Te deum! Аллилуйя!»
Вот так, поляк, мой друг и брат мой,
Несытые ксендзы, магнаты
Нас разлучили, развели;
А мы теперь бы рядом шли,
Дай козаку ты руку снова
И сердце чистое подай!
И снова именем Христовым
Возобновим наш тихий рай.

«Чего же они ко мне присипались? Такие хорошие стихи! И даже дочитать не дали. Быть может, если бы дочитал, все бы ясно стало и никто бы не ругался? А впрочем, кто знает? Холера их возьми, что им надо...»

Я вспомнил при этом, сколько у меня есть друзей поляков на Заречье. Как мы хорошо живем с ними! Взять хотя бы Юзика Стародомского — Куницу. Дома он говорит только по-польски со своими родителями. И всегда на польские праздники мазурками меня уго-

щает. Но ведь он-то не обиделся на меня за это стихотворение?

Я прислонился к холодной стене карцера, и у меня за спиной что-то звякнуло. Нащупал ржавое кольцо, вдетое в железную скобу, замурованную в кирпич. Откуда она взялась здесь? А быть может, прикованные цепями к этому кольцу, сидели здесь когда-то провинившиеся монахи? Неприятно, жутко стало при одной мысли об этом, и я отодвинулся от стены.

В это время какая-то тень скользнула по двору, и я услышал знакомый шепот Куницы.

— Василь, ты жив? — шепнул Куница, прижимаясь лицом к разбитому окну.

— А чего мне сделается? — как можно спокойнее ответил я.

— Тебе не страшно там?

— Пустяки!

Куница схватился обеими руками за оконные решетки, попробовал их расшатать, но, видя, что они крепко сидят в метровой монастырской стене, пробормотал:

— Их и кувалдой не выбьешь... Слушай, Василь, наши хлопцы сложились у кого что было и пошли к Никифору. Дали ему хабара два карбованца. Он обещал, как только директор ляжет спать, выпустить тебя. А мы тебя подождем возле входа в кафедральный собор. Вместе домой пойдем. Згода?

— Спасибо, Юзю, — сказал я, тронутый участием хлопцев, — только подождите обязательно...

ПУСТОЙ УРОК

Сегодня у нас немецкий. Учителя мы ждем долго. Уже звонок давно прозвенел, а он все не идет.

Кунице надоело сидеть на парте. Он влез на подоконник и, не раздумывая, щелкнул никелированной задвижкой

— Гляди, Юзик, Цузамен тебя заругает! Он боится сквозняков! — крикнул Петька Маремуха с задней парты.

Куница только упрямо мотнул головой и молча, не отвечая Маремухе, потянул к себе кривую оконную ручку.

Коричневая замазка посыпалась на пол. Окно медленно, со скрипом раскрылось.

Все звуки и запахи свежего солнечного утра ворвались в наш пыльный класс; мы услышали за окнами веселые голоса скворцов. На кафедральном соборе глухо ворковали голуби, за площадью, на Житомирской улице, отнимая у проезжего крестьянина мешок с овсом, громко ругались два петлюровца. Сперва нам казалось, они, желая припугнуть крестьянина, начнут стрелять вверх, но проезжий отдал им мешок, и подвода быстро покатилась вниз, к реке.

Нас всех сразу потянуло к окнам, к городскому шуму.

По классу загуляли веселые сквозняки, засеребрилась пыль над пустыми партами. Комната сделалась просторнее, шире, словно стены ее раздвинулись. Запахло весной, полями, и еще сильнее захотелось убежать отсюда на волю.

Я лег на подоконник рядом с Юзиком. Чтобы не упасть, я уцепился рукой за его кожаный пояс и до половины высунулся наружу.

На площади, против здания гимназии, высился мрачный, облезлый кафедральный собор. Еще с начала войны его не ремонтировали. С толстых, закругленных стен осыпалась штукатурка, кое-где кирпичи поросли рыжеватым мхом. Высокие сводчатые двери были открыты. В соборе шла служба.

Петька Маремуха вдруг соскочил с подоконника и кинулся к печке. Он пошарил рукой в углу, вытащил оттуда мятого бумажного голубя, вернулся на подоконник и, приподнявшись на левом локте, выбросил голубя в открытое окно.

Плавно покачиваясь, голубь пролетел над каштанами и упал на мокрые еще от росы булыжники.

— Да разве так бросают, эх ты, сальтисон! Это не голубь, а ворона ободранная! Гляди, Петька, я сейчас до самого собора доброшу! — крикнул из соседнего окна Котька Григоренко.

Голова его тотчас же исчезла, и он спрыгнул с подоконника на пол.

Мы обернулись.

Подпрыгивая и на ходу одергивая новенькую курточку, Котька подбежал к своей парте, вытащил серый

пушистый ранец и вытянул из него первую попавшуюся тетрадку.

Даже не поглядев, что это за тетрадка, Котька вырвал из нее чистые листы. Потом он сложил их конвертиками, быстро смастерил трех голубей, приладил им хвосты, загнул клювы и ловко вскочил на подоконник.

Нежным, плавным толчком выбросил он первого голубя. Голубь, мы сразу заметили, пошел тяжело, будто клюв у него был свинцовый. Дважды он неловко вильнул хвостом и, не долетев даже до Петькиного голубя, завертелся и штопором упал на землю.

«Эх ты, задавака!» — чуть было не крикнул я Котьке. Но в это время два других голубя уже вылетели из окна.

Эти летят лучше.

Плавно покачиваясь, словно живые турманы, и рассекая толстыми клювами воздух, скользят они над пустой площадью и наконец, потеряв силу, спускаются на землю у самого собора.

В это время позади нас хлопнула дверь, и в класс ворвался долговязый Володька Марценюк.

— Ур-ра, ребята! Немец не пришел! — размахивая классным журналом, закричал Володька. — Честное слово, не пришел, два урока пустых!

Два пустых урока! Вот это здорово!

До каникул остается всего несколько дней. На дворе — теплынь, скоро каштаны зацветут. Зареченские хлопцы уже давно бегают в гимназию босиком. Из щелей каменного забора на гимназическом дворе повыползали красные жучки — «солдатики». Целыми семьями греются они на солнце, неподвижные, отощавшие за зиму. Греются и только изредка усами шевелят. Во дворе хорошо, а в классах хмуро, пыльно, неприветливо. Так бы и выбежал туда, во двор, под яркое солнце, на теплые камни мостовой. Разве можно сидеть в классе в такую погоду?

Молодец Цузамен, что опять не пришел на урок...

На прошлой неделе совсем низко над городом, тяжело урча, пролетел большой двухмоторный немецкий аэроплан. Весь серый, блестящий, с черными крестами на широких крыльях, он появился в небе совсем неожиданно и, описав два круга над Старой крепостью, опустился на зеленый луг за городом, около свечного

завода. И не успел еще затихнуть дрожащий гул его моторов, как со всех улиц города туда, где сел аэроплан, побежали ребята. Мы с Петькой Маремухой поспели первыми. От нашего Заречья до этого луга рукой подать — только подняться вверх по Госпитальной до бойни, а там и свечной завод.

Пока мы бежали к аэроплану, летчики, в кожаных шлемах, в очках, уже вылезли из кабины. Разминаясь, они ходили по траве, и головы их были вровень с крыльями. Они были краснолицые, в желтых коротеньких куртках, в блестящих крагах, в коричневых штанах с пуговками у коленей.

Даже не взглянув на сбежавшуюся толпу, летчики стали вытаскивать из аэроплана какие-то продолговатые, обшитые фанерой и обтянутые блестящими жестяными полосками пакеты. Они укладывали эти пакеты на траву около аэроплана так осторожно, словно там была стеклянная посуда.

А вскоре на длинном малиновом автомобиле приехали петлюровские офицеры.

Они откозыряли летчикам и первым делом отогнали нагайками от аэроплана ребят.

Мы с Петькой Маремухой полезли на забор свечного завода. Петька чуть не разодрал штаны о какой-то ржавый гвоздь. За спиной у нас было тихое, спокойное озеро, под самым забором шелестел тонкоствольный камыш.

Бархатистые его метелочки щекотали нам ноги, а мы, сидя на заборе, разглядывали распластавшийся на лугу аэроплан. Вот уже петлюровцы погрузили в свою малиновую машину пакеты. В это время подкатила, гудя рожком, другая машина. В нее сели летчики и укатили с петлюровцами в город, оставив около аэроплана стражу и надев на оба пропеллера зеленые брезентовые чехлы.

Несколько дней в городе только и было разговоров что о немецком аэроплане.

На нем прилетел из Берлина бывший военный министр Центральной рады Порш. Не только в Киеве, но даже и в нашем маленьком городе все хорошо знали, что Порш — отчаянный жулик, что он украл в министерстве несколько миллионов, уехал в Германию и на эти деньги купил себе в Берлине, на самой главной улице, большой красивый дом. И вот теперь он вернул-

ся на Украину важным нарядным гостем, чтобы проведать своего старого дружка Петлюру.

Вместе с Поршем на аэроплане прилетели немецкие инженеры. Они привезли Петлюре из Берлина отпечатанные там петлюровские деньги и должны были помочь ему печатать такие же деньги здесь, в денежной экспедиции, которую недавно открыли в здании духовной семинарии.

Нашего учителя немецкого языка, худого Оттерсбаха, приставили переводчиком к прилетевшим из Берлина немцам.

Оттерсбах водил немцев по городу, показывал им крепостные башни, что-то объяснял, размахивая длинными, как жерди, худыми руками. Он целыми днями ходил с ними, с утра до позднего вечера.

Вот и сегодня он снова небось таскается со своими инженерами, потому и не пришел в гимназию.

Кто-то из ребят на радостях, что Цузамена не будет, застучал крышкой парты, словно застрочил из пулемета.

— Тише! — цыкнул на него дежурный. — Прокопович наверху шатается. Выкатывайтесь-ка лучше на улицу.

Мы выкатываемся. Вместе с нами и Марценюк. Веселое у него сегодня дежурство. Не надо бегать за мелом и мокрой тряпкой. Доска так и стоит со вчерашнего дня чистой, нетронутой.

На цыпочках, гуськом мы пробегаем по сырым коридорам. Во всех классах тихо. Там уже начались уроки. Через стеклянные двери видны головы ребят, повернутые, как подсолнухи, в одну сторону — к дубовым кафедрам, на которых восседают учителя. Голосов почти не слышно.

Сейчас гимназия, с ее узкими сводчатыми коридорами, полутемными нишами кажется вымершей. А как страшно небось здесь ночью, когда сторож Никифор, закрыв на висячий замок парадные двери, уйдет к себе домой, во флигель! В классах тогда пусто, темно, каштановые ветви царапаются в окна, как совы. Закричишь в каком-нибудь углу, и вмиг ответят тебе все три пустых длинных коридора. Откликнутся нежилые классы, и пойдет по всему этому высокому ободранному зданию такой крик, гул, скрежет, что и у самого отчаянного восьмиклассника с перепугу сердце лопнет.

По истертым мраморным ступенькам главной лестницы мы бежим в коридор первого этажа, а оттуда по черному ходу выскакиваем во двор

Усеянная желтым песчаником футбольная площадка пуста и как будто поджидает нас. Гимназические уборщицы чисто вымели площадку, выщипали проросшую местами траву: сегодня вечером здесь первый скаутский парад.

— В чехарду или в пуговички? — закричал Марценюк, выбегая на середину двора.

— В цурки! В чижа!

— В сыщика и вора! — закричал Куница, вскарабкавшись на высокий пень около забора.

— Ну, опять в сыщика... — процедил сквозь зубы Котька Григоренко. — Побежали лучше в спортивный зал, я покажу, как разножку на брусьях делать!

Спортивный зал находился в бывшем хлебном амбаре возле доминиканского костела, в котором служил ксендз Шуман. На деревянном полу зала понаставлены турники, брусья и обтянутые желтой кожей кобылки. Там по вечерам занимаются петлюровские бойскауты. Их обучает гимнастике старый чех Вондра.

Вся грудь Вондры расписана фиолетовыми орлами, хвостатыми женщинами и страшными скелетами.

Котька Григоренко со своими бойскаутами тоже каждый вечер ходит на выучку к одноглазому Вондре. Он ловко скачет там через самую длинную кобылку, на кольцах делает «жабку» и «крест», но лучше всего Котька кувыркается на турнике. Правда, вчера, делая «солнце», он сорвался с турника и, проехав несколько шагов по грязному полу спортивного зала, ободрал левую щеку до крови. Под левым глазом у него сейчас багровая ссадина. Даже нос от ушиба слегка подпух. Так ему, хвастуну, и надо! Пусть задается поменьше со своими фокусами. Наколачивать шишки каждый может.

— А ну его к лешему, твой спортивный зал! — крикнул я.

— В сыщика и вора! В сыщика и вора! — закричал Петька Маремуха, искоса поглядывая на своего прилизанного дружка Котьку Григоренко.

Маремуха неуклюж, пожалуй, ниже всех нас, настоящий коротышка. Ему в спортивном зале и вовсе делать нечего. Зато «сыщики и воры» — его любимая игра.

— Ну так что ж, хлопцы, давай в сыщика. Времени

у нас много, — говорит Куница, чувствуя, что перевес на нашей стороне.

Кому ж быть сыщиком, кому вором?

Как всегда, нас рассудит палка. Тот, чья рука последней охватит суковатую верхушку палки, — сыщик.

Когда все перемерились, вышло, что я, Петька Маремуха, Володька Марценюк, Юзик Стародомский и еще несколько ребят — воры.

Сашка Бобырь, Котька Григоренко и другие, не попавшие в нашу компанию, — сыщики. Главным сыщиков они выбрали Котьку Григоренко.

Котька сперва отказался. Ему было обидно, что ребята не захотели пойти с ним в спортивный зал. Но, помедлив немного, он согласился.

Что ни говори, а быть атаманом сыщиков — почетное дело.

Ну будет жара! Держись, воры!

Хоть и маменькин сынок Котька, хоть и водится он больше со своими приятелями-панычами, которые и раньше, при царе, учились в этой гимназии, но он ловкий, хитрый, пронырливый, знает все ходы и убежища. От него надо прятаться получше — того и гляди поймает!

Вслед за своим атаманом сыщики сняли пояса, свернули их в трубки, а потом растянули: получились самодельные револьверы.

Конопатый Сашка Бобырь потихоньку вытащил из кармана свой маленький блестящий «бульдог». Сашка опустил револьвер дулом вниз и оглянулся. Он боялся, не следит ли за ним какой-нибудь петлюровец с улицы.

Под командой Котьки Григоренко сыщики уходят в подвал, побожившись не подглядывать, куда мы побежим.

Уговор такой: они считают до ста двадцати и дают из подвала первый свисток. Затем снова отсчитывают сто двадцать и свистят второй раз. И только после третьего свистка они имеют право искать нас.

— Чур-чура не подглядывать! — закричал вдогонку сыщикам Петька Маремуха.

— И так всех переловим! — огрызнулся Сашка Бобырь и погрозил Маремухе своим блестящим «бульдогом».

Котька пропустил всех сыщиков в подвал, остановился у порога. Он раздвинул ноги, его серая курточка

распахнулась, синяя, с белыми кантами гимназическая фуражка съехала на затылок, из-под лакированного козырька выбивались черные волосы.

— Слушайте вы, Куницыно племя, — торжественно сказал Котька, поправляя фуражку, — замрите здесь и ждите свистка. Если кто убежит до свистка, сразу выходит из игры. Поняли?

Мы поняли.

Переминаясь с ноги на ногу, мы стоим на площадке около подвала.

Наконец Котька нырнул в подвал к своей команде. Сейчас свистнет.

Но свистка все нет. Что же он так долго? Эдак все время зря уйдет.

И вот наконец из-под низких сводов подвала донесся к нам первый свисток.

Словно от толчка, мы срываемся с места и, подгоняя один другого, мчимся за каменные гимназические сараи.

БАШНЯ КОНЕЦПОЛЬСКОГО

Колокольная улица пролегала внизу, под высокой стеной гимназического двора.

Она совсем близко, рядом, а вот добраться до нее не так-то просто. Надо сперва выйти на площадь, обогнуть кафедральный собор, спуститься вниз по крутому Гимназическому переулку, и лишь тогда можно попасть на Колокольную.

Но мы не дураки! Пусть учителя и директор ходят той дорогой. У нас есть свой путь на Колокольную.

По обеим ее сторонам стояли высокие телеграфные столбы. Один из них торчал у самого забора. Стоило взобраться на забор и протянуть руку — можно было дотронуться до белых изоляторов на верхушке этого столба.

Однажды Куница придумал: а что, если съехать вниз на Колокольную по столбу? Попробовали, не шатается ли столб. Оказалось, столб вкопан крепко. Куница отважился съехать первым. С того дня телеграфный столб часто спасал нас и от ремней старшеклассников, и от бородатого Прокоповича.

Вот и сейчас мы подбежали к этому самому столбу.

Первым взобрался на стену Володька Марценюк. Протянув вперед руки, он припал к столбу грудью и быстро соскользнул вниз. Сразу же после него полез Петька Маремуха.

Петьке было страшно, но он храбрился.

Мы видели его побледневшее лицо, чуть вздрагивающие короткие ноги. Как бы он и вправду не сорвался! Однажды, когда мы вместе с ним карабкались на высокий дуб за ястребиными яйцами, от высоты у Маремухи закружилась голова и он чуть было не сорвался. «Вот и сейчас слетит чего доброго, — подумал я. — Что мы с ним тогда делать будем!»

За сараями раздался протяжный второй свисток.

Маремуха припал животом к столбу и поехал наконец вниз.

Ну как будто все обошлось благополучно.

Один за другим мы съезжали по гладкому столбу на Колокольную улицу.

Внизу нас поджидал Маремуха.

— Хлопцы, я с вами? — спросил Маремуха.

— Не надо, без тебя обойдемся! — отрезал Куница и повернулся ко мне. — Давай сюда! — прошептал он, кивая головой на узкую лазейку в кустах дерезы.

Оставив Петьку одного, мы перебежали улицу и нырнули с разбегу в колючие кусты. Согнувшись, мы пробирались над обрывом по извилистой, чуть заметной в частых кустах тропинке.

Густые колючие ветки дерезы переплелись, как проволочные заграждения. Под ногами чернели крючковатые корни кустарника, ржавые завитки жести.

Мы пробирались осторожно, чтобы не порезать босые ноги. Какая-то пестрая птичка выпорхнула у меня перед самым носом. Мы бежали молча, не оглядываясь. Ведь за спиной погоня!

Вот и Турецкая лестница. Давно-давно, лет триста назад, построили ее турки. Лестница круто спускается по скалам вниз к реке. А на другой стороне реки, у самого берега, видна одинокая, полуразрушенная башня Конецпольского. Она стоит здесь особняком, на отлете, вдали от Старой крепости. С давних времен она стережет вход в город с севера, со стороны Заречья.

От подножия Турецкой лестницы, через реку, прямо к башне Конецпольского, переброшена дощатая кладка.

Вот по этой самой кладке перебегал недавно,

отстреливаясь от петлюровцев, наш сосед Омелюстый.

— Спрячемся в башне! — тяжело дыша, предложил Куница.

Я кивнул головой.

Спускаться по Турецкой лестнице — самое милое дело. По бокам ее, почти до самой реки, прочные дубовые перила.

Сверху они гладкие, отполированные.

Мы легли на перила и поехали вниз пролет за пролетом, не успевая пересчитывать бегущие кверху выщербленные ступеньки. На воротнике у меня оборвалась пуговица, и живот обожгло так, будто горчичник прилепили.

Не оправляя сбившихся рубах, растрепанные, словно после драки, мы вскочили на узкую кладочку. Под ногами бурлила быстрая вода. Доски скрипели, гнулись, и вся кладка колыхалась под нами как живая, будто с берега кто-то из озорства раскачивал ее...

Мы ворвались в каменную арку башни и сразу же по витой лестнице взбежали на второй этаж. Здесь-то нас не найдут!

Усталые, потные, мы упали прямо на траву. Куница сразу же подполз к единственной амбразуре. Она была похожа на перевернутую замочную скважину. Через амбразуру были хорошо видны противоположный берег реки с Турецкой лестницей и половина дощатой кладки, по которой мы только что пробежали.

Если бы сыщики пустились за нами по Турецкой лестнице, Юзик мог их сразу заметить, и у нас хватило бы времени спрятаться в другом месте.

В башне Конецпольского было тихо и прохладно. Мраморный, почти развалившийся камин белел в стене. Потолка над башней не было, он давно обвалился, лишь одна полусгнившая балка, как пушка, торчала из каменной стены. В этой толстой замшелой стене были выбиты три высокие, просторные ниши. Должно быть, в них осажденные запорожцами Конецпольские складывали порох и тяжелые чугунные ядра. Весь пол второго этажа зарос сочной, густой травой. Трава под стеной была примята. Видно, здесь кто-то был. Уж не Омелюстого ли это следы остались в башне? Ну конечно же, Ивана! Ведь совсем недавно он палил отсюда по петлюровцам. Должно быть, он лежал у самой амбразуры с наганом

в руке — вот так, как лежит сейчас Куница, — прижавшись животом к мягкой траве, широко раскинув ноги.

Ох, и ловко же Иван тогда подстрелил чубатого петлюровца! Видно, он хороший стрелок: из нагана на таком расстоянии не всякий попадет. Если тот раненый остался жив, то, наверное, долго будет помнить эту башню Конецпольского.

Неужели петлюровцам удалось поймать Омелюстого?

Но ведь даже там, в самом центре города, он сумел провести петлюровцев. Неужели же здесь, на окраине Заречья, они смогли его схватить?

— Послушай! А я думаю, он все-таки удрал отсюда. Вот было бы здорово!

— Кто удрал? — спросил Юзик и повернулся лицом ко мне. — Ты про кого, Васька?

— Про Ивана... Помнишь, как он палил из этой бойницы по гайдамакам?

— Ах, ты про Ивана! — сказал Куница и вырвал из расщелины клок сочной травы. — Ну да где им Омелюстого поймать... Он хитрый, как щука, десятерых петлюровцев проведет... Знаешь, я даже думаю — он далеко и не удрал, а живет себе потихоньку где-нибудь здесь, в городе, или в подземный ход забрался. Я вот позавчера шел мимо крепостного моста, присел там отдохнуть, а возле меня два мужика поили коней и про этот подземный ход говорили. Один божился, что в подземном ходе, под крепостью, тысячи две большевиков сидят. Он говорил, что большевики нарочно Петлюру в город пустили, чтобы ему назад дорогу перегородить. Вот будет темная-темная ночь — ни звездочки на небе, ни месяца, — тогда выйдут все большевики с фонарями из подземного хода и петлюровцев в плен поберут, а самого Петлюру с крепостного моста в водопад кинут.

— Так как же они там сидят? Есть-то им надо?

— Ну, у них там много разных запасов. Красные, прежде чем уйти из города, понавозили туда и сала, и пшена, и хлеба. Сидят под землей и кулеш варят.

— Постой! А дым-то куда?

— Дым? — Куница задумался. — А, наверное, они в крепостные башни дымоходы вывели, и через них наверх весь дым улетает.

«Ну уж это, по-моему, сказки. Кто-нибудь из них врет — или мужик, или Куница».

— Ты правду говоришь?

— А то вру? — обиделся Куница и замолк.

ДРАКА

Скоро мне наскучило сидеть в башне Конецпольского. Сыщиков не слышно. Может, они позабыли про нас. А что, если выбежать отсюда, спрятаться в другом месте?

— Юзик, — сказал я, — знаешь, мы не по правилу играем.

— Почему не по правилу?

— А вот почему. Ты ведь у нас атаман, ты должен командовать всеми ворами, а не прятаться здесь со мной.

— Нет, — ответил Куница, не глядя на меня. — Я должен скрываться. Простого вора сцапают — не велика беда, а если я попадусь в руки сыщикам, вся шайка развалится. А потом... — Куница замялся, — побожись, что никому не скажешь.

— Пусть меня гром побьет, пусть я провалюсь с этой башни в реку, пусть...

— Ладно, — оборвал меня Куница, — теперь слушай. Мой батько сегодня где-то под нашей гимназической стеной должен ловить собак. Их много там развелось. А я вовсе не хочу на него наскочить. Увидит, что я вместо занятий по улицам шляюсь, такую ижицу пропишет, что держись... Он злой теперь. Вчера кто-то оторвал у нас в сарае доску, и все собаки, каких батько на базаре поймал, разбежались...

Так вот оно в чем дело! Куница отца боится.

Отец Куницы ловит собак для хозяина городской живодерни Забодаева, а тот убивает их, сдирает шкуры, а собачье сало продает на мыловаренный завод. Отец Куницы часто разъезжает по городу на длинном фургоне, который тащит пегая жидкохвостая кляча.

Когда эта черная собачья тюрьма катится по улицам города, за ней с криками мчится целая толпа мальчишек. Пойманные собаки визжат, бросаются на решетку, как шакалы в зверинце. А мальчишки, обгоняя друг друга, бегут за фургоном, выкрикивая:

— Гицель! Гицель!

Так в нашем городе зовут собаколовов.

Нередко и Юзика наши хлопцы дразнят этим обидным прозвищем. Тогда он злится и бросается на обидчиков с кулаками. Однажды он из-за этого подрался с Котькой Григоренко. Хорошо, что их вовремя успели разнять. Григоренко сейчас же побежал в директорскую жаловаться, но, к счастью Куницы, директора не было, и на этот раз все обошлось благополучно.

Зато на прошлой неделе, когда у нас в гимназии стали записывать в бойскауты, Котька припомнил старое и решил отплатить Кунице. Котька — скаутский звеньевод — сам записывал охотников. Сашка Бобырь посоветовал Кунице записаться, но Котька наотрез отказался принять Юзика в отряд.

— Твой отец гицель, а от тебя самого собачатиной несет. Ты нам не пара! — важно объяснил он Стародомскому и добавил: — К тому же ты поляк. Кошевой не разрешит тебя записывать в скаутский украинский отряд!

— А мне плевать на вашего кошевого! — гордо сказал Юзик. — Я к вам и сам не пойду!

С той поры Куница еще больше возненавидел Котьку Григоренко.

— А знаешь, Юзик, — сказал я Кунице, — ведь сегодня вечером бойскауты собираются на гимназическом дворе. У них будет сбор перед походом. Может, поглядим?

— Чего я у них не видел? — вдруг обозлился Куница. — Ноги голые, на плечах какие-то поганые ленты, в руках палки. Вот погоди, придут красные, мы к ним в разведчики запишемся.

Служить в разведчиках у красных, помогать Советской власти была его давнишняя мечта. Он ждал возвращения большевиков, чтобы уехать в Киев: у него там дядька у красных служил, дядька обещал пристроить Куницу в такую школу, где разведчиков обучают. Я, правда, хорошо не знал, есть ли такая школа, но Куница мне все уши прожужжал о ней.

«Оно бы, конечно, хорошо поступить туда, — думал я, — да у меня в Киеве никого нет, поступить мне в школу разведчиков вряд ли удастся».

Говорят, бойскауты скоро идут на учение в Нагорянский лес. А в Нагорянах живет мой дядька Авксен-

тий, у которого сейчас скрывается отец. Самый главный скаутский начальник, курносый Марко Гржибовский, очень зол на моего отца.

Однажды мой отец заступился за старого Маремуху. Маремуха сделал Марко сапоги, а тому они не понравились. Марко стал придираться и ругать сапожника, а потом ударил его каблуком нового сапога по лицу. У старого Маремухи из носа пошла кровь. Мой отец схватил Марко за шиворот, вытолкал его из мастерской и спустил с крыльца вниз на мостовую.

— Выискался тоже гадючий заступник! — процедил с ненавистью Марко. — Погоди, погоди, будешь знать... Покажут тебе... Припомнишь...

Драться с моим отцом он побаивался: знал, что отец надает ему.

Сейчас Марко есаул, он всегда носит шпоры и большой маузер.

Я старался не попадаться на глаза Гржибовскому, когда он, звеня шпорами, проходил по коридорам в директорскую к бородатому Прокоповичу. Если бы Марко припомнил, что я сын того самого Мирона Манджуры, который вышвырнул его на улицу, кто знает — не засадили бы меня сразу в петлюровскую кутузку?

— Васька, слышишь? — вдруг дернул меня за рукав Куница и тотчас же прижался вплотную к амбразуре.

— Что такое, Юзик? Ну-ка пусти!

Но Куница заслонил всю амбразуру.

— Погоди, не мешай, кажется, бегут сюда! — прошептал он.

И впрямь, через верхний пролом, что над башней, донеслись к нам чьи-то очень знакомые голоса. Говорили быстро и отрывисто.

Голоса приближались к башне справа, от заросшего берега реки, — обычно тут никто не ходил. Скалы в этом месте примыкали к реке, вода омывала их каменные подножия. Чтобы пройти здесь, надо было разуться и шлепать прямо по воде.

Вдруг среди этих голосов я узнал знакомую скороговорку Котьки Григоренко.

Эх, проворонили! Внизу, у самого подножия башни, захрустел щебень.

Куда бежать?

Выход из башни один, а сейчас возле него сыщики. Выглянешь — сразу сцапают.

Может, вылезть на стенку башни? Ну хорошо, а дальше куда? Вниз ведь не спрыгнешь — высоко, а сидеть без толку вверху, ворон пугать — стыдно.

— Идут сюда! Ложись, спрячься! — прошипел Юзик, отскакивая от амбразуры.

Круглая, ободранная башня пуста, и спрятаться в ней решительно негде. Разве... в нишах?! Не раздумывая, мы оба бросились в эти темные, просыревшие впадины и замерли там, словно святые на доминиканском костеле.

Но уже в нижнем этаже треснула под чьим-то каблуком щепка.

Заскрипела деревянная лестница.

Кто-то из сыщиков поднимался вверх. Едва дыша, я еще плотнее прижался к холодным камням.

И вдруг меня оглушил злорадный крик Сашки Бобыря:

— Хлопцы, сюда! Они здесь!

Через несколько минут нас вывели на берег под руки. Сыщики окружили нас. Сашка Бобырь, то и дело щелкая незаряженным блестящим «бульдогом», шел сбоку. Не удрать было от проклятых сыщиков — догнали бы, да и удирать-то мы, по уговору, не имели права.

Эх, лучше бы мы спрятались на воле, в кустах за Колокольной или в подвале костела. А все Куница. Затащил меня сюда, в эту чертову башню, отца побоялся...

Проклятые сыщики! Как они вертелись вокруг нас, шумели, подсмеивались!

Но больше всех суетился Котька Григоренко. Он размахивал своим револьвером, две пуговицы на его форменной курточке были расстегнуты, фуражка заломлена на затылок, а хитрые, цвета густого чая, глаза так и бегали от радости под черными бровями.

— Свяжите им руки! — вдруг приказал он.

— Не имеете права! — огрызнулся Куница. — Разбойникам никогда рук не вязали!

— Вы голодранцы, а не разбойники, а ты хорек, а не куница. Знаешь ты много, что можно, а что не можно, — с важным видом заявил Котька, застегивая курточку. — А ну, хлопцы, кому я сказал! Вяжите потуже, чтоб не задавались.

Сашка Бобырь засунул в карман «бульдог» и подбе-

жал к Юзику. Куница стал отбиваться, я бросился ему на помощь. Но в эту же минуту Котька Григоренко, подбежал сзади, прыгнул ко мне на плечи.

— Пусти! — закричал я. — Пусти! — А сам, широко расставив ноги и тяжело переступая, старался подойти поближе к толстой акации, чтобы, откинувшись всем телом назад, ударить Григоренко о ствол дерева. — Пусти! — зло крикнул я.

Но Котька и слушать меня не хотел. Он висел у меня на плечах и хрипел, как волк. Я видел, как свирепо отбивается от сыщиков наш атаман Куница. Он цепкий, увертливый парень, даром что худой. Его азарт поддал и мне силы. Я рванулся к дереву, но в это время Котька Григоренко неожиданно подставил мне подножку, и я полетел вниз головой на колючий щебень.

Я не успел даже вырвать руки — их держал сзади Григоренко — и грохнулся прямо лицом и грудью на камни.

Острая боль обожгла лицо. На глаза навернулись слезы. Я больно ушиб себе о камень переносицу, даже в голове загудело, и рот сразу наполнился солоноватой кровью. А Котька Григоренко снова навалился на меня и стал заламывать мне руки.

Жгучая злоба внезапно заглушила боль.

Поднатужившись, я приподнялся на одно колено и, резко мотнув головой, отбросил Котьку в сторону. Хоть Котька и спортсмен, хоть он каждую переменку кирпичи выжимает, но я тоже не из слабеньких. Не успел он протянуть ко мне руки, чтобы снова схватить меня за шею, как я, вскочив на обе ноги, потянул к себе его скользкий, вьющийся гадюкой лакированный ремень.

Заодно я локтем сшиб с Котькиной головы фуражку. Она, словно обруч, покатилась к речке.

— А-а-а, ты подножку ставить?! Постой, я тебе дам, директорский подлиза! Я тебе покажу!.. — закричал я.

Мне удалось вырвать у Котьки ремень. Я сразу стал стегать Григоренко его же собственным ремнем то по спине, то по рукам. Но Котька как-то особенно, по-собачьи вывернулся и вдруг, на лету схватив мою руку, впился в нее зубами.

Пригнувшись, я ударил Котьку головой в грудь. Он потерял равновесие и полетел в речку.

Я не успел даже сообразить, как это все произошло. Густые брызги с шумом взлетели над рекой. Здесь, должно быть, глубоко, потому что Котька сразу скрылся под водой.

Мне стало страшно: а что, если он утонет? Но через секунду мокрая Котькина голова, как пробка, выскочила наружу. Котька махал руками, его растопыренные пальцы хватали воду, — видно с перепугу он позабыл, как плавают.

Захлебываясь, выпучив испуганные глаза, он хриплым голосом закричал:

— Караул! Спасите!

Сыщики бросились к нему. Куница подмигнул мне. Воспользовавшись замешательством сыщиков, мы пустились наутек.

У ДИРЕКТОРА

Вот и верхняя площадка Турецкой лестницы! Отсюда хорошо видна башня Конецпольского и то место, с которого я только что сбросил Григоренко в воду. Пока мы с Куницей взбежали наверх, сыщики уже вытащили Котьку из речки. Вон внизу он прыгает на одной ноге, весь черный, мокрый, — видно, в ухо ему вода попала. Рядом гурьбой толпятся сыщики.

— Ну, держись, Василь! Котька тебе этого не спустит!

— Думаешь, я сильно боюсь его? Я не такой боягуз, как Петька Маремуха, — у того Котька на голове ездит, и ничего Ну что он мне сделает, что? Пожалуется директору, да? Пускай! Ведь он первый меня затронул! Есть след, погляди? — и я показал Юзику разбитую переносицу.

— Есть, маленький, правда, но есть! И под губой кровь. Сотри!

— Да это из носа, я знаю! Директор спросит, я все расскажу: и как он подножку мне подставил, и как кровь из носа пустил. Пусть только наябедничает — плохо ему будет!

И мы помчались дальше, на Колокольную улицу.

Весь урок пения мне не сиделось на парте. Я ерзал, поглядывая на дверь: мне все чудились в коридоре директорские шаги.

Всем классом мы разучивали к торжественному вечеру «Многая лета».

Учительница пения, худая пани Родлевская, с буклями на висках, в длинном черном платье, то и дело грозила нам камертоном, стучала им по кафедре, и, когда металлический звон проплывал по классу, Родлевская, вытянувшись на цыпочках, пищала:

— Начинайте, дети! Начинайте, дети! Ми-ми-ля-соль-фа-ми-ре-ми-фа-ре-ми-ми! Ради бога: ми-ми!

Володька Марценюк поет громко, так, что даже паутина дрожит около него в углу.

Петька Маремуха тянет дискантом — тонко, жалобно, точно плачет или милостыню просит.

Маремуха такой толстый, а вот голос у него как у маленькой девчонки.

А я совсем не пою, только рот раскрываю, чтобы не привязалась пани Родлевская. Не до пения мне сейчас! Какая же тут, к черту, «Многая лета», когда вот-вот позовут меня на головомойку к бородатому Прокоповичу.

Парта Котьки Григоренко свободна. Его в классе нет.

Еще до того, как начался урок пения, сыщики и воры сбежались обратно в гимназию, и сразу разнесся слух о том, как я выкупал Котьку Григоренко. Ребята, сбившись в кучу около поленниц, перебивая друг друга, на все лады толковали о нашей драке.

Наконец во дворе появился и сам Котька. Весь какой-то общипанный, жалкий, с прилипшими ко лбу волосами, он был похож на мокрую курицу.

Я в это время искал около гимназических подвалов заячью капусту, чтобы залепить ранку на переносице. Увидев Котьку, мрачного, насупленного, я на миг позабыл о неизбежном вызове в директорскую. Ох, как мне было приятно, что я проучил этого задаваку, чистенького докторского сынка! За все я ему отомстил! И за Куницу, и за свой разбитый нос, и за наших разбойников.

Не глядя в нашу сторону, словно не замечая нас, Котька быстро прошел по черному ходу прямо к Прокоповичу и наследил по всему паркету. Тонкие, как ниточки, струйки воды, стекая с намокшей одежды, протянулись вслед за Котькой до самой директорской. Ка-

залось, кто-то пронес по коридору воду в дырявом ведре.

Как только прозвенел звонок, Володька Марценюк побежал в директорскую за классным журналом для пани Родлевской. Он видел там Котьку и, вернувшись в класс, рассказал нам:

— Прокопович завернул его в ту материю — помните, что на флаги для вечера купили? Котька сидит в кресле, глаза красные, зубами стучит, а сам весь желто-голубой — прямо попугай. Увидел меня — отвернулся, разговаривать даже не стал. А Никифора директор послал к Котькиному отцу!

«Паршивый маменькин сынок этот Котька, — думал я. — А еще задается, что спортсмен, что сильнее его в классе нет. Взять любого из наших зареченских ребят — все до поздней осени купаются. Прыгнешь иной раз в воду, а она холодная, даже круги перед глазами идут, — и ничего.

А этого задаваку толкнули на минуту в теплую воду, и он уже, бедняжка, продрог, раскис, дрожит, как щенок, — целый тарарам вокруг него. А еще атаман, скаутский начальник! У мамки бы на коленях ему сидеть!»

Обычно уроки пения у нас пролетали быстрее остальных. Разучили ноты, пропели несколько раз песню, и уже звонок заливается в коридоре. А в этот день время тянулось очень долго. Пани Родлевская надоела до тошноты. Она то приседала от волнения, то снова вытягивалась над кафедрой так, словно ее распинали: тощая, длинная, с круглым кадыком, выпирающим, словно галочье яйцо. Карамора длинноногая — так называли мы ее. Она и в самом деле была похожа на длинноногого тощего комара. Ребята говорили, что Родлевская закрашивает чернилами седые волосы.

Не вытерпев, я сказал пани Родлевской, что у меня пересохло в горле и что я хочу пить. Получив разрешение выйти из класса, выскочил в коридор. Ни души. Тихонько пробрался я по пустому коридору в актовый зал и через сцену вышел на балкон.

Густые каштановые ветви шелестели возле самой чугунной решетки.

Скоро уж зацветет каштан!

Скоро из зеленой листвы, как свечи на рождественской елке, подымутся и расцветут стройные, бледно-розовые цветы каштанов. Загудят над ними вечером майские жуки, будет обдувать эти цветы теплый летний ветер, унося с собою нежный запах.

Славно было бы заночевать в такую ночь тут, на балконе. Разложить бы здесь складную кровать, бросить подушку под голову, завернуться в одеяло и лежать долго-долго с закрытыми глазами и, засыпая, слушать, как умолкает там, за площадью, за кафедральным собором, уставший за день от петлюровских приказов настороженный город. Но тотчас же я вспомнил о длинных, мрачных коридорах гимназии, и у меня сразу пропала всякая охота ночевать здесь.

Но ничего, вот отпустят на каникулы — поеду в Нагоряны, разыщу отца и каждую ночь буду спать там на свежем воздухе в стоге сена. Рядом отец заснет, а по другую сторону — дядька Авксентий. Никакие петлюровцы тогда не будут мне страшны. Поскорее бы нас отпустили на каникулы... Вот только эта история с купаньем... А, чепуха! Я сумею выпутаться, не в таких переделках бывал.

Но что это?

Прямо из-за кафедрального собора на площадь выезжает пролетка. Она мчится сюда, к гимназии. Кто бы это мог быть?

Неужели отец Котьки? Не иначе как он!

Ну да, это он. На нем вышитая рубашка, загорелая лысина блестит на солнце.

У самого крыльца гимназии Григоренко круто останавливает лошадь и, посапывая, вылезает из пролетки. Он привязывает лошадь к черному столбу и, вытащив из пролетки круглый черный сверток, скрывается в дверях подъезда.

Наверное, привез одежду своему Котьке. Боится, усатый черт, чтобы сынок не простудился. Бросил свою больницу и прикатил сюда.

Я стоял на балконе, скрытый каштановыми листьями. Возвращаться на урок теперь уже мне совсем не хотелось. Уж лучше подожду здесь до звонка. В журнале я отмечен, а память у этой караморы Родлевской плохая. Конечно, она уже позабыла, что отпустила меня из класса.

Раздался звонок. Зашумели в классах гимназисты.

Я слышал их крики, говор, слышал, как захлопали крышки парт. А я все стоял и обдумывал, как бы мне безопаснее прошмыгнуть в класс, чтобы не заметили меня ни директор, ни Котька. Не хотелось попадаться им на глаза. Трудно даже передать, как не хотелось!

Внизу, под балконом, хлопает тяжелая дверь, и на тротуар выходят усатый доктор Григоренко, наш директор Прокопович и Котька. Горе-атаман уже переоделся в сухое платье, на нем тесный матросский костюмчик и шапочка с георгиевскими лентами. Должно быть, его отец схватил первое, что попалось под руку.

Котька оглядывается по сторонам, глядит на окна — не следят ли за ним ребята из классов, и потом, видимо успокоившись, поправляет бескозырку.

— Накажите, ради бога, этого выродка, Гедеон Аполлинариевич! Глядите, он вам всех гимназистов перетопит! — донесся снизу густой бас доктора.

— И не говорите! — загудел в ответ Гедеон Аполлинариевич. — Если бы вы знали, какая морока с этой зареченской шантрапой. Ужас! Ужас! Пригнали их ко мне из высшеначального, и все вверх дном пошло, воспитатели прямо с ног сбились. Никакой пользы от них самостийной Украине не будет — уверяю вас. Смолоду в лес смотрят. Я уже в министерстве просил, нельзя ли их в коммерческое перевести...

Усатый доктор, сочувственно покачивая головой, влезает в пролетку.

— Заходите к нам с супругой, Гедеон Аполлинариевич, милости просим! — приглашает он.

— Покорно благодарю, — поклонился Прокопович.

Доктор натянул вожжи. Конь подбросил дугу и, подавшись грудью вперед, тронул пролетку с места.

Директор постоял немного, высморкался в беленький платочек, поправил крахмальный воротничок и ушел.

И в ту же минуту раздался звонок. Перемена кончилась.

«Выродок — это про меня!» — выбегая в коридор, подумал я.

Хорошее дело! Мне подножку подставили, я себе нос разбил, ушиб колено — и я же виноват, я выродок? Пускай вызовет и спросит — я скажу ему, кто выродок!

В конце последнего урока в класс входит сторож

Никифор и, спросив разрешения у преподавателя, отрывистым, глухим голосом зовет меня к директору гимназии. Я не хочу подать виду, что испугался, и медленно, не торопясь, одну за другой собираю в стопку свои книжки и тетради.

В классе — тишина. Все смотрят на меня.

Учитель природоведения Половьян, широкоскулый, веснушчатый, в желтом чесучовом кителе, вытирает запачканные мелом пальцы с таким видом, будто ему нет никакого дела до меня.

Все наши зареченские хлопцы провожают меня сочувственными взглядами.

Я выхожу вслед за горбатым низеньким Никифором как герой, высоко подняв голову, хлопая себя по ляжкам тяжелой связкой книг. Пусть никто не думает, что я струсил.

— Опять нашкодил! Эх ты, шаромыжник! — укоризненно шепчет мне Никифор. — Мало тебе было того карцера?..

Сутулый чернобородый Прокопович очень боялся всякой заразы. Круглый год, зимой и летом, он ходил в коричневых лайковых перчатках. Повсюду ему мерещились бактерии, но пуще всего на свете он боялся мух. Дома у него на всех этажерках, подоконниках и даже на скамейке под яблоней были расставлены налитые сулемой стеклянные мухоловки.

Зная, чем можно досадить директору, Сашка Бобырь здорово наловчился ловить больших зеленых мух, которые залетали иногда к нам в класс и, стукаясь о стекла, жужжали, как шмели.

Поймает Сашка такую муху и на переменке тихонько через замочную скважину в кабинет Прокоповичу пустит.

Муха зажужжит в директорской, а Прокопович засуетится, как ошалелый: стулья двигает, окна открывает, горбатого Никифора на помощь зовет — муху выгонять.

А мы рады, что ему, бородатому, досадили...

Я с трудом открыл тяжелую, обитую войлоком и зеленой клеенкой дверь в директорскую.

Прокопович даже не взглянул на меня.

Он сидел в мягком кожаном кресле за длинным

столом, уткнувшись бородой в кучу бумаг и положив на край стола руку в коричневой перчатке. Я остановился у порога, в тени. Очень не хотелось, чтобы директор узнал во мне того самого декламатора, что выступал на торжественном вечере.

В тяжелых позолоченных рамах развешаны портреты украинских гетманов. Их много здесь, под высоким потолком директорского кабинета.

Гетманы сжимают тяжелые золотые булавы, отделанные драгоценными камнями: пышные страусовые перья развеваются над гетманскими шапками. Один только Мазепа нарисован без булавы. С непокрытой головой, в расстегнутом камзоле, похожий на переодетого ксендза, он глядит на директора хитрыми, злыми глазами, и мне вдруг кажется, что это не Прокопович, не директор нашей гимназии сидит за столом, а какой-то сошедший с портрета бородатый гетман. Сидит злой, недовольный, словно старый сыч, нахохлился над бумагами и не замечает меня.

Прокопович раскрыл тяжелую черную книгу.

Мне надоело ждать. Я тихонько кашлянул.

— Что нужно? — глухо, скрипучим голосом спросил директор, вскидывая длинную жесткую бороду.

— Меня... позвал... Никифор, — заикаясь, сказал я. От страха у меня запершило в горле.

— Фамилия?

— Василий...

— Я спрашиваю: фамилия?!

— Манджура... — пробормотал я невнятно и, закрывая лицо рукой, сделал вид, что утираю слезы.

— Ты хотел утопить Григоренко?

— Это не я... Он сам... Он первый повалил меня...

— Батько есть?

— Он в селе.

— А мать где?

— Померла...

— А с кем живешь? Кто у тебя там есть?

— Тетка, Марья Афанасьевна.

— Тетка? Мало того что давеча ты опозорил нашу гимназию перед лицом самого головного атамана с этой своей идиотской декламацией, так сегодня еще чуть не утопил лучшего ученика вашего класса? Забирай свои книжки — и марш домой, к тетке. Чтобы ноги твоей больше здесь не было! Можешь передать тетке, что те-

бя выгнали из гимназии. Навсегда выгнали, понимаешь? Нам хулиганья не нужно!

И директорская борода снова опустилась в бумаги.

Озадаченный, я несколько минут молча стоял у покрытого сукном длинного стола.

«Вот так фунт! Он, наверное, думает, что я умолять его стану, на колени упаду? Не дождешься!»

Быстро схватил я дверную ручку и не заметил даже, как захлопнулась за мною тяжелая дверь директорской.

По длинному пустому коридору, по каменной лестнице я медленно спустился в вестибюль и вышел на улицу.

На дворе было уже совсем жарко. Голуби глухо ворковали на соборной колокольне. Водовозная тележка с возницей на краешке пузатой бочки протарахтела мимо меня и скрылась за кафедральным собором.

Наверху, возле учительской, отрывисто зазвенел звонок.

Сейчас выбегут сюда хлопцы. Они станут допытываться: «Ну как, здорово попало?» А я что скажу? Что меня выгнали? Ну нет! И так тошно, а тут еще жалеть станут и, того и гляди, тетке разболтают. Уж лучше дать стрекача. И, зажав под мышкой связку книг, я побежал на Заречье.

КОГДА НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР

Дома я долго не мог найти себе места.

Что же все-таки сказать Марье Афанасьевне?

Прошлой зимой, перед самым рождеством, мы с Куницей не пошли в училище, а забрались в лес за елками. Отец узнал про это и потом три дня бранил меня, даже, помню, Сашку Бобыря прогнал, когда тот пришел звать меня на коньках кататься.

Нет уж, никому не буду говорить, что меня выгнали из гимназии. И Марье Афанасьевне. И хлопцам. Даже Кунице не скажу, обидно все-таки. А если спросят, почему не занимаешься? Ну, тогда выдумаю что-нибудь. Скажу, у меня стригущий лишай и доктор Бык не велел приходить в класс, чтобы не заразил других учеников: и бояться будут и поверят.

Ведь у Петьки Маремухи был стригущий лишай, и он, счастливец, сидел тогда две недели дома. Вот и расцарапаю я себе на животе стеклом ранку, скажу, что это лишай, буду мазать ее белой цинковой мазью и сидеть дома. А там и каникулы начнутся.

Решено — у меня лишай!

Но вечером в этот день я никак не мог успокоиться. Лишай лишаем, тетку обмануть будет нетрудно, а вот стоило подумать, что я уже больше не ученик, — и сразу начинало щемить сердце.

Больше всего было обидно, что меня выгнали из-за этого паршивца Котьки. Ох, как обидно! Жаль, что я его мало поколотил...

Дома никого не было. Покормив меня обедом, тетка Марья Афанасьевна ушла на огород пропалывать грядки. А не пойти ли мне к Юзику? Но уже, должно быть, вернулся домой и отец Юзика. А мне не хотелось с ним встречаться. Уж очень он строгий, никогда не засмеется и не отвечает даже, когда говоришь ему: «Здравствуйте, дядя Стародомский».

«Нет, к Юзику ходить не стоит, — решил я. — Так просто пойду погуляю один».

Скоро тихие сумерки спустятся на крутые улицы нашего города. Уже солнце, остывая, падает за Калиновский лес. Медленно и важно плетутся по узкому переулку вниз, к речке, на купанье, шоколадно-черные египетские гуси нашей соседки Лебединцевой. Гусей никто не гонит, они сами, выйдя из подворотни, покачиваясь, выгнув шеи, бредут вниз.

Подымаясь по Турецкой лестнице, я услышал, как вверху на гимназическом дворе дробно застучал барабан. Подойдя ближе, я увидел, что возле глазка в каменной ограде гимназического двора, столпились маленькие ребята. Приподнявшись на цыпочки, они заглядывали в глубь двора.

— Смотри, смотри, как маршируют! — восхищенно закричал кто-то из них.

И вдруг среди этой детворы я заметил стриженый затылок Куницы. Вот так здорово! А я думал, Юзик сидит дома.

Я растолкал локтями сгрудившихся около забора ребят и, пробравшись к Юзику, хлопнул его по плечу.

Он вздрогнул и быстро обернулся, рассерженный,

готовый к драке. Но, увидев меня, заметно смутился и промямлил что-то непонятное себе под нос.

— А ты зачем пришел сюда? Интересно тебе, что ли? — спросил я, кивая в сторону двора.

— А, ерунда такая, — с напускным безразличием ответил Куница, — ходят, «слава» кричат, а офицеры смотрят на них, как на обезьян в зверинце!

Совсем близко, за стеной, застучал барабан. Через глазок я увидел, как по гимназическому двору ровными рядами зашагали бойскауты. Они в новой форме: на них коротенькие, цвета хаки, штанишки до коленей и светло-зеленые рубахи с отложными воротничками. К левому плечу у каждого пришит пучок разноцветных ленточек, а на рукаве, пониже локтя, — желто-голубые нашивки. Бойскауты маршируют рядами по три человека и, подойдя к забору, сворачивают в сторону.

Поодаль, важничая, в новых желтеньких ботинках шагает «утопленник» — Котька Григоренко. Он — звеньевод. На рукаве у Котьки, повыше желто-голубой нашивки, вьется червяком малиновый шнур. Это значит, что Котька не простой скаут, а начальник. Мне ненавистны и натянутая походка этого барчука, и его самодовольный вид. Как только его слушаются Володька Марценюк и Сашка Бобырь! Ведь раньше они никогда не дружили с Котькой, дразнили его, а сейчас даже смотреть противно, как они из кожи лезут вон перед этим докторским сынком...

Подлизы несчастные — с ними даже здороваться не стоит...

Мальчишки загалдели у меня за спиной. Они совсем прижали нас с Куницей к забору, силясь разглядеть, что делается во дворе.

— Пойдем-ка, Юзик, лучше купаться! Я уже нагляделся. Хватит здесь стоять, — предложил я Кунице.

Куница согласился.

По знакомой извилистой тропинке, мимо улицы Понятовского, мы направились к речке.

— Ну что тебе директор сказал сегодня? Небось попало здорово? — спросил Куница.

— А, пустяки. Сначала ругался, а потом, когда я ему рассказал, что Котька мне подножку подставил, замолчал и отпустил домой.

— Только и всего... А Петька Маремуха брехал, что тебя выгнали из гимназии. Мы ждали тебя, ждали, а

ты как пошел, так и пропал. Я уж думал, не посадил ли тебя бородатый за Котьку в карцер.

— Ну вот еще выдумали! Не выгнал, а грозился выгнать. А Маремуху я поколочу, если он брехать про меня будет...

Внизу уже заблестела речка.

— Купаться со скалы будем?

— Давай со скалы, — согласился Юзик.

Мы повернули вниз. За рекой показалась знакомая Старая крепость.

Весь ее двор засажен фруктовыми деревьями. Возле Папской башни растут низкие ветвистые яблони-скороспелки.

Сорвешь зрелое яблоко еще задолго до осени, потрясешь над ухом — слышно даже, как стучат внутри его черные твердые зернышки.

Скороспелки, когда созреют, делаются мягкими, нежными, зубы — только тронь такую кожуру — сами вопьются в нежно-розовую рассыпчатую мякоть яблока.

В крепости есть несколько шелковиц. Ягоды, которые созревают на этих деревьях, мы называем «морвой». Они черные и похожие на шишечки ольхи. Когда черная морва созреет, мы, забравшись в Папскую башню, швыряем оттуда сверху на деревья тяжелые камни. С шумом пробивая листву, камни летят вниз, задевают твердые ветви, ветви трясутся, а ягоды осыпаются.

Потом в густой траве, под сбитыми листьями, мы ищем мягкие, приторные, налитые черным соком ягоды. Мы едим их тут же, ползая на коленках под деревом, и долго после этого рты у нас синие, словно мы пили чернила.

Вот уже несколько дней, как на лотках городского базара появились первые черешни. Желтые, совсем прозрачные, желто-розовые, похожие на райские яблочки, и черные, блестящие, красящие губы черешни доверху наполняют скрипучие лукошки торговок. Торговки звенят тарелками весов, переругиваются, отбивая друг у друга покупателей, и отвешивают ягоды в бумажные кульки.

Как мы завидуем тем, кто свободно, не торгуясь, покупает целый фунт черешни и, сплевывая на тротуар скользкие косточки, не торопясь, проходит мимо нас!

Так, размышляя о черешнях, я спустился вслед за Юзиком к реке. Теперь крепость высилась над нами справа — высокая, мрачная. Я видел зыбкую ее тень, падающую на воду, и вспомнил о высоких, толстоствольных черешнях, которые росли во дворе крепости, за Папской башней. Листва у них прозрачная, редкая, а ягоды удивительно сладкие.

«Раз торговки продают черешни на базаре, — подумал я, раздеваясь, — значит, они уже поспели и в крепости».

Я сказал об этом Кунице.

— Ну так что ж? Давай полезем завтра!

— А когда?

— После обеда.

— Нет, вечером нельзя, — сказал я, — там же снова будут стрелять петлюровцы.

За пороховыми погребами крепости петлюровцы устроили гарнизонное стрельбище. Ежедневно после обеда они отправляются туда на стрельбу, и до сумерек вся крепость трещит от пулеметных выстрелов.

Пули с визгом летят как раз в ту стену, по которой надо взбираться до башни.

— Ну, а когда же? — хлопая себя по бедрам, спросил Куница. Он уже разделся и стоял передо мной голый, худощавый.

— Давай утречком, перед школой. Возьмем с собой тетради, чтобы домой за ними не бегать, я зайду за тобой, только ты гляди не проспи, — сказал я, совсем забыв, что мне завтра в гимназию не надо идти.

— Я-то не просплю, — ответил Куница, — но ведь утром сторож шатается по крепости. Как мы полезем на черешню?

— Да. Это верно.

Утром сторож обходит всю крепость, а вот попозже, как раз когда в гимназии начинаются уроки, сидит на скамейке у ворот.

Тогда хоть ломай деревья — не услышит.

Сторож не любит, если ребята появляются в крепостном саду. Он заботливо оберегает каждое дерево, весной обмазывает стволы известкой, окапывает вокруг деревьев землю и удобряет ее навозом. Когда фрукты созревают, он собирает их себе. Влезет на дерево по лестнице — даром что хромоногий — и обры-

вает ягоды, яблоки и даже маленькие кругленькие груши-дички.

— А, есть чего бояться! Ну увидит, закричит. Подумаешь! Что мы, не сумеем удрать? Ведь не полезет же он за нами по крепостной стене, старый черт! Давай пошли утром, — решил я.

— Пошли! — сказал Куница. — Язда!

Мы оставляем на берегу одежду и пробираемся вверх, на скалу. Какой интерес купаться у берега, на мели, где купаются зареченские женщины? Не купанье, а стыд один! То ли дело вскарабкаться на скалу и оттуда с вытянутыми вперед руками броситься вниз головой в быструю воду.

Теплые, нагретые за день скалы колют нам ноги, мелкие камешки осыпаются вниз и шуршат по кустам бледно-зеленой полыни.

Взобравшись на скалу, мы с Юзиком стоим на ней рядом.

Далеко, за плотиной, в воду ныряют утки. Они то и дело подбрасывают кверху свои толстые гузки и сверкают на зеленоватой глади устоявшейся воды красными лапками.

— Вода сегодня, должно быть, теплая-теплая! — говорит Куница и блаженно улыбается.

По мосту гулко проехала телега.

— Давай! — закричал я и, не дожидаясь ответа, с размаху бросился в воду.

Вынырнув на середине речки, ищу Куницу. Его нет ни на скале, ни на воде. Он, черт, хорошо ныряет. Я верчусь волчком на одном месте. Я боюсь, как бы Куница не нырнул под меня и не ухватил за ногу. Это очень неприятно, когда тебя под водой схватят за ногу скользкими руками. Куница пробкой выскочил из воды около самой плотины. Большие круги разбегаются в стороны. Как далеко он проплыл под водой! Мне столько не проплыть.

Мы ныряем вперегонки, достаем со дна кругленькие камешки и желтую глину, взбиваем брызги, чтобы увидеть радугу. Усталые, мы переворачиваемся на спину и лежим на воде без движения. Течение медленно сносит нас вниз к плотине. Вверху расстилается голубое, чуть порозовевшее на западе, прозрачное, без единой тучки, небо!

Завтра будет замечательная погода!

Поздно вечером, когда на дворе было совсем уже темно, я ушел в крольчатник, захватив с собой коптилку и спички.

При тусклом свете керосиновой коптилки я, сняв рубашку, несколько раз царапнул себя по животу толстым осколком пивной бутылки. Вскоре на коже проступили капли крови Я поморщился от боли и вспомнил, как мне прививали оспу. Вот так же царапала меня ланцетом по руке докторша.

Я посмотрел на стекло. «Поцарапать разве еще? Довольно! — решил я. — Тетка близорукая, все равно не заметит».

Возвратившись в хату, я жалобным голосом объявил Марье Афанасьевне:

— Тетя, я завтра в школу не пойду, доктор запретил — у меня стригущий лишай, и я могу заразить учеников... Поглядите-ка!

Марья Афанасьевна отставила на край плиты горячий противень с жареной, вкусно пахнущей картошкой и, шевеля губами, посмотрела на мой живот.

— Ну что ж, не ходи, только смажь быстро йодом, — сказала она и отвернулась к плите, в которой завывал огонь.

Мне стало даже обидно: старался, старался, пустил кровь, ободрал кожу, а она глянула одним глазом и отвернулась как ни в чем не бывало! Хоть бы пожалела меня, так нет — жареная картошка ей дороже.

В СТАРОЙ КРЕПОСТИ

Проснулся я рано утром. Солнце еще не поднялось над крышей сарая. Я побежал в огород. Там из самой крайней грядки я одну за другой выдернул розоватые редиски и возвратился в дом. Тихо ступая по кухонному полу, я достал с полки початый теткой каравай хлеба, отрезал себе ноздреватую горбушку и, посыпав хлеб солью, присел на табуретку. Скоро на кухонном столике остались только хлебные крошки да срезанные острым ножом мокрые от ночной росы мохнатые листья редиски. Я уже собрался уходить, как из спальни, позевывая, вышла тетка.

— Ты чего ни свет ни заря поднялся? — спросила она, глядя на меня заспанными глазами.

— А я пойду к Юзику Стародомскому задачи по арифметике решать. Мне ведь в гимназию доктор запретил ходить, вот я дома с Юзиком и позанимаюсь.

— Какие еще задачи спозаранку? Людей будить. Врешь ты, наверное...— буркнула Марья Афанасьевна и мягкими шагами подошла ко мне. — А ну покажи лишай! — приказала она.

Я осторожно, так, будто на теле у меня была опасная рана, оголил живот и показал покрасневшее место под первым ребром. Тетушка прищурила заспанные глаза и, чуть не прикоснувшись носом к моему мнимому лишаю, сказала:

— Ну, пустяки — он проходит... Затягивается уже.

— Какое там затягивается! — крикнул я и быстро опустил рубашку. — Это вам так кажется, а мне больно и чешется здорово. Ой, как чешется! — и обеими руками я стал быстро и ожесточенно, перед самым носом тетки, расчесывать свой живот.

— Да ты с ума сошел! Не чеши! Не чеши, тебе говорят, — испуганно замахала руками тетка. — Расчешешь, а потом и чесотка пристанет. Перестань чесать! Иди лучше смажь цинковой мазью.

Я иду в спальню. С шумом открываю левый ящик комода, в котором тетка хранит свои лекарства.

Я окунаю мизинец в фарфоровую баночку с цинковой мазью. Потом, приподняв рубашку, густо смазываю липкой белой мазью свой мнимый лишай и наклеиваю круглый кусочек пластыря. Это затем, чтобы показать Кунице. Пусть рана выглядит пострашнее, тогда он расскажет о ней в классе, и никто даже не подумает, что меня исключили из гимназии.

— Выпей молока! Тут осталось вчерашнее, кипяченое! — закричала мне из кухни Марья Афанасьевна.

Она уже загремела кастрюлями и противнями.

— Не хочу, я наелся! — ответил я тетке и выбежал на улицу.

За высокими воротами во дворе у Куницы носится их злая мохнатая собака. Не успел я еще остановиться около забора, как она, почуяв чужого, яростно залаяла и кинулась к воротам. Проклятый пес — нельзя даже войти во двор.

Отойдя на середину мостовой, я протяжно закричал:

— Юзик! Юзю! Ходзь тутай!

Молчание. Только, свирепея, хрипит и давится под

воротами пес. Лишь бы на мой крик не вышел отец Куницы.

Но вот хлопают двери, и из палисадника, отогнав собаку, выбегает Юзик. Глаза у него припухли, лицо мятое, сонное, и на левой щеке краснеет отпечаток рубчика подушки.

— Ой, как ты рано, Василь! У нас еще все спят, — протирая глаза, бормочет Куница.

— Какое там рано! Мельница Орловского уже давно работает.

— А где твои книжки?

— А зачем мне они?

— Как зачем? Ты разве не пойдешь в гимназию?

— Не пойду. Доктор Бык запретил мне ходить в класс. У меня стригущий лишай, я заразный, — и я гордо хлопнул себя по животу.

— Какой лишай? Что ты выдумал?

— А вот гляди, — и я, морщась, поднял рубашку. Мазь растаяла и расползлась, желтенький кусочек пластыря съехал вниз и обнажил покрасневшее место.

Куница чмокнул губами, покачал головой и не то от сострадания, не то от испуга промычал что-то непонятное.

— Больно? — наконец спросил он.

— Не очень. Только щиплет и чешется здорово, а чесать нельзя.

— Постой, постой, а как же ты купался вчера?

— Купался. Ну и что ж с того? Зазудило только немножко, я просто тебе ничего не сказал, думал — так пройдет. А зато ночью стало невтерпеж. Побежал я с теткой к доктору Быку. Пришли, а он спит. Мы его разбудили. Посмотрел он на меня, головой покачал. «Плохо, — говорит, — дело». Мазью велел мазать и пластыри лепить. А в гимназию запретил ходить, пока не пройдет совсем, — не моргнув глазом соврал я Кунице и сам удивился, как это все гладко получается. Я уже сам начинал верить в свою рану и в доктора Быка.

— Бумажку тебе доктор дал для директора?

— А зачем мне бумажка, когда послезавтра каникулы начинаются?

— Так, может, ты и в крепость не полезешь?

— В крепость-то я пойду, ходить мне можно. Беги за книжками скорее.

— Ну, добже, я сейчас, — и Юзик убежал.

Солнце уже выползло из-за скал — веселое и румяное. Левая половина крепости, обращенная к городу, была освещена яркими утренними лучами. Мы обошли крепость с теневой стороны. Юзик спрятал за пазуху тетради и учебники: так ему будет удобнее взбираться.

— Только вниз не смотри, а то голова закружится, — посоветовал он мне.

Цепляясь за выступы квадратных камней, плотно прижимаясь к холодной мохнатой стене, мы осторожно вскарабкались до первого карниза.

— Ну, теперь пойдет веселее! Лишь бы не закружилась голова!

Юзик молодец. Он смело, не глядя себе под ноги, зашагал бочком по каменному карнизу.

Где-то внизу, под крепостью, белела извилистая проселочная дорога. Вот только что мы шли по ней, а отсюда, сверху, она казалась очень-очень далекой.

Я не могу не смотреть на дорогу, а гляну — страх берет: высоко.

Эх, была не была!

Я повернулся к пропасти спиной и, почти прикасаясь губами к замшелой стене, затаив дыхание пошел по карнизу вслед за Куницей.

И вот наконец мы добрались до Папской башни. Вслед за Куницей я пролез через разломанную решетку внутрь башни. А теперь надо пробраться на крепостной двор. Туда ведет другое выходящее внутрь крепостного двора окно.

Куница осторожно выглянул в это окно, но вдруг испуганно шарахнулся назад и приложил к губам палец.

Несколько секунд мы стоим молча.

Кого Куница увидел? Может, сторож уже прохаживается со своей тяжелой палкой по крепостному саду? Или хлопцы с Заречья опередили нас и сбивают камнями черешни? А может, еще хуже — петлюровцы приехали сюда учиться стрелять?

В это время я услышал чьи-то голоса, потом заржала лошадь и заглушила все. Опять разговаривают. Говорят громко внутри крепости. Но кто бы мог быть здесь в такую рань?

Не лучше ли, пока нас никто не заметил, выбраться из башни обратно к подножию крепости? Там уж нас никто не тронет.

Но Куница задумал другое.

Он лег на пыльный пол башни и знаками предложил и мне сделать то же самое. Медленно, ползком мы подобрались по усыпанному известкой полу к окну и, чуть-чуть приподняв головы, глянули вниз, во двор крепости.

Внизу, под самой высокой черешней, стоит черный фаэтон с поднятым верхом Лакированные крылышки фаэтона блестят на солнце, и даже в тонких блестящих спицах колес играют солнечные лучи. В фаэтон запряжены две сытые гнедые лошади. Они встряхивают мордами и тянутся к траве. Нам слышно, как позвякивают их удила.

Поодаль, около Черной башни, к яблоне привязана запряженная в пролетку серая в пятнах лошадь. И лошадь и пролетка очень похожи на выезд доктора Григоренко. У него точно такой же масти лошадь и такая же низенькая двухместная пролетка с лакированной дугой над оглоблями.

Около фаэтона, под черешней, вполголоса беседуют три петлюровца в темно-коричневых жупанах, туго опоясанные ремнями, в желтых сапогах. Один из петлюровцев опирается на винтовку и как-то странно морщит лоб. А в стороне, в тени крепостной стены, стоят еще какие-то люди. Один из них — невысокий, в зеленой неподпоясанной рубахе, в потрепанных брюках, с непокрытой, коротко, под машинку остриженной головой. Он сразу же показался мне очень знакомым. Вот где только я его мог видеть? Он слегка сгорбился, лицо его обращено к нам — усталое, желтоватое, болезненное.

А напротив него стоит Марко Гржибовский. Он держит в руках какую-то бумагу; я слышу отрывистые негромкие звуки его голоса. Гржибовский читает эту бумагу неподпоясанному человеку. На широком ремне у Марко болтается большой револьвер в деревянной кобуре, с другого бока висит длинная сабля. А недалеко от Гржибовского стоит, прислонившись к зеленой яблоне, доктор Григоренко. «Так это его пролетка привязана около Черной башни!» На Григоренко вышитая рубаха и соломенная панама с голубой лентой. Должно быть, усатому, похожему на запорожца доктору очень скучно со всеми этими военными. Он поглядывает на ветви яб-

лони и носком своего тупорылого австрийского ботинка лениво разрывает землю под яблоней. Для чего только он приехал сюда с петлюровцами в такую рань?

Марко Гржибовский кончил читать.

На зеленом крепостном дворе, освещенном утренним солнцем, стало совсем тихо.

Даже петлюровцы около фаэтона притихли.

Марко медленно складывает белую бумагу вчетверо и прячет ее в верхний карман защитного английского френча. Поправив револьвер, он кричит что-то троим петлюровцам — те вытянулись, прижали к себе винтовки, и эхо от крика Гржибовского далеким отголоском пробегает по запущенному крепостному двору.

Петлюровцы, взяв ружья наперевес, тяжелыми, широкими шагами подходят к понурому, оборванному человеку.

Маленький криволицый петлюровец трогает его за плечо и кивает на бастионы.

Человек в зеленой рубахе устало поворачивается и шагает к зеленому бастиону. Только теперь я замечаю вырытую у самого ската бастиона, на зеленой лужайке, свежую продолговатую яму. Черный бугорок земли, как насыпь перед окопом, поднимается перед ней.

Куница больно толкает меня под бок. Чего он хочет?

Дойдя до черного бугорка, босой человек, как в забытьи, медленно, не торопясь, раздевается. Сначала он снимает верхнюю рубаху. Слабым движением руки он отбрасывает ее в сторону на густую траву и, полуприсев, снимает сорочку. Видно, ему тяжело стоять. Вот он разделся до пояса и стоит на траве под зеленым полукруглым бастионом, обнаженный, худой, с проступающими под кожей выпуклыми ребрами.

Я пристально смотрю на этого голого человека и все еще ничего не понимаю: зачем он стал раздеваться, не купаться же он собрался здесь, на крепостном дворе?

И лишь когда трое петлюровцев, прижав к плечам коричневые блестящие винтовки, застывают на месте, я вдруг соображаю, что происходит сейчас внизу. Я понимаю, для чего сюда приехали ранним утром петлюровцы, зачем привезли они с собой худого тяжелобольного человека.

Мне страшно, хочется закрыть глаза, убежать, не видеть того, что произойдет вот сейчас на наших глазах.

Но винтовки в руках петлюровцев выравниваются

все прямее, трое солдат твердо стоят на раздвинутых ногах; чуть подавшись вперед, они целятся, прижимаясь лицом к полированным прикладам.

Голый, понурый человек, собрав последние силы, вздрагивает, выпрямляется. На черной насыпи он сразу кажется высоким, тонким. И, подняв над головой кулак, он кричит припавшим к винтовкам петлюровцам:

— Меня вы убьете, но народ украинский вам не обмануть и не убить никогда, палачи! Да здравствует Советская Украина-а-а!

Ветер доносит к нам обрывки его хриплого, простуженного голоса. И только тут я узнаю желтого, болезненного человека.

Да ведь это его в тот весенний слякотный вечер, когда отступали красные, привел в наш дом Иван Омелюстый! Это же его Марья Афанасьевна укладывала на кованом сундуке и поила чаем с сушеной малиной, а он, высунув из-под одеяла руку, стал показывать мне пальцами на освещенной стене разные забавные штуки. Ведь это он так страшно щелкал зубами, когда Иван толковал с моим отцом. Значит, он не ушел с красными; значит, тетка обманула меня. Я вскочил, высунулся в окно.

«Оставьте, пустите его, он очень болен, он никому ничего не сделал!» — хотел закричать я, но слова застряли у меня в горле, а Куница сразу же потянул меня вниз, и я упал на колени.

Курносый Марко Гржибовский взмахнул саблей.

Три винтовки почти одновременно подпрыгнули в руках петлюровцев. Отзвук ружейного залпа гулко прогремел в бастионах, в амбразурах черных пустых башен.

Потревоженные выстрелом галки взвились со своих гнезд и, каркая, закружились над крепостью. Казалось, весь город притих там, за крепостью, вслушиваясь в густое эхо выстрелов.

Голый человек так, как будто ему стало холодно, съежился, прижал к груди руки, нагнулся набок и потом медленно, медленно, словно засыпая, наклонив голову, повалился на землю, к вырытой у его ног черной продолговатой яме.

Тогда неторопливыми шагами, опираясь на суковатую изогнутую палку, к яме подошел доктор Григоренко. Положив на траву панаму с голубой лентой, он нагнулся и стал ощупывать белое тело упавшего. Гри-

горенко запрокинул назад его голову, легко тронул глаза.

Потом он выпрямился, вытер руки о белый платочек и что-то тихо сказал Гржибовскому.

Марко быстро подошел к насыпи и ногой столкнул убитого в яму.

Пока петлюровцы щелкали затворами и, выбрасывая в траву стреляные гильзы, разряжали винтовки, Марко Гржибовский и усатый Григоренко вдвоем подошли к докторской пролетке

Гржибовский влез на ее облучок, так что пролетка сразу накренилась влево, и закричал:

— Сторож, сторож, иди-ка сюда!

На крик Марко пришел сторож в соломенном потрепанном капелюхе. Он шел медленно, прихрамывая, с опаской озираясь по сторонам. Подойдя к Гржибовскому, он снял капелюх и поклонился.

— Возьми-ка в экипаже заступ да быстро закопай вон ту могилу. Только как следует, хорошенько! Потом травой забросай. И никому не смей говорить о том, что видел. Понял? А не то...— и Гржибовский притронулся к револьверу. — А себе за работу, — добавил он милостиво, — вот его шмаття возьми.

Сторож достал из фаэтона заступ и подошел к яме. Не глядя в могилу, он торопливо стал подбирать черную, с клочьями зеленой травы землю и поспешно, неловкими бросками засыпал застреленного петлюровцами большевика. Заступ дрожал у сторожа в руках. Видимо, впервые выпала на его долю такая страшная работа.

А Марко Гржибовский, словно кучер, уселся на облучке пролетки и, вынув из кармана серебряный портсигар, протянул его доктору. Крышка портсигара, щелкнув, взлетела кверху, они закурили. Голубой дым поднялся над пролеткой. Облокотившись на ее крыло, доктор показывал Марко рукой то на яблони, то на черешни. Потом он наклонился к подножию яблони и схватил горсть унавоженной рыхлой земли. Он поднес на ладони эту землю Гржибовскому, бережно растер ее в руках и затем, причмокнув губами, отшвырнул в сторону.

Наверное, он хвалил сторожа, хорошо ухаживающего за деревьями в крепости. А сторож уже засыпал яму землей и зеленым дерном. Раздумывая, он постоял ми-

нуту над могилой и потом быстро подобрал разбросанную на траве одежду убитого. С этими вещами в одной руке, с заступом в другой, хромая, он подошел к пролетке и снова поклонился Гржибовскому. Марко выплюнул окурок, спрыгнул на траву и, поправив фуражку, взял от сторожа вымазанный глиной заступ.

— Э-гей, хлопцы! — крикнул он петлюровцам и со всего размаху перебросил им заступ.

Те отскочили, а заступ, перевернувшись в воздухе, упал в траву около задних колес фаэтона.

Марко вместе с Григоренко уселись в пролетку.

Двое петлюровцев, с винтовками в руках, тоже полезли внутрь фаэтона, а третий, маленький, передав им свое ружье, вскарабкался на козлы и взял кнут.

Доктор Григоренко натянул вожжи, и его легкая пролетка первой выехала из крепости в открытые сторожем ворота.

Мягко покачиваясь на упругих рессорах и подпрыгивая, следом за ней покатился из крепости на улицу черный, с поднятым верхом казенный фаэтон. Сытые лошади, опутанные нарядной сбруей, махали хвостами.

Слышно было, как, сбегая вниз, к мосту, лошади звонко застучали копытами по голым камням мостовой.

Сторож закрыл ворота и вернулся обратно во двор.

Соломенная шляпа его лежала на бастионе около засыпанной могилы. Опираясь на суковатую ясеневую палку, с одеждой убитого под мышкой, сторож стоял среди крепостного двора, угрюмый и нахмуренный.

— Васька, а не тот ли это большевик, которого поймали вчера в Старой усадьбе? — тихо, дрожащим голосом прошептал Куница, обдавая мое лицо горячим дыханием. — Я после купанья повстречал около Успенской церкви Сашку Бобыря, и он мне говорил, что из Старой усадьбы синежупанники под ружьями вели какого-то большевика. Может, это он самый? Ты не слыхал об этом?

Нет, я не слыхал об этом. И если бы даже слыхал, мне трудно было бы разговаривать сейчас о погибшем.

Я видел его живым до этого всего лишь один раз.

Я не знаю, кто он, как его зовут, есть ли у него семья, я ничего не знаю про него и не узнаю, наверное, пока не вернется из Нагорян мой отец, пока не вернется Советская власть.

Теперь этот человек сделался для меня родным и близким. Мне даже думать было тяжело, что он не подымется из этой черной ямы, не прищурится, взглянув на небо, от солнечного света, никогда не улыбнется и не придет в гости к моему отцу как старый, давно знакомый, свой человек.

Куница снова толкнул меня.

— Васька, давай слезем к нему, а? — шепнул он, кивая на сторожа.

Я повернулся к Юзику и увидел слезы на его глазах. Куница плакал. Ему было страшно оставаться здесь, в этой холодной полутемной башне, после всего, что мы увидели на крепостном дворе. И только я подумал об этом, как у меня самого перехватило дыхание и одна за другой крупные слезы закапали из глаз. Я крепко прижал ладони к лицу, перед глазами пошли зеленые круги, но все равно слезы текли все сильнее и сильнее. Я отвернулся в сторону и прижался лбом к холодной стене. Я видел перед собой в темноте падающего больного коммуниста, я слышал его последний, предсмертный, грозный и вещий крик:

— Да здравствует Советская Украина!

«Душегубы проклятые! Кого вы убили?» В эту минуту я поклялся, что отомщу за смерть убитого петлюровцами большевика.

Пусть попадется мне ночью в Крутом переулке курносый Марко Гржибовский! Я сразу проломлю ему голову камнем.

И от боли, от досады, что мы не смогли помешать Марко Гржибовскому, когда он расстреливал нашего ночного гостя, я заревел еще сильнее.

— Не надо, Васька, ой, не надо! Ну уйдем отсюда! Ну прошу тебя!.. Ну пошли вниз! — тоже всхлипывая и дергая меня за локоть, зашептал Куница.

И, не дожидаясь ответа, он высунулся из окна. Осторожно опустив ноги на крепостную стену, он смело пошел по ней, раздвигая ветки кустарника, преграждавшие ему дорогу. Услышав шум, сторож поднял голову. Он увидел идущего по стене Куницу, но не закричал, как обычно, и даже не двинулся с места.

Я вытер кулаком слезы и спустился во двор вслед за Куницей Спрыгнув со стены, мы оба, медленно ступая по мягкой траве, подошли к сторожу.

— Дядя, они убили того коммуниста, что в Старой усадьбе вчера поймали?.. Да, дядя? — спросил у сторожа Куница так, словно сторож был его старый, хороший знакомый.

— Откуда я знаю? — глухо, настороженно ответил сторож. Он недоверчиво разглядывал нас.

Лицо у сторожа вблизи было совсем не такое уж страшное, каким казалось издали. Он, наверное, давно не стригся, голова у него была заросшая, волосы падали на загоревшие уши.

— А вы чьи будете?

Мы назвались. Оказывается, сторож знает отца Юзика. Про моего он только слышал.

— Видели? — помолчав, все еще недоверчиво спросил нас сторож.

— Мы в башне сидели! — объяснил я.

— Того самого, — теперь уже более твердо сказал сторож. — Я вначале не понял, зачем они сюда едут. Открыл ворота и спрашиваю: целый день стрелять будете? А тот офицер глянул и смеется, ирод окаянный. И еще одежонку мне его дал. А зачем она мне, только грех на душу взял, — и сторож поглядел на вещи убитого.

Мы разглядывали зеленую, выпачканную известкой рубашку и рваную сорочку.

— Дядько, а вы нас пустите в крепость, мы цветов наломаем и принесем сюда, ему на могилу? — сказал Куница.

Сторож согласился.

— Только вечером приходите, — попросил он, — а то днем они тут упражняются — вон всю стену пулями поколупали...

Мы расстались со сторожем как свои люди.

Старик сам открыл нам ворота.

Мимо подземного хода, через крепостной мост мы пошли в город. Куница отправился в гимназию, где давно уж начался первый урок, а я — домой.

Расставаясь, мы условились, что сегодня вечером Куница зайдет ко мне и мы вместе пойдем рвать цветы для могилы этого убитого в крепости человека.

МАРЕМУХУ ВЫСЕКЛИ

Куница пришел ко мне засветло. Пронзительным свистом он вызвал меня на улицу. Я услышал свист и подбежал к дощатому забору.

— Заходи! — крикнул я Кунице. — Я сейчас, только накормлю крольчиху, а потом давай к Петьке сходим за цветами.

— Его дома нету, — хмуро сказал Куница, проходя со мной к раскрытым дверям крольчатника.

— А ты что, заходил к нему?

— Я и так знаю. Он прямо с уроков со своими голоногими в театр пошел.

— В театр? В самом деле?

— Конечно, в театр. Кончились уроки — их всех выстроили на площади и повели. С музыкой. А впереди Марко Гржибовский! — сердито объяснил Куница.

Войдя в крольчатник, Куница сразу наклонился ко мне и спросил:

— Васька, а зачем ты мне набрехал?

— Что набрехал? Когда?

— Будто не знаешь. Да вчера, когда купаться шли... и сегодня утром — про лишай. Ведь бородатый тебя выгнал, да?

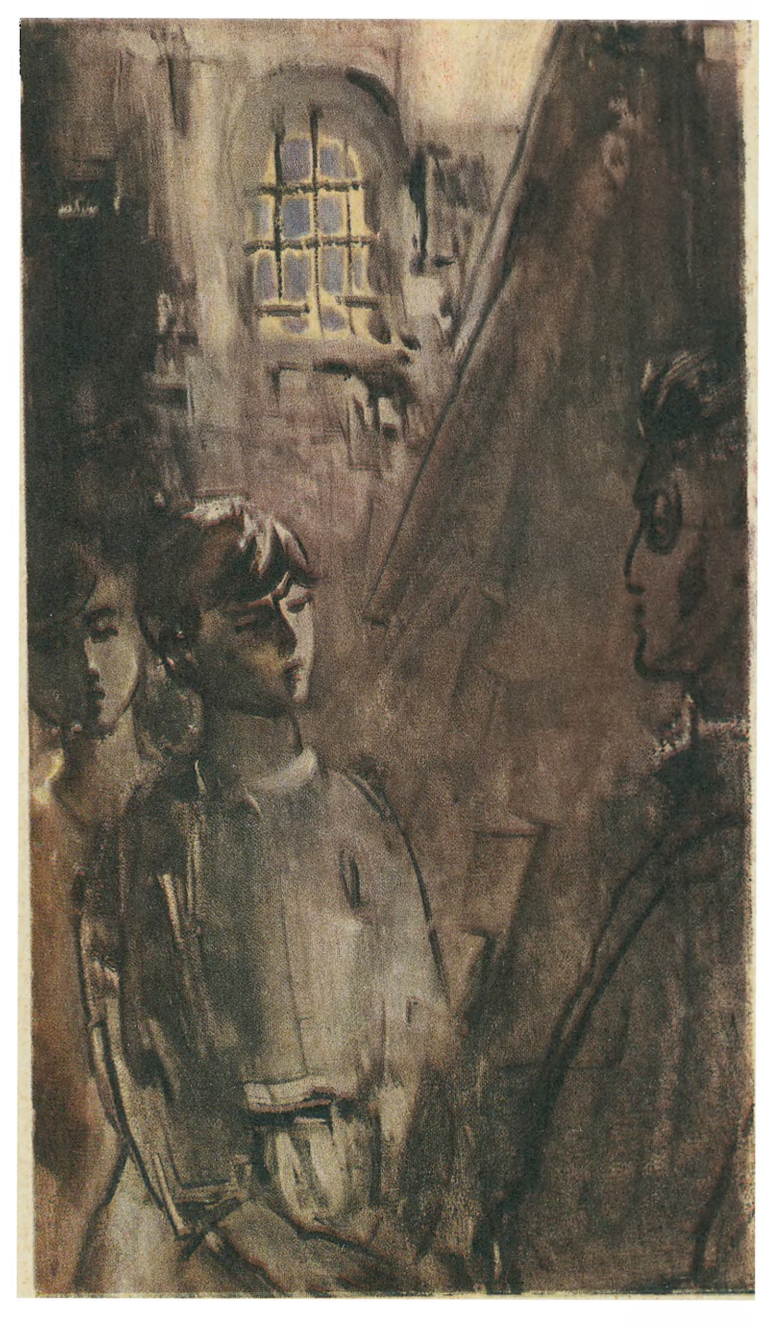
— Откуда выгнал? Кто это выдумал? Никто меня не выгонял.

— Как никто? А приказ для чего вывесили?

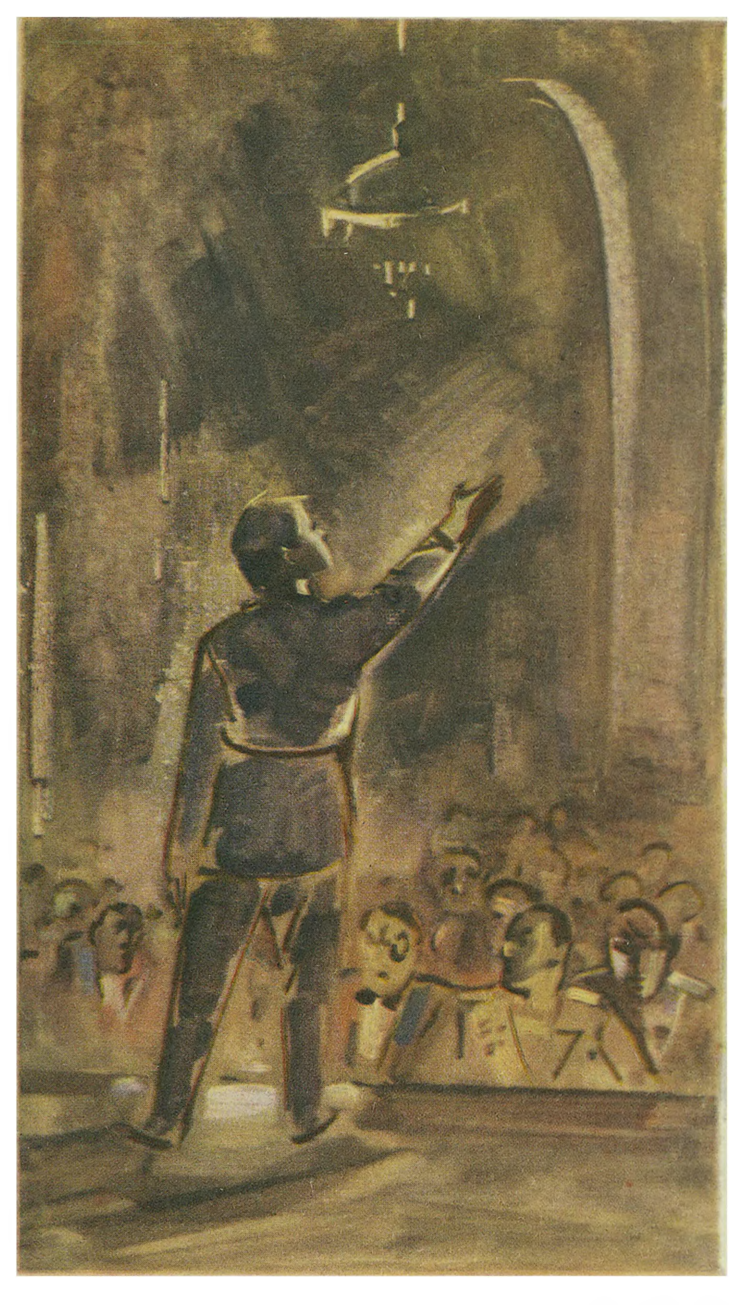
— Какой приказ?

— А вот какой — на стене около учительской висит. Приди почитай сам, если не веришь. Сегодня в большую перемену вывесили. А в приказе написано, что тебя за хулиганство выгнали из гимназии. Сам Прокопович подписал... Сегодня Сашка Бобырь был дежурным, он видел, как твою фамилию из классного журнала зелеными чернилами вымарали. Вот. А ты думал, я не узнаю, да? Набрехал-набрехал: «Меня доктор Бык освободил... Ночью с теткой побежали... Вот лишай, посмотри». А сам не знаешь, что доктор Бык уж вторую неделю арестованный сидит за то, что не дал петлюровцам обыск сделать в своей квартире. Мне сегодня ребята рассказали. А я вчера уши развесил, поверил тебе.

Куница замолчал и только постукивал пальцами по кроличьей клетке. Потом обиженным голосом сказал:



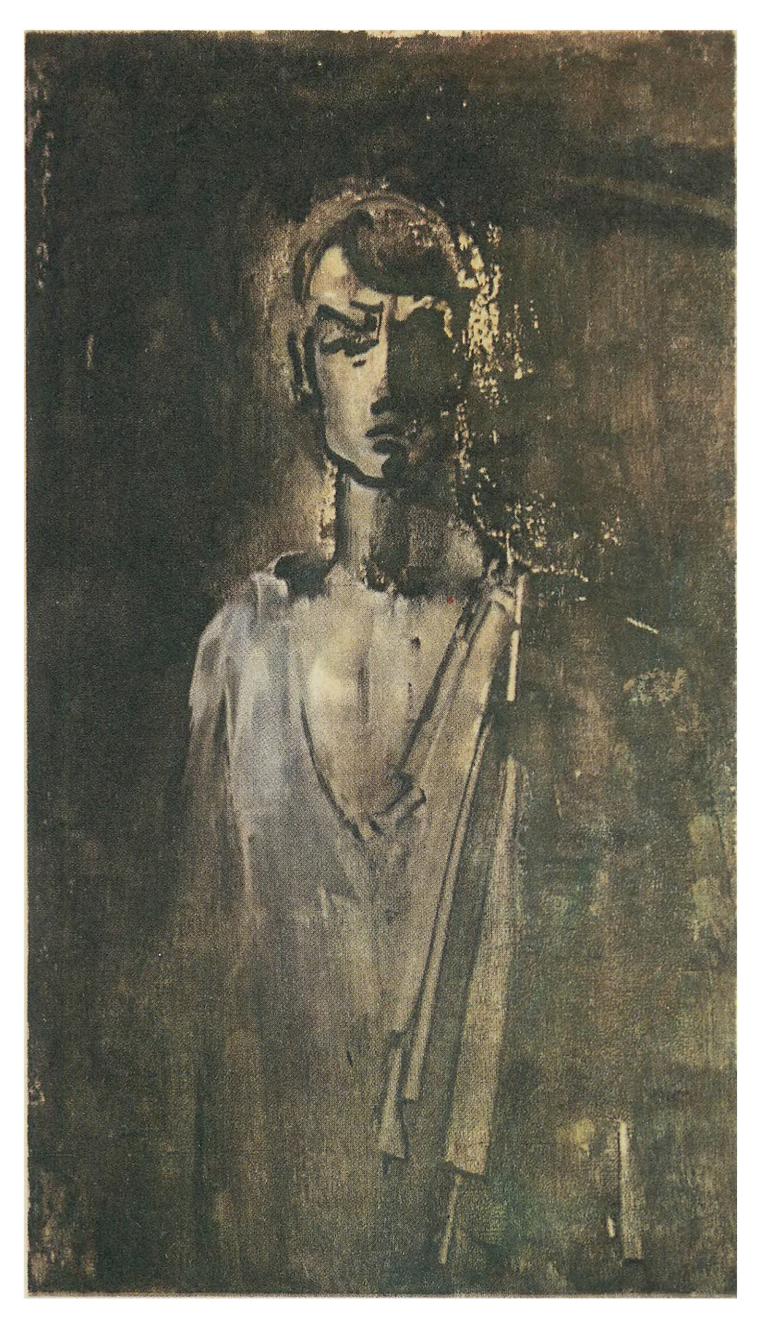
К стр. 15



К стр. 48

К стр. 54

К стр. 71



К стр. 91

К стр. 109

К стр. 122

К стр. 222

— Сегодня утром Котька стал хвастаться, что тебя прогнали, а я ему говорю: «Ничего не выгнали, он больной, а вот выздоровеет и второй раз тебя в речку кинет». А Котька как засмеется. «Больной, — закричал он, — больной! Да он плачет сидит, что из гимназии вытурили». Тут, как назло, и приказ вывесили. Зачем ты мне наврал? Не стыдно тебе?

Мне в самом деле было стыдно. Я глупо сделал, что соврал Юзику про лишай и про директора. Кому-кому, но Кунице я мог бы доверить любую тайну. Это не Петька Маремуха. Тот трус и слова никогда не сдержит. А Куница — парень надежный. Прошлой осенью я сорвал в училище водосточную трубу: хотел по ней влезть на крышу, а труба была ржавая, взяла да и упала. Куница стоял рядом. Потом долго, добрый месяц, заведующий во всех классах допытывался: «Кто сорвал трубу? Кто сорвал трубу?» И учителя тоже спрашивали, но Куница не выдал меня, и с той поры еще крепче стала наша дружба. Зря я не рассказал ему все, как было. А вот сейчас надо выпутываться.

— Знаешь, Юзик, я думал, все так обойдется. Попугал меня Прокопович, а потом простит...

— Обойдется! Жди! — ухмыльнулся Куница. — Вот если придут красные, тогда и простят тебе, а этот бородатый ни за что не простит. Ты еще не знаешь, какой он вредный. И зачем только нас перевели в эту гимназию? Кому это нужно?

— Кому? Петлюре. Он хочет на свою сторону нас переманить, чтобы, когда мы подрастем, за его директорию воевали. Черта лысого! Не дождется, душегуб проклятый!

В это время крольчиха застучала лапками по дну клетки.

— Ой, какой у тебя кролик здоровый! Самка, да? — вдруг изумился Юзик, заметив в глубине клетки красные глаза моей крольчихи.

— Ага, самка, ангорская. Погляди, какая она жирная, полпуда будет... Трус, трус, трус!.. Иди сюда!.. — позвал я крольчиху, протягивая ей желтую морковку. Я был рад, что Куница так быстро перестал сердиться.

Тучная крольчиха выпрыгнула из глубины клетки и ткнулась в мою ладонь горячей мордой. Острыми зубами она схватила морковку и стала быстро грызть ее. На груди у крольчихи от волнения вздымалась белая

пушистая шерсть, а на морде шевелились длинные, тонкие усы.

— Васька, а Васька! А какого голубя я сегодня поймал! — похвастался Куница. — Крылышки сиреневые, клювик маленький, как у чижа, лапки в перьях, со шпорами, а на грудке бант завивается. Ты ж знаешь, банточные голуби очень породистые. Возьму за него на базаре карбованцев сто, не меньше. Боязно только продавать. А вдруг хозяин отыщется? И ты, гляди, молчи...

— Он сам к тебе сел или ты подманил?

— В том-то и штука, что подманил. Я вернулся из гимназии, набрал в карман кукурузы и полез на крышу. Голуби ведь у меня сейчас не в будке, где весной были, — будку тато секачом порубал, — а на чердаке того сарая, где он собак держит. Ну и вот. Вылез я на крышу, отворил решетку, бросил им кукурузы — вдруг гляжу, над Старой усадьбой голубь кружит. И низко. Эх, думаю, попытаю счастья. А дома-то никого нет: тато Бодаеву собак сдает, а мама на базаре. Похватал я голубей да вверх — одного, другого. Аж перья полетели. Свистеть стал. А мой голубь, тот белый трубач, и без свиста — как махнул, как рванул и сразу над колокольней закружился. Ну, банточный к нему и пристал. Я быстренько с крыши на землю, сел в бурьяне под курятником, веревочка в руках, и жду. Полетали они немного и сели рядом — мой и чужой. Мои-то голодные, с утра ничего не ели, ну и поскакали в голубятник, а чужой за ними. Я решетку хлоп — и готово! Банточный с ними сидит и уже около белой самицы вертится. Я и думаю теперь: а что, если ему крылья перекрасить? Из сиреневых в коричневые? Тогда и на базар можно...

— А зачем тебе его продавать? Оставь на развод. Чудак, не знаешь, что сделать? Перевяжи крыло шнурком, и не улетит.

— Я бы перевязал и приручил, да тато может заметить. А он мне строго-настрого наказал больше двух пар не держать. Я и боюсь: увидит пятого и всех продаст.

— А что? Жалко ему?

— А кормить чем? Кукуруза-то сейчас дорогая, и достать ее негде. Селяне на ярмарку теперь не ездят. Боятся, что петлюровцы все у них отберут.

— У вас своей разве нет?

— Да есть, но мало — не уродила. Нам самим на мамалыгу не хватит.

За домом хлопнула калитка. К нам кто-то шел, должно быть, к тетке. А она спит.

Я оставил Куницу в крольчатнице, а сам побежал навстречу.

У крыльца я наткнулся на Петьку Маремуху.

Он был весь красный, взъерошенный и тяжело дышал. Видно, он бежал сюда и оттого запыхался.

— Ты дома? — радостно сказал Петька.

— Дома, — ответил я неприветливо. — А что, представление разве кончилось?

Мне было завидно, что Петька ходил в театр, смотрел представление.

— А ты... ты откуда знаешь, что я был в театре?

— Подумаешь — секрет! Все знают. И Куница!

— Куница?.. Он что, был в театре?

— Ну, в гимназии видел, как вас выводили. Чего ты пристал? Пойдем в сарай.

Юзик тоже встретил Маремуху неласково. Петька чувствовал себя неловко, он понимал, что мы не особенно расположены к нему. Он потоптался немного на месте, а потом, увидев крольчиху, суетливо, скороговоркой сказал:

— Ой, какой кроль! Где ты такого достал, Васька? Весной у вас другой по двору бегал. Правда? Этот красивее, целый баран, а не кроль!

Но напрасно вытанцовывал Петька перед моей крольчихой. Зря причмокивал он губами от восторга. Я и Куница прекрасно понимали, что Петька просто хотел подмазаться к нам. Все было напрасно. Одно из двух: либо с нами дружить, либо со скаутами голоногими в театр ходить. И мы делали вид, что не замечаем Маремуху.

Помолчав немного, Маремуха снова заговорил:

— Я не доглядел все представление. Еще одно действие осталось...

— Что ж так? Сидел бы уж там до конца. Зачем сюда притащился? — не вытерпел Куница и сурово оборвал Петьку: — Какие мы тебе товарищи? Панычи, скауты твои товарищи. Котька Григоренко — твой товарищ. Иди к нему в гости, — и Юзик со злостью сунул в нос крольчихе морковную ботву.

— Ну их! Пусть они подавятся... Больше я к ним не пойду... — вздохнул Маремуха и вдруг, покраснев, сразу выпалил: — Они меня выпороли!

Мы насторожились.

Я с недоверием поглядел на взъерошенные волосы Петьки. Взволнованный, в зеленом скаутском костюмчике, он стоял перед нами и виновато заглядывал Юзику в глаза.

Кто бы мог его выпороть, такого подлизу? Не могло этого быть.

И я, решив, что Петька врет, прямо сказал:

— Ты брешешь!

— Ей-богу! Пусть меня гром побьет! Слушайте, я вам расскажу все по порядку. Только никому не говорите, — попросил Петька, — ладно? Повели нас в театр. Под барабан. После второго звонка Бобырь ушел в залу, а я гуляю один. Ем яблоки, которые дал мне Сашка. Нехай, думаю, все усядутся, а я, как только свет в зале загасят, возьму и тоже сяду где-нибудь с краешка... Вот хожу по коридору и думаю: да тушите, черти, свет поскорее! А в это время кто-то хлоп меня по плечу. Я сначала думал — Сашка, хотел было ему сдачи дать. Оглянулся, смотрю — нет, это Жорж Гальчевский, — знаете, из седьмого класса бойскаут.

— Какой Жорж? Тот, что с крепостного моста в водопад прыгал? — спросил Юзик.

— Да нет. То Мацист прыгал. Того Жоржа Мацистом зовут. Да ты же должен знать Гальчевского: он худой такой, костлявый, высокий, все с кастетом ходит. Приятель Кулибабы. Его отец — поп, служит в Преображенской церкви за Подзамчем. Ну вот, Гальчевский поймал меня за плечо и говорит: «А ты почему, шкет, тут вертишься?» — «Там душно очень, — говорю, — пока не началось, я здесь воздухом подышу». — «А билет есть? Покажи-ка билет!» — вдруг потребовал Жорж. Стал я искать билет, ищу, ищу, то в один карман полезу, то за пазуху, то в другой карман, а сам все думаю: лишь бы свет поскорее потушили, он тогда отвяжется и побежит в залу на свое место. Но не тут-то было. Он стоял ждал, а потом вдруг как толкнет меня сзади коленкой да как закричит: «Пошел вон отсюда, сопляк! Пока я здесь дежурным, ни один заяц у меня не пройдет!» Я споткнулся, чуть было не полетел, яблоки мои покатились к вешалке, я их догоняю, а Гальчевский еще кричит контролеру: «Не пускайте этого зайца обратно, чтобы духу его больше не было!» Я подобрал яблоки и бегом на галерку. Там у меня взяли

билет и пропустили, слова не сказали. Вбегаю — уже темно. Нащупал свободное место на боковой скамейке у самого барьера, сел и грызу яблоко. Съел одно, взял другое, только надкусил, вижу, занавес подымается. Ну, думаю, доем потом. Только было хотел положить яблоко на барьер, а оно сорвалось да как полетит вниз... Ох, я и напугался! Уронил и даже глянуть вниз боюсь — страшно. Слышу только, выругался кто-то в партере и стулом заскрипел.

Потом тихо стало. А представление идет интересное такое, с запорожцами, с танцами и с музыкой. «Про що тырса шелестила» — так называется. Я засмотрелся и позабыл про яблоко.

Кончилось первое действие, зажгли свет, я сижу, не встаю, чтобы место не заняли, а сам высматриваю, где знакомые хлопцы сидят. Вдруг кто-то опять — цап меня за плечо. Обернулся я, гляжу — снова Жорж Гальчевский. «Ты яблоко на голову офицеру бросил?» — спрашивает. «Какому офицеру?» — «А вот погляди!» И схватил меня за шиворот да перегнул головой через барьер так, что я чуть было не упал вниз. А оттуда, снизу, из партера, ихний офицер рукой Жоржу машет и мне грозится. Тогда Гальчевский как закричит: «Пойдем к кошевому!» — и повел меня за кулисы. Там артисты бегают, пыльно, досок много навалено, темно, я чуть-чуть не упал — зацепился за какую-то веревку, а Гальчевский все меня толкает вперед.

Хотел было я удрать — не вышло. Привел меня Жорж к самому Гржибовскому, а тот сегодня на сцене запорожца играл, весь вымазанный такой, и брови и нос — все в краске. Нос у него большой — нашлепку наклеил. Гальчевский козырнул ему и все про то яблоко рассказал, а меня он даже и не спросил, нарочно я или нечаянно. Тогда Марко Гржибовский сказал Гальчевскому: «Врезать ему пять шомполов», — и на меня головой кивнул. А Гальчевский мне сразу ка-ак даст! Ногой!

— И шомполами били? — все еще не веря Петьке, спросил я.

— А чем же еще? Конечно, шомполами!

— Где? Там же за кулисами? — поинтересовался Куница.

— Ну вот еще... за кулисами... Просто вывели туда, за театр, где помойная яма, сняли рубашку и пять раз ударили. Вот погляди, еще знаки есть! — и Маремуха,

задрав рубашку, показал нам свою спину. На его гладкой спине краснело пять неравных вздувшихся полос. Они легли почти рядышком, одна возле другой.

Куница решил проверить, не врет ли Маремуха, не нарисовал ли он эти полосы, чтобы разжалобить нас. Он послюнил палец и провел им по багровой полосе. Маремуха съежился и отскочил.

— А кто бил? — спросил я.

— Кто? Известно — Гальчевский. Марко ему приказал. Гальчевский бил, а Кулибаба и еще два скаута, я их совсем не знаю, держали. Один за руки, другой за голову. Потом я вырвался и побежал сюда, к вам... Ничего, он меня будет помнить... Я ему морду побью... Я не испугался его кастета...

— Кому морду побьешь? — спросил Куница.

— Гальчевскому... и кошевому... Марко... всем, всем побью... Ночью подслежу и буду бить...

— Да Гальчевский же тебя выпорет, как щенка. Нашелся тоже вояка! А у кошевого револьвер есть, он в тебя из револьвера пальнет. А потом, они ж твои начальники, зачем же их бить? — подтрунивая над Маремухой, сказал Куница.

— Я их не слушаюсь больше. Кто им дал право меня пороть? Я разве виноват, что яблоко само упало? Больше я к ним не пойду. Будь они прокляты со своей самостийной вместе... Поскорее бы красные возвращались...

— Ишь как запел, — отрезал Куница. — А сколько раз мы тебе говорили: подкупают петлюровцы таких, как ты, растяп своими цацками, формой да маисовой кашей. Буржуи заграничные все это присылают нарочно — крупу да сахар, чтобы Петлюра здесь для них шпионов готовил, чтобы молодых хлопцев подкупал. А такие, как ты да Бобырь, словно та мышь на приманку, полезли к ним...

— Я теперь и сам понял, какие они подлецы, — огорченно протянул Маремуха.

— Понял, когда тебе ижицу шомполом прописали, — едко сказал Куница. — Мало тебе еще дали! И за компанию Бобыря жаль, что не выпороли.

Ох и вредный же Юзик, когда разозлится!

— Да оставь ты его, Юзик! — заступился я за Маремуху и сказал: — Эх, был бы ты, Петька, надежным парнем, кто знает, может, мы и приняли бы тебя в нашу компанию, дружить стали. А то не верю я тебе. Та-

кому, как ты, даже ничего сказать нельзя. Сегодня ты с нами, а завтра к Котьке побежишь.

— Пусть меня гром убьет — не побегу! Я сердит на него, ничего вы не знаете!

Маремуха от волнения просунул в клетку пальцы. Крольчиха сразу подскочила и стала осторожно обнюхивать их.

— А шапка рыжая у тебя чья? Не Котькина разве? — строго напомнил Куница.

— Ну это когда было... — вконец смутился Маремуха. — Мы первый год тогда жили в Старой усадьбе, моя мама понесла Котькиному отцу деньги за аренду, а Котькина мама подарила ей ту шапку. У меня ведь зимней не было. Я виноват?

— Твоя мама, Котькина мама... А вот ты Котькин подхалим — это мы все знаем. А ну поклянись, что больше не будешь с ним дружить, поклянись, что не пойдешь к скаутам, а мы тогда посмотрим, взять или не взять тебя в нашу компанию, — милостиво потребовал Куница.

— Возьмете? Да? — заерзал около клетки Маремуха. И вдруг неожиданно для нас обоих он сорвал с плеча пучок разноцветных ленточек и злобно швырнул его на землю.

Ногтями он содрал с рукава скаутской гимнастерки желто-голубую нашивку и тоже бросил ее под ноги.

Он немного подумал, поглядел на землю и затем, как козел, сразу прыгнул обеими ногами на эти скаутские украшения и стал топтать их так, словно под ним были не ленты и нашивки, а настоящий, живой тарантул.

Маремуха подпрыгивал, сопел от волнения и, устав, сказал торжественно:

— Вот!..

Мы молчали.

Чтобы окончательно доказать нам, что ему не жаль расставаться со своими голоногими скаутами, Петька топнул ногой еще раз и вдруг размашисто перекрестил свой живот.

— Вот крест святой, не буду дружить с Григоренко! Нужен он мне, подумаешь!

— А если ты с ним и в самом деле дружить не будешь, — сказал я, растроганный клятвой Петьки и тем, что он растоптал скаутские цацки, — то мы возьмем тебя в Нагоряны. У меня там дядька, а у дядьки отец

гостит. Мы сами, без скаутов, пойдем туда Рыбу половим — там рыбы ой как много! И я вам Лисьи пещеры покажу. Хочешь?

— Ну, конечно, хочу! — пуще прежнего засуетился Петька. — А я сетку возьму и удочку ту, длинную, с бамбуковым удилищем. Сеткой за один раз можно много рыбы наловить! А червяков, может, накопаем здесь? У нас на Старой усадьбе под камнями их много, жирные, длинные, — бери сколько хочешь.

— Только помни, Петька, если сболтнешь тетке, что меня выгнали из гимназии, — несдобровать тебе, смотри! Сброшу со скалы! И Куница поможет!

— Я сам тебя сброшу, задавака! — ответил, повеселев, Петька и уселся на клетку.

И тут я сразу простил ему все — и то, что он ластился к Григоренко, и то, что был скаутом. «Он вовсе не такой уж плохой парень, Петька», — подумал я и сказал:

— Слушай, Петро, мы сейчас собираемся в одно место, — и я рассказал обо всем Петьке.

— Зеленая рубашка? Худой такой? Рваные штаны? Да что ты говоришь! Его расстреляли? Не может быть! — сказав это, Петька мигом спрыгнул с клетки на землю. Клетка зашаталась и чуть не упала.

Петька побледнел и смотрел на нас широко открытыми, испуганными глазами.

— Нет, в самом деле? — спросил он.

— Убили, зарыли и следа не оставили! Тяжелобольного человека, который сопротивляться не мог. Елееле стоял. Вот что петлюровцы делают! Их всех надо покидать в водопад с крепостного моста, а Петлюру первым, и мотузок с камнем на шею привязать, чтоб не выплыл! — глухо сказал Куница.

— Постой, а ты откуда знаешь, что он в зеленой рубашке? Ты что — его видел? — спросил я у Петьки.

— Да он... я... я видел, как его вели... мимо нас... — пробормотал Петька.

— Значит, тот самый! — задумчиво сказал Куница. — Его у нас в Старой усадьбе поймали. Над скалой. Вчера вечером. И Сашка Бобырь тоже видел.

— Мы хотим сейчас могилу убрать. Пойдем с нами, Петька. А у тебя жасмина наломаем, — предложил я.

— Я пойду... А не поздно только? Может, завтра утречком?

— Утречком нельзя. Надо сейчас. Пошли! — твердо приказал Юзик и вышел первым из крольчатника.

КЛЯТВА

— Вы подождите здесь: я погляжу, кто дома, — сказал нам Маремуха, когда мы подошли к Старой усадьбе.

Мы уселись с Куницей на полусгнившее бревно.

Старая усадьба, в которой жила семья Маремухи, раскинулась у скалистого обрыва. Внизу текла речка. На другом ее берегу, тоже над обрывом, подымалась Старая крепость. Отсюда можно было хорошо разглядеть все крепостные башни и высокий мост.

Раньше, много лет назад, этой Старой усадьбой владел помещик Мясковский.

Жил он бобылем с одним только старым лакеем. Незадолго перед смертью Мясковского дом, в котором он жил, сгорел, а после смерти Старая усадьба перешла в наследство к двоюродному брату Мясковского — доктору Григоренко.

Видно, не очень она ему пригодилась. У Григоренко на Житомирской был собственный двухэтажный дом с большим фруктовым садом. В Старую усадьбу он не переселился. Доктор только сдал в аренду Петькиному отцу — сапожнику Маремухе — единственный уцелевший от пожара флигель. Маремуха должен был оберегать от потравы фруктовые деревья и ежегодно косить для Григоренко сено. Этим сеном доктор Григоренко кормит свою серую в яблоках лошадь.

— Идите сюда! — выскочив из флигеля, закричал Петька. — Батьки нет дома, он пошел в лавочку за дратвой.

Мы сразу почувствовали себя свободнее здесь и смело пошли за Петькой к растущим над скалой кустам жасмина.

— Ломайте побыстрее, а я тут покараулю! — сказал Маремуха, вскочив на высокий пенек.

Жасмин в Старой усадьбе растет замечательный.

Мы с Куницей тянем к себе упругие ветки и с хрустом обламываем их. Обломанные ветви отскакива-

ют назад с шумом, задевая соседние кусты. Мы ломаем жасмин торопливо и безжалостно — будет беда, если отец Петьки застукает нас.

Но вот букеты наломаны. Мой букет тяжелый, он слегка влажен от первой вечерней росы. Чем бы его перевязать, чтобы не рассыпался? Ну да ладно, перевяжем, вот только выйдем из Старой усадьбы.

С букетами в руках мы бредем по улице Понятовского.

Смеркается. Первые летучие мыши неслышно скользят у нас над головами.

— Подожди-ка, поглядим, что там, — остановил нас Куница у высшеначального училища.

На дощатом заборе нашего бывшего училища налеплен свежий, еще не просохший петлюровский плакат.

— Когда же его здесь повесили? Я бежал — еще не было, — тихо сказал Маремуха.

Куница быстро оглянулся и, зацепив ногтями плохо приклеенный верхний уголок плаката, потянул его к себе.

— Раз! Два! — И не успели мы сообразить, в чем дело, серединки плаката как не бывало. Куница смял этот липкий, мокрый от клейстера кусок бумаги, швырнул его под забор и спокойно скомандовал:

— Пошли, хлопцы!..

Мы пошли, и я позавидовал смелости Куницы. Почему я сам не догадался сорвать плакат? «Трус! — ругал я себя. — Такой же трус, как и Петька. Ведь никого не было вокруг!»

Улица Понятовского круто повернула влево, и мы вышли на каменный крепостной мост. Доски на мосту были теплые и шершавые. Они скрипели у нас под босыми ногами. А внизу шумела вода. Она прорывалась у самого подножия моста сквозь пробитый тоннель и слетала на скалы ослепительно белым, день и ночь шумящим водопадом.

Находились в городе смельчаки: взберутся на перила моста и оттуда, сверху, «солдатиком» прыгают в кипящую под скалами воду.

Эх и боязно, наверное, падать так, затаив дыхание, слушать, как колотится сердце, и уже на полдороге встретиться с взлетающими вверх брызгами холодной воды!

Рассказывали, что давным-давно, перед тем, как по-

кинуть крепость, турки спрятали в железный сундук все свои богатства и потопили его в реке под этим бурлящим водопадом. Уж много лет лежит сундук на дне, и никто не может поднять его потому, что самому лучшему пловцу не достать до дна — такая страшная глубина в этом месте.

Прошли мост. Вот и крепость. Отвесные, крутые ее стены вечером кажутся еще мрачнее, таинственнее. Недаром Петька Маремуха все чаще стал озираться по сторонам.

— Я один пойду к сторожу, а то он увидит нас втроем и перепугается. Подождите здесь, — приказал Куница.

Ждем его внизу, около подземного хода. Слышно, как стукнула дверь сторожки. Через несколько минут Куница подзывает нас к воротам крепости. Они высокие, окованные железом, настоящие крепостные ворота.

Старый хромоногий сторож сдержал свое слово. Он со звоном отомкнул висячий замок и, сняв его с засова, открыл нам калитку. Мы с Петькой вслед за Юзиком перешагнули порог крепостных ворот. Маремуха задел букетом засов, и ветка жасмина упала мне под ноги.

Тихо, крадучись, мы шли по мягкому подорожнику в глубь крепостного двора. Позади, как взводимый револьвер, щелкнул тяжелый замок. Это сторож, чтобы не было подозрения, снова закрыл на засов ворота.

Мы прошли мимо высоких черешен, низеньких, с подбеленными стволами яблонь, густых, ветвистых шелковиц.

— Здесь! — сказал Куница, показывая Маремухе на чуть заметный взрыхленный бугорок под самым бастионом. — Он стоял здесь, над ямой, а они — напротив и целились... А потом, когда он упал, подошел сюда доктор Григоренко и глаза ему потрогал. Мы вон из той башни все видели...

Маремуха молча глядел на могилу. Я развязал свой букет, и свежие, пахучие веточки одна за другой посыпались на перекопанную землю.

— Погоди! — отстранил мою руку Куница и неожиданно вынул из кармана смятый красный платок. — Я китайку принес. Такой китайкой запорожцы застилали могилы своих побратимов, — сказал он и, подо-

брав ветки рассыпанного жасмина, покрыл свежую могилу алой материей. Она была точно такого цвета, как знамя, которое днем и ночью развевалось над ратушей, когда провозгласили у нас Советскую власть.

Куница хорошо придумал.

— Петрусь! — тихо шепнул Куница Маремухе. — Иди к Черной башне, принеси оттуда гладкую плиту. Быстро!

Но Петька покосился на темные башни и затоптался на месте. Видно, ему страшновато было идти туда, к Черной башне, через весь пустынный двор крепости.

— Я не донесу... У меня рука болит... Пусть Василь со мной пойдет, — забормотал Маремуха.

— Эх ты... — со злостью ответил Куница. — Ну, тогда бегите вдвоем, а я здесь останусь.

Не проронив ни слова, мы подкрались к высокой Черной башне. Острая, окруженная зубчатым венчиком, ее крыша ясно выделялась в предвечернем сумраке на синеватом небе. Я подумал: «А не закрыл ли нас в крепости сторож нарочно, чтобы выдать петлюровцам?» И мне стало жутко от одной этой мысли. Показалось, что крепостные стены зашевелились и придвигаются к нам все ближе и ближе. Вот-вот они окружат нас совсем.

— Эта? — дрожащим голосом спросил Петька, увидев под стеной башни прислоненную белую плиту.

— Она!..

Тяжелая!.. С трудом передвигая ноги, мы принесли плиту Кунице.

— Подвиньте на середину... — сказал он. — Да нет же, не опускайте совсем... Вот так, на весу держите. — И, подсунув под плиту руки, Куница расправил красный платок. — Надо все закрыть. Петька, подыми свой край чуть-чуть. Ладно, вот так хорошо... Опускайте!

Мы осторожно опустили каменную плиту на могильный бугорок. Я почувствовал, как она плотно прижала покрытую красной материей мягкую землю.

— Теперь давайте цветы, — прошептал Куница.

Развязав букеты, мы засыпали ветками могильную плиту. Могила стала еще выше.

Темнело.

Желтый серп месяца висел над островерхой Черной башней.

Далеко, за Должецким лесом, — должно быть, в

Приворотье, — протяжно пели унылую украинскую песню.

Крепость подымалась над городом, молчаливая, настороженная. Грохот тряской телеги, далекая печальная песня, тревожный лай собак на Заречье, быстрый стук копыт бегущего по Калиновской дороге коня — все было слышно здесь особенно громко. Глубокие окна крепостных башен и низкие бастионные входы усиливали эти звуки. Казалось, вся крепость дрожит, встревоженная ими. А там, за крепостным мостом, притаился засыпающий город и тоже вздрагивал от каждого звука: и от ржания запоздалой лошади и от далекого выстрела, неожиданно врывающегося в эту вечернюю тишину.

В городе, наверное, уже давно зажгли огни. Но мы не видели их отсюда. Даже высшеначальное училище, которое стояло почти рядом, за мостом, было скрыто от нас высокой крепостной стеной.

Со всех сторон нас окружали башни, низенькие покатые бастионы и белые развалины пересыльной тюрьмы. Сколько видели на своем веку эти крепостные стены!

Прозрачное звездное небо раскинулось высоко над нами. Я видел нахмуренные лица Петьки и Куницы, озаренные светом молодого месяца. Вдруг Юзик выпрямился, поднял голову и, повернувшись к могиле, сказал:

— А теперь, хлопцы, поклянемся, что будем стоять друг за друга, как брат за брата, и отомстим проклятым петлюровцам за этого человека! Давайте руки!

Молча мы протянули над могилой руки. Я цепко схватил чуть вспотевшую и вздрагивающую ладошку Маремухи, а Куница положил свою холодную ладонь поверх наших.

Мы окружили могилу, как в хороводе, и большая тень от наших сомкнутых рук упала на траву бастиона далеко за могильной плитой.

— И в трудный час будем заступаться друг за друга! И будем помогать тем, кто борется за Советскую власть! Правда! Поклянитесь! — строго приказал Куница.

— Клянемся! — дрожащей скороговоркой почти выкрикнули мы, и тотчас же быстрое эхо испуганно повторило вслед за нами торжественные слова клятвы, которую наспех придумал Куница.

Я успокоился только на обратном пути, когда мы подошли к середине крепостного моста. Крепость осталась позади. Здесь, на воле, вдали от ее башен, было совсем не страшно. Даже Петька Маремуха повеселел и на ходу постукивал кулаком по перилам крепостного моста.

Но вот где-то за улицей Понятовского загудел автомобиль. Вслед за ним — другой. Далекий гул донесся сюда, заглушив шум водопада под крепостным мостом.

— Тише, хлопцы! — остановил нас Куница. Мы прислушались. Автомобили гудели на горе за Старым бульваром.

— А то не в губернаторском саду, Юзик? — тихо спросил у Куницы Петька.

— Наверно, в губернаторском, — сказал Куница, и в эту же минуту в автомобильный гул ворвались какие-то посторонние, резкие звуки. Похоже, там, наверху, сразу разломали пополам несколько досок.

— Стреляют! — прошептал Куница. — То они нарочно автомобили завели, чтобы не слышно было... Автомобили гудят под стенкой, на дворе, а они в подвале людей мордуют.

Куница говорил правду. Я тоже слышал немало об этих расстрелах. Ночью, чтобы заглушить выстрелы, петлюровцы заводят автомобили, днем они расстреливают людей под оркестр. Почти каждый будний день на сосновых скамейках под высокой стеной губернаторского сада рассаживаются с большими сияющими трубами петлюровские музыканты. Они приносят с собой из казармы легкие деревянные пюпитры и раскладывают на них нотные тетради. Под командой низенького капельмейстера музыканты без устали играют то быстрые польки, то громкие марши, то веселые краковяки. А в это время за спиной у музыкантов, в низких подвалах желтого, с колоннами дома, в котором до революции жил губернатор, петлюровцы-черножупанники в присутствии начальника петлюровской контрразведки расстреливают арестованных большевиков.

— Сколько они людей замордовали!.. — тихо сказал Куница, прислушиваясь к далекому автомобильному шуму.

Я молча прикоснулся к перилам крепостного моста. Они были влажны от росы. Автомобили продолжали

гудеть. Страшно было подумать, что всего в нескольких кварталах от нас, за каменной стеной губернаторского сада, один за другим падают на холодный пол застреленные черножупанниками люди.

А около остывающих трупов, весь в сером, в желтых лакированных крагах, стоит комендант черножупанников Драган. Кто знает, может, там и доктор Григоренко? И может, Драган, как Марко Гржибовский, угощает усатого доктора душистыми заграничными папиросами, а тот, покурив, снова медленно ощупывает глаза и грудь у стынущих людей и, проверив, убиты ли они, вытирает чистым платочком свои розовые морщинистые пальцы...

Я невольно вспомнил своего отца, который прятался сейчас от петлюровцев там, в Нагорянах, у дядьки Авксентия.

Отец, коренастый, молчаливый, в синей сатиновой рубахе с расстегнутым воротом, возник в памяти. Я видел его так ясно, будто он стоял рядом со мной, с Куницей и Маремухой на крепостном мосту. Мне чудилось, что я трогаю его шершавую руку, что я заглядываю в его строгие глаза.

Как бы и его не поймали петлюровцы за то, что не захотел печатать их петлюровские деньги. Ведь они и его могут расстрелять в губернаторском подвале, стоит только Марко Гржибовскому вспомнить, как мой отец выбросил его из мастерской Маремухи. От одной этой мысли я задрожал. Я очень любил своего отца, и мне еще сильнее захотелось повидать его, быть с ним вместе.

За крепостью задребезжала подвода. Едут сюда. Надо уходить. Но мне не хотелось в этот вечер так рано возвращаться к себе на Заречье... Пойти разве к губернаторскому дому? Но как проберешься туда, если Губернаторская площадь оцеплена?

Патрули, наверное, стоят около доминиканского костела и никого не пускают на площадь.

А что, если махнуть сейчас прямо отсюда на Житомирскую, к Котькиному дому, да расквитаться с Котькой за то, что меня выгнали из гимназии? Он хвастает этим, подлиза, докторский сынок. Куница ведь врать не станет. Сейчас мне никакой Прокопович не страшен, пойду отлуплю Котьку, а хлопцы мне помогут; пусть жалуется кому хочет.

И я предложил ребятам:

— Давайте, хлопцы, сейчас на Житомирскую, к Котьке. Отомстим Григоренко за все! Шкоду сделаем...

— А какую шкоду? — деловито спросил Куница, подтягивая штаны.

— А там посмотрим. Может, Котька около дома, — затащим его в кусты и надаем ему...

— Брось... И не думай даже... — засуетился Маремуха. — Он только крикнет, и мы пропали. Ты забыл разве, что у них на квартире живут два петлюровских офицера?

— Ну, ты известный боягуз, Петька! — сказал я Маремухе. — Ну, где ты видел, чтобы офицеры сейчас дома сидели? Да они с доктором, наверное, в губернаторских подвалах, а ты боишься. Давай пойдем, а, Юзик?

Куница стоял раздумывая.

— Так теперь поздно, Васька, домой уже надо, — опять заколебался Маремуха.

— А ты хочешь утром? Когда все видно? Тоже чудак! Пошли, — упрямо мотнув головой, решил Куница. — Ты что, даром клялся? Не бойся, никто нас не поймает. — И он взял Маремуху под руку.

— Хлопцы... Васька... Юзик, постой, да не тяни меня!.. — запрыгал, отбиваясь, Маремуха. — Вы ж ничего не знаете... На моего папу и так подозрение есть... Он побитый лежит... Я вам все расскажу... Я боялся говорить, а теперь скажу...

Куница отпустил Маремуху, а Петька с жаром выпалил:

— Тот человек, которого сегодня убили, у нас все время прятался!

— Ты врешь! — перебил я Петьку. — Ты его и не знаешь.

— Я не знаю? Вот крест святой! — И Петька перекрестился. — Я знаю. Он восстание хотел поднять против Петлюры. Народ собирал для этого. Но тяжело заболел. Его к нам ночью привел Омелюстый. Он просил спрятать его, пока не выздоровеет. Оставил хлеба, денег, сахару кулек. Тато согласился. Мы его положили на печку. Мама печку занавеской закрыла, он там и лежал больной. У него лихорадка, наверное, была. Ух, страшенная. Через день его мучила. К вечеру

он отходил, слезал с печки, чай с нами пил, а днем так его трясло — я думал, умирает. Мама не поспевала белье стирать. Выстирает ему рубашку, высушит, только он наденет — заколотит, затрясет его, враз рубашка мокрая от пота. Пил мало, а потел ой как здорово! Полез я как-то к нему за рубашкой, а он — цап револьвер из-под подушки и в меня нацелился. Не помню, как я слетел оттуда. Прямо на пол. Чего ты смотришь так, Васька, ей-богу!

Вот из-за этого револьвера его и взяли. Позавчера приехал к нам доктор Григоренко. Ходил по усадьбе, траву смотрел, выругал маму за то, что все черешни пооборваны на тех деревьях, что за флигелем, а потом зашел в комнату воды напиться. А больной лежал на печке. Не знаю, кашлянул он или ногой шевельнул, а может — застонал, вдруг Григоренко поднялся из-за стола, взял свою палку, отдернул занавеску — и к папе: «Кто здесь?» А больной поднялся, стал на колени, худой такой, зеленый, рубашка мокрая, и в доктора из нагана целит. Целит и шепчет что-то.

Григоренко сразу задернул занавеску и задом, задом вышел из комнаты, прыгнул в бричку и уехал. Папе даже слова не сказал. И шляпа его соломенная на столе осталась.

Доктор уехал, а папа сразу отнял у больного наган и стал одевать его. Как маленького. Штаны натягивает, а тот хоть бы ногой шевельнул, так ему плохо было. Бредил. Папа одел его, дал воды и с мамой разговаривает: куда бы его отвезти? Пока они говорили, вбежали в хату к нам три петлюровца, враз связали этого больного человека и к папе: «Кого ховаешь? Москаля ховаешь, пес поганый!» И давай нагайкой хлестать. Ой, как били! То по ногам, то по груди. Тато схватил стул, чтобы защищаться, тогда его один петлюровец по руке нагайкой как ударил, аж кровь выступила. Отняли стул и — наганом, наганом! У папы вся щека сейчас синяя-синяя, на спине синяки, и рука распухла. Он лежит на кровати и ни с кем не разговаривает. А мама плачет и говорит: хорошо, что еще в тюрьму папу не забрали. Мама боится, чтобы Григоренко не выгнал нас из Старой усадьбы. Где мы жить тогда будем? А ты меня на Житомирскую зовешь... А вдруг меня поймают? Пропали мы тогда совсем, — и Маремуха жалобно зашмыгал носом.

— Пойдем, Петька! Пойдем! — со злостью зашептал Куница. — Пойдем, отплатим этому гаду усатому и Котьке за все. Давай пошли!

— Хорошо... — вдруг решился Петька. — Хорошо...

И он затянул пояс.

ПОДЖИГАТЕЛИ

Усатый доктор Григоренко живет в нагорной части города, как раз посредине Житомирской улицы. Это самая лучшая улица города. Она сплошь усажена по обочинам высокими тополями, кленами и желтой акацией.

Дом у Григоренко большой, двухэтажный, с башенками, похожий на маленький замок. Он стоит среди деревьев, в глубине двора, огороженного с улицы прочной стальной оградой на гранитном фундаменте. Ограда очень высокая и склепана из стальных заостренных полос, похожих на широкие мечи. С улицы через просветы в ограде, обвитой плющом, можно увидеть, что делается во дворе Григоренко.

Многим из нас — и мне, и Кунице, и Сашке Бобырю — очень нравится стучать на бегу по этой ограде палкой. Каждому из нас, кто попадает на Житомирскую, трудно бывает удержаться, чтобы не подразнить усатого доктора.

Ох и здорово звенят эти мечи, если по ним провести палкой! Вся ограда дрожит, поет, а палка знай себе звонко отщелкивает все новые и новые удары. Повернешь с разбегу в переулок, и уж слышно, хлопнула позади дверь. Это выбежал на крыльцо рассерженный усатый доктор.

Только ему нас не догнать. Куда там!

А еще лучше — нажать беленькую кнопку электрического звонка, которая прикреплена на каменном столбике у ворот. Над звонком прибита блестящая медная дощечка:

Доктор медицины
ИВАН ТАРАСОВИЧ
ГРИГОРЕНКО
Прием от 8 до 10 вечера

Мы знали, что доктор любит сам выходить навстречу своим пациентам, и частенько вечерами подбирались к его калитке. Нажмем пуговку, а сами спрячемся за кусты напротив. Сядем на корточки и сидим затаив дыхание. Открывается в докторском доме дверь, и медленно, попыхивая трубкой, выходит во двор доктор.

Подойдет к железной калитке, а на тротуаре-то никого и нет, — ну, он и давай ругаться:

— От голодранцы! Ну, если схвачу кого, штаны сдеру!

А мы сидим тихонько под кустами, слышим его бас и радуемся.

Двор перед докторским домом всегда чисто выметен и посыпан желтеньким песочком. Днем по двору, подбирая зерна, ходят пестрые жирные цесарки и серые породистые куры — плимутроки.

Иногда на низеньком деревянном заборчике, который отделяет григоренковский двор от его сада, прислуга выколачивает тяжелые персидские ковры. Пыль столбом подымается тогда над заборчиком и летит в сад, а испуганные куры бегают по двору и кудахчут. Но это летом. А вот ближе к зиме, когда подступают холода и приходит пора надевать зимнюю одежду, горничная доктора выволакивает из сундуков все теплые вещи.

Тяжелые касторовые пальто усатого доктора с высокими меховыми воротниками, бархатные и каракулевые манто его жены, сухопарой и злой пани Григоренко, маленькие суконные, подбитые ватой и отороченные белым барашком пальтишки Котьки и его серые форменные шинели — все это развешивается в такие дни на деревянном заборчике. А шинелей у Котьки три — одна старая, осталась еще со второго класса, и две совсем новые, шитые у портного Якова Гузарчика.

Вынесет прислуга всю зимнюю одежду на заборчик и рядом пса на цепь сажает. А пес-то, пудель — кудрявый, уши висячие, — дурной такой: мы стоим, бывало, около забора, в щелки заглядываем, а он хоть бы тявкнул.

И все пальто, шубы, шинели, будто снегом, посыпаны нафталином. Запах от этого нафталина на всю Житомирскую. Идешь по аллее Нового бульвара, и если почуял запах нафталина, так и знай: у доктора в усадьбе зиму встречают.

Я ни разу не был в доме Григоренко, но Петька Маремуха рассказывал, что, кроме мраморной лестницы на второй этаж, есть еще и вторая, витая железная лестница, по ней можно забраться в маленькую комнатку, которая устроена в куполе самой высокой угловой башенки. В этой комнатке узкие, как в крепости, окна, и летом в ней бывает очень жарко. Недаром никто там не живет, только сушит в ней Григоренко груши и яблоки из своего сада и грибы. А сад в докторской усадьбе не маленький. Начинается он сразу же за низеньким деревянным заборчиком и тянется вниз, к Новому бульвару. С проулка он тоже огорожен дощатым забором.

В саду между деревьями разбиты клумбы, на них цветут резеда, анютины глазки, желтые ноготки и душистый табак. А над клумбами на тонких круглых палках насажены стеклянные разноцветные шары. Что ни клумба, то другой шар. И каких только шаров нет! Темно-зеленые, красные, синие, оранжевые, голубые, ярко-желтые. Все они блестят, переливаются, и когда в ясный день луч солнца, пробившись сквозь густую листву сада, упадет на такой шар, он так и запылает, заискрится, а в шарах потемнее, как в зеркале, станут видны деревья, соседние клумбы и открытая веранда докторского дома.

Недавно, когда я с конопатым Сашкой Бобырем заходил к Лазареву, Сашка бросил через григоренковский забор камень и угодил в самый близкий светло-синий шар. Шар лопнул, точно электрическая лампочка.

Григоренко вместе с горничной гнался за нами до самого бульвара и остановился только перед канавой, через которую ему трудно было прыгнуть.

Ох и кричал же он тогда! Мы были уже у самой скалы, а все еще слышали его крики:

— Босота! Рвань голодная! Воры!

Мы подошли к докторскому саду со стороны Нового бульвара. Сквозь щели забора пробивался свет.

Мы подкрались к забору. Я первый прижался к щели между двумя досками и увидел освещенную веранду. У доктора гости. И какие!

Около низенького каменного барьерчика на веранде стоял ломберный столик для карточной игры.

За столиком друг против друга расселись доктор, его жена, худая пани Григоренко в темном блестящем платье, наш бородатый директор Прокопович — и кто, думали бы вы, четвертый? Рыжеволосый поп Кияница! Кого-кого, но Кияницу я никак не думал увидеть у Григоренко.

Возле застекленной двери, ведущей с веранды в дом, на высокой тумбочке горела тяжелая лампа под розовым абажуром.

Доктор с гостями играл в карты. Возле каждого — мелок: они записывали мелком, кто у кого сколько денег выиграл.

Поп Кияница сидел глубоко в кресле, протянув под столом свои длинные, обутые в скрипучие чеботы ноги. Он даже рясу расстегнул от волнения — видно, очень старался обыграть усатого доктора.

Прокопович сгреб со стола колоду карт. Записав что-то мелком на сукне, он перетасовал карты и ловко разбросал их одну за другой доктору, его жене и попу. Доктор Григоренко сложил свои карты веером. Я увидел, как сверкнуло на его толстом пальце обручальное кольцо. Он почесал картами нос, подмигнул сидящему сбоку попу и гулко, на всю веранду, пробасил:

— Пики!

А где же Котька? Ага, вот он где!

Через застекленную приоткрытую дверь я увидел, как он шнырял по гостиной в своей гимназической курточке. Мне была хорошо видна обтянутая красным плюшем мебель докторской гостиной: низенькие мягкие кресла, кушетка, маленький столик на бамбуковых ножках. Котька взял с этажерки какую-то толстую книгу и сел на кушетку.

Прошла через гостиную горничная, неся перед собой тяжелый дымящийся самовар. Она понесла его в столовую. Скоро, наверное, туда же уйдет чаевничать доктор со своими гостями.

— Отойдем! — прошептал Куница и потянул меня за полу рубашки.

Мы перешли на другую сторону проулка.

Отсюда тоже можно было разглядеть, что делается на докторской веранде.

Вон, согнувшись над картами, сидит доктор, а наискосок от него трясет своей бородой Прокопович. Он опять что-то записывает мелком на сукне. Видно,

снова выиграл. Какой он сейчас тихий, ласковый, а вчера орал на меня, ничего слушать не хотел. Ясно, он будет заступаться за Котьку, раз обыгрывает его отца.

Я следил за всей этой компанией и еще больше ненавидел усатого доктора и его приятелей.

Ведь этими толстыми, мясистыми руками еще сегодня утром доктор Григоренко там, в крепости, трогал стынущие веки застреленного человека, которого он сам же выдал петлюровцам. Как он мог теперь шутить, спокойно смеяться, играть в карты?

Юзик Стародомский тоже не отрываясь глядел на веранду.

— Подождите меня тут, — вдруг, повернувшись к нам лицом, сказал он и, мигом перепрыгнув через глиняный лазаревский заборчик, исчез в темноте. Скоро Куница появился, держа в руках четыре квадратные черепицы. Я знаю, откуда их он выдрал: такими красными черепицами огорожены лазаревские клумбы.

— Бубны! — донеслось с веранды.

— Вот постойте, мы дадим вам сейчас бубны!

Одну черепицу Юзик протянул Маремухе, другую — мне.

Мы вышли на середину проулка: отсюда сподручнее бросать!

Я видел покатую крышу и головы сидящих за ломберным столиком. Кто-то засмеялся. Должно быть, поп. Скрипнул стул. Зазвенела посудой горничная.

Я слышал стук своего сердца. Ноги у меня легкие-легкие.

— Бросаем? — заглянул мне в глаза Куница.

Отступать некуда. Кивнув головой, я размахнулся.

Куница бросил раньше меня. Рядом, совсем над ухом, засвистела его плитка.

Он послал вдогонку вторую — слышно было, как, пробивая листву старой яблони, все они с треском и звоном упали на веранду. Я видел — покачнулась и ярко вспыхнула лампа. Отсвет пламени длинной полосой пробежал по саду, точно погнался за кем-то Должно быть, мы разбили стекло.

Женский крик: «Пожар! Горим!» — провожает нас. А мы, не чувствуя под ногами ни круглых булыжников, ни проросшего в них влажного подорожника, задыхаясь и толкая друг друга, мчимся к заветной бульварной канаве.

Перепуганный Петька Маремуха подбежал к нам уже на бульваре.

По аллее бежать опасно: можно наткнуться на петлюровский патруль.

Мы свернули влево и осторожно, вытянув, как слепые, руки, ощупывая каждое встречное дерево, стали пробираться к скале.

И только под самой скалой, возле белой тропинки, которая, извиваясь вдоль обрыва, ведет к центру города, Куница остановил нас. Мы упали на траву.

Вокруг темно. Очень темно.

— Кто кричал «пожар»? — спросил у меня Маремуха.

Не отвечая, я думал: «Ну и кашу мы заварили! Теперь, если Петька выдаст нас, все пропало! А вдруг в самом деле от разбитой лампы загорелся дом Григоренко?»

Я очень ясно представил себе, как багровые языки огня, извиваясь, лижут стены докторского дома, потихоньку поджигают деревянную крышу веранды, пробираются через оконные рамы в дом... А вокруг бегают испуганные доктор с женой, Котька, Прокопович, поп в длинной рясе и швыряют в огонь что попало: вазоны с цветами, стеклянные шары, садовые лейки... Но унять огонь нельзя. Дом пылает все больше и яростнее. Трещат балки, крыша с грохотом валится вниз, и вместо красивого, похожего на маленький замок дома остается груда дымящихся развалин. А утром по всему городу нас, поджигателей, разыскивают вооруженные пикеты петлюровцев...

Отдышавшись, мы тихонько побрели в город. Вышли на Тернопольский спуск.

Всюду погашены огни.

Белая мостовая тянулась вверх, к Центральной площади. Пивная Менделя Баренбойма была закрыта длинной гофрированной железной шторой.

Тихо. Никого.

Лишь далеко за мостом стучали шаги какого-то запоздалого прохожего.

Я подумал: «А что, если пойти к городской ратуше?» Там вверху, в будочке, день и ночь сидит дежурный. Если в городе пожар, он дает сигнал. Тогда сразу начинается суета, под ратушей открываются широкие двери пожарной команды, на улицу вылетают, сту-

ча копытами, серые кони, запряженные в платформы с насосами и красными бочками. А на линейках мчатся пожарные с блестящими топориками.

Непременно надо подойти к ратуше. Если у Григоренко загорелась веранда, дежурный обязательно заметит огонь.

Мы делаем круг и подходим к ратуше. Двери пожарной команды закрыты.

Минут десять мы ждем у ратуши: вот-вот раздастся оттуда, сверху: «Пожар! Горит!» Но там тихо.

Сидит в будочке над сонным городом одинокий пожарник, считает от скуки звезды и, должно быть, ничего, кроме крыш, мокрых от росы, да пустых улочек, не видит.

Большие стрелки на часах ратуши показывают пол-одиннадцатого. Ой, как поздно! Тетка, наверное, уже легла и калитку закрыла...

Калитка в самом деле была на замке. Во двор я попал, перебравшись через забор. Тетка открыла мне дверь и сразу же, не спросив, где я был так поздно, легла снова спать.

А я долго не мог уснуть. Мне казалось: вот-вот придут за мной петлюровцы и потащат меня в тюрьму. А самое главное, ведь защищать-то меня будет некому. Вот если бы дома был отец — другое дело. Но отец далеко...

Несколько лет назад, когда мы жили в Херсоне, мой отец пил. И крепко пил.

Его не выгоняли из типографии потому, что он умел набирать по-французски, по-гречески и по-итальянски. А как раз в те годы типография получала много работы из Одессы на разных языках.

— Без меня им не обойтись, — ухмылялся отец, рассказывая матери об этих заказах.

И в самом деле, заказы эти были доходные, хозяин на них хорошо наживался, и ему поневоле приходилось мириться с пьянством отца.

Я никогда не видел, чтобы отец пил дома.

Обычно он напивался до беспамятства где-то в городе, а потом, пьяный, бродил по улицам, толкая прохожих и опрокидывая уличные урны.

К нам домой хозяин типографии присылал по-

сыльного. Не переступая порога, посыльный спрашивал:

— Манджура дома? Хозяин требует!

Мать сразу догадывалась, в чем дело. Набросив на худые плечи единственный уцелевший от глаз отца оранжевый платок, она брала меня за руку.

Я знал, что сейчас мы пойдем искать отца, и радовался.

В пивных скверно пахло табачным дымом и квашеным ячменем, но зато было очень весело. Облокотившись на круглые мраморные столики, сидели в дыму на кругленьких бочках какие-то незнакомые люди и жадными, большими глотками пили покрытое белой пеной прозрачное пиво. Люди громко ругались, хлопали друг друга по плечам и швыряли на пол, прямо себе под ноги, красные, обсосанные клешни раков.

Если в пивных отца не было, мы шли в Александровский сад. Посыльный, сутулясь, шел рядом, и мать расспрашивала его, сколько денег получил отец и скоро ли опять будут выдавать жалованье.

За воротами парка, на песчаных площадках, играли нарядные дети.

Они расхаживали возле скамеек в белых матросских костюмчиках и сандалиях У девочек в косичках были бантики. Я знал, что этих детей приводили в парк их няньки. Они сидели тут же на скамейках, щелкали семечки и разговаривали друг с другом.

Дети катали вокруг клумб желтые обручи, прыгали через скакалки, мальчики рылись в кучах золотистого влажного песка. Возле них на песке валялись деревянные формочки — желтые, розовые, лиловые рюмочки и чашечки.

Я завидовал нарядным детям.

Мне казалось, что они каждый день едят те розовые пирожные, что выставлены на витрине кондитерской.

Мы проходили мимо игравших детей в глубь парка. И здесь мать отпускала мою руку и шла одна вперед.

Она то и дело нагибалась, заглядывая под кусты Посыльный едва поспевал за нею. Я бежал позади, обрывая с веток зеленые стручки акаций, которыми набивал себе полные карманы. Я делал из стручков пищики.

Отец любил спать в парке сидя. Прислонится спиной к стволу дерева и спит, наклонив голову. А его замасленная кепка надвинута на глаза, и из кармана торчит горлышко бутылки.

Отца будили, он мычал и вертел головой. Его подымали, брали под руки, мать с одной стороны, посыльный с другой, и вели через весь город в типографию.

Я шел сзади, часто останавливался у афишных будок, разглядывая картинки на афишах, подолгу стоял около витрин и вообще вел себя так, словно впереди меня шли чужие, незнакомые мне люди.

Мне было стыдно за отца.

Особенно стыдно мне было, когда он вдруг ни с того ни с сего начинал петь.

Мать упрашивала его помолчать — ведь за пение его мог арестовать городовой, но отец не слушался и пел все громче одну и ту же жалобную и тоскливую песню:

Мы котелки с собой возьмем,
Конвой пойдет за нами,
И мы кандальный марш споем
С горькими слезами...

Подойдя к типографии, мы усаживались на ступеньках высокого каменного крыльца. Посыльный убегал к хозяину. А отец снова засыпал. Выходил хозяин — худенький рыжий человек среднего роста — и останавливался на крыльце повыше нас. Потом он шептал что-то на ухо посыльному. Посыльный убегал и возвращался с большим эмалированным кувшином, из которого через край на ступеньки лилась вода. Мать одну за другой стягивала с отца обе рубашки.

Отец сидел на ступеньках со взъерошенными волосами, сонный, измученный, жалкий. Он поглядывал то на мать, то на хозяина и бормотал:

— Ну, уйдите, ироды. Вот, ей-богу! Ну, поспать дайте.

Мать отходила в сторону, а хозяин кивал посыльному. Тот поднимал кувшин, наклонял его и потихоньку лил на голову отца холодную воду.

Я видел, как струйки воды разбрызгиваются на отцовской лысине, и ежился.

«Чего ты ждешь? — шептал я про себя. — Встань,

вырви из рук посыльного кувшин, ударь его по зубам и удирай!»

Но отец и не думал удирать. Он вяло растирал воду по лицу мокрой пятерней. Вода текла по его штанам, разливалась вокруг — каменные ступеньки лестницы чернели, словно после дождя. Кувшин, наконец, пустел. Тогда мать брала у меня рубашку и с трудом натягивала ее на влажное тело отца. Отец сидел смирно и, видно, уже больше спать не хотел. Его уводили в типографию, а мы шли домой.

Однажды мать забрала в типографии за отца получку и куда-то ушла. Отец возвратился домой сердитый. Увидев, что матери нет, он схватил с полочки будильник, завернул его в клеенку с нашего обеденного стола и, прихватив с комода кружевную скатерть, убежал из дому, оставив меня в комнате одного.

Мать вернулась к вечеру. Она связала в узел свои платья, мое белье и отвела меня к соседке.

— Поберегите моего сына и вещи, Анастасия Львовна, пока я вернусь, — сказала мать, отдавая соседке узел и деньги. — Я поеду в Одессу, к сестре, разузнаю, нельзя ли совсем переехать туда. В Одессе, говорят, есть доктор, который лечит людей от водки. Может, он вылечит и моего мужа — житья с ним нет.

Она попрощалась с Анастасией Львовной, поцеловала меня и ушла.

А через два дня мы узнали, что пароход «Меркурий», на котором мать уехала в Одессу, возле Очакова наскочил на германскую мину.

До поздней ночи кричали на Суворовской газетчики:

— Гибель «Меркурия»! Гибель «Меркурия»! Немецкие мины в Черном море.

Отец ходил на почту, посылал телеграммы то в Одессу, то в Очаков. Он все надеялся, что мать спаслась и не потонула вместе с другими.

Я долго не понимал, что случилось. Как и отец, в первые дни я был уверен, что мать жива, скоро вернется и мы поедем в Одессу, где живет доктор, который лечит всех людей от водки.

Недели через две после гибели «Меркурия» я спросил Анастасию Львовну:

— И капитан потонул?

— И капитан, — ответила она мне жалобным голо-

сом, и я вдруг удивительно ясно представил себе, как посреди моря одиноко плавает белая фуражка-капитанка с черным околышем и золотым галуном, а сам капитан, пуская бульки, медленно идет ко дну.

После смерти матери отец сделался хмур и неразговорчив. Он бросил пить водку, приходил с работы прямо домой и все молчал. Коренастый, белолобый, в длинной сатиновой рубахе, подпоясанной сыромятным ремешком, он все ходил молча от комода к подоконнику, задевая ногами стулья.

Я сидел в самом углу на топчане и следил оттуда за его широкими, упрямыми шагами, видел его сгорбленную спину, слышал гулкий стук его ботинок.

Мне казалось, что отец сумасшедший, что вот-вот он схватит стул, бросит его об стену, с грохотом опрокинет на пол комод, вышвырнет одну за другой в окно все глубокие тарелки, а потом закричит и возьмется за меня.

Но однажды отец пришел домой раньше, чем всегда. В руках у него было много свертков. Я сперва подумал, что это отец купил мне гостинцы, и обрадовался.

Но отец высыпал свертки на ободранный стол и сказал:

— Поедем, сынку, отсюда к Марье Афанасьевне. Раз такое дело стряслось, чего ж нам больше здесь оставаться?

Я знал, что Марья Афанасьевна, сестра отца, живет в городе, до которого надо ехать трое суток по железной дороге.

На следующий день мы уехали.

...Так, вспоминая о своем отце и о том, как мы переехали сюда, я заснул.

НАДО УДИРАТЬ!

Утром, когда я еще спал, ко мне прибежали Петька и Куница.

Куница был встревожен. Про Маремуху и говорить нечего.

— Мы удрали со второго урока! — сказал Куница.

— Котька Григоренко пришлет за тобой петлюровца, и тебя посадят в тюрьму! — оглядываясь по сторонам, выпалил Маремуха.

— Погоди... Расскажи ему все сначала! — перебил Петьку Куница.

— Я был в уборной... с утра... как пришел в гимназию... Слышу голос Котьки за перегородкой. Поглядел в щелочку, а там Жорж Гальчевский курит около стенки, а Котька ему рассказывает. Я встал на цыпочки и подслушиваю. «Ударили черепицей по лампе, керосин хлюпнул прямо на столик», — рассказывает Котька. Ага, думаю, это про вчерашнее. «Чуть дом не спалили. Хорошо, папа схватил горящий столик да швырнул в сад на клумбу...» Потом Гальчевский что-то у Котьки спросил, а что — я так и не расслышал, а Котька и говорит: «А за то, что его из гимназии выгнали!» Ага, думаю, разговор про тебя, Василь. А тут, как назло, кто-то вошел в уборную, они замолчали, я тогда выскочил в коридор и — к Юзику. Рассказал ему все, и вот мы со второго урока удрали, чтобы тебе сказать. Пение было. Родлевская ушла за нотами, а мы — к тебе.

— Тебя с Куницей не вспоминал?

— Меня? Нет! А что? — заволновался Маремуха.

— И не говорил, что делать будет?

— Больше я ничего не слыхал! — ответил Петька, потом вдруг подпрыгнул и радостно выкрикнул: — Да, я же тебе, Васька, самого главного не рассказал! У Кияницы вся ряса сгорела И бороду свою рыжую он обсмолил. Вот здорово! Правда?

Но и это меня не утешило.

«Дело худо, — думал я. — Если Котька подозревает, что это я бросил черепицу, то, конечно, он уже не одному Гальчевскому рассказал об этом».

— Ну... а ты что скажешь, Юзик? — спросил я Куницу.

— Я вот что думаю, — сказал Куница. — Все втроем мы должны удрать к красным. Они ведь уже совсем близко. А тут, в городе, нам оставаться нельзя.

Я впервые видел Куницу таким. Он разговаривал с нами как взрослый.

Глаза его горели.

— Хорошо, Юзик! Пусть будет по-твоему, но как же мы это сделаем? — спросил я.

— Я же сказал: надо убежать к большевикам. Возьмем хлеба побольше и пойдем на Жмеринку. Большевики в Жмеринке. Поступим к ним в разведчики. Понятно?

— А родные?.. — спросил Маремуха. — Они не пустят...

— Родные! Родные! Эх ты, нюня! Мамы испугался, да? А что, лучше будет, если из-под маминой юбки в тюрьму потащат? — закричал Куница.

— Постой, Юзик, не кричи, — сказал я Кунице. — А если красные еще не в Жмеринке? Где мы будем тогда искать большевиков? А ночевать где? Вдруг дождь? Только тише ты, не кричи — тетка услышит.

— Наши в Жмеринке. Я тебе говорю! Я читал прокламацию партизанскую об этом! — уверенно сказал Куница.

— Пусть так. Но ведь до Жмеринки далеко! Как мы дойдем туда пешком?

— Юзик, послушай, — сказал я, — зайдем сперва в Нагоряны. Я очень хочу батьку повидать. Ведь Нагоряны по пути, там отдохнем. Оттуда и в Жмеринку ближе, а?

— Ладно! Но если идти, так теперь же! — решил Куница. — Долго не копаться.

— А что нам копаться? Вы бегите, собирайтесь, я только возьму перочинный ножик, рогатку и хлеб. Я вас буду ждать около Успенской церкви, в скверике!

Мы сразу же расстались.

Выпустив хлопцев на улицу, я побежал в комнату. Тетка была на огороде. Это хорошо — ничего не надо объяснять. Я схватил свои припасы и помчался к Успенской церкви. Через несколько минут с сеткой и бамбуковым удилищем туда прибежал Маремуха. В руке у него болталась беленькая жестяночка из-под консервов.

— На червей! — объяснил Петька.

Куница прибежал последним. Он держал в руках фляжку с водой и маленький сверток.

— Это хлеб с брынзой! — запыхавшись, объяснил он. — У тебя, Петька, большие карманы, на, возьми.

Петька сунул сверток в карман.

Куница взял у Петьки удилище, и мы тронулись в путь.

К вечеру, когда порозовевшее солнце спускалось за белые скалы, мы подходили уже к Нагорянам. За перевалом, где дорога круто сворачивала вниз, я узнал знакомую березовую рощу.

Ну да, это она, милая березовая роща! Здесь мы сделаем привал!

Высокие белоствольные березы шуршат прозрачной глянцевитой листвой, сквозь нее просвечивает ясное небо. Внизу, в лощине, под глинистыми, осыпающимися склонами рощи журчит родник. Обнаженные коричневые корни берез омывает лесная вода.

Юзик Стародомский с размаху бросил в ручей камень. Раздался звонкий всплеск воды, и брызги упали в прибрежную траву.

— Хлопцы, полежим? — предложил Петька.

Пятнадцать верст не такая уж большая дорога, но у Петьки на спине намокла от пота рубашка. Он здорово устал.

— Только недолго! — предупредил я, опускаясь на мягкую траву.

Куница улегся рядом со мной. Длинное Петькино удилище он, точно пику, поставил под маленькой березкой.

Я перевернулся на спину и рассказал ребятам, как мы в прошлом году весной вместе с моим двоюродным братом Оськой пили здесь березовый сок. Сок был замечательный. Штопором перочинного ножа я продырявил тогда вязкую кору почти у корней вон той, самой старой березы, что склонилась над родником. К пробуравленному отверстию я прикрепил желобок из белой жести, а Оська подставил коричневую бутылку. Не успели мы отойти, как из дерева в бутылку закапал чуть желтоватый березовый сок. Пока бутылка наполнялась соком, мы кувыркались, пугая зябликов, на мокрой еще лужайке, покрытой прошлогодней листвой, и фуражками ловили на первых весенних цветках мохнатых черно-красных шмелей.

Шмели жалобно гудели у нас в фуражках, мы осторожно убивали их сосновой щепочкой и, убив, доставали из шмелиных животов белый жидкий мед.

Мы запоминали, где какая птица начинает вить гнезда, чтобы потом прийти поглядеть на ее детенышей. Так, кувыркаясь и удивляя друг друга новыми на-

ходками, мы, наконец, усталые, вот как сейчас, упали в траву.

А потом, когда березового сока натекло в бутылку много, мы выпили его тут же, на поляне. Он булькал у нас в горле, чуть горьковатый первый сок весны! Облизываясь, мы следили друг за другом, чтобы, чего доброго, никто не отпил лишнего.

Как жаль, что сейчас нельзя было наточить соку из этих берез, — весь сок уже давно ушел в листья, а то мы напились бы его вдоволь.

— Да, это было бы здорово! — сказал Куница. — Ну ладно, пошли, что ли?

— Верно, пойдем, тут ведь пустяк осталось дойти, — согласился я.

Куница быстро вскочил на ноги, оставив после себя вмятину на лужайке.

Петька Маремуха встал нехотя, потягиваясь, как сытый кот. Он ленивый у нас, этот коротышка.

— Пойдем, пойдем, нечего потягиваться. Там отдохнешь. Ишь раззевался, — сказал Куница, и мы покинули березовую рощу.

В НАГОРЯНАХ

Далеко от главного Калиновского тракта, который ведет на Киев, около узенькой, но глубокой реки, на глухой проселочной дороге лежит село Нагоряны. Очень неровное, с крутыми пыльными улицами, это село раскинулось на буграх, над скалистыми обрывами.

Перевалив через Барсучий холм, мы увидели соломенные крыши нагорянских хат. Мой дядька Авксентий жил на окраине села, возле кладбища.

Около его хаты сохли на плетне глиняные, с почерневшими донышками горшки и мокрое потрепанное рядно. Три курицы рылись под крыльцом, вздымая облачка серой пыли.

— Подождите тут. Я схожу в хату, вызову дядю, — сказал я Маремухе и Кунице.

В последнюю минуту у меня екнуло сердце: а не влетит мне от дядьки за непрошеных гостей? Но не успел я переступить порог крыльца, как дядька Авксентий, услышав говор на дворе, появился на пороге сам.

Рослый, в свисающих штанах, в холстинной сорочке, с недовязанным остроносым постолом в руках, он пошел нам навстречу. Лицо у дядьки Авксентия было смуглое и обветренное.

— Ого, та це Василь! Откуда? Ну, здравствуй! Вот не ожидал! Счастливый день будет, если с вечера гостей встречаю. А хлопцы возле тына твои? — спросил дядька, пожимая шершавыми, жесткими пальцами мою руку.

— Мои, мои, дядя! Добрый вечер! Мы вот пришли к вам рыбу ловить...

— Ну что же, заходите, рыбы на всех хватит. Мы с Оськой вчера целый вечер лазили по воде, даже я застудился. Хриплю, слышишь как! Ну, чего ж вы на дворе стоите? Заходьте в хату.

— Дядя, а тато где? — осторожно спросил я, переступив порог.

Задымленная комната с широкой постелью в углу была пуста.

— Мирон?.. А его здесь нет... Мирон пошел с Оськой в Голутвинцы... Там ярмарка... — как-то нескладно ответил дядька.

Значит, мы разминулись с отцом? Ведь Голутвинцы под городом. А может, он зайдет оттуда домой, в город? Вот будет жалко!

— Да садитесь, хлопцы! Ну, чего же вы стоите? — пригласил Авксентий. — Рассказывайте, что нового в городе. Как там петлюровцы поживают? У нас их тут мало. Проскочит один-другой по шляху, а в село заезжать боятся.

Я уселся на трехногий стульчик и рассказал дядьке, как петлюровцы обыскивают жителей каждую ночь, как попы служат в кафедральном соборе молебны за здоровье Петлюры, рассказал я и о том, как закрыли наше училище. Петька Маремуха вместе с Куницей уселись на лавочке. Маремуха с любопытством оглядывал задымленную печь, набитую желтой соломой. Возле печи на полу лежала кучка сыромятных, покрытых шерстью ремешков, из которых дядька плел себе постолы.

Осмотрев комнату, Петька выглянул в окно, видно побаиваясь, как бы не украли бамбуковое удилище и сетку. Зря боится — не утащат: здесь не город, все люди знакомые, все на примете.

Куница исподлобья поглядывал на дядьку. Потом тихонько дернул меня за локоть и прошептал:

— Про крепость расскажи... И про губернаторский дом. И про партизан, что листовки по ночам расклеивают на столбах.

— Хорошо, хорошо, не мешай! — отмахнулся я и торопливо рассказал дядьке о том, что мы видели в крепости.

Морщинистое лицо Авксентия нахмурилось. Об атамане Драгане и его черножупанниках я рассказать не успел. Дядька сразу поднялся и перебил меня:

— Вот что, хлопцы, я сейчас, пожалуй, схожу к одному человеку, у него хороший бредень есть. Договорюсь с ним, чтобы завтра с утра ловить рыбу всем разом. Он живет тут близенько.

Я увидел, как сразу заблестели от удовольствия глаза у Куницы и Маремухи.

Хорошо, что я уговорил их зайти в Нагоряны. Понемногу я начинаю забывать о городе, о тяжелых воспоминаниях и волнениях, которые связаны с ним.

— Хлопцы, — сказал я, — завтра, как половим рыбу, в лес пойдем. Я покажу вам Лисьи пещеры!

— Куда, куда? В Лисьи пещеры? А где же они есть такие? — вдруг нахмурился дядька.

— Как где? Вы же сами меня водили! Помните, прошлым летом?

— Я? Ну, да верно... А я и позабыл... Ох, какие непоседы! Не успели в гости прийти, а уж нечистая сила тащит вас в какие-то пещеры. Не ходите туда, ну вас! Гадюк теперь там развелось уйма! Еще ужалит какая!

— Ну, тогда мы пойдем на речку, к сломанному дубу, — нерешительно сказал я, про себя соображая, что от сломанного дуба к Лисьим пещерам рукой подать.

— На речку можно, — согласился дядька и надел свой соломенный капелюх.

У дверей он обернулся и позвал меня:

— Василь! Поди-ка сюда!

Я вышел вслед за Авксентием во двор. Молча мы зашли в клуню. Меня сразу же обдало запахом сухого сена.

— Василь, — тихо и строго спросил дядька, — а кто эти хлопцы, что с тобой пришли? Ты их хорошо знаешь?

Смущенный строгим голосом Авксентия, я рассказал, кто такие мои приятели.

— Батько Маремухи живет в усадьбе Григоренко? — спросил дядька.

— Ну да! — обрадовавшись, подтвердил я.

— Он мне в позапрошлом году чеботы чинил, — вспомнил Авксентий. — А второй кто?

— А это Юзик Стародомский. Его отец собак ловит. Он возле Успенской церкви живет.

— Слухай, Василь! — сказал тогда Авксентий и взял меня за плечо. — Завтра я тебя поведу к батьке. Он никуда не уходил. Это я нарочно про ярмарку сказал. А ты никому не смей говорить, что батько в Нагорянах. А то сразу приедут петлюровцы и схватят его, да и меня вместе с ним. На меня они косятся с прошлого года, и до Мирона у них тоже дело есть. Приказ об аресте — понимаешь? Слух прошел, что это не без его участия листовки партизаны печатают. Понятно тебе? Я вам ничего не запрещаю, можешь водить хлопцев везде, завтра мы на рыбалку пойдем вместе, только обо всем молчок. Хлопцы-то знают, что батько здесь?..

— Да, я говорил...

— И что у меня живет, тоже знают?

Я виновато молчал.

— Эх ты, шалопут. Все успел выболтать... — с укором сказал дядька.

— Да ведь мы... — с жаром сказал я и остановился. Хорошо бы, конечно, рассказать дядьке, что мы собрались к большевикам, но тогда надо рассказать и об исключении из гимназии. Нет, уж лучше помолчу...

— Ну? — дядька опять строго посмотрел на меня. — Говори, чего замялся?

Стараясь избежать неприятного разговора, я промямлил:

— Мы... мы... — Потом выпалил: — Да мы сами ненавидим петлюровцев! Нам тоже сала за шкуру налили петлюровцы! Мы тоже ждем красных! Вы не бойтесь, дядя!

Лицо дядьки Авксентия сразу подобрело. Он улыбнулся. А я отважился и, вспомнив о хлопцах, которые дожидаются меня в хате, спросил:

— Дядя, а нельзя нам сегодня рыбу половить?

— Рыбу? Сегодня? Вот далась вам эта рыба.

Ну ладно — рыба так рыба! Теперь, правда, время такое, что бомбы переводить жалко, ну да ладно — для гостей не пожалею. Видал, как рыбу бомбами глушат? Ну, ничего, еще раз поглядишь! Только вот что, поморились, наверно, с дороги? Голодны небось?

— Нет, нет, мы ели доро́гой.

— Ну, тогда подождите меня, а я до соседа заскочу. Я быстро.

Я побежал в хату, предупредил хлопцев, что мы пойдем на рыбу. Пока дядька ходил в соседний двор, мы отдохнули с дороги в низенькой прохладной хате, а потом вышли на улицу. Я насилу уговорил Маремуху не брать сетку. Зачем она сдалась, когда одной бомбой можно наглушить втрое больше?

Вскоре с соседнего огорода вышел дядька, держа на ладонях две ржавые круглые бомбы.

Маремуха с опаской взглянул на них. Да и мы с Куницей шли рядом с дядькой не без волнения. «А вдруг он споткнется и упадет? — думал я. — Ведь бомбы тогда могут взорваться». Но дядька и не собирался падать; держа в руках пустое ведро, он спокойно шагал под гору — широкоплечий, кряжистый. Бомбы он положил в карманы.

Место, куда привел нас дядька, было пустынное, тихое. Среди деревьев, над обрывистым берегом реки, зеленела небольшая полянка.

Нагоряны остались где-то позади, за лесом. Старые яворы, кривоствольные дубы и целые заросли бузины отделяли нас от села. Внизу, под скалистым обрывом, текла река. Отсюда, с высоты, вода в речке казалась черной.

На берегу, усыпанном камнями, я увидел опрокинутую вверх дном лодку. Сбоку, где скалы обрывались не так круто, белела тропинка.

— Слухайте, хлопцы, — поглядев вниз, приказал дядька. — Я в речку не полезу, брошу бомбы, а рыбу вы уж сами будете ловить. А теперь марш отсюда! Прячьтесь вон за те деревья.

Мы побежали вверх по течению реки на бугор, поросший густым лесом. Прячась за высокий ясень, Маремуха крепко обнял его руками. Казалось, он собирается валить дерево. Куница присел на корточки за

дубом и, высунув из-за ствола голову, следил за Авксентием. Стоящий на краю обрыва дядька был хорошо виден нам отсюда.

Отшвырнув в траву капелюх, дядька полез в карман, вынул бомбу и осторожно положил ее на траву около капелюха. Потом он достал вторую и, сразу выдернув из нее шпильку, бросил бомбу далеко на середину речки. Только бомба отлетела, как дядька упал на траву. Прижавшись к ней лицом, он лежал как убитый. Не успели разойтись и подкатиться к берегу вздрагивающие круги, как вдруг с самого дна тихой и спокойной речки вырвался ослепительный белый столб закипающей воды. Он взлетел почти на высоту обрыва, и, казалось мне, еще немного — и брызги этой белой воды упадут на лежащего ничком дядьку.

Гул от взрыва прокатился далеко за лесом. Чудилось, вот-вот повалятся на нас высокие дубы, а полянка, с дядькой вместе, рухнет с обрыва в реку.

Но не успело еще смолкнуть эхо от взрыва, как дядька не спеша, точно он отдыхал, поднялся и взял вторую бомбу.

Он долго выдергивал из нее шпильку, — наверное, проволочка заржавела и не поддавалась, — а мне не терпелось. «Ну, ну, скорее, а то разорвет!» Наконец дядька освободил рычажок и швырнул бомбу вниз. Эта упала ближе, где-то у самого берега.

Взрыв второй бомбы показался нам уже не таким страшным. Подумаешь, я и сам бы мог бросить бомбу!

По крутой белой тропинке, цепляясь руками за камни, мы помчались вниз, к речке.

Дядька уселся на берегу и закурил, а мы мигом сорвали с себя одежду и полезли в воду.

Но дядька тоже не утерпел — он положил недокуренную цигарку на камешек и стал раздеваться, а потом легко перевернул лодку-плоскодонку, достал из-под нее куцее весло и, столкнув лодку на воду, с разбегу прыгнул на корму.

Авксентий сидел на корме, загребая узеньким веслом воду. Вихляя и покачиваясь, лодка выплыла на середину реки. Мы бросились за ней вдогонку. Каждому из нас хотелось доплыть первому туда, на середину реки, где белела всплывшая рыба. Больше всего было марен и линей.

Скользкие, покорные, словно неживые, рыбины то и дело выскакивали у меня из рук.

Я ловил их снова то под самым носом у Петьки, то у Куницы и швырял в лодку. Рыбины шлепались к волосатым ногам дядьки, блестящие, с серебристо-синей чешуей. Глаза у них были пьяные от страха.

Я кувыркался в пахнущей тиной воде, наотмашь хлопал по ней ладонями, кверху подлетали прозрачные брызги. Мне было очень радостно. Тогда я еще не понимал, что так глушить рыбу — преступление.

— Тише ты, шалопут, не брызгайся! — закричал мне дядька, которого я обдал водой.

Держа марену в зубах, Куница схватил у меня щуку и окуня и поплыл к лодке, шлепая по воде свисающими рыбьими хвостами.

Бросив дядьке добычу, Куница перевернулся на спину, оскалил на солнце зубы и, отдыхая, почти не шевелясь, медленно поплыл вниз.

Рыбы много. Собрав самую крупную в ведро, дядька выбросил мелкую обратно в реку.

— Нехай растет! — улыбнулся он, заметив, что мы с сожалением наблюдаем, как рыбы уплывают по течению. — Подрастет — опять словим. От меня еще ни одна рыба не убегала.

Мы возвратились в село с богатым уловом.

Жена дядьки, Оксана, быстро растопила печь. Она выпотрошила нашу рыбу и, вымыв ее, вываляв в муке, бросила на сковородку, в растопленное масло.

Поев как следует жареной рыбы, — уху Оксана пообещала сварить завтра, — мы отправились в клуню, усталые и сытые.

— Василь, а у тебя дядька отчаянный, — ворочаясь рядом, прошептал Маремуха.

— Ловко он бомбу бросил, а? — с завистью вспомнил и Куница, зарываясь в сено.

— Ну, бомба это что, вы бы посмотрели, как он из винтовки по зайцам палит! — обрадовавшись, что мой дядька понравился хлопцам, похвастал я. И, прежде чем заснуть, я долго рассказывал Петьке и Кунице все, что знал о дядьке Авксентии.

Зимой из обыкновенной русской винтовки, принесенной с фронта, дядька подшибал на полях длинноногих зайцев.

Как-то раз он при мне из этой самой винтовки под-

стрелил ширококрылого ястреба. Ястреб, который несколько минут назад, высматривая добычу, плавно кружился над деревьями, вдруг затрясся там, наверху, в небе, и, точно рваная серая тряпка, полетел вниз.

Падая, ястреб застрял в ветвях старого явора. Я уж было полез за ним на дерево. Но только я ухватился за первую ветку, как ястреб сорвался оттуда и, хлопая слабеющими крыльями, упал на покрытую прелыми листьями землю. Я с опаской ловил подстреленную птицу, а дядька хитро улыбался и скручивал цигарку.

В первый приход петлюровцев, прошлым летом, когда полицейские стали выкачивать по селам оружие, нагорянский поп, с которым Авксентий давно был не в ладах, донес петлюровцам, что у дядьки есть винтовка. Винтовку петлюровцы нашли в скале над хатой, а патроны — в пустой собачьей будке на дядькином дворе.

Сперва Авксентия выпороли на выгоне у сельской церкви, выпороли, как, смеясь, говорили петлюровцы, «на початок, щоб добрый був», а потом на реквизированной в этом же селе подводе повезли в город. По дороге, когда подвода проезжала Калиновским лесом, дядька Авксентий ударил одного из охранников своим тяжелым кулаком меж глаз и скрылся в лесной чаще.

Возница, который вез моего дядьку и его конвоиров в город, был наш знакомый, односельчанин Авксентия. В этот же день вечером он пришел к моей тетке и рассказал, как убежал Авксентий. Петлюровцы, которые везли дядьку, не ожидали побега. Один из них дремал, а тот, кого дядька ударил в переносицу, закуривал папироску. От дядькиного удара все лицо у него залилось кровью, и нос сразу вспух, как бульба.

Возница говорил, что петлюровцы, не слезая с телеги, не целясь, наобум стреляли в лес, по деревьям.

А у нас в то время гостил сын дядьки, мой двоюродный брат Оська. Тетка ничего не сказала ему об этом происшествии.

Только потом от односельчанина дядьки мы узнали, что Авксентий благополучно удрал от петлюровцев, что он жив-здоров, но живет не в селе, а прячется где-то в лесу.

Односельчанин передал нам от дядьки Авксентия подарок — кусок сотов с медом диких пчел. Бродя по лесу, дядька нашел в дупле возле Лисьих пещер пчелиное гнездо, пчел выкурил дымом, а мед забрал.

Теперь о побеге узнал и Оська. Он очень гордился подвигом отца и этим медом.

— Василь! А Лисьи пещеры далеко отсюда? — толкнул меня Петька Маремуха.

— Близко. Ну ладно, давай спать, — сказал я. — Завтра утром я сведу вас туда. Посмотришь сам.

ЛИСЬИ ПЕЩЕРЫ

Мы спали очень долго, а когда проснулись, дядьки уже не было. Он пошел за солью на другой конец села. Мы позавтракали без него.

Надо хоть снаружи, пока дядьки нет дома, осмотреть Лисьи пещеры. Я веду ребят туда тропинкой, которая вьется по каменистому берегу реки.

Река чуть-чуть дымится. Жирные лягушки, услышав наши шаги, громко шлепаются одна за другой в воду. Скалы бросают тень на берег. Вдали видна обросшая доверху лесом Медная гора, за ней, у поворота реки, Барсучий холм и еще дальше — белеющие в зеленом лесу выщербленные ветрами «товтры».

Далеко на юго-запад, к отрогам Карпатских гор, к Галиции, уходит эта белая гряда известковых каменистых холмов, которые здесь называются «товтрами». В этих «товтрах» скрыто немало ущелий и пещер.

Местные жители боятся забираться далеко в «товтры» и при случае обходят их стороной. Многие из них верят, что в «товтрах» живет «нечистая сила»: она хватает человека, как только он переступит порог ущелья или пещеры, и тащит его дальше, под землю, в пекло. Мой дядька Авксентий, пожалуй, лучше всех нагорянских крестьян знает Лисьи пещеры. Верст на пять вокруг нет ни одной приметной щели в скалах, которая не была бы ему известна. А если камни возле такой щели задымлены, покрыты копотью, так и знай: выкурил отсюда мой дядька желтую пышнохвостую лисицу, выследив ее убежище по чуть заметному на белом снегу следу...

На опушке леса, в орешнике, мы выломали длинные сучковатые палки и ободрали с них зеленые листья.

Мы пошли вверх по устланному прелыми листьями и сухим валежником дну оврага. Хворостинки похрустывали у нас под ногами.

Мы шли втроем, отважные, храбрые путешественники.

Куница хоть и не знал дороги, но шел впереди, как атаман. Петька пыхтел рядом со мной. Он сопел — ему было тяжело карабкаться вверх по неровному дну оврага. Обомшелые деревья росли по обоим склонам оврага. Их густая листва закрывала солнце. Легкие, прозрачные папоротники дрожали у нас под ногами. Когда мы подошли почти вплотную к тому месту, где начинались Лисьи пещеры, я первый выскочил на ровную, усыпанную мелким щебнем полянку.

— Глядите, ничего не видно, правда? — гордо показал я ребятам на круглый, черный, местами обросший мхом камень, который лежал под скалой. Камень этот казался сброшенным откуда-то сверху, с Медной горы.

— Ну, а где же пещеры? — спросил Куница.

— А вот, гляди! — И я спрятался за камень. Как огромная черная тыква, он прикрывал собою вход в подземелье. Теперь прямо передо мною в скале чернела трещина. Никто бы и не подумал, что здесь начинаются Лисьи пещеры. А на самом деле пройти в пещеры можно легко и свободно. Позади часто, тяжело дышал Маремуха. Ребята обошли камень и стояли у меня за спиной.

— Обязательно пойдем сюда! Сегодня же. Свечей достанем и пойдем! — сказал Куница. Он жадно глядел в трещину скалы.

— Чудак, где ты достанешь здесь свечей? — ответил я Кунице.

— Где?.. А в церкви. Здесь же есть церковь? Сегодня что у нас? Пятница. Эх, жаль, службы утром нет. Ну, просто у старосты попросим или купим.

Долго стоять перед входом в пещеру было страшновато. Слова дядьки о гадюках заставили меня насторожиться. Того и гляди, выползет какая из трещины...

Я предложил ребятам взобраться повыше. Мы влезли на круглый камень, закрывающий вход в пещеру,

и уселись на этом холодном, скользком камне, как настоящие лесные разбойники, отдыхая и поглядывая по сторонам.

В лесу было очень тихо. Кое-где сквозь густую листву высоких ясеней пробивался косой солнечный луч, освещая радостным, золотистым светом сырой полумрак оврага. Вокруг было глухо и влажно, словно в погребе. На опушке, должно быть, солнце грело вовсю, а тут нам казалось, что уже наступил вечер.

Вдруг Маремуха дернул меня за ногу и кивнул на пещеры.

— Что там такое? Гадюка?

Теперь и я услышал какой-то глухой звук, раздававшийся в подземелье.

Не то кто-то кашлянул там, не то камень оборвался и глухо упал на землю.

— Ты слышал? — шепнул я Кунице.

Куница сразу насторожился и лег на камень. Мы устроились рядом с Куницей.

В пещере снова кашлянули, на этот раз еще ближе. Может, это лает лисица, забавляясь со своими детенышами? Опять, где-то совсем близко, захрустел щебень. И вдруг из темной щели высунулась наружу чья-то рука, а затем появился человек.

От неожиданности я вздрогнул. Да ведь это же мой батько!

Он сильно оброс. У него отросли усы и борода, но я узнал его сразу и по синей сатиновой рубахе, и по знакомому широкому ремню на ней. Мне хотелось крикнуть ему: «Тато, татко! Я здесь!» Но крик застрял у меня в горле. А отец обернулся к нам спиной и крикнул в пещеру:

— Выходите, где вы там?

И тут из подземелья к черному камню выскочил Оська, а за ним вышел какой-то обросший бородой человек в резиновом плаще.

— Это свои! — выкрикнул я, толкая хлопцев, и мы кубарем скатились на землю. Я первый, обежав круглый камень, выскочил навстречу отцу, но сразу же шарахнулся в сторону.

Отец целился в меня из нагана, человек в резиновом плаще — тоже.

«Они сумасшедшие!» — подумал я и что было силы рванулся к оврагу.

— Васька! Василь! Погоди! — закричал мне вдогонку отец.

Я сразу остановился и с опаской поглядел назад.

Отец стоял, опустив револьвер. Это действительно был мой отец — молчаливый, угрюмый, почти никогда не улыбающийся. За поясом у него был сверток с газетами, отпечатанными на синей оберточной бумаге. Надо было сразу броситься к нему на шею, поцеловать его в густые, колючие усы, но я подошел к отцу, как к чужому, — медленно, неловкими шагами. Перепуганные Куница и Маремуха выглядывали из-за камня.

— Как ты попал сюда, Васька? — удивленно спросил отец, нагнувшись и целуя меня в лоб.

— Я из города... Мы зашли к дядьке Авксентию...

— Откуда ты знаешь эти пещеры?

— А меня прошлый год дядька Авксентий водил сюда...

— Дядька Авксентий? — переспросил отец и недовольно крякнул. Потом он покачал головой и, заметив стоявших в отдалении хлопцев, спросил: — Это Маремуха, да? А второй кто?

— Юзик Стародомский...

Оська подмигнул мне из-за спины отца.

— Эта наши, зареченские... — вполголоса сказал отец обросшему человеку.

Тот вслед за отцом спрятал в карман револьвер. И вдруг... Что такое? Не может быть! Ведь это Омелюстый! Ну да, Иван Омелюстый, наш сосед, который тогда отстреливался от петлюровцев из башни Конецпольского. С перепугу я его сперва не узнал. Вот здорово! Значит, Иван жив! Но как оброс, видно, не брился добрый месяц.

— Дядя Иван, добрый день! — весело сказал я, протягивая соседу руку.

— Я ж говорил Ваське, что вас не поймали, — сказал, подходя, Куница.

— Кто поймает? Кто меня может поймать? — насторожившись, спросил Омелюстый.

— А петлюровцы!.. Мы с Васькой тогда видели, как вы заскочили в башню. Помните? А тот чубатый хотел перебежать кладку, а вы в него выстрелили, и он упал прямо в речку!

— Ах да, вот ты про что, — сказал Иван и удивленно посмотрел на Куницу. — Ну, это когда было!

Я уж позабыл. Да разве так ловят? Так, брат, ловить, знаешь, чур-чура — не считается.

— Дядя Иван, а вы знаете, что с тем человеком?

— С каким человеком?

— Ну, с больным. Помните, вы его ночью к нам приводили?

— Сергушин? — подсказал сосед.

— Я не знаю фамилию. Ну, тогда ночью вы с ним пришли.

— Да, да, Сергушин, — сказал Иван.

— Так его ж убили! Мы сами все видели. — И я рассказал, как поймали Сергушина, как расстреляли и как мы втроем убрали его могилу.

Отец и Омелюстый слушали мой рассказ очень внимательно.

Отец посмотрел на меня чуть-чуть недоверчиво.

— Так вот оно что... — тихо сказал Омелюстый. — Я уже знаю, что его расстреляли, а вот как это случилось, от вас первых слышу.

— Дядя Омелюстый, а кто был этот человек? — заглядывая ему в глаза, спросил Маремуха.

— Которого расстреляли? Этот человек... Долго рассказывать... Знаете что, вот давайте подсобите нам сейчас, а потом, пожалуй, я вам расскажу.

— А что подсоблять?

— Вход в пещеру завалим.

— А мы хотели...

— Что хотели?

— Хотели пойти посмотреть пещеры, — объяснил Маремуха.

— Нечего вам в пещерах делать, — строго сказал Омелюстый. — Потом когда-нибудь я сам вас сведу всех. Не верите? Спросите вот Оську, сколько пещер я ему тут показал. Верно, Оська?

— Показали! — согласился Оська.

— Вот то-то же. А сегодня ходить туда нельзя! — сказал Иван и, оглядываясь, добавил: — Ну-ка, хлопчики, тащите камни из оврага, мы живо управимся.

Делать было нечего, пришлось таскать камни.

Пока мы таскали их, отец с Омелюстым заваливали этими камнями вход в пещеру.

Скоро от входа в пещеру осталась только маленькая щель.

— Фу! Заморился! — потирая руки, сказал Иван. — Пойдемте. Оська, фонарь не забудь!

Мы пошли по лужайке над оврагом. Лужайка поросла свежей, сочной травой. Тут хорошо полежать. Трава мягкая, душистая.

Отец прилег в стороне, под высоким явором. Омелюстый снял прорезиненный плащ и, сложив его вдвое, разостлал на траве. Он устроился на плаще и начал рассказ.

РАССКАЗ О НОЧНОМ ГОСТЕ

— В ту холодную, ветреную зиму, когда окончилась война с немцами, через наш город повалили из германского плена русские солдаты. Пожалуй, ни в одном городе Украины их не было столько в этот год. Ведь около наших мест пролегала главная дорога с фронта. Худые, в рваных солдатских шинелях, с ногами, обмотанными тряпьем, шли люди из-под Тернополя и Перемышля через наш крепостной мост на вокзал, чтобы поскорее сесть на поезд и уехать домой.

А в ту зиму появилась в городе опасная болезнь — «испанка». Сотнями она уносила людей в могилу, и все очень боялись ее. С этой болезнью еще могли коекак бороться те, у кого были дом, горячая пища, дрова.

Ну, а каково было тем, кто глубокой морозной ночью пробирался Калиновским лесом? Болезнь настигала их в пути. Измученный голодом, тяжелой дорогой, человек вдруг понимал, что дальше идти не может, что все тело горит, ноги подкашиваются и — самое страшное — не от кого ждать помощи в холодном, засыпанном снегом лесу. И часто случалось: человек присаживался на краю дороги, чтобы немного отдохнуть, но уж подняться не мог, коченел и умирал тихой, неслышной смертью в каких-нибудь пяти верстах от жилья.

Да и в городе было не лучше.

Люди валялись на тротуарах вдоль Житомирской, по Тернопольскому спуску и в сырых, нетопленных залах духовной семинарии, куда их пускали обогреться гетманские чиновники. Я сам однажды видел, как со двора духовной семинарии выехали одна за другой три подводы, заваленные трупами. На двух подводах мертвых еще кое-как прикрыли рогожными мешками,

а на последнюю подводу мешков, видно, не хватило, и возница сидел прямо на замерзших, посиневших трупах. А как боялись одного только слова «пленный» на Житомирской улице!

Стоило такому человеку постучаться за помощью в дверь богатого дома на Житомирской, как мигом хозяева тушили свет и дом замирал. А если он уж очень долго стучался, горничная, звякнув цепочкой, чуть-чуть приоткрывала дверь и кричала:

— Хозяев дома нету! Бог подаст!

Доктор Григоренко даже звонок у ворот снял и медную дощечку со своей фамилией. Он боялся, как бы, не дай бог, к нему не позвонил какой-нибудь измученный солдат.

А наши зареченцы хоть и бедные были, но нередко сами зазывали странников к себе — поесть горячего борща, отогреться у плиты, а то и просто переночевать на теплой печке.

Однажды на рассвете и к нам постучали, но слабенько так, чуть-чуть. Покойная мать моя проснулась и говорит:

— Иван, пойди спроси, кто там.

А я притворился, что не слышу, — очень уж хотелось мне спать. Тогда мама сама встала с постели. Она завернулась в одеяло, подошла к окну и стала дышать на замерзшее стекло.

Вдруг она отскочила — и к отцу:

— Ой, боже ж мой! Человека у нас под окнами убили!

Мы открыли не сразу. Сперва все оделись. Потом тихонько на кухню вышел отец. Он выглянул на улицу и увидел, что на обледеневших ступеньках нашего крыльца лежит человек. Никого больше вокруг не было.

Отважившись, мы открыли дверь на крыльцо и втащили человека к нам на кухню. Это был обыкновенный русский солдат, и упал он около нашего дома просто от голода и слабости.

Мать поставила греть воду, а отец притащил из кладовой большое деревянное корыто, мы с отцом осторожно раздели больного и посадили в корыто. Я поливал его теплой водой, а отец мыл.

Сколько мы воды на него потратили — не передать. Один за другим я брал с плиты казаны с теплой водой и опрокидывал их на голову больного. Он вскоре при-

шел в себя и только отфыркивался да глаза протирал. А я выносил грязную воду. Я выливал ее прямо с крыльца на улицу. Потом снег в этом месте почернел так, будто здесь грузили каменный уголь.

Все белье и одежду нашего гостя отец сложил в тючок и, перевязав бечевкой, вынес в курятник, на мороз. Это ему мама моя покойная так наказала:

— Человек нехай останется, а вшей его не надо. Пусть подохнут на морозе!

Звали больного Тимофей, а фамилия его была Сергушин. Он возвращался из германского плена к себе домой в Донбасс.

До войны Сергушин работал на Щербиновском руднике. У него под ресницами сохранились еще с той поры чуть заметные черные каемочки — такие угольные каемочки, ребята, остаются почти у каждого шахтера, который долго рубит уголь.

Постлали мы нашему гостю в каморке за кухней, там он и лежал у нас.

В ту пору гетманская державная варта строго-настрого запрещала горожанам принимать к себе на жительство иногородних солдат, которые возвращались на родину. Гетман Скоропадский боялся, как бы среди них не оказались большевики.

Чтобы и к нам, чего доброго, не прицепились чиновники из гетманской варты, мы и слова никому не говорили про нашего больного. На что вот Мирон — наш сосед, — Омелюстый кивнул в сторону моего отца, — а и тот ничего не знал про Сергушина. Мы думали, что он недолго у нас погостит, но вышло поиному.

Больше месяца пролежал он в темной каморке, а потом понемногу стал ходить по комнатам. Отец покойный, бывало, как заметит, что Сергушин вышел из каморки, — мигом к двери и — на ключ ее: отец боялся, как бы кто из заказчиков не заметил его. А Сергушин пообвык в нашем доме и начал понемногу подсоблять отцу.

Отец обтягивал колодку кожей, набивал подошву и отдавал Сергушину, а тот загонял деревянные шпильки. Ловко так приспособился — я и то не умел так. Наберет в рот пригоршню шпилек — и пошел выплевывать, словно шелуху от семечек, одну за другой. Выплюнул шпильку, сунул ее в дырочку, ударил молот-

ком — и нет шпильки, только маленькая квадратная шляпка из кожи торчит.

И брился он очень ловко: возьмет у отца обыкновенный сапожный нож и давай по оселку гонять. Водит, водит — иной раз добрый час. А наточит — нож, словно бритва, острый: хоть волос на лету руби. Потом, густо намылив бороду, так, что пена с нее падала на пол, он раза два проводил ножом по щекам — и волос как не бывало. Это его в окопах так бриться приучили. Побрившись, он пудрил лицо картофельной мукой, которую мать для киселя припасала.

Иногда он садился у окошка и вполголоса пел свои шахтерские песни.

А развеселится — держись! Только поспевай смеяться. Он здорово умел показывать китайские тени. Ну и ловкие же у него были пальцы, прямо удивительно! Мы, бывало, плотно закроем ставни, а он внесет в свою каморку лампу, поставит ее на корзину и давай пальцами шевелить. И сразу на стене перед нами тени забегают. Чего только он не умел показывать: и собак, и кошек, и сову, даже рак у него получался как живой. А однажды перед большой лампой обеими руками он показал нам, как дерутся два немецких солдата в касках. Мы со смеху чуть не поумирали.

Сергушин часто вспоминал свой рудник. Трудная у него там была работа, отчаянная. Последние месяцы перед мобилизацией работал он запальщиком: рвал под землей динамитом камень, пробираясь к чистому углю.

А я рассказывал Тимофею об училище, о том, какие у нас учителя, какая это нудная штука — итальянская бухгалтерия.

Однажды Тимофей слушал, слушал меня, а потом сказал:

— Брось ты, Ваня, к чертям это коммерческое, все равно лавочника из тебя не выйдет, это я по тебе вижу. Парень ты молодой, здоровый, тебе на коне верхом скакать, а не за конторкой киснуть над той бухгалтерией. Сейчас, брат, другая коммерция нужна.

Ничего я не сказал в ответ Тимофею, потому что и без его слов коммерческое училище мне надоело хуже горькой редьки. Ведь это отец меня туда при старом режиме учиться послал. А скольких трудов это ему стоило, если б вы только знали! Три пары ботинок из

самого лучшего бельгийского шевро он сшил совсем бесплатно директору коммерческого училища пану Курковскому. У каждого из членов педагогического совета отец побывал на дому и просил, чтобы меня приняли в училище.

Выздоровел Тимофей совсем и уходить от нас собрался.

— Куда пойдешь, непоседа? — стал отговаривать его отец. — Из одной смерти насилу вылез, а сейчас другой захотел? И здесь, пока гетмана не прогонят, ты сможешь пользу принести не хуже, чем у себя в Донбассе.

Но, оставаясь у нас, Тимофей сказал отцу:

— Слушай, дружище, ты хошь не хошь, а я тебе помогать буду. Семья у вас немалая, а я без дела никогда не сидел. Подмастерье, правда, из меня плохой, но, думаю, подсоблю вам. Иначе не останусь.

Чтобы не обижать Сергушина, отец согласился. И с этого дня Тимофей стал помогать отцу.

Когда я возвращался из училища, он расспрашивал меня, что в городе, какие новости, что слышно из Советской России. Он просил меня доставать газеты, и я часто приносил их ему.

Как-то раз я сказал Сергушину, что в городе на столбах расклеен приказ о наступлении немцев на Петроград. Ну, он пристал ко мне: расскажи да расскажи, что написано в приказе. А я всего не запомнил. Вот и пришлось мне, как стемнело, бежать на базар за приказом. Долго, помню, я ходил около него: боялся, как бы не заметили гетманцы. Когда никого вокруг не было, я сорвал приказ со столба и притащил Сергушину.

Тимофей похвалил меня за это, и с той поры я, выбирая удобные минуты, часто сдирал с заборов и со столбов разные гетманские приказы и объявления и приносил их Сергушину. Он все прочитывал и лучше моего отца знал, что делается в городе.

И вот однажды мама зовет его пить чай, а в каморке пусто. Мы туда-сюда, я на крыльцо выбежал — нет Сергушина. Пропал, словно нечистая сила его под землю утащила. Стало мне обидно: ушел, думаю, и не попрощался; хоть бы записку оставил.

А мама даже сказала:

— Так всегда: сделаешь добро человеку, а он... —

но не договорила. Отец посмотрел на нее нехорошо так, и она сразу замолчала.

А поздно ночью, слышим, кто-то в кухонную дверь стучит. Отец подошел к двери, окликнул, оказалось — Тимофей. Ночью мы его не расспрашивали, а уж утром пристали: «Где это ты пропадал вчера?» Выдумывал он всякое, а правды нам так и не сказал. И вот с той ночи повадился он уходить в город. Однажды он вернулся домой на рассвете, запыхавшись, точно за ним кто-то гнался, и долго смотрел в окно.

— Сиди дома, Тимофей! Куда тебя носит по ночам? — рассердился как-то раз отец, а мать добавила:

— Тоже мне гуляние по ночам, когда люди спят. Еще беду накличете на нашу голову. И кого вы не видели на улице? Пьяных гетманцев? Ведь знакомых-то у вас нет?

— Как знать, дорогуша, — шутил Тимофей, — знакомых найти нетрудно, я парень веселый, у меня весь свет знакомые!

И вот в одну ясную лунную ночь город неожиданно заняли красные. Рано утром, чуть только рассвело, Сергушин ушел из дому — как всегда, без шапки, в отцовском сюртуке, в длинных штанах, в калошах на босу ногу.

Вернулся он вечером, и мы его не узнали. Он пришел в кожаной буденовке с красной звездой, в защитной гимнастерке, в сапогах из хорошего хрома. Из кобуры у него выглядывала рукоятка нагана. Сергушин принес отцу его брюки, сюртук, калоши.

Сергушин рассказал нам, что немцев и гетманцев из города выгнал Сумской полк. Сергушин отыскал в этом полку много своих земляков.

— Землячков, землячков в городе — полно. То был я один, а сейчас весь Донбасс здесь! Коногоны, забойщики, откатчики — кого только нет! — радостно говорил он, и нам было весело вместе с ним.

Ушел от нас Сергушин поздно, а уходя, позвал меня с собою.

— Проводи ты меня, коммерсант, до церкви! — попросил он.

Я пошел... и больше не вернулся: Тимофей уговорил меня поступить к красным.

И в ту же ночь он устроил меня в Сумской полк. Его земляки-шахтеры сразу выдали мне обмундирова-

ние, карабин, саблю, а на рассвете почти всем полком мы ушли из города. Я даже не успел попрощаться с родными. Нас перебрасывали в другой уезд — добивать гетманцев.

Еще все спали, даже лавки на базаре были закрыты, когда мы верхом выехали по Гуменецкой улице на Калиновский тракт и запели веселую песню:

Оружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей
Шахтер за свободу вступает,
Разбивши купцов-богачей.

Что там скрывать, не сразу мне далась военная служба. После первого перехода от непривычки ездить верхом у меня так ломило ноги, что я едва ходил. Ведь до этого я никогда не ездил в настоящем кожаном седле.

Трудно справляться с лошадью — я не знал, как надо правильно надевать седло, и однажды надел его шиворот-навыворот, передней лукой к хвосту. Тимофей учил меня всему: и как затягивать подпруги, и как удобней, по ноге, отпускать стремена...

А вскоре под Тарнорудой мы уж с ним вместе так лупцевали этих кайзеровских прислужников, что с них чубы в Збруч летели!

Подались мы дальше, за Житомир, и тут прошел по фронту слух, что Петлюра, заменивший к этому времени гетмана, захватил со своими войсками наш город.

Повернули мы обратно, на самого пана Петлюру, и когда вместе с конницей Котовского отбили город назад, я узнал, что никого из моих родных нет в живых. Маму, потом отца с братом убили бандиты из отряда петлюровского генерала Омельяновича-Павленко. Когда красные отступали, мой отец забрал на складе воинского начальника две винтовки и спрятал их у нас дома, чтобы возвратить большевикам, как они вернутся. А петлюровцы, делая обыск, нашли их. Петлюровцев этих, говорят, привел к нашему дому Марко Гржибовский.

Недолго после этого пришлось мне оставаться в полку.

Меня и Сергушина, так как мы лучше остальных знали город, перевели в городской ревком. Я, вы помните, реквизировал оружие, а Сергушин перешел на ра-

боту в ревтрибунал. Он судил там саботажников, петлюровцев и тех, которые тайно помогали им. Вот тут-то я и узнал, куда он уходил от нас по ночам.

Однажды ночью Сергушин познакомился в городе с одной дивчиной. Вы ее, наверное, и не знаете — она жила далеко, возле станции: ее отец на вокзале служил. Кудревич некто. Сейчас ее в городе нет, она ушла с красными. Как они разговорились, как познакомились, да еще ночью, я не знаю. Знаю только, что эта дивчина много кое-чего интересного порассказала Сергушину о нашем городе. Ее мать стирала белье во многих богатых домах и знала, кто из буржуев помогал Петлюре. А дочка все это передавала Сергушину. И когда пришлось ему работать в ревтрибунале, он многое вспомнил из ее рассказов, и, видно, пригодились они ему здорово.

В ту недобрую пору, когда надо было отступать, наши побоялись увозить Сергушина с собой: был он тяжело болен. Простить себе не могу, что не сумели мы отправить Тимофея вместе с красными... Но с паном Григоренко, хлопчики, мы еще встретимся! Если бы вы только знали, сколько людей он уже выдал, этот лысый катюга!

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

— Дядя Иван, — первый нарушил молчание Маремуха, — а вы сами не боитесь, что вас поймают петлюровцы? Чего вы тут ждете? Удирайте в Жмеринку, верное слово!

— А что в Жмеринке? — улыбнулся Омелюстый.

— Как что? Там же красные! — сказал Куница.

— И в Петрограде тоже красные, — ответил Омелюстый, — так что же, по-вашему, я и туда должен бежать? Уж лучше мы Красной Армии отсюда подсобим. А то если все отсюда побегут в Жмеринку, так кто же за Советскую власть из подполья бороться будет? Верно, Мирон?

— Ладно, ладно, нам с тобой идти пора! — уклончиво сказал мой отец.

Теперь он сидел хмурый, печальный, такой, как всегда. Видно, ему очень было жалко Сергушина. Помолчав, отец предложил:

— А не искупаться ли нам?

— Конечно, выкупаемся! — согласился Иван. — Пока подойдут люди из Чернокозинец, у нас добрых два часа.

— А они к пещерам не могут сразу прийти? — спросил отец. — Придут, а мы ушли.

— Нет, нет. Я объяснил Прокопу. Он приведет их к мельнице, — успокоил отца Иван и, обращаясь к нам, предложил: — Гайда купаться, хлопчики!

Целым отрядом мы спускаемся по оврагу к речке. Выйдя из лесу, подходим к мельничному саду. Он огорожен высоким плетнем. Стройные серебристые тополя растут в этом запущенном саду. Река здесь повернула влево, к мельнице помещика Тшилятковского.

Сквозь чащу сада слышен шум воды на мельничных колесах. Поскрипывают жернова в сером каменном здании мельницы. Ее стены видны сквозь просветы в деревьях. Там, в запруде, около мельницы, мы будем купаться. Лучшего места для купанья не отыскать. Дно в запруде чистое, песчаное, вода течет спокойно, а берег гладкий, отлогий, усыпанный сухим желтым песком.

Но что это? Какой-то странный дробный стук донесся к нам сверху. Похоже, кто-то колотит палкой по днищу пустого ведра. Захлебываясь, залаяли собаки.

Неужели это барабан стучит там, на горе?

Отец с Омелюстым замерли на месте. Они прислушиваются. Теперь уже ясно, что это стучат в самый настоящий барабан. И вслед за барабанным треском из-за невысокой горки вдруг выплыло желто-голубое петлюровское знамя.

— Петлюры! — бросил мой отец Ивану Омелюстому. Потом отец наклонился ко мне и шепнул: — Вы нас тут не видели. Понятно? Оська остается с вами. Последите, куда они пойдут.

— Давай, Мирон, быстренько! — поторопил отца Омелюстый.

И сразу, не успели мы еще сообразить, в чем дело, отец и Иван перепрыгнули через плетень мельничного сада. Слышно было, как зашуршал бурьян под их быстрыми шагами. А мы, покинутые, остались на дороге одни в тени высокого явора.

Яркое желто-голубое знамя плывет на нас с горы. Мы уже различаем идущего впереди перед знаменем

офицера. Вслед за ним под частую дробь барабана ровно шагают петлюровцы.

— Айда в сад! — решил Оська и подбежал к плетню. Теперь уже Оська был командиром.

Друг за другом мы полезли на высокий, шаткий плетень. Он колыхался под нами. Казалось, вот-вот хруст-нут тонкие, оплетенные лозой колья, и мы полетим на землю. Но все обошлось благополучно. Один за другим мы спрыгнули с плетня в бурьян и присели на корточки. Через щели в плетне нам была хорошо видна пыльная проселочная дорога.

Барабан стучал совсем близко. Как только первый отряд подошел к плетню, я, чуть не вскрикнув от неожиданности, толкнул под бок Куницу:

— Ну и чудаки же мы! Да ведь это наши гимназические скауты!

Оська быстро вскочил.

— Вот так штука, — сказал он. — Ведь эти панычи могут ненароком полезть в Лисьи пещеры...

— А что в пещерах, Оська, что? — засуетился Маремуха.

— Не морочь голову! — строго огрызнулся мой брат и тотчас подбежал к стройному серебристому тополю, который рос у самого плетня. Оська взобрался на плетень, а потом, обхватив руками и ногами бледно-зеленый ствол тополя, словно кошка, полез вверх.

На соседней вербе чернела куча черного хвороста — воронье гнездо. В нем покаркивали молодые воронята. Старые вороны заметили Оську. Они встревожились и, захлопав тугими крыльями, взвились с вербы. Вороны закружились над деревом. Они думали, что Оська полез отбирать у них птенцов. Через минуту целая стая черного воронья, назойливо каркая, летала над мельничным садом.

Оська был едва заметен нам с земли. Лишь кое-где сквозь серебристую мягкую листву просвечивала его белая рубашка.

— Василь! Слышь, Васька! — вдруг закричал он мне с верхушки тополя.

Карканье ворон заглушило его крик.

— Я тут. Лезть к тебе, да? — задрав голову, ответил я.

— Беги в село! Найди моего батьку, пусть скажет Омелюстому: они остановились у сломанного дуба!..

— А хлопцы? — сложив руки у рта лодочкой, закричал я.

— Пусть остаются тут... И ты сюда возвращайся. Скажи: они могут найти Лисьи пещеры. Быстро!

Я успел только шепнуть Петьке и Кунице: «Сидите тихо!» — а сам, стремглав перепрыгнув через плетень, взбивая босыми ногами нагретую солнцем пыль, побежал вверх, на гору, в село.

Около кладбища я столкнулся с Авксентием. Он был чем-то взволнован и, видно, не рад был, что повстречал меня.

У него в руках был желтый фанерный чемоданчик, а за плечами болтался двуствольный дробовик.

— Куда ты бегал? Скажи Оксане, пусть разогреет тебе рыбу, — рассеянно бросил он и сразу же пошел дальше по направлению к Медной горе.

— Дядько, послушайте! — догоняя Авксентия, закричал я.

Дядька остановился. Тогда я рассказал ему, что видел отца и Омелюстого, и передал слова Оськи.

— На мельницу побежали? — переспросил он. Подумав минуту, дядька тряхнул головой и сказал: — Ну ладно, я их побачу... Знаешь, Василь, сдается мне, петлюровцы удирают. Что-то больно их много на Калиновском шляху.

— Удирают, правда? — чуть не подпрыгнул я от радости.

— А что ж, зимовать им тут, по-твоему? Хватит, попанували, — со злостью ответил дядька.

Я мигом повернул обратно.

Надо побыстрее вернуться к хлопцам. Вот будет здорово, если дядька не врет! Лишь бы красные прижали Петлюру покрепче.

Одно мне непонятно: почему петлюровские бойскауты пришли сюда? Да еще вместе с кошевым Гржибовским. А может, они еще не знают, что Петлюра отступает? Наверное, не знают!

— Удирают, удирают! — напевая себе под нос, мчался я к ребятам.

Маремуха и Куница лежали за зарослями крапивы в мельничном саду. Заложив руки под голову, Юзик смотрел на верхушку тополя. Там виднелся Оська. Черные вороны, подозрительно вытянув шеи, покачива-

ясь на верхушках соседних деревьев, наблюдали за ним. Я перелез через плетень и закричал брату:

— Слезай!

Ребята вскочили.

— Ну как, нашел дядю? — спросил Маремуха.

Оська быстро спустился вниз. Он спрыгнул прямо в крапиву и побежал ко мне, на бегу одергивая рубаху.

— А что я знаю, Оська! Слушай! — И я передал брату то, что сказал Авксентий.

— А-а-а, вот что! — сразу загорелся Оська. — Ну, тогда мы им покажем! Слушайте-ка, хлопцы, давайте нападем сейчас на этих паничей! Нельзя их пускать в Лисьи пещеры, они шкоды там наделают...

— Да ведь их много! Они нас поймают! — заволновался Маремуха.

— А мы не одни будем, хлопцев сейчас покличем. Гайда в село! — скомандовал Оська.

Мы прибежали в село. Оська долго водил нас по кривым переулочкам, сзывая ребят. На его свист из-за плетней появлялись хлопцы. Никого из них я не знал.

— Гайда паничей бить! Капелюхи отбирать у них! — приглашал Оська.

Хлопцы понимали Оську с полуслова. Должно быть, не раз собирались они вместе, затевали драки, уходили в лес. У них здесь привольно — не то что у нас в городе. Когда вокруг нас собралась целая ватага, Оська приказал:

— А сейчас все по домам. Тащите известку да бутылки. И пробок побольше. Собираемся на кладбище, у братской могилы. Быстрей!

Хлопцы поспешно разбежались по домам.

БОЙ У СЛОМАННОГО ДУБА

Братская могила огорожена железной решеткой. Здесь, под высоким дубовым крестом, похоронены двадцать пять нагорянских крестьян. Совсем недавно, в тысяча девятьсот восемнадцатом году, их расстрелял немецкий карательный отряд.

Это случилось после того, как немецкие оккупанты посадили на престол Украины гетмана Скоропадского.

Однажды под вечер, после душного июльского дня,

в Нагоряны неожиданно вошел отряд германской пехоты в серых стальных касках.

Вскоре жители узнали, что кайзеровские солдаты пришли отбирать лошадей. Крестьяне наотрез отказались явиться со своими лошадьми к церкви, куда сгонял их немецкий унтер. Тогда солдаты, сняв с плеч тяжелые винтовки с плоскими блестящими тесаками, стали насильно сгонять крестьян на церковную площадь.

Оккупанты молча обходили дворы и выводили лошадей. Они не слушали, что говорил им хозяин, а просто давали ему в руки повод и приказывали вести лошадь, а если хозяин упрямился, подгоняли его прикладом.

Пригнанных к церковной ограде лошадей сразу же принялся осматривать ветеринарный фельдшер, рыжий усатый немец в серой фуражке-бескозырке. А немецкие солдаты тут же нагревали на походном кузнечном горне черное квадратное клеймо.

Если лошадь нравилась фельдшеру, солдаты ставили ей квадратное раскаленное клеймо на бедро, около хвоста, и затем отводили к лейтенанту — худому сердитому офицеру в лакированной остроконечной каске. Лейтенант, морщась от запаха паленой шерсти, выдавал хозяевам длинненькие синие квитанции.

Вместе с другими на площадь пригнали и Прокопа Декалюка — низенького молчаливого крестьянина, который жил около мельничной гати. К нему оккупанты пришли как раз в ту минуту, когда он собирался выехать в поле за снопами. Когда немецкий фельдшер стал щупать на площади его гнедого коня, Прокоп не утерпел и дал фельдшеру такого тумака, что с того сразу бескозырка слетела. Солдаты подскочили к Декалюку и стали крутить ему руки. Прокоп закричал:

— Помогите, люди добрые!

На помощь ему подбежали соседи, и вскоре на широком зеленом выгоне около нагорянской церкви разгорелся настоящий бой. Озлобленные крестьяне не давали солдатам опомниться. Они били их чем попало: кнутовищами, поводьями, выдернутыми оглоблями.

Почуяв свободу, понеслись домой испуганные кони.

Придя в себя, солдаты стали стрелять из винтовок и быстро разогнали крестьян по домам.

Всю ночь до самого утра в селе стояла небывалая

тишина. Немцы ушли из Нагорян в неизвестном направлении, и многим казалось, что все обошлось благополучно.

Но утром, как только рассвело, в Нагоряны на откормленных конях въехал эскадрон немецких драгун. Драгуны тихо проехали по главной улице и остановились у церкви.

Снова пригнали крестьян к церкви, но на этот раз уже без лошадей. Мужчин выстроили отдельно в два ряда. Немецкий фельдшер, лейтенант в очках и солдаты медленно прохаживались между рядами, опознавая среди выстроенных по ранжиру тех, кто расправлялся с ними вчера.

Отобрали двадцать пять человек, связали им руки и расстреляли их тут же, на глазах у всех, под каменной стеной сельской церкви.

Долго стоял над церковной площадью страшный крик. Срывая с себя пестрые платки, голосили жены убитых, плакали их дети, рыдали родственники. Они рвались к убитым, но тщетно: немецкие драгуны к самой церкви никого не подпускали. Прокопа Декалюка среди расстрелянных не оказалось.

Он скрылся из села тотчас же после схватки с немцами, и долго о нем не было никаких вестей.

Солдаты караулили убитых до поздней ночи. А когда над притихшим селом взошла полная луна, они погрузили трупы на свои обозные двуколки, отвезли через плотину на правый берег реки и там зарыли. И только когда пришли красные, нагорянцы похоронили своих односельчан по-настоящему — здесь, вот в этой братской могиле. Высокая ее насыпь еще свежа и не поросла травой. На дубовом кресте сверху донизу раскаленным гвоздем выцарапана надпись:

Тут спочивають
двадцать п'ять селян-незаможників,
які загинули від руки
проклятих ворогів України —
німецьких окупантів

Мы шли в глубь кладбища. Нас догоняли сельские ребята. Почти все они были в самодельных соломенных капелюхах, в домотканых полотняных рубахах, в таких же грубых штанах. Босоногие, загорелые, они

прыгали по могилам и на ходу ловко, со свистом сшибали длинными кнутами целые ветки волчьих ягод, боярышника и калины. Некоторые захватили с собой туго сплетенные нагайки.

Мы подошли к братской могиле уже целой армией. Нас было человек двадцать.

— Хлопцы, слушайте-ка, — сказал Оська. — Видали, по селу прошли петлюровские панычи? С флагом. Они сейчас отдыхают под Медной горой. Давайте отлупим их как следует!

— Отлупить-то можно, а вот если они сдачу дадут? Их ведь сила! — почесал затылок низенький смуглый паренек в рваном капелюхе. Вокруг руки он обмотал толстую, сплетенную из белых кусочков сыромятной кожи нагайку.

Оська хитро улыбнулся.

— Сила! — передразнил он. — Сила! А у тебя уже уши трясутся? Не бойся, мы поделаем бомбы и с бомбами на них! А ну, кто что принес, показывайте!

Хлопцы выложили из карманов старые пробки, запыленные водочные бутылки с цветными этикетками, белую известь. Известки принесли много — она есть в любой украинской хате.

Оська расхаживал среди хлопцев, словно на базаре. Те показывали свои припасы, а Оська перебирал их, иногда хмурился.

— У кого негашеная известь — сыпьте прямо в бутылки, — скомандовал он.

— А у меня гашеная, — вышел вперед худощавый хлопец и показал Оське мешочек белой толченой извести.

— Выбрось! — строго приказал Оська. — Гашеная нам не нужна. Глядите, хлопцы, только негашеной засыпайте, и чтобы бутылки сухие были. Понятно?

— А если паутина в бутылке? — спросил кто-то.

— Насыпай. Лишь бы не вода, а то враз разорвет, — объяснил Оська.

Рассевшись на могилах, хлопцы молча стали засыпать известью грязные бутылки.

У нас было только одно шило — в моем перочинном ноже. Мы поочередно просверлили этим шилом дырочки в заткнутых пробках. Оська роздал нам наспех выструганные, похожие на зубочистки гусиные перышки, и мы просунули их в пробки.

— Слушай, Оська, а ведь выпрет пробку, — нерешительно сказал Маремуха.

— А мы сейчас их проволокой прикрутим, — успокоил тот Маремуху и крикнул сыну Прокопа Декалюка — низенькому смуглому хлопцу в рваном капелюхе: — Михась! Сбегай-ка на тот край кладбища, знаешь, там над могилой попа Симашкевича жестяной венок висит. Нащипай-ка из него проволоки. Или нет... тащи-ка сюда весь венок!

Минуты через две Михась Декалюк возвратился, волоча по зеленым могилам тяжелый, с посеребренными листьями венок. Каждый листочек был примотан к железному обручу венка тонкой и мягкой проволокой.

Сразу же всей компанией мы стали потрошить венок. Серебряные листья дрожали под нашими быстрыми пальцами и один за другим падали в густую траву.

Прошло несколько минут, от венка остался только голый, ободранный обод, а листья, украшавшие его раньше, валялись вокруг на могилах.

Оська показал нам, как ловчей и крепче закрепить пробки, и мы притянули каждую пробку проволокой к горлышку бутылки. Наконец, когда все приготовления были закончены, Оська скомандовал:

— А ну, скорее!

...К бойскаутам мы подбираемся с правого берега реки по густым, скрывающим нас от чужого глаза кустарникам. Оська послал вперед на разведку двоих ребят. Только мы подошли к повороту реки, разведчики замахали нам.

Перед нами, на другом берегу, открылся скаутский лагерь.

На большой лужайке, у сломанного дуба, бойскауты натянули зеленые брезентовые палатки. Между палатками разложены костры. Ярко горит собранный в лесу прошлогодний хворост. Дым густо клубится над кострами, подкуривая подвешенные над огнем австрийские котелки. В них варится вкусный кулеш из пшена, сала и картошки.

Вся лужайка освещена солнцем. А наш берег уже в тени. Мы спрятались под кустами возле брода; нас совсем не видно, хотя мы находимся очень близко от скаутского лагеря.

Пообедав, скауты собрались у кошевого знамени. Свернутое на древке, оно воткнуто в землю вблизи

сломанного дуба. Вокруг знамени с деревянным посохом на плече медленно расхаживает Кулибаба. Из кустов, которые начинаются сразу же за сломанным дубом, вышел Марко Гржибовский. Он объяснил что-то скаутам, и мы увидели, как большая их группа — самые рослые — пошла за Гржибовским. Остальные чего-то дожидаются.

«Наверное, скауты затевают игру в «сыщика и вора», — решил я и обрадовался, что Гржибовский ушел из лагеря, захватив с собой маузер. Его скауты со своими посохами да кинжалами не так страшны. Но что, если они, скауты-воры, вздумают запрятаться в Лисьих пещерах?

— Хлопцы, слушайте, — тихо подозвал нас Оська.

Мы подползли к нему вплотную.

— Вот он и ты, Федька, — сказал Оська, показывая пальцем на двух сельских ребят, — возьмите закупоренные бутылки. Как только мы перейдем речку, вы проберитесь по берегу к тому месту, где пенек торчит. Тихонечко опустите в воду все бутылки. Только не все вместе — одну здесь, другую рядышком, а то побьются.

Потом Оська обратился к хлопцам, которые вызвались кидать бутылки «с руки».

— Баночки для воды не потеряли?

Куница показал Оське белую консервную банку, долговязый хлопец — зеленую с отбитым горлышком бутылку, а Михась Декалюк протянул небольшой глиняный горшок.

— А сам я наберу сюда, — сказал Оська, размахивая ржавым солдатским котелком. — Закатайте штаны!

Все мы стали подвертывать штаны выше колен.

Оставшиеся у сломанного дуба бойскауты все еще ничего не подозревали: они смотрели в ту сторону, куда ушел со своей группой Гржибовский.

Неожиданно сверху, с горы, послышался свисток. Должно быть, это сигнал кошевого. Ага, так и есть! Человек двадцать скаутов, те, кому выпало быть ворами, обгоняя друг друга, побежали в лес. Те, что остались у палаток, видно, не собираются покидать лагерь. Они сидят у знамени, разговаривают.

— Гайда, хлопцы! — позвал Оська.

Один за другим, легко раздвигая кустарник, мы спустились к реке и вошли в холодную воду.

Согнувшись, почти касаясь руками воды, мы перешли речку вброд шагах в пятидесяти ниже сломанного дуба. Дно здесь было каменистое, покрытое тиной и грязью, голыши скользили, ноги разъезжались, а тут еще быстрое течение толкало, сносило вниз. Возле самого берега Оська, Куница, Михась Декалюк и долговязый хлопец зачерпнули в свои посудины воду.

Выскочив первым на берег, Оська отослал хлопцев утопить под скаутским лагерем закупоренные бутылки.

Хлопцы убежали. Мне показалось, что у них в руках самые настоящие бомбы.

Мы ждем их возвращения, переминаясь с ноги на ногу. Стоять на берегу очень неприятно. Каждую минуту нас могут заметить скауты: ведь мы у них под самым носом.

Хлопцы возвращаются обратно бегом. Еще издали они кивают головами. Готово! Вот-вот грохнет взрыв. Мы быстро подползаем к сломанному дубу.

Ох, как колотится от нетерпения сердце! Поскорее бы выбежать на освещенную солнцем лужайку, да закричать, да броситься врукопашную.

Коричневый, наполовину сгнивший ствол сломанного дуба виден сквозь кусты. Слышно, как разговаривают на лужайке скауты.

— Наливай! — приказал Кунице Оська.

Я посторонился: как бы в руках Куницы не разорвало бутылку. Рядом со мной из глиняного горшка лил воду в бутылку низенький смуглый Михась. Руки у него дрожали, вода то и дело брызгала на траву, и лишь половина ее, булькая, попадала в горлышко, растворяя задымившуюся уже известку.

Хлопцы быстро заткнули мокрые бутылки пробками.

— Кидай — и бежим! — прошептал Оська, и в эту же секунду за сломанным дубом, в реке, гулко, как настоящая бомба, разорвалась первая из потопленных бутылок.

Из-за кустов нам видно, как сразу забегали, засуетились на поляне голоногие скауты.

— Ур-а-а-а! — хрипло крикнул Оська и швырнул прямо на зеленые палатки свою бутылку. Вдогонку полетели и остальные.

Куница молодец, бросил свою дальше всех.

Бутылки падают на поляну и тотчас же одна за другой — не успевают скауты понять, в чем дело, — оглу-

шительно рвутся. Брызгами разлетается мокрая, горячая известь.

Мы тоже кричим «ура». Звенящий пронзительный крик наш разносится над рекой. Мы опрокидываем на лету палатки и, скользя по мягкой траве поляны, подбегаем к скаутам. Я неожиданно столкнулся лицом с Котькой Григоренко. На щеке у него белеет известь. Видно, осколок нашей «бомбы» не миновал Котьку.

Достанется же тебе сейчас, змеиный командир! С разбегу, одним ударом кулака я швыряю его на палатку. Колышки захрустели, палатка мякнет, и Котька падает на землю. Он хочет ударить меня носком ботинка в живот, но я изворачиваюсь и, сорвав с него шляпу, бегу дальше. Мы забрасываем в кусты легкие скаутские посохи, сбиваем на ходу котелки — кулеш с шипением льется в не успевший погаснуть жар костров.

— Флаги хватай, флаги! — хрипло кричит Оська, размахивая маленьким звеньевым флажком с львиной пастью посредине.

А у сломанного дуба идет жаркая схватка за кошевое знамя.

Два дюжих скаута, с кинжалами на поясах, тянут его к себе. Они уцепились за древко знамени и пятятся назад, в кусты. Несколько сельских хлопцев наседают на этих рослых скаутов. Они тузят их кулаками, стегают нагайками. С ними вместе и низенький Маремуха. Он вертится под ногами у скаутов, бьет их головой в живот, щиплет за ляжки. Кто-то из хлопцев, — кажется, Михась Декалюк, — прыгнул на шею Кулибабе и таскает его за волосы. В это время в реке запоздало рвутся одна за другой еще две бутылки. Звук разрыва настолько силен, что кажется, будто с того берега палят из настоящих пушек.

Один из великовозрастных скаутов, растерявшись, отпустил древко и бросился в кусты. Другой, потеряв равновесие, полетел на землю, а Михась Декалюк кубарем покатился через него.

Древко знамени треснуло и сломалось. Золотая бахрома оторвалась от шелкового полотнища. Хлопцы кучей навалились на сваленного скаута. Они тузят его под бока, а он вертится вьюном на растерзанном знамени, но подняться не может.

В эту минуту к хлопцам подбежал Куница. Изловчившись, он одним рывком выдернул из-под скаута об-

ломок древка с изодранным знаменем и побежал к реке.

— Удирай! Удирай! Догоняют! — закричал вдогонку Кунице Оська, заметив, что следом за Юзиком пустились двое скаутов-«удавов».

Вот чудаки, кого догнать захотели! Все равно теперь знамя наше. И мы помчались вслед за Куницей.

А вверху, на горе, скауты уже пересвистываются вовсю. Слышно, как хрустит хворост. Кто-то, — наверное, сам Марко Гржибовский, — пальнул из револьвера. Видно, скауты, почуяв недоброе в лагере, несутся сюда.

Не оглядываясь, мы рванули через кусты, крепко сжимая в руках трофеи — скомканные скаутские шляпы, обломки посохов, звеньевые флажки.

Я не заметил даже, как мы перебежали обратно брод, как кто-то из нас поскользнулся и обдал бегущих брызгами воды. Скауты все еще пересвистываются под горой и на поляне около сломанного дуба.

Преследуемые этими свистками, мы мчимся все быстрее. В ушах еще отдаются скаутские крики, а перед глазами мелькают их испуганные лица, смятые палатки, погасшие костры. Надо удирать что есть духу, пока они не успели опомниться.

Мы несемся, точно вперегонки, по узенькой лесной тропинке, задевая локтями ветки кустарника, обламывая сухой валежник. Останавливаемся только за Барсучьим холмом, когда уж нет сил бежать дальше.

За Барсучьим холмом тихо, свежо и спокойно. Хлопцы отдышались и поснимали капелюхи. Они обмахиваются ими: жарко! Оська расстегнул ворот сорочки. К его разгоряченной груди пробирается лесной прохладный воздух.

— Ох, и дал я этому пацюку! Всю чуприну ему повыдрал, — сказал Михась, отирая ладонью лоб.

— А вы видели, как я того, здорового, за ногу укусил? Когда б не я, он никогда знамя не отдал бы! — выкрикнул Маремуха.

— Что ты хвастаешься? Если бы не Куница, знамя осталось бы у них, — ввязался и я в разговор. Мне хотелось сбить с Петьки гонор.

— Будет, хлопцы, не ссорьтесь. Все воевали доб-

ре, — сказал Оська. — Скажите-ка вот лучше, где нам флаги попрятать, а?

И в самом деле, куда девать флаги? Вот эти маленькие, со звериными и птичьими головами, можно запихнуть хоть за пазуху, а что с кошевым делать? Ведь оно широкое, хоть стол застилай. Идти с флагами в село никак нельзя. А вдруг мы напоремся на какого-нибудь петлюровца? Раздумывать много нет времени.

Ведь из лесу вот-вот могут выскочить с острыми бебутами в руках взрослые скауты.

— Давайте спрячем в березовой роще, — предложил Оська.

В самом деле! Ведь никому и в голову не придет искать знамя там!

По узенькой меже, разделяющей два пшеничных поля, мы пошли вперед, в березовую рощу. Мы давим ногами голубые васильки, дикие, чуть распустившиеся маки, лиловый куколь. Межа густо заросла цветами и сорной травой. А вокруг, по обеим сторонам межи, колышется от ветра еще не окрепшая, но уже густая пшеница: пробежит полем ветер, и пройдет по ней едва заметная, неслышная зыбь.

В березовой роще совсем прохладно. Она раскинулась на пригорке, и ее обдувает со всех сторон ветер. Чуть слышно покачиваются ровные, стройные березы. В кустарнике заливается черноголовый жулан-сорокопут. Он поет громко, взволнованно, не слыша наших шагов.

Мы спустились в лощину, к ручейку. У самого берега Куница опустился на колени. Под корнями старой березы он обеими руками стал рыть яму.

Земля здесь рыхлая, влажная, перемешанная с глиной, — копать Юзику легко.

— Довольно! — скомандовал Оська и сунул в яму свернутое кошевое знамя.

Яма закопана. Теперь можно и по домам.

Когда мы шли в село, где-то далеко прокатился глухой раскат грома.

— Будет гроза, — заметил долговязый хлопец.

— Ну, выдумал! — удивился Маремуха. — Погляди, небо какое чистое.

— Это не гром, это красные стреляют, — уверенно сказал я.

— Откуда красные? Это гром, — повторил рыжий

хлопец. — Вы, городские, небось никогда не слыхали настоящего грома. Вот увидите, будет дождь. Слышь, как вороны закаркали. Это к дождю.

Я промолчал. Пусть думает, что это гром. Поглядим, кто из нас будет прав.

Мы подходим к селу. Уже вечереет. Коровы возвратились с пастбища и, вытягивая шеи, мычат около ворот. Хозяйки пускают их во двор и принимаются доить. Слышно, как за плетнями то в одном, то в другом дворе молоко, точно дождь, стучит в донышки широких цинковых ведер. Почуяв вечер, уже суетятся, укладываясь спать, полусонные куры. Как незаметно подошли сумерки! Оська велит хлопцам собраться завтра после полудня в березовой роще.

— Будем делить добычу, — говорит он важно.

Хлопцы расходятся по хатам. Один из них вытащил из кармана скаутскую ковбойскую шляпу и, сняв свой простой соломенный капелюх, с опаской оглядываясь по сторонам, надел ее на голову. Я поглядел ему вслед. Сделав два шага, хлопец чего-то испугался, снял шляпу и опять засунул ее в карман. Трус. Как Маремуха. А я вот свою надену, и никто мне ничего не сделает.

Я смело надел Котькину шляпу — она велика мне — и пошел за ребятами.

Но Оська увидел это и сразу насупился.

— Сними! — приказал он.

— Ну и сниму. Мне не жалко...

Вчетвером мы зашли в Оськин двор. Удилище и сетка Петьки Маремухи по-прежнему стояли под крыльцом. Оськина мать, Оксана, сидела на завалинке и, сжав коленами макотру, лущила в нее прошлогоднюю кукурузу. Она терла один початок о другой. Золотистые зерна кукурузы глухо падали в большую, глазурью раскрашенную макотру.

Авксентий, одетый в домотканую коричневую коротайку, стоял тут же.

За плечами у него виднелся все тот же двуствольный дробовик.

Он собирался уходить. Увидев нас, он спросил:

— Где были, хлопцы?

— Мы панычей городских лупили, тато, — ответил Оська, вынимая из-за пазухи петлюровский флажок. — Ох, и дали мы им перцу!

— Каких панычей? Тех, что с барабаном? Юнкеров ихних?

— Ну да, ну да, — запрыгал Маремуха, — юнкеров. Мы им палатки оборвали все чисто, шляпы забрали — вон у Василя шляпа есть. Покажи, Василь, шляпу.

— А где вы били юнкеров? — спросил Авксентий.

— Под Медной горой, около речки, — сказал Оська, хвастливо размахивая скаутским флажком.

— Они не юнкера. Они скауты. Юнкера — те в юнацких школах обучаются, а это гимназисты, их готовят на подмогу Петлюре, — хмуро поправил дядьку Куница, но тот сказал:

— Знаю, знаю! Шпионы петлюровские малолетние в тех отрядах готовятся. Значит, это вы пальбу там подняли? А я голову ломал: откуда такой переполох? Из чего же вы стреляли? Я никак не мог разобрать. Не то обрезы, не то бутылочные бомбы...

— Ага, ага, бутылочные бомбы, — хитро улыбнулся Оська.

— Бутылочные бомбы... Врешь. Откуда они у вас? Где вы их взяли?

— Да не взяли, а сделали, — объяснил я Авксентию.

— Верное слово, сделали, — подхватил Оська. — Насыпали извести в бутылки — вот и бомба. А как они удирали, тато! Кто в кусты, кто куда. Они думали — то настоящие бомбы. Мы у них там все порасшвыряли, а Куница...

— А кто велел тебе нападать на них? — вдруг сурово перебил Оську дядька.

— А мы сами... — начал Оська.

— Сами, сами! А ты знаешь, как вы могли нашкодить? Хорошо, хлопцы успели повытаскать все оружие из пещеры, а то довелось бы расхлебывать вашу кашу.

— Они ж за Петлюру! — удивленный словами дядьки, сказал Маремуха.

— Ну и что ж? А за них могли и нас похватать. Пускай бы шли своей дорогой.

— Не похватают! Красные ведь близко, — ответил я дядьке. — Вы же сами говорили.

— Кто его знает, — неуверенно сказал дядька, — то все бежали в город, а вот недавно через село на Жмеринку опять проскакало шестеро петлюровцев.

Я сейчас пойду сам побачу, как там, на шляху, а вы здесь осторожненько...

— А мы с вами пойдем, дядя, — попросил я Авксентия.

— Э нет, на шляху теперь неспокойно, а мне еще Мирона захватить надо. Заходите в хату, повечеряйте — и в клуню. Оксана, собери-ка хлопцам ухи да вареников, — сказал дядька на прощание жене и ушел по направлению к Калиновскому тракту.

После ужина, когда мы переходили из хаты в клуню, я увидел, как по небу к Нагорянам подползали густые багровые тучи. Неужели тот рыжий хлопец правду сказал, что будет дождь?

МЫ ПОКИДАЕМ СЕЛО

Ночью в самом деле пошел дождь. Удар тяжелого грома разбудил нас. Через распахнутые двери клуни было видно, как вспыхивала молния, освещая влажные листья яблонь и слив.

С кладбища сразу потянуло сыростью. Зарывшись в сухое сено, я слышал, как ливень хлестал по листве, как крупные дождевые капли, падая наземь, задевали листочки кустарника, молодую завязь плодов на фруктовых деревьях и обвитый повиликой сгорбленный плетень усадьбы Авксентия.

И в этом ночном дожде, и в молнии, то и дело поджигающей зеленовато-синим пламенем густое черное небо, и в тяжелых раскатах страшного ночного грома, сотрясающего мокрую землю, было одновременно что-то жуткое и веселое.

Разбуженный ночной грозой, я долго не мог заснуть. Я вспомнил, что случилось за последний день, и было мне от этого радостно и чуть-чуть тревожно.

Теперь, думал я, обязательно должны прийти красные. Если они не придут, мы пропали.

Ни Котька Григоренко, ни его приятели-скауты не спустят нам вчерашнего набега.

Каково-то им сейчас на полянке у сломанного дуба? Вряд ли они успели уйти оттуда. Намочит же их ливень! Колышки палаток сломаны, брезентовые полотнища забрызганы известкой — мы здорово разорили скаутский лагерь, укрыться им негде.

А Марко Гржибовский? Вот бесится небось, что мы у него знамя его шпионское утащили! Не удалось Гржибовскому обучить скаутов, как надо одной спичкой разжигать костер, не смогли они доиграть до конца в «сыщиков и воров», не поели свой кулеш. Не спас их ни святой Юрий, ни богородица. Зря они пели свою хвастливую песню, вступая в Нагоряны.

Поливай их, дождь, сильнее, крепче, пусть на всю жизнь запомнится им этот поход!

А вот мне да похрапывающим рядом Кунице, Оське и Маремухе хорошо. Никакой ливень не прошибет эту плотную, крепко сшитую соломенную крышу. Под нами чуть колючее, пахнущее лесными полянами и ромашкой сено.

Кусачие былинки щекочут уши и щеки, залезают в нос, но я лениво отстраняю их и, прижавшись к мягкому толстенькому Маремухе, обняв его левой рукой, усталый и довольный, крепко засыпаю под этот радостный, теплый дождь.

Просыпаемся мы поздно.

Тихое утро стоит в саду. Двор за плетнем уже весь освещен солнцем. Через открытую дверь клуни видно, как посвежела и еще ярче зазеленела листва на деревьях. Покрытая глазурью макотра блестит на плетне.

— Вставай, Петро! — толкнул я под бок Маремуху. А он еще глубже зарылся головой в сено.

Я пощекотал Маремуху под мышками, и тогда он вскочил на колени так быстро, что все сено в клуне зашевелилось.

— Вставай! Вставай! Сплюх!

А он, словно на морозе, стал быстро обеими ладонями растирать свои розовые уши.

— А знамя-то наше промокло — слышал, какой дождь ночью был? — потягиваясь со сна, сказал Оська.

— Не промокло, я его под корнями зарыл, — успокоил Оську Куница и, схватившись за балку, как на турнике, поднялся вверх.

Из-под стропил посыпалась мелкая труха.

Во дворе громко разговаривала с кем-то Оксана.

Мы вышли к ней во двор и поздоровались. Какая-то пожилая сморщенная женщина сразу же ушла, а Оксана тихо пожаловалась нам, что в селе «ой, как неспо-

койно». Только и разговоров, что красные близко. Еще на рассвете селяне тайком от старосты угнали своих лошадей за Медную гору. Они боятся, что лошадей могут реквизировать для эвакуации петлюровцев. Поговаривают, что еще ночью петлюровские разъезды отняли всех коней в Островчанах.

— Беда мне с мужем, — сказала Оксана, — ушел, слова не сказал, хозяйство оставил, а я сама тут за все отвечай. Хотела запрятать в погреб кабанчика, а он вырвался, лежит на глине и кричит. Наверное, вывихнул ногу.

Она говорила с нами так, словно мы были приятели Авксентия. Мы сочувственно слушали ее жалобы, а сами думали: что же нам делать? Кабанчик кабанчиком, а вот как нам быть?

Ведь тут сейчас неинтересно. Авксентий хитрый. Ушел потихоньку к партизанам и оставил нас. А вдруг где-нибудь под городом уже начинается бой? А здесь ничего не увидишь. Но мы не маленькие. Мы сами знаем дорогу обратно.

Мы решили вернуться в город.

— Пойдем с нами, Оська, — предложил я и брату, но его мать строго закричала:

— Никуда он не пойдет! Не смей ходить! Тато велел ему оставаться дома. Сиди здесь, Оська, хоть ты поможешь по хозяйству.

Оська кисло сморщился, но ослушаться не посмел.

Делать нечего. Пойдем одни. А жаль!

Мы попрощались с теткой, крепко пожали руку Оське и отправились в путь.

Лесной дорогой мы пошли в город.

Хорошо в лесу после дождя.

Простые лесные цветы пахнут особенно сильно. У дороги, где стелется барвинок, выглядывают из-под кустов синенькие колокольчики, лесные фиалки, иван-да-марья. В розовых цветках шиповника жужжат пчелы. А как здорово поют где-то вверху на деревьях невидимые снизу птицы! Весь лес дрожит от их звенящего пения.

На серой осине глухо трижды прокричала кукушка и затихла, должно быть услышав наши шаги. Мы шли по влажной тенистой дороге, то и дело пересекаемой

обнаженными корнями деревьев. Мы перепрыгивали через лужи, ноги скользили и разъезжались в стороны.

Около березовой рощи я вспомнил, что Оська договаривался сегодня после полудня со здешними ребятами делить кошевое знамя.

Ведь мы имеем право тоже получить по куску этой добычи, отнятой у наших врагов.

— Возьмем, хлопцы, свою долю? — кивнул я на лощину.

— А ну его, пускай Оська пользуется. Куда оно нам? — отмахнулся Куница.

— Возьмем, возьмем! Даром, что ли, дрались? — запрыгал Маремуха.

Ага, большинство на моей стороне. Мы сворачиваем к ручейку. Маремуха разрывает обеими руками землю. Я вытаскиваю знамя из-под березовой коряги и стряхиваю с него липкую глину. А все-таки дождь промочил знамя. Шелк намок и почернел. Ну, как же теперь его делить? Нас было человек двенадцать, — если порезать знамя на двенадцать равных кусочков, каждый получит по небольшому, величиной с носовой платок, куску шелка.

А ведь сельские хлопцы похватали те куцые звеньевые знамена. Если бы не Куница, — кто знает, это широкое кошевое знамя могло остаться у скаутов. Мы имеем полное право взять себе больше, чем остальные. А что, если распороть знамя пополам? Недолго думая, я достал из кармана перочинный нож и, сунув Маремухе край знамени, натянул свой конец и разрезал знамя пополам. Потом оторвал руками остатки бахромы и подал желтое полотнище Маремухе.

— А теперь как поделить? Кусок желтого и кусок голубого? Надо было иначе, эх ты! — покачал головой Куница.

— Зачем делить? Мы возьмем себе половину, вот и все, — успокоил я Куницу.

— Но ведь нас трое!

Ишь как запел! Минутку назад фыркал — «не надо», а теперь глаза загорелись.

— А мы жеребок бросим. Кто вытянет, тот получит весь кусок. Из него сорочка выйдет или скатерть. А платки-то нам зачем? Что мы, девчонки?

Куница задумался, а Петька Маремуха сразу перешел на мою сторону.

— Давай, — закричал он. — Желтое мы оставим, голубое себе возьмем! А я загадаю. На палочки или на камешки.

— Ну, иди загадывай... На палочки... — подумав и тряхнув головой, милостиво разрешил Куница.

Скомкав желтую полосу шелка, Петька засунул ее обратно в ямку под старой березой. Потом он убежал в кусты и возвратился оттуда с зажатыми в кулаке тремя палочками.

— Самая коротенькая — знамя! — объявил он.

Я потащил жребий первым. Маремуха боялся, что мы подсмотрим, и так зажал палочки, что приходилось вытаскивать их силой.

«Интересно, кому же достанется шелк?» — подумал я, разглядывая свою палочку. Кончики ее Петька обкусал зубами.

Вытащив жеребок вслед за мной, Куница потребовал:

— Покажи!

Петька раскрыл потную, дрожащую руку. Мы уложили на ней рядышком свои палочки, и оказалось, что самая короткая досталась Кунице.

— Получай, — не без сожаления отдал я ему мокрую полосу шелка.

Маремуха грустными глазами следил за тем, как Юзик, словно мокрое белье, выжал полотнище и засунул его себе за пазуху. Щелкнув языком, Куница весело полез по откосу лощины вверх, а мы, неудачники, вслед за ним.

Когда мы перевалили через Барсучий холм, я увидел на другой стороне реки ту самую поляну, где мы вчера дрались с петлюровскими панычами.

Поляна была пуста. Только выжженные кострами черные лысины, истоптанная трава да белые лужи извести напоминали о вчерашней схватке.

БЕГСТВО

Шумный Калиновский шлях пролегает где-то в стороне. До самого города Куница ведет нас напрямик по заросшим полынью межам; мы минуем засеянные низенькой густой гречихой поля и одну за другой пересекаем поросшие травой безлюдные проселочные дороги.

— Сколько мы уже идем, так до вечера домой не доберемся, — едва поспевая за Куницей, пробурчал уставший, измученный Маремуха.

Бедному Петрусю сегодня досталось. Шутка ли сказать, сколько мы прошли, а еще ни разу не отдыхали.

— Ладно, Петро, не журись, — сказал Куница, — у кладбища отдохнем. Давай быстрей.

— Юзик, кладбище, кажется, скоро? Да? — не вытерпел я.

— Скоро, скоро. Видишь, липа на бугре покосилась? За ней и кладбище.

Юзик прав. Только мы поднялись на бугор, как сразу вдали зазеленели яворы кладбищенского сада. За ними белеет наш город.

На холмике у кладбища мы делаем привал. Хорошо после длинной дороги улечься на мягкой траве, под высоким тенистым явором и слушать, как где-то около самого уха в белых и розовых цветах клевера жужжат шмели.

Налево, за тюремными огородами, пересекая зеленые поля, тянется от огорода до самого горизонта белая полоска дороги. Она то идет прямая, ровная, то, встречая на своем пути зеленые курганы, петляет вокруг них причудливыми зигзагами, то пропадает совсем в темной чаще леса, то, вырвавшись из него, снова вьется по сенокосам, баштанам, полям — узенькая белая полоска покрытого мелким камнем шоссе. Это и есть Калиновский шлях — главный путь из нашего города на север.

Серая дорожная пыль клубится сейчас вдоль телеграфных столбов: в город одна за другой мчатся подводы, тачанки, экипажи. Их грохот доносится сюда через тюремные огороды и маленькую рощицу, отделяющие нас от Калиновского шляха.

Интересно, кто это едет: красные или все еще петлюровцы?

— Давай пошли! — поднял нас Куница.

Мы не посидели и двух минут, но тотчас вскакиваем и пускаемся дальше. Хорошо утоптанная тропинка ведет нас в город. Миновали кладбище. Уже маячат вдали, на Житомирской, верхушки стройных серебристых тополей.

Вдруг Куница прыгнул через канаву, круто повернул на Тюремную.

— Куда ты, Юзька? — окрикнул я его.

— Давай, давай, — торопит Куница.

Мы выбегаем на мостовую этой окраинной улицы.

Вот и тюрьма — огромное каменное здание, обнесенное с четырех сторон высоким кирпичным забором.

— Ох ты! — крикнув от неожиданности, сразу присел Маремуха.

За тюремной оградой зазвенело разбитое стекло.

— Окна бьют, — тихо сказал Куница, присев около меня на корточки.

И в эту самую минуту в каких-нибудь пятидесяти шагах от нас медленно распахнулись широкие, окованные железом тюремные ворота. Оттуда один за другим на тюремную площадь выскочили пятеро петлюровцев в черных коротких жупанах. Выбежали. Остановились. Вот первый из них, самый высокий, махнул рукой на кладбище. Мигом, вытянув винтовки, охранники перебегают улицу. Они перепрыгнули через кладбищенскую ограду и пропали среди мраморных крестов. Чуть шевельнулись и сразу же затихли густые кусты жимолости.

— Посмотри, посмотри! — приподнимаясь, шепчет Куница.

Из самой крайней, левой решетки верхнего этажа тюрьмы, пробив стекло, со звоном вылетел красный продолговатый кирпич. И вслед за этим то из одного, то из другого окна, словно по чьей-то команде, падают и разлетаются вдребезги грязные, запыленные оконные стекла.

Заключенные — все те, что были против Петлюры, — повисли на решетках. Они машут руками, что-то кричат, а что — не разберешь. А вот в окне второго этажа около водосточной трубы заклубилась белая известковая пыль. Ого! Из камеры по железной решетке бьют каким-то тяжелым куском железа. Глухие нетерпеливые удары разносятся на всю тюрьму. Еще немного — и выломают решетку. Но с Куницей разве досмотришь?

— Гайда, хлопцы! — торопит он нас.

Нехотя мы побежали вслед за ним по Тюремной. Я бегу и оглядываюсь. Интересно бы посмотреть, как люди, брошенные Петлюрой в тюрьму, выломав решетки, выбегут на волю, как тот славный повстанец Кармелюк. Куница, заметив, что мы отстали, кричит:

— Давай быстрей, а то палить начнут!

Пожалуй, Куница прав. Ведь каждую минуту петлюровцы могут открыть огонь по взбунтовавшейся тюрьме. Куница свернул на Старопочтовую. По гладким каменным плитам ее тротуара очень приятно бежать босому — куда лучше, чем по колючему грунту. Но почему никого не видно на улице? Пусто, точно все жители вымерли.

Мы пробегаем мимо епархиального училища. Это желтое, с монастырскими узкими окнами здание выходит главным своим фасадом на Старопочтовую. Здесь, в училище, стоит булавная сотня атамана Драгана.

А ну, посмотрим, у себя ли черножупанники? Что такое? Окна в училище раскрыты настежь. Около училищного подъезда валяются перевернутые табуретки, совсем новое цинковое ведро. Внутри училища тихо. Не слышно людских голосов. Вот так здорово — выходит, драгановцы улепетнули отсюда!

Вдруг за станцией хлопнул выстрел. За ним — другой. Куница сразу остановился.

— А что я говорил? — шепнул он.

Маремуха переменился в лице, побледнел.

— Может, спрячемся, а, Юзик? — осторожно попросил он.

— Новое дело! — огрызнулся Куница. — Куда ты спрячешься? Тут сейчас начнется такое... Вот слышишь?

Совсем близко, откуда-то со стороны губернаторского дома, зачастил пулемет. Дробь выстрелов пронеслась над тихим, притаившимся городом. Пулемет замолк, но тотчас же у вокзала один за другим захлопали ружейные выстрелы. Неужели это красные подошли так близко? Шальная, неизвестно откуда прилетевшая пуля взвизгнула вверху над крышей епархиального училища.

Куница молча побежал вниз. Мы — за ним вдогонку. Дело совсем плохо, если уж пули свистят над головой.

Мы чуть слышно шлепаем босыми ногами по каменным квадратикам тротуара, а выстрелы теперь звучат еще громче, совсем рядом.

До Семинарской оставалось несколько шагов, как вдруг Куница метнулся в сторону, шепнув:

— Назад, возле аптеки люди!

Маремуха сразу припал к стене серого двухэтажного дома, а я заскочил в подъезд парадного. Кто, инте-

ресно, там? Может, повернуть обратно? Еще подстрелят.

Но Куница крадется вперед.

— Посмотрим давай тихонько! — предложил он.

Гуськом пробираемся вдоль стены этого серого дома до его угловой водосточной трубы. Тут, сразу же за углом, начинается густой подстриженный садик. Вслед за Куницей мы нырнули под кусты акации внутрь садика и уже оттуда, из-за кустов, выглянули на улицу.

Огромное стекло лучшей городской аптеки Модеста Тарпани разбито. Еще несколько дней назад за этим толстым бемским стеклом стояли на подоконнике пузатые бутылки с прозрачной розовой водой, а вверху на стекле белели буквы:

АПТЕКА
Модеста Тарпани

Ни пузатых бутылок с розовой водой, ни белой надписи, ни бемского стекла теперь не видно. Вдребезги разбитое окно похоже на огромную квадратную дверь с очень высоким порогом. Тротуар у аптеки усыпан осколками стекла. А внутри, у прилавков, на блестящем кафельном полу, хозяйничают петлюровцы. Вот один из них, чубатый, в сбитой на затылок папахе, вскочил прямо на застекленную стойку с душистым мылом и парфюмерией. Стекло треснуло под его сапогом, и нога петлюровца ушла в глубь стойки. Вслед за чубатым петлюровцем на стойку лезут его приятели. Они ногами выбивают зеркальные стекла в шкафах, где стоят в банках с латинскими надписями всякие лекарства.

— Горилку шукай, Остап, горилку! — кричит один из них чубатому петлюровцу. Соскочив со стойки на пол, чубатый бежит в глубь аптеки и выволакивает оттуда седого старика в белом халате.

Мы его знаем. Это провизор Дулемберг. Он упирается и не хочет идти, но чубатый петлюровец с силой тянет Дулемберга за руку и вышвыривает его из аптеки прямо на улицу.

— Молись богу! — приказывает провизору чубатый и сует ему в ухо дуло нагана.

Я отвернулся. Страшно. Что они сделают с ним? Но в эту минуту из аптеки закричали:

— Подожди, не стреляй, Остап!

Одну за другой петлюровцы вынесли из аптеки пузатые бутылки с белыми этикетками. Бандиты поставили бутылки прямо на мостовую и заставили провизора пробовать лекарства.

И вот, стоя на коленях, седой Дулемберг дрожащими руками открывает стеклянные пробки. Из каждой бутылки Дулемберг отсыпает на ладонь капельку лекарства и прикасается к ней языком. Некоторые бутылки провизор сразу отодвигает в сторону и глухо говорит:

— Не буду. Яд.

Тогда петлюровцы хватают их за горлышко и бьют об стену. Бутылки разлетаются на куски. Ручьи лекарств текут с тротуара на мостовую. Запахло духами, туалетным мылом и больницей.

Бутылки с лекарствами, которые Дулемберг полизал языком, грабители погрузили в походную двуколку.

Нам было очень жалко стоящего на коленях посреди мостовой седого Дулемберга, но помочь ему мы ничем не могли. Чувствуя, что навсегда покидают этот город, петлюровцы совсем озверели. Теперь им все равно. Стоит только выбежать из-за кустов на улицу, где гуляют их стреноженные кони, как сразу этот чубатый выпалит в нас из своего нагана.

Старый испуганный Дулемберг, точно в церкви, стоял на коленях перед разграбленной аптекой. Дулемберг ждал, что ему еще прикажут, и боязливо морщился.

Из аптеки на улицу выскочил низенький петлюровец в синем жупане. Подбежав к Дулембергу, он протянул ему большую зеленую банку. Дулемберг отсыпал из этой банки горсть порошка шоколадного цвета и, лизнув его языком, глухо сказал:

— Лакрица. Сладкое.

Тогда все остальные петлюровцы обступили низенького синежупанника, и он насыпал каждому в ладонь по пригоршне этого коричневого порошка. Петлюровцы глотали лакрицу, точно сахарную пудру, и облизывались.

— А ну, катись. Наводи порядок! — вдруг со всего размаха ударил Дулемберга ногой в спину чубатый петлюровец и, сунув за пояс наган, побежал к двуколке.

Дулемберг полетел грудью на мостовую. Его седая

борода попала в лужу разлитых лекарств. Дулемберг осторожно поднялся и, вытирая руки о белый халат, медленными шагами, словно в чужой, незнакомый дом, пошел в разоренную аптеку.

Мостовая сразу опустела. Только вдали неслась к центру города нагруженная аптекарскими бутылками двуколка и звенели копыта догоняющих ее коней.

За лесом ухнула пушка. Снаряд просвистел над нами и тяжело разорвался где-то около губернаторского дома.

Мы побежали дальше, к духовной семинарии, по совершенно пустой, безлюдной улице.

Тут было еще страшнее. Со всех сторон нас окружали молчаливые дома с закрытыми ставнями. Наверное, хозяева этих домов с утра засели в подвалах и боялись нос показать на улицу. Только одни собаки бегали по опустевшим дворам. Они лаяли и визжали, когда по небу, со свистом рассекая воздух, пролетали снаряды. Да и мы тогда, нечего греха таить, тоже ежились, приседали, и каждый думал про себя: «Разорвись подальше! Ну, подальше! Только не здесь».

У духовной семинарии петлюровских часовых уже не видно.

Это серое здание пусто, как и епархиальное училище, в нем не слышно гула машин, которые печатали здесь деньги, не видно людей в окнах, а обе половинки железных ворот, ведущих в семинарский двор, раскрыты, словно только что туда проехала подвода.

...Чем ближе мы подходили к Заречью, тем громче и сильнее доносились стук колес, скрип телег, ржание коней. И когда открылась перед нами на скалах по ту сторону реки старинная черная крепость, мы увидели тучи пыли, клубящиеся над крепостным мостом.

Мост сплошь забит подводами и бричками убегающих петлюровцев. Со всех улиц города они устремились сюда, чтобы, проскочив через мост, выехать на ведущий к Збручу Усатовский шлях.

Около Турецкой лестницы, прямо на улице, валяется целый куль белой пшеничной муки. Странное дело — его никто не стережет, никто не подбирает.

Мы перебежали дощатую кладку и полезли по скалам на Старый бульвар. С высокой, обросшей мхом и дикими желтыми цветами скалы была хорошо видна вся улица Понятовского, сплошь запруженная войсками.

Квадратные серые конфедератки легионеров Пил-

судского смешались с меховыми папахами петлюровцев. Легионеры обгоняют друг друга. Белая пена хлопьями слетает с морд вспотевших, испуганных лошадей.

На верхнем конце улицы Понятовского возвышаются серые стены доминиканского костела. Высокие черные двери его и калитка, ведущая на погост с улицы, плотно закрыты. На костельном погосте — пусто. Ни одного человека. Высеченные из серого камня католические святые стоят на крыше костела со скорбными лицами.

Помнится, ранней весной, когда вместе с петлюровцами в город пришли легионеры Пилсудского, весь вечер звенели над этим доминиканским костелом маленькие колокольчики и польский бискуп служил в честь какого-то высокого тощего генерала торжественный молебен.

Жалобно играл тогда под высокими сводами костела орган, легионеры важно звенели шпорами на паркетном полу, и местные пани в старинных ротондах, в черных с блестками пелеринках, в длинных с воланами шелковых платьях то и дело приподнимались с дубовых скамеек и вслед за бискупом торопливо крестили свои строгие, покрытые вуалями лбы.

Сейчас не видно ни бискупа в высокой, похожей на кокошник, тяжелой шапке, ни чопорных тетушек в траурных мантильях и с зонтиками в руках. Не слышно и колокольного звона над доминиканским костелом.

На тротуар под костельной стеной выбежал из строя низенький, одетый в серое легионер. На левой ноге у него размоталась обмотка и тянется за ним по дороге. Солдат останавливается, со злостью срывает обмотку с ноги, швыряет ее на костельный забор и пускается бежать дальше. Долго еще видно, как вдоль улицы по тротуару мелькает белый краешек его кальсон.

Он боится отстать и, должно быть, проклинает своего усатого маршала.

— А зачем они бумаги столько увозят? Вот чудаки, погляди, — сказал Куница.

По улице Понятовского к мосту спускается крестьянская телега, доверху забросанная синими и коричневыми папками с бумагой. Наверное, это дела какого-то петлюровского министерства. Вот одна из папок соскользнула с подводы и упала на мостовую. Белые листы рассыпались по камням. Их тут же смяли копытами лошади, запряженные в блестящий офицерский фаэтон.

— Побежали подберем, а? — предложил Маремуха.

Трус, трус, а иногда лезет с такими советами, что смешно становится. Вот и сейчас.

Меня даже зло взяло.

— Куда ты, сазан, побежишь? — закричал я Петьке. — Да тебя сразу же отхлещут нагайками — ты же знаешь, какие они теперь злые!

Маремуха обиженно отвернулся. В это время откуда ни возьмись к нам подбежал конопатый Сашка Бобырь.

— Здорово, хлопцы! — закричал он нам и потом спросил у Куницы: — Котьку не видел случайно?

— А вот еще один перебежчик! — зло сказал Куница прямо в лицо Бобырю. — Ну, где твои разлюбезные скауты? Чего же ты с их кошевыми за границу не бежишь?

— Да я что... Вы думаете, я на самом деле за Петлюру, хлопцы?.. Жить нам было не с чего, а там завтраки даром давали, ну я и записался... — жалобным голосом протянул Бобырь.

— Записался, чтобы, когда подвырастешь, офицером ихним стать? Бедноту убивать, да? А вот мы же не записались! — донимал его Куница.

— Ну, вы... — Сашка замялся, — вам родные помогли это понять. Вот у Василия отец давно с коммунистами дружит, а у тебя, Юзик, дядя в Киеве — сознательный, моряк. Письма писал, кому помогать надо. А меня мама сама подговорила, чтобы я из-за той каши пошел...

Видно тронутый чистосердечным признанием Сашки, Куница спросил мягче:

— Вы вчера ночью пришли?

— Ага, ночью. Только собрались — приехал гонец и привез приказ возвращаться в город. Около кладбища нас ливень захватил, все промокли, гром, молния, лужи кругом — никто ничего не видит. Тогда Гржибовский закричал: «Разойдись!» — и мы побежали кто куда. А я, видишь, простудился, даже насморк схватил! — шмыгая носом, рассказывал Сашка Бобырь.

— Выходит, плохой поход получился? — с ехидством заметил Маремуха.

— И не говори. Знал бы раньше — не пошел бы. Гляди — опять кавалерия... И с флажками все...

Да, Сашка не ошибся. Это едет новый отряд польских уланов. На пиках у них болтаются маленькие бело-

красные флажки с белыми коронованными орлами. Всадники сидят в кожаных седлах как-то неуверенно, словно под ними чужие лошади. Уланы пришпоривают лошадей, хлещут их нагайками. Неожиданно над круглой Папской башней рвется шрапнель. Мы видим ее дымок — белый, распустившийся над встревоженным городом, словно маленькое круглое облачко.

Хриплые крики и брань раздаются у моста. Стегая длинной нагайкой свою гнедую лошадь, какой-то улан нечаянно рассек желто-голубое полотнище на древке у едущего рядом петлюровца.

— Куда ты прешь, нечистая сила?! — обозленно закричал на улана петлюровец.

Около нас послышалось: «Бегом! Бегом!»

— Бежим на Заречье! — толкнул я Маремуху и Куницу.

И мы, оставив Бобыря, удираем со Старого бульвара.

— В Старую усадьбу!.. Спрячемся в погребе... Оттуда все видно будет... — едва поспевая за нами, задыхаясь, пробубнил Маремуха.

Миновав Успенскую церковь, по узенькому Крутому переулку мы повернули к Петькиному дому. Через кусты и бурьяны рванулись к Старой усадьбе. А снаряды над городом рвались все чаще. Они падали уже на Усатовском шляхе, пересекая дорогу отступающим петлюровцам.

Неожиданно за флигелем сапожника Маремухи мы натолкнулись на моего отца. С ним еще какой-то парень в соломенном капелюхе. Вот так штука! Как отец попал сюда?

Вдвоем с парнем отец вытащил из бурьяна совсем новенький, смазанный маслом пулемет и, согнувшись, потащил его за хобот на дорожку. Парень в крестьянской одежде помогал отцу, приподнимая пулемет за надульник.

Мы даже спрятаться не успели от неожиданности. Отец заметил нас и сердито закричал хриплым голосом:

— Убирайтесь отсюда, сорванцы!

А в это время из-за кустов послышался знакомый голос Омелюстого:

— Мирон, дай-ка Прокопу ленты с патронами.

Отец, позабыв про нас, побежал в бурьян. За патронами от Ивана прибежал Прокоп Декалюк. Я видел его

однажды в Нагорянах и хорошо запомнил. За ним следом выскочил дядька Авксентий в своей коричневой коротайке. Ого, да сколько их тут?!

— А это что за гоп-компания? — кивнул в нашу сторону низенький смуглый, похожий на цыгана Прокоп Декалюк.

Отец подал ему две зеленые плоские коробки с пулеметными лентами и, шагнув на тропинку, совсем разозлившись, закричал:

— Марш домой, кому я говорю?!

Как бы не так! Чего мы не видели дома?

Заметив, что отец обернулся к Авксентию, мы все мигом бросились в открытый погреб и залегли там, у самого входа, на заплесневелых каменных ступеньках. Отсюда нам чудесно видна и крепость на высокой скале, и крепостной мост, запруженный уланами и петлюровцами.

Отец вынес из бурьяна полное ведро воды и протянул его Авксентию. Дядька схватил ведро и пустился в кусты к Омелюстому, куда парень в соломенном капелюхе уже тащил пулемет. Немного погодя за Авксентием в кусты побежал отец.

А на крепостном мосту петлюровцы. Их кони встают на дыбы, наезжают друг на друга. Даже здесь слышно, как скрипит и трясется настил крепостного моста.

«Ага, запрыгали, гады чубатые. Так вам и надо. Будете знать, как людей расстреливать!» — чуть не закричал я от радости.

В эту же минуту за кустами послышалась частая скороговорка пулемета. От дрожащих и гулких пулеметных выстрелов сразу заложило уши.

Вот так здорово! Они стреляют отсюда, из Старой усадьбы, прямо в упор по крепостному мосту, по удирающим в Польшу петлюровцам.

Эх, и вовремя пришли сюда с нагорянскими партизанами мой отец и Омелюстый!

Какой-то раненый петлюровец полетел через перила крепостного моста вниз, в реку. Казалось, вот-вот рухнут в водопад эти шаткие перила: ведь сзади напирали последние части петлюровцев; они давили своих же — узкий деревянный настил не мог вместить всех въезжающих на него, а тут еще сбоку, из Старой усадьбы, все

время стрекотал пулемет, и из его куцего, вздрагивающего дула вместе с огнем вырывался туда, на мост, целый град метких, горячих пуль.

Лежа животами на холодных, сырых камнях, мы ерзали от волнения. Как мы завидовали старшим! Как мне хотелось быть на месте Омелюстого! Если бы я умел стрелять из пулемета, я обязательно лежал бы с ними там, за кустами.

Так и подмывало выскочить из погреба, закричать «ура», подбежать к пулемету и хоть поглядеть, как он стреляет!

Но громкий звук пулеметных выстрелов, заглушая и шум ветра, и далекие разрывы снарядов, и шепот Петьки Маремухи, все же пугал нас.

Мы оставались в погребе до тех пор, пока по крепостному мосту, горбясь, не пробежали отставшие петлюровцы. Перепрыгивая через трупы людей и лошадей и теряя на ходу карабины и кудлатые папахи, петлюровцы, не глядя на раненых, позабыв обо всем, бежали к окопам, чтобы там, за узеньким мелководным Збручем, укрыться от быстрых конников Котовского.

НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Не успела еще затихнуть орудийная канонада, как на крепостной мост ворвалась разведка красных. Вздымая пыль, пролетели разведчики мимо крепости, и долго было слышно, как цокали под скалой, по ту сторону реки, звонкие копыта их быстрых коней.

Немного погодя, вслед за разведчиками, с выдернутыми из ножен клинками, на рысях подъехал к мосту большой кавалерийский отряд.

Всадники в буденовках, в каракулевых кубанках заполнили весь мост. Мы видели из Старой усадьбы ровный, необычайно спокойный бег их усталых коней. Пятерками всадники проезжали по мосту: казалось, им конца-краю не будет.

Вперемежку с красными знаменами блестели над головами у седоков поднятые вверх сабли. Изредка в конном строю громыхали зеленые пулеметные тачанки.

Вырвавшись с узкого моста на просторный Усатовский шлях, кони, почуяв волю, несли всадников вперед. Отряд за отрядом мчался вдогонку за Петлюрой. Конники, видно, хотели настигнуть его еще у границы, на-

ступить ему на пятки, дать петлюровцам отведать своих отточенных клинков.

Вслед за конницей от вокзала и со стороны Калиновского тракта в город вступили пехота, артиллерия и обозы красных.

Мы побежали в город.

Уже за церковным сквером навстречу стали попадаться запыленные тачанки красных. Тачанок было много. На них, задрав кверху тупорылые дула, подпрыгивали износившиеся, пятнистые от облезшей краски боевые пулеметы. Красноармейцы в выцветших, полинялых гимнастерках, поглядывая с тачанок по сторонам, пели:

Вечор поздно я стояла у ворот,
Вдруг по улице советский полк идет...

По Успенскому спуску, грохоча и подскакивая на выбоинах, потянулись орудия и походные кухни с задымленными трубами.

Город постепенно начинает оживать. На улицах появляются жители, с каждой минутой их все больше и больше становится на городских тротуарах. Уже многие горожане идут рядом с красноармейскими тачанками, заговаривают с бойцами, стараясь перекричать грохот и шум.

Усталые улыбающиеся красноармейцы с любопытством рассматривают крутые, изогнутые улицы, огороженные каменными барьерами обрывы, старинные шляхетские дома с узенькими, как бойницы, окнами, нашу крепость на высокой скале с ее зубчатыми сторожевыми башнями.

Вечерело. Отца не было. Он наскоро поел холодного борща и, не поговорив даже как следует с теткой, убежал вслед за Омелюстым на Губернаторскую площадь.

Военно-революционный комитет там собирал митинг.

А я, сидя на топчане, рассказывал тетке, как мы гостили в Нагорянах.

Неожиданно открылась дверь, и к нам в кухню вошел низенький белобрысый красноармеец. Он громко поздоровался и спросил:

— Нельзя ли будет разместиться у вас, хозяюшка?

— Ой, голубчик, да у нас только две комнатки и еще вот кухня... — испуганно сказала тетка, отходя от плиты на свет.

— Вот горе-то! — вздохнул красноармеец. — А я было нацелился начальника нашего к вам поставить...

— А начальник ваш семейный или холостой? — осторожно спросила тетка.

— Что вы, мамаша, — сразу обрадовался красноармеец, — откуда ж ему семейным быть, когда у нас семьи дома остались? Холостой, конечно, холостой!

Немного помедлив, тетка согласилась уступить этому неизвестному начальнику свою комнатушку с единственным, выходящим в сад окном.

И на следующий день в тетушкиной комнате поселился красный командир Нестор Варнаевич Полевой — очень высокий, широколицый, с выпущенной из-под козырька зеленой буденовки прядью волос. Он — начальник конной разведки того самого Тилигуло-Березанского полка, который вместе с конницей Котовского выгнал из города уланов и петлюровцев.

На походной двуколке ему привезли складную железную кровать с проволочной сеткой и полосатый матрац. Полевой сам втащил эту кровать в тетушкину комнату, положил на нее матрац, а Марья Афанасьевна застелила его чистой простыней.

Кровать Полевой покрыл своим ворсистым серым одеялом. Нагнув широкую спину, он ловко запрятал лишние края одеяла между матрацем и проволочной сеткой.

В этот же день к нам пришел телефонист и установил на этажерке желтый полевой телефон. Он протянул через форточку в сад, а там по веткам деревьев, потом на улицу и по столбам до самого епархиального училища, где разместился полк нашего квартиранта, черный блестящий провод. Вечером Полевой уже заговорил по телефону, и нам в спальне было слышно, как, повертев ручку аппарата, он гулко спросил:

— Штаб полка? Дайте начальника штаба.

В крольчатнике нашем тоже перемены. Клетку с ангорской крольчихой вынесли под забор к Гржибовским. У них тихо, даже Куцый весь день сидит на привязи и не так лает, а колбасник Гржибовский ходит по своему двору хмурый, злой — видно, он жалеет своего Марко, который удрал с петлюровцами.

Клетку с крольчихой мы поставили под забор Гржибовского вот почему: у Полевого есть конь Резвый, коричневый, гладкий, с белой лысиной на лбу. Ординарец Полевого, красноармеец Кожухарь, поставил Резвого к нам в крольчатник, а с ним заодно и свою кобылу Психею. Кожухарь поселился по соседству, у Лебединцевой, а там держать лошадь негде.

Отец по целым дням не бывает дома. С первых же дней после прихода красных он печатает в типографии на плотной синей бумаге газету «Красная граница». После работы нередко дежурит в ревкоме или ходит по ночам с винтовкой по городу.

Прошло две недели.

Давно уже осыпался каштановый цвет на деревьях около заколоченной на лето гимназии. Отцвели уже липы возле Успенской церкви. Распустились цветки белой акации в аллеях Нового бульвара, а на огородах зацвел картофель. Это значит, что скоро тетушка на обед для нас будет готовить обсыпанную укропом и политую сметаной вареную молодую картошку.

Все больше твердеют, наливаются соком маленькие плоды на широких ветвях старой, дуплистой груши. Неслышно проходит лето, и шаг его отмечается появлением на базаре первых ранних яблок, красной смородины, запоздалых, изъеденных птицами темно-малиновых вишен.

Мне кажется, что большевики уже давно в городе, что красный флаг на куполе епархиального училища висит с зимы, а Нестор Варнаевич живет у нас и того раньше.

Оказывается, Нестор Полевой давно в наших краях за Советскую власть борется!

Кожухарь рассказывал нам мимоходом, что еще в ноябре 1918 года, когда большая часть Украины находилась под властью петлюровской директории, Полевой вместе с такими же, как он, сторонниками Ленина провозгласил недалеко от нас, в уездном городе Летичеве, под руководством большевика Луки Панасюка Летичевскую Советскую Республику.

Правда, просуществовала она недолго.

Уже на второй день рождества того же года на Летичев внезапно налетела банда атамана Волынца. При-

шлось вожакам первой советской республики на Подолии перейти в подполье, ну а Нестор Полевой пробрался через линию фронта к красным.

Я крепко привязался к ординарцу Полевого Кожухарю. Хоть живет он не в нашем доме, но у нас бывает чаще Полевого. Того все время вызывают по телефону в полк. Не раз, услышав среди ночи телефонный звонок, Полевой вскакивает с постели и затем, переговорив по телефону, надолго уезжает из дому. В окрестных лесах пошаливают бандиты, и конная разведка часто гоняется за ними по незнакомым оврагам, по широким лесным просекам.

У Кожухаря дела меньше. Полевой редко берет его с собой на операции. Кожухарь в свободное время отсиживается у нас, чистит крольчатник, ухаживает за своей Психеей и помогает по хозяйству Марье Афанасьевне.

Иногда тетка стирает им обоим — Полевому и Кожухарю — белье. Тогда Кожухарь вместе с ней возится у плиты, носит воду, ловко выкручивает мокрые рубашки и полотенца, а потом, отдыхая на топчане, рассказывает тетке всякие небылицы.

Ее Кожухарь называет только по отчеству — Афанасьевна. Меня он сразу прозвал Махамузом.

— Почему Махамуз? — спросил я, не понимая, что значит это слово.

— А вот так, — загадочно улыбнулся Кожухарь, — такие махамузы бывают.

— Какие такие?

— А вот такие... именно.

Так и пошло — Махамуз. «Если меня будут спрашивать, Махамуз, скажи: пошел на базар, скоро вернусь», «Кусай семечки, Махамуз!», «Лошадь не хочешь выкупать, Махамуз?»

Я не обижаюсь. Пускай буду Махамуз, все равно. Больше всего, конечно, мне нравится купать лошадей. Иной раз мы едем на купанье вместе: я на Резвом, Кожухарь на Психее.

Едем вниз по Крутому переулку. Чем ближе к речке, тем круче и извилистей становится спуск, лошади осторожно ступают вниз, и тогда я ощущаю под собой не лошадиную спину, а какую-то странную пустоту. Поневоле хватаешься обеими руками за шелковистую гриву Резвого.

А Кожухарь хоть бы что! Сидит, прищурив глаза, на грустной Психее, не шелохнется даже и только изредка в такт движению лошади покачивает головой. Бронзовый, прокопченный солнцем, с вечно прищуренными улыбающимися глазами, он кажется мне необычайно веселым, разбитным, а главное — смелым парнем. На поворотах, когда лошади боками сталкиваются одна с другой, мне приятно ощущать коленом или щиколоткой ногу Кожухаря.

Хорошо голому сидеть верхом на лошади и, натянув поводья, посылать ее вперед в воду. Сперва нехотя, пофыркивая, а затем все смелее и смелее ступает она в реку, вытянув морду, поводя ушами и нащупывая дно. А когда дно становится глубже и вода заливает лошадиный круп, лошадь сжимается, вздрагивает и, оторвавшись от дна, легко пускается вплавь. Сидишь на мокрой ее спине, ноги сносит назад вода, хвост лошадиный стелется позади, сидишь и только, легонько дергая поводьями, направляешь лошадь, куда тебе надо. А потом, когда она устанет, выводишь ее на мелкое. Мокрая, лоснящаяся лошадь фыркает, припадает мордой к быстрой воде, а ты, взобравшись на ее скользкий круп, вытянув руки и изогнувшись, прыгаешь в воду — туда, где глубоко.

Лошади, стоя в реке, обмахиваются хвостами, кусаются, весело ржут, а мы с Кожухарем уплываем на тот берег.

Теперь я реже встречаюсь с хлопцами. Куница не был у меня уже целую неделю. Петька Маремуха, которого я встретил недавно около Успенской церкви, сказал, что Юзик собирается в Киев к своему дядьке — он хочет поступить в морскую школу.

Как-то утром Маремуха прибежал к нам в хату и с таинственным видом позвал меня. Мы пошли на огород, где уже наливались соком круглые тетушкины помидоры, и Петька тихо сказал мне:

— Знаешь, кто у нас поселился? Угадай!

Я долго угадывал, называя фамилии всех знакомых военных, которые приходили к Полевому и Кожухарю, и мне даже стало досадно, что теперь и Петька будет купать лошадей, но догадаться, кто их квартирант, я не мог. Тогда Маремуха сам выпалил:

— Знаешь кто? Доктор Григоренко! Никогда бы не догадался, правда?

— Ну да! Бреши! Очень нужно доктору с вами жить, когда у него такой большой дом на Житомирской.

— Тот дом уже не его! — объяснил Петька.

— А чей же?

— Я знаю чей? Дом у него реквизировали большевики. Кто в нем жить будет — неизвестно. А доктор с нами живет. Он вчера приехал к нам и привез папе два мешка белой муки. Знаешь, куличи пекут из такой? И денег не взял. Попросил только, чтобы папа пустил его в хату. Мы потеснились и пустили. Он обещал за это больше с нас денег за аренду не брать. А вещей понавозил полно! Всю ночь перевозил вещи, а папа ему помогал. И еще, знаешь... — замялся Маремуха, — он подарил маме платяной шкаф. «Все равно, — говорит, — мне он ни к чему, а вам пригодится...»

— Куда же он все вещи девал?

— А на чердак. Мы боимся даже: вдруг потолок обвалится? И в погребе еще есть...

— И твой папа ему помогал?

— Ну... он его попросил. Папа сперва не хотел, а потом...

— Попросил, попросил!.. — передразнил я Петьку. — Твой папа и ты вместе с ним — подлизы. Когда твоего папу побили петлюровцы, ты что говорил про доктора? А сейчас он вам подарил шкаф да муку — вот вы и раскисли.

— Ничего подобного... — вспыхнул Маремуха. — Мой папа добрый, ну и что, раз человек его попросил... Дом-то не наш, а Григоренко.

— И Котька живет у вас? — спросил я.

— Нет, Котька уехал в Кременчуг, — помолчав, ответил Маремуха. — Там его мамы сестра живет.

— А, не говори, куда там уехал... Спрятался, наверное, где-нибудь здесь, а ты сказать не хочешь, чтобы я его не отыскал. Жалеешь своего паныча. Помнишь, как бумагу ему таскал?

— Таскал, ну и что же? А сейчас не стану... Пойдем к Кунице?

К Юзику я не пошел. Зато вечером, когда уже смеркалось, я отправился в Старую усадьбу.

Надо проверить, правду ли рассказал Петька. По крутым склонам Старой усадьбы стелется в зарослях можжевельника и волчьих ягод чуть заметная тропка. Я прошел по ней до самых кустов жасмина и неслышно раздвинул их. В трех шагах от меня белеет Маремухин флигель. В комнатах уже зажгли свет, но кто в них есть — не видно, потому что окна затянуты темными занавесками. Напротив флигеля, заваленная свежим сеном, стоит докторская пролетка. Передние ее колеса въехали на заросшую бурьяном клумбу. За флигелем заржала лошадь. В сенцах флигеля стукнула щеколда, и на пороге появился в белой рубахе сам доктор Григоренко. Он подошел к пролетке, взял оттуда охапку сена и понес ее за флигель — своей лошади.

«Значит, Петька не соврал! Что же теперь делать? Надо рассказать Кунице, какой сосед появился у нас в Старой усадьбе», — подумал я и побежал к Юзику. По дороге я увидел Омелюстого. Курчавый, в светлой рубахе с распахнутым воротом, он нес под мышкой пачку бумаг.

— Ты куда, Василь? — остановил меня Омелюстый.

— А я к Кунице.

— Вот и хорошо. Вы мне как раз оба нужны. Тащи его сюда, сходим сейчас вместе в крепость. Я подожду вас на крылечке.

— Да ведь поздно сейчас, дядя Иван, сторож не откроет.

— Ничего, откроет, — успокоил меня Омелюстый... — Не задерживайтесь, гляди! Я вас давно ищу.

Делать нечего. Я побежал за Куницей и с ним вместе возвратился к Ивану Омелюстому. Сосед уже поджидал нас, сидя на лесенке. В руках у него было полотенце.

— На обратном пути выкупаюсь, — объяснил он. — Нет времени даже в баню сходить, хоть в речке помоюсь.

— Комары покусают. Вечером на речке комаров много, — сказал Куница.

— Меня комары не любят. Я костлявый! — засмеялся сосед.

Но чем ближе мы подходили к Старой крепости, тем молчаливее становился Омелюстый. На мосту он сложил вчетверо полотенце и спрятал его в карман.

Подойдя с нами к сторожке, он смело постучал в крайний ставень.

Сторож вышел из сторожки и, выставив вперед свою сучковатую палку, хмуро поглядел на нас.

— Открой-ка ворота! — сурово приказал Омелюстый.

Сторож убрал палку и попятился.

— А вы кто такие будете? — боязливо и глухо спросил он.

— Я из ревкома. Мальчиков этих помнишь? — показал на меня с Куницей Омелюстый.

— Дядя, помните, мы сюда цветы носили тому человеку... — напомнил Куница.

— Ага, ага, — закивал старик головой, — теперь признал!.. — Хромая, он подошел к нам. — Только я, товарищ начальник, ни в чем не виноватый, верное мое слово. Они мне его одежду дали, я до нее и не дотронулся. Она в башне так и осталась, — пробормотал сторож.

— Да чего ты суетишься, старый? Никто тебя не винит, — тихо ответил наш сосед. — Могила-то цела? Не разорили ее эти бандиты?

— Цела, цела, батюшка, — торопливо забормотал сторож, открывая ворота, — только я ее бурьяном забросал, а то, думаю, кто ж его знает: увидит какой петлюровец ту плиту, что тогда?

Сторож сказал правду.

Еще издали, обогнув Папскую башню, мы заметили у подножия бастиона темную кучу бурьяна. Мы с Куницей первые бросились к ней и быстро очистили могилу от кустиков колючего перекати-поля, не просохшей еще лебеды, мелкого подорожника и полыни. На желтом суглинке, посреди увядшей травы, сразу обнажилась та самая квадратная каменная плита, которую мы притащили сюда вместе с Петькой Маремухой.

Веточки жасмина уже засохли. Сторож начисто их смел.

— Здесь и закопали! — сказал Куница.

Опустив голову, Омелюстый печально смотрел на могильную плиту. Постояв так молча несколько минут, он внезапно выпрямился и тихо, сквозь зубы, сказал:

— Какого человека загубили... панские наймиты... Сколько добра он мог бы еще принести Украине!

Потом он круто повернулся к сторожу и приказал ему:

— Ты, старик, присмотришь еще немного за могилой. Мы тут памятник поставим.

Сторож молча кивнул головой.

— А вы из какой башни смотрели? — повернулся к нам Омелюстый.

— А вот из той крайней, высокой... Видите окно большое? — показал я на Папскую башню.

— Оттуда? — удивился Омелюстый. — И как только вас не заметили, прямо удивительно... Ну, ваше счастье, ребята.

— Да я уж и то, товарищ начальник, думал, как они туда забрались... Какая нечистая сила их туда понесла?

— Ладно, ладно, будет тебе, нечистая сила... — криво улыбнувшись, сказал сосед. — Пойдемте-ка домой, хлопцы, старику спать пора.

По дороге из крепости к мосту, у самого подземного хода, мы встретили часового. С винтовкой наперевес он медленно прохаживался вдоль крепостной стены.

— Что он — мост охраняет? — тихо спросил Куница у Омелюстого, когда мы прошли мимо.

— От бандитов! — ответил Омелюстый. — Ты вот спать уляжешься, а он всю ночь будет ходить здесь, чтобы в город бандиты не заскочили. Понятно?

— Понятно! — откликнулся Куница.

— А если понятно, то бегите, басурманы, домой. Вам спать пора, — сказал он и, заметив, что нам не очень-то хочется покидать его, добавил: — Ну, нечего, нечего, ступайте. Завтра выкупаетесь.

— Пойдем, Юзька! — с обидой в голосе позвал я.

Раз не хочет, чтобы мы вместе с ним купались, не надо. Мне обидно, что Омелюстый считает нас маленькими. «Спать пора!» Тоже выдумал!.. Куница, оглядываясь, пошел за мной по пятам. Белая рубашка соседа смутно маячила возле самого берега. Видно, он уже стал раздеваться.

Через неделю в Старую крепость из города с красными знаменами, с венками, обвитыми траурными лентами, пришли военные и рабочие — члены местных профсоюзов: печатники, коммунальники, железнодорожники.

Смеркалось. Погода стояла пасмурная, осенняя. Совсем непохоже было, что на дворе июль. Тучи, мрач-

ные, черные, плыли по небу на запад. Сухой холодный ветер рвал тугие полотнища знамен, поднимая с земли пыль, сухую траву.

Мы с Куницей вошли в Старую крепость последними, позади колонны.

Нашей могильной плиты уже не было. У подножия зеленого бастиона, над могилой Сергушина, подымался гладкий простой памятник из серого мрамора. Посредине памятника не очень четкими буквами была выбита надпись:

Борцу за Советскую Украину,
первому председателю
Военно-революционного трибунала
Тимофею Сергушину,
погибшему
от рук петлюровских бандитов

Памятник обнесен железной свежевыкрашенной решеткой. Около нее, нахмурившись, без фуражки, стоит курчавый Омелюстый. Он держит под руку молодую невысокую девушку в синей косыночке. Девушка плачет. Пряди ее темных каштановых волос выбились из-под косынки и падают на мокрые от слез глаза. Кто она? Сестра, знакомая или чужая, вспоминающая свое собственное горе? А может, это та самая девушка, с которой познакомился Сергушин, когда по ночам, разыскивая друзей, смело бродил по занятому врагами городу?

Среди военных, рядом с нашим квартирантом Полевым, сняв засаленную кепку, стоит мой отец. Около него выстроились в две шеренги от могилы до Папской башни рабочие — типографщики, мукомолы с мельницы Орловского, рабочие электростанции. Среди служащих городской больницы я узнал провизора Дулемберга; он облокотился на палку, седой, сухопарый.

На бастион взобрался командир Тилигуло-Березанского полка. Коренастый, в светло-зеленом казакине, он несколько минут молча стоял, держа в руках форменную фуражку с вогнутым козырьком. Потом он стал говорить. Над притихшей толпой очень ясно прозвучали его первые отрывистые, жесткие слова.

Командир говорил, что донецкий шахтер Сергушин погиб за дело Советской власти от руки петлюровцев.

Командир рассказывал, как еще при гетмане Скоропадском Сергушин из подполья вел борьбу с оккупантами Украины, собирая вокруг себя и воспитывая самых лучших людей нашего города — печатников, слесарей, мукомолов. Командир вспоминал о жертвах, принесенных рабочим классом ради счастливого будущего трудящихся. Он призывал всех отомстить за смерть Сергушина.

Порывистый северный ветер то и дело подхватывал речь командира и то заглушал отдельные слова и фразы, то, наоборот, проносил их по всему двору, над седыми обомшелыми башнями. Мы с Куницей краем уха улавливали обрывки горячей командирской речи, и все яснее в нашей памяти всплывало то недавнее солнечное утро, когда здесь, под этим вот бастионом, враги Украины расстреливали Сергушина.

Я вспоминал, как пришел он к нам тогда, зимой, в своей стеганой солдатской кацавейке, в пушистом заячьем треухе — поздний и нежданный ночной гость. Казалось, это было вчера.

И сундук, на котором он лежал в ту ночь, стоит все там же, у окна. Еще цела керосиновая лампа, при неясном мигающем свете которой он показывал мне на стене такие потешные фигурки.

Вот, как сейчас вижу, подходит к его постели тетка. Тихо шаркая войлочными туфлями, она несет нашему гостю большую кружку горячего чая, настоянного на сушеной малине. Сергушин благодарит тетку и, высунув из-под вороха одежды худую, тонкую руку, берет чашку.

Рука дрожит — вот-вот горячий чай расплещется прямо на одеяло. Наблюдая за гостем со своей постели, я про себя ругаю тетку — не могла подвинуть к сундуку стул, что ли? Но все обходится благополучно. Отпив несколько глотков, Сергушин осторожно ставит чашку на подоконник, за кружевную занавеску. Кружка дымится на подоконнике, точно непогашенная папироса.

Заметив, что я слежу за ним, Сергушин вдруг ни с того ни с сего хитро подмигивает мне. А потом на стене появляются забавные тени. Они то подпрыгивают к самому потолку, то становятся маленькими-маленькими — точно мыши.

Никогда я не забуду взгляда Сергушина — простого, веселого, чуть хитроватого...

Речи окончены. К памятнику осторожно кладут принесенные венки. Они сплошь покрыли посыпанный желтым песочком могильный бугорок. Несколько венков какая-то пожилая женщина повесила на железную ограду. Черно-красные траурные ленты развеваются на ветру.

Толпа, плотно окружавшая могилу, редеет, расступается, и теперь, украшенная венками, она становится видна отовсюду, даже от подножия Папской башни. Красноармейцы подняли винтовки. Щелкнули затворы. Кто-то из командиров подал команду. Огненные пучки пламени взлетели вверх, к сумрачному, туманному небу, гулкое эхо прокатилось по крепости и вмиг унеслось налетевшим ветром далеко-далеко, на Заречье.

От ружейных залпов и от грустной, торжественной песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой» стало еще печальнее — так, будто на землю выпал сырой, до костей пронизывающий осенний дождь.

МЕНЯ ВЫЗЫВАЮТ В ЧЕКА

Прошла неделя после открытия памятника Сергушину.

Однажды спозаранку Марья Афанасьевна разбудила меня:

— Вставай, к тебе Петька пришел!

Какая нелегкая принесла Петьку в такое время? В окна брызжет раннее солнце, оно выглядывает из-за крыши крольчатника.

Постель отца гладко застлана, на столе стоит недопитая чашка чаю. Видно, отец недавно ушел из дому.

Сонный, неумытый, я выбегаю во двор.

Петька ожидает меня у калитки. У него какой-то странный, встревоженный вид.

— Ну, чего надо? Ты бы еще ночью прилез!

— Василь, знаешь, доктора арестовали! И Григоренчиху тоже! — выпалил в ответ Маремуха.

— Когда?

— Да сегодня! Вот только-только, на рассвете. А знаешь как? Доктор услышал, что к нам стучат, прибежал к папе в одних кальсонах и давай его будить. «Спрячь меня, ради бога, спрячь!» А потом, когда увидел, что папа отворять пошел, в погреб запрятался. Не

в тот, что во дворе, а в наш маленький, который под кухней. Мама там с вечера на лесенке поставила кислое молоко, так он в темноте все крынки поколотил. А те, с винтовками, вошли, зажгли лампу, полезли за ним в погреб. Он упирался, не хотел сам вылезать. Его вытащили, будто кабана. До чего он грязный был! Кальсоны в глине, руки в простокваше, даже ухо выпачкал.

— Вещи взяли?

— Ничего! Горничная ихняя куда-то убежала — наверное, боится, что и ее арестуют. А вещи у нас остались — все чисто: и ковры, и шкафы, и кровати — все у нас. И коняка. Я ее теперь поить буду.

— И все это ваше будет, да?

— Наше? — Петька помедлил. — Нет, заберут, наверное, в клуб, что на Житомирской. Туда же все реквизированное свозят — диваны, зеркала. Там театр показывать будут и туманные картины, и все даром... А знаешь, Васька, — вдруг спохватился Маремуха, — это, наверное, мой папа все рассказал про доктора! Вчера утром к нам пришел Омелюстый. Он в дом не заходил, а попросил, чтобы я тихонько вызвал ему папу. Я вызвал, и они долго в кустах над скалой сидели, потом папа с Омелюстым куда-то пошел. А вернулся и уже больше с доктором не говорил. Вот я и думаю: папа, наверное, рассказал про него в суде, правда?

— Ребята, а где здесь Манджура живет? — послышалось в эту минуту рядом.

Я даже отпрыгнул в сторону. Около калитки стоял красноармеец — молодой веснушчатый парень. Он был подпоясан солдатским ремнем с двуглавым орлом на медной пряжке. Под мышкой у красноармейца была зажата тетрадка, а в руках он держал тоненький синий конверт.

— Папы дома нет! Он в типографии.

— В типографии? А кто же пакет примет?

— Я сейчас позову тетю. Подождите.

— Погоди! — строго окликнул меня красноармеец. — Тетю, тетю! А сам-то ты грамотный?

Я утвердительно кивнул головой.

— Сын его?

— Да.

— Ну, вот видишь, — улыбнулся красноармеец. — Распишись, только поаккуратней, — приказал он, подавая мне раскрытую книжку. — Ищи-ка тут Василия

Манджуру, а рядом крестик. Возле крестика и распишись.

— Василия? Да ведь папу зовут Мирон! — ответил я.

— Мирон?.. Мирон?.. — озабоченно протянул красноармеец, но тотчас же, тряхнув головой, решил: — Ничего, какая разница: Мирон, Василий? Это наш писарь опять напутал. Расписывайся.

Прижав к колену книжку, я написал свою фамилию. У меня дрожала рука. Второе «а» я написал косо и залез на соседнюю клетку.

Красноармеец взял обратно разносную книгу, отдал мне конверт и пошел прочь. Петька Маремуха сразу потребовал:

— А ну, покажи!

Усевшись на крылечке, мы стали разглядывать этот тоненький конверт, в который была вложена какая-то бумажка.

Она прощупывалась пальцами.

На конверте крупными буквами было написано:

«Здесь, Заречье, Крутой переулок, дом 3, Василию Мироновичу Манджуре».

— Васька, ведь это тебе письмо! Открой, — сказал Маремуха.

Петька прав! Меня зовут Василий, а по отчеству Миронович. Но ведь я ни от кого никогда не получал еще писем. Кто бы это мог писать мне?

— Нет, это, наверное, ошибка, — медленно ответил я Петьке. — Я покажу папе, пускай он разберется.

— Вот чудак! Боягуз! — еще больше засуетился Петька. — Ну, разорви конверт, что тебе стоит?

Теперь мне уже просто хотелось подразнить Петьку.

— Тебе какое дело? Мое письмо: хочу — открою, хочу — нет.

Петька обиделся.

— Я давно знаю, что ты не товарищ! — тихо протянул он.

— Я не товарищ? Да? Ну, тогда убирайся! Ищи своего Котьку! Уезжай к нему в Кременчуг! — набросился я на Маремуху.

Петька, вконец обиженный, встал, зашмыгал носом и, не сказав ни слова, поплелся к калитке.

Мне стало совестно: я ни за что ни про что обидел его. Он хороший хлопец, что ни говори! Догнать разве? Да ну, не стоит. Все равно до вечера забудется.

Но что же в конверте?

Я осторожно разорвал конверт и достал сложенную вдвое беленькую бумажку. Когда я читал ее, буквы, напечатанные на машинке, прыгали у меня перед глазами:

Гр. В. М. Манджура!

Уездная Чрезвычайная комиссия вызывает Вас на 5 августа к 10 часам утра к следователю т. Кудревич (Семинарская улица, № 2, комната 12, 2-й этаж). За неявку ответите по закону.

Комендант ЧК Остапенко.

Письмо прислано из того большого двухэтажного дома на Семинарской улице, в котором помещается Чрезвычайная комиссия. Окна нижнего этажа в этом доме затянуты решетками. В палисаднике растут высокие серебристые тополя, и тень от них по утрам падает на Семинарскую улицу. Круглые сутки вокруг этого здания ходят часовые в буденовках. Я знаю, что за железными решетками сидят, дожидаясь суда, два петлюровских министра, графиня Рогаль-Пионтковская, владелец водяной мельницы Овшия Орловский и много петлюровских офицеров. Когда ушел Петлюра, эти офицеры остались здесь, в нашем уезде, и поступили на службу украинскими попами в автокефальную церковь. Они поддерживали связь с теми бандитами, которые грабят людей на одиннадцатой версте за городом.

Но зачем я нужен Чрезвычайной комиссии? Может, хотят принять меня в юные разведчики, чтобы я помогал ловить петлюровцев по селам? А в самом деле? Приду я завтра туда, дадут мне коня и кожаное седло, дадут две бомбы, винтовку и скажут: «Поезжай!» Что, не поеду? Конечно, поеду! Не смогу разве ловить этих петлюровских офицеров? Еще как смогу! Ведь в отряде Чека есть хлопец чуть-чуть постарше меня. Он часто пролетает галопом по улицам и даже на мосту, где нельзя ездить быстро, несется как сумасшедший. Этот хлопец носит черную каракулевую кубанку с красным верхом и кожаную куртку, перепоясанную портупеями. Ему выдали маузер в деревянной кобуре, и он, пуская лошадь рысью, всегда поддерживает его рукой. Куница мне говорил, что всю семью этого мальчика порубали в Проскурове бандиты из шайки Тютюнника, только он один уцелел и убежал к большевикам.

Как мы завидуем этому мальчику, когда он, не глядя на прохожих, пришпоривая своего пятнистого коня, прижавшись грудью к луке седла, скачет по Житомирской к себе, в Чрезвычайную комиссию! Кто бы из мальчишек ни шел в эту минуту по улице, каждый обязательно остановится и долго-долго глядит ему вслед.

Все знают этого паренька у нас в городе. Вот бы мне поступить к нему в помощники! Да я бы каждого его слова слушался, лишь бы можно было мне скакать с ним вдвоем где-нибудь в поле, знать, что нас дожидаются в городе, как настоящих красноармейцев. Только вряд ли возьмут меня на такую службу. Ведь этот парень, наверное, и в боях бывал и с петлюровцами воевал — его все знают...

Мне хотелось догнать Петьку, показать ему повестку, похвастаться перед ним, трусишкой.

Или, может, побежать к Юзику? Нет, не стоит. Потерплю лучше до завтра, а потом расскажу все.

Как медленно тянется время!

К счастью, я вспомнил, что Кожухарь как-то просил меня поискать японские патроны. У его приятеля в штабе полка есть большой, разламывающийся надвое револьвер — «смит-вессон». А к этому «смит-вессону» очень хорошо подходят японские винтовочные патроны.

— Вот разыщи — постреляем! — пообещал Кожухарь.

Надо поискать. Ведь у меня где-то на чердаке запрятана обойма этих японских патронов. Их было пять штук — продолговатых блестящих патронов из красной меди, с тоненькими пульками и плоскими аккуратными капсюлями.

Где только они?

Я полез на чердак и долго искал там патроны в душном, пыльном полумраке. Но обойма где-то затерялась. Я так и не смог ее найти, и это было очень жалко. Потом я долго кормил заячьей капустой крольчиху, потом побежал на огород поглядеть, как дозревают тяжелые, сочные помидоры. До самого вечера я никак не мог найти себе места. Хотелось, чтобы поскорее проходило время.

Вечером из типографии пришел отец. Я сразу бросился к нему и, протягивая повестку, сказал:

— Посмотри, тато, что мне прислали!

Он осторожно поднес ее к глазам и стал читать. Я, выжидая, смотрел на отца. Отец был в черной нанковой блузе, от него пахло типографской краской.

— Ну что ж, — отдавая мне повестку, сказал отец, — иди, если зовут.

Потом, немного помолчав, отец улыбнулся и добавил:

— Это тебя Омелюстый все сватает.

— Куда сватает, папа?

— Вот погоди, все узнаешь! — загадочно улыбнулся отец, подходя к умывальнику. — А самое главное — не бойся, говори только правду. Там справедливые люди работают. Товарища Дзержинского ученики.

Слова отца меня немного успокоили. Но все равно время тянулось очень медленно. Лег спать я с петухами, но заснуть долго не мог. Я прислушивался к ровному, спокойному храпу отца и все обдумывал его слова. Куда же меня сватает Омелюстый? Зачем меня вызывают на Семинарскую? Кто такой этот Кудревич, который будет меня завтра допрашивать?

Утром я сорвался с постели первым. Отец и тетка еще спали. Тихонько я выбежал во двор и, ополоснув холодной водой лицо, вышел на улицу.

Дорогой я ощупывал запрятанную в карман повестку. На улице было тихо и прохладно. Над забором, увитым «кручеными панычáми», жужжали мухи. Который теперь час? Кто его знает: быть может, шесть, а быть может, девять. Летом солнце всходит очень рано, и доверять ему опасно.

На крепостном мосту ходил часовой. С винтовкой в руках, в шинели, он медленно прохаживался вдоль перил. Он еще охранял город от бандитов. А вдруг в самом деле когда-нибудь бандиты попытаются ворваться в город?

Ведь они прячутся недалеко отсюда — в соседних лесах, но особенно их много на одиннадцатой версте. В этом месте Калиновское шоссе окружено густым, дремучим лесом с глухими оврагами и лощинами. Этими оврагами бандиты часто подкрадываются до самого шоссе и грабят проезжих крестьян, убивают коммунистов и даже нападают на красноармейцев. Они могут в любую ночь обогнуть город со стороны крепости и, убив часового, ворваться в центр. Недаром каждую ночь ревком и комитеты бедноты снаряжают дежурства

жителей. Жителям выдают в ревкоме винтовки и патроны, они ходят с ними по улицам города.

На зелёном заборе высшеначального училища развешаны кожаные седла. Дощатые ворота училища распахнуты. Во дворе дымится походная кухня. Под самым крыльцом на траве сохнет белье. На Губернаторской площади пусто. Напротив губернаторского дома виднеется убранный еловыми ветвями деревянный помост. С этого помоста во время революционных митингов говорят речи.

Минуя Губернаторскую площадь, узеньким проулочком я подошел к типографии. Она была еще закрыта. На ступеньках крыльца сидел сторож. Часовые стрелки на ратуше показывали половину восьмого. Мне оставалось ждать еще два с половиной часа. «Пойти разве домой? Нет, домой все равно не пойду», — решил я и медленно, не спеша, пошел дальше по Тернопольскому спуску, на Новый бульвар. Навстречу все чаще и чаще стали попадаться одинокие прохожие. Проехала телега с пятью красноармейцами. В руках они держали ружья. Обгоняя телегу, галопом проскакал всадник, одетый в черное, с полевым биноклем на груди.

Как мне хотелось повстречать сейчас кого-нибудь из знакомых хлопцев! Если бы они только знали, куда я шел! Я бы, пожалуй, показал им синий конверт или краешек повестки, где на машинке напечатана моя фамилия. Но, как на грех, никого из знакомых не было видно.

Чтобы побыстрее шло время, я останавливался перед каждым магазином, разглядывал восковые женские головы в парикмахерской Мрочко, выцветшие портреты в фотографии Токарева, вязаные жакеты за окнами магазина Самуила Фишмана на Ларинке.

Потом свернул на бульвар.

Здесь, в аллеях Нового бульвара, совсем прохладно. Где-то вверху, в кленовой листве, щебечут птицы, воздух чистый, дышать легко и приятно. Вон под кустами местечко, где мы отдыхали тогда, ночью, после налета на григоренковский дом. Ведь это было совсем недавно, а уж все позабылось, и кажется, с той ночи добрый год прошел.

Долго я еще слонялся по тенистым аллеям Нового бульвара, а потом свернул на самую крайнюю тропинку над скалой. С этой тропинки хорошо видна поднимаю-

щаяся над крышами серая вышка ратуши, а на ней — позолоченный циферблат городских часов.

Слышно, как отбивают они — глухо, протяжно — сперва четверти, а потом целые часы.

Когда большая часовая стрелка подползла к половине десятого, я еще раз ощупал повестку и смело пошел вверх, к Семинарской улице. Но странное дело: с каждым шагом я волновался все больше и больше.

Хоть и стыдно сознаться в этом, но я чего-то побаивался. Будь бы еще кто-нибудь со мной — Куница, Сашка Бобырь или хоть Петька Маремуха, — да я сам первый потащил бы их вперед. А одному было страшновато.

Сквозь деревья на углу Семинарской уже забелело здание Чрезвычайной комиссии. Я быстро перебежал улицу и, поравнявшись с часовым, молча протянул ему повестку.

— Зайди в здание. Вторая дверь наверху, — спокойно сказал часовой.

В просторном вестибюле, у коричневой доски с дверными ключами, сидели красноармейцы. Они сразу, как только я вошел, обернулись в мою сторону.

— Где... здесь... комната... двенадцать? — запинаясь, спросил я. И в эту минуту среди красноармейцев я узнал посыльного — молодого веснушчатого парня, который приносил мне вчера письмо. Он тоже узнал меня, улыбнулся и вышел навстречу.

— Пришел, говоришь? Дай-ка повестку, так уж и быть — проведу по знакомству. Тебе в двенадцатую?

Я подал ему измятый конверт и попробовал тоже улыбнуться, но улыбка у меня получилась кривая.

Прочитав повестку, посыльный сказал:

— Пойдем, парень!

Проводив меня на второй этаж, он сказал, показывая на скамью у дверей какой-то комнаты:

— Сиди тут и дожидайся! Вызовут!

После его ухода я заметил, что в конце этой удобной, с выгнутой спинкой, лакированной скамьи сидел еще какой-то хлопец. Я обернулся к нему и едва не закричал от радости.

— Юзик, и тебя вызвали?

Мне сразу стало веселее.

— Вызвали! — смущенно протянул Куница. — А зачем — не знаю.

— А я тоже не знаю! — едва успел сказать я, как

открылась обитая клеенкой дверь двенадцатой комнаты и на пороге появилась девушка в высоких зашнурованных ботинках. Где-то я ее уже видел.

— Заходите, ребята! — пригласила она.

— Мне... к Кудревич! — опешив, сказал я.

— Знаю. Кудревич — это я! — чуть улыбнувшись, объявила девушка. — Проходите быстрей да усаживайтесь!

Очень светлая, продолговатая комната. Три окна ее выходят прямо на Семинарскую. Сквозь стекла видны верхушки серебристых тополей, растущих перед зданием в палисаднике. Около самой двери на стене висит большая карта, а сбоку стоит шкаф. Видно, эта девушка — большой начальник, раз у нее есть в этом доме своя отдельная комната, почти такая же, как кабинет директора гимназии Прокоповича.

Мы осторожно уселись на стулья у затянутого зеленым сукном письменного стола.

Стол совсем чистый, будто только что купленный, — ни одной бумажки на нем не видно.

— Ну, как живете, ребята? — спросила девушка и, шумно придвинув к себе кресло, села за письменный стол, наискосок от нас.

Она немного скуластая, но красивая. Смуглый румянец заливает ее щеки. Глаза у нее карие, спокойные, ровно подстриженные каштановые волосы заложены за уши. А уши маленькие, розовые. Они совсем не оттопыриваются, как, например, у Куницы. Лицо у Кудревич доброе, веселое.

Не ее ли это держал под руку Омелюстый у могилы Сергушина?

— Ну, что же вы, рассказывайте, — продолжала девушка. — Что у вас тут в городе творилось, когда наших не было?

— Да мы... уходили из города... — медленно, запинаясь, ответил Куница.

— Куда?

— А в Нагоряны!

— Это возле Думанова?

— Ага!

— Долго вы там были?

— Да нет, недолго, дня два, — помог я Кунице.

— А остальное время жили в городе, так? — спросила Кудревич.

— Остальное время жили в городе, — повторил ее слова Куница.

— Гуляли по городу, дрались, в крепость ходили, правда? — прищурив глаза, спросила девушка.

— В крепость ходили! — согласился Куница. — Пришли, а там человека того петлюровцы убивали.

— Какого человека?

— Ну... какого! — вдруг заволновался Куница. — Вы будто не знаете. А того, что доктор Григоренко выдал петлюровцам, Сергушина. Ему ж памятник в крепости поставили. То мы могилу его показали. Вы Омелюстого знаете? Вот спросите у него. Да, да, вы знаете... — вдруг смешался Куница, заметив, что девушка улыбнулась. — А зачем вы тогда спрашиваете? — протянул он обидчиво и замолк.

— Да, я все знаю, — спокойно и уже не улыбаясь ответила Кудревич. — Ну, вот что. Я сейчас при вас поговорю с одним типом, а вы послушайте...

Кудревич поднялась и сразу ушла, но не успели мы перекинуться друг с другом парой слов, как она возвратилась вдвоем с доктором Григоренко. Искоса глянув на нас, доктор присел на стул напротив следователя. Он держится так, будто ему совсем безразлично, о чем будет спрашивать Кудревич. Григоренко оброс бородой. У него мешки под глазами. Пояска на рубашке нет, и коричневые его туфли не зашнурованы.

— Я возвращаюсь к старому вопросу, — доставая из стола папку с бумагами, сказала Кудревич. — Я думаю, что вы наконец расскажете, каким образом, выдав этим наймитам Антанты Сергушина, вы стали свидетелем и участником его расстрела?

— Я никого не выдавал... И свидетелем не был... Это клевета... Чистая клевета... — пробормотал доктор.

— Скажите, — не слушая Григоренко, снова спросила Кудревич, — вы, должно быть, хорошо знакомы с Гржибовским? Приятели с ним, так? Чем вы объясните, что он обратился за помощью именно к вам?

— Какой Гржибовский? Какая крепость? Что вы, барышня, в самом деле, выдумываете? — сказал доктор, чуть приподнимаясь со стула.

— А кстати, доктор, я про крепость вас сейчас совсем и не спрашиваю! — улыбнулась Кудревич.

— Да, конечно, сейчас не спрашиваете, зато раньше спрашивали! — быстро вывернулся доктор.

— Значит, в крепости вы тоже не были?

— Да господь с вами, какая крепость? Конечно, не был. Я живу на другом краю города, мало мне дела, чтобы в крепость ходить, — шевеля усами, ответил доктор.

— Как же вы, дядя, не были, когда туда на своей коняке приезжали? И землю щупали, — неожиданно вмешался в разговор Куница.

Доктор хмуро, с презрением глянул на Куницу и отвернулся к следователю.

— Погоди, паренек! — остановила Куницу Кудревич и снова посмотрела на доктора.

— Значит, вы и сегодня утверждаете, что никогда ни с кем в Старой крепости не бывали и с Марком Степановичем Гржибовским незнакомы? Так я вас понимаю?

— Так! — облегченно вздохнул доктор.

— Ну, хорошо, — согласилась Кудревич и захлопнула папку с бумагами.

Доктор вынул из кармана грязный, измятый платок и вытер им свои жесткие усы. А Кудревич, выйдя из-за стола, быстрыми шагами, чуть покачиваясь на высоких каблуках, подошла к шкафу. Она приподнялась на носках и, открыв шкаф, достала с верхней полки завернутый в газету сверток.

Она подошла к доктору и развернула перед ним на столе этот тючок.

Да ведь это одежда убитого Сергушина!

— Эта вещь вам тоже незнакома? — спросила Кудревич доктора, вешая на спинке свободного стула выпачканную известкой зеленую рубашку Сергушина.

— Незнакома, а что? — встрепенулся Григоренко.

— Да нет, я просто так спросила! — снова усаживаясь в кресло, сказала Кудревич, внимательно рассматривая доктора.

Он ерзал на стуле.

— Послушайте, мадемуазель, я вам уже однажды говорил, и сейчас повторяю, — неожиданно скороговоркой забормотал доктор, — я никогда в жизни не уважал Петлюру, я всегда говорил, что это выскочка, авантюрист и мошенник.

— Да оставьте, — перебила его Кудревич. — Сейчас вы его называете аванюристом, а когда он был в городе, вы приютили у себя офицеров из его булавной сотни —

Догу и Кривенюка? А какую речь вы произнесли о петлюровской директории, когда город заняли петлюровцы? Помните? А кто адрес Петлюре подносил на Губернаторской площади во время молебна? А сейчас вы мне объясняете, кто такой Петлюра? Да мы и без вас знаем, кто он. Такой же наемник мировой буржуазии и Пилсудского, как все эти коновальцы, огиенки и прочая националистическая шваль. Служат тому, кто больше заплатит. Расскажи-ка ты, паренек, как было дело, — внезапно обратилась ко мне Кудревич.

Я оторопел и сперва не мог связать двух слов. Но потом, сбиваясь и путая слова, я стал рассказывать, как петлюровцы убивали Сергушина. Я заодно передал Кудревич и Петькин рассказ о том, что доктор Григоренко повстречал Сергушина во флигеле сапожника Маремухи.

Кудревич кивнула головой. Видно было, что все это она и без нас хорошо знала и что лишний раз слушала мой рассказ только затем, чтобы заставить сознаться доктора.

А Григоренко, когда я говорил, все ерзал на стуле и глухо покашливал, точно напугать меня хотел, чтобы я всего не рассказывал.

— А после того как они выстрелили, доктор того человека ощупал и руки платочком вытер! — помог мне Куница.

— Да что ты брешешь, босяк! — неожиданно вскочил доктор, но тотчас же, спохватившись, снова грузно опустился на стул. — Вы издеваетесь надо мной, мадемуазель! Я Львовский университет кончил, я — доктор медицины, а вы мне здесь очные ставки со всякой босотой устраиваете! Да это выродки — мало ли кто вам что наговорит. Я не был...

— Сами вы выродок... и... брехун! — вдруг, блеснув глазами, зло перебил доктора Куница, но Кудревич в ту же минуту осадила его.

— Тише! — сказала она. — Нужно будет — спрошу.

— Я и говорю... Дайте им волю — они и про вас наговорят, — обрадовался доктор. — А я вам сейчас объясню, почему они про меня выдумывают. У меня сад есть. Знаете... груши, яблоки всякие. Как осень — прямо мука одна, только и гляди, как бы не пообрывали. И все такие шаромыжники, а я им пощады не даю. Как поймаю, сразу — к родителям! Ну, а они, конечно, злятся

на меня. Да вы их побольше еще соберите, они могут вам сказать, что я вор, разбойник...

— Погодите! — оборвала доктора Кудревич и крикнула: — Товарищ Довгалюк!

Из коридора в комнату вошел красноармеец с винтовкой.

— Внизу, в свидетельской, дожидается гражданин Блажко. Приведите его сюда! — попросила часового девушка.

Красноармеец, стукнув прикладом, ушел.

— А вы, ребята, свободны, — сказала нам Кудревич. — Давайте ваши повестки, я отмечу.

Уже внизу, у выхода, мы столкнулись со сторожем Старой крепости. Вон оно что! Так это и есть Блажко. Он держал в руках такую же, как и наши, повестку и, прихрамывая, шел нам навстречу. Сторож нас не узнал.

На улице Куница возмущенно сказал:

— Ты смотри, ты смотри, как отпирается!

— А ты ему хорошо сказал, что он брехун.

Мы вошли на Новый бульвар с чувством большого облегчения, чуть усталые и взволнованные. Вокруг хорошо пели птицы. То здесь, то там на утоптанных глинистых аллеях искрились желтые пятна солнца. Спешили куда-то по своим делам суетливые прохожие. Мы побрели вслед за ними.

Сегодня с самого утра льет проливной дождь. Струи дождя стучат по железной крыше. Вода гремит в водосточных трубах и разливается по всему двору мутными, пенящимися лужами. По окнам, извиваясь, бегут прозрачные струйки. В комнатах так темно, будто наступил вечер.

В эту пору со двора ко мне на кухню вдруг ввалился Куница — весь мокрый, блестящий от дождя.

— Васька, я уезжаю!

Я изумленно уставился на Куницу.

— Куда?

— В Киев! К дядьке! На, читай!

И с этими словами Куница протянул мне влажное, слегка помятое письмо. Пишет его дядя — тот самый, о котором не раз рассказывал мне Куница. Он плавает старшим механиком на днепровском пароходе «Дельфин». Дядя зовет Куницу к себе в Киев. Он обещает

устроить его в школу моряков. Пока я, усевшись на топчане, читал письмо, Куница ждал. В мокрых его волосах блестели, как росинки, крупные капли воды. Тонкие струйки ее стекали по щекам Куницы.

— Когда едешь?

— Послезавтра. Мама уже пирожки печет на дорогу! — усаживаясь около меня, с гордостью говорит он.

Осторожно смахнув с письма дождевую каплю, Куница спрятал письмо в карман штанов. Я следил за его движениями, и мне стало почему-то очень грустно. Вот Куница уедет в большой город, а мы с Петькой Маремухой останемся здесь одни. Распалась наша компания. Вдвоем уже будет не то. Разве Петька сможет заменить Куницу? Никогда. С ним даже в Старую крепость — и то не полезешь... Эх, жалко, что Куница уезжает.

А он, точно угадывая мои мысли, сказал:

— Вот я выучусь в морской школе на капитана, тогда приезжай ко мне, я тебя бесплатно на пароходе покатаю!

— Да, покатаешь... Когда это еще будет... — с горечью ответил я.

— Когда? Ну, когда... Очень скоро... — утешил меня Куница, но говорил он это неуверенно. Видно, он чувствовал, что расстается со мной надолго.

Дождь как будто перестает... Проясняется.

Юзик подошел к окну. Он провел пальцем по заплывшему стеклу и, не глядя на меня, сказал:

— А хочешь, попрошу дядю, он тебя устроит в школу. Поедешь в Киев, будем жить вместе...

— Да, устроит... Он меня и не знает...

— Ничего... Устроит... — так же нерешительно протянул Куница.

Теперь мне стало совсем ясно, что он сам не верит своим обещаниям.

— Васька, хочешь, я тебе турманов своих подарю? Банточных! — вдруг предложил Куница. — Они хорошие, ты не думай, они тебе таких молодых еще выведут!

— Подари!

— Конечно! Ты будешь Петькиных голубей подманивать. Приходи завтра после обеда...

— Приду, только смотри — никому не отдавай.

— Ну что ты! — возмутился Куница. — А писать мне будешь? Я тебе оставлю дядькин адрес.

Я записал новый, киевский, адрес Юзика, и мы расстались с ним до завтра.

Наступил день отъезда Куницы. Вечером вместе с Маремухой мы отправляемся к Юзику домой.

У ворот усадьбы Стародомских топчется запряженная в линейку их тощая лошадь. Чтобы отвезти Юзика к поезду, его отец снял с линейки черный фургон — собачью тюрьму.

— Давай, тато, скорей. Опоздаем, — раздался за воротами голос Куницы, и он выбежал на улицу.

Куница одет по-праздничному. На нем голубая шелковая рубашка, сшитая из куска скаутского знамени — из того самого куска, который достался ему по жребию. Ворот рубахи наглухо застегнут; новенькие перламутровые пуговки так и переливаются на голубом шелку. На Кунице какие-то особенные серые брюки, чуть ли не из настоящей шерсти, на ногах деревянные сандалии. Я никогда не видел Юзика таким нарядным, гладко причесанным. Ишь нарядился, прямо франт!

— Ну вот... сейчас поедем, — увидев нас, тихо сказал Куница. Видно, ему было не по себе в этом наряде — он стыдился и своей новой рубашки и новых штанов.

— Это все твои вещи? — спросил Маремуха, показывая на маленькую плетеную корзинку.

— Ага, мои! Тут белье, пирожки... — устанавливая корзинку на линейке, сказал Юзик.

Вышел кривоногий Стародомский с кнутом в руках.

— Тато, можно, чтобы хлопцы тоже с нами поехали? — попросил Куница. — Они пришли провожать меня.

— Ладно, садитесь, — разрешил Стародомский. И, пока он расправлял поводья, мы уселись на линейку.

— А твоя мама не поедет? — шепнул Маремуха.

— У мамы ноги опухли, ревматизм, — сказал Куница.

Линейка трогается.

Мы едем к вокзалу. Тощая лошадка хорошо бежит. Линейка так дребезжит и подпрыгивает на камнях, что нам трудно разговаривать. Лишь за городом, выехав на мягкую и ровную проселочную дорогу, мы заговорили, и Куница напомнил мне:

— Так, гляди же, пиши!

— А к нам сегодня Григоренчиха с Котькой за ве-

щами прибежала. Ее выпустили, а доктор сидит! А может, его уже расстреляли? — прошептал Маремуха, поглядывая на Куницыного отца.

— С Котькой? А откуда взялся Котька? — насторожился Куница.

— Из Кременчуга приехал. Наверное, горничная ему написала про все, вот он и вернулся, — объяснил Маремуха.

— И у вас живет, да? — насупившись, спросил Куница.

— Нет, что ты! Он не у нас. Он у Прокоповича живет, у директора. Прокопович их взял к себе на квартиру, — ответил Петька.

— Вы смотрите, не поддавайтесь Котьке! — сказал Куница. — Он сейчас подмазываться к вам будет.

Но вот показался вокзал.

Нам уже виден хвост поезда, который повезет Куницу в Киев.

Эх, счастливый Юзька, уезжает! Хорошо, наверное, жить в Киеве! Ведь Киев большой, красивый город, в нем много трамваев и совсем рядом протекает Днепр. Я бы с удовольствием поехал с Куницей вместе.

У железной ограды вокзального палисадника Стародомский осадил лошадь и, соскочив с облучка, привязал поводья к стволу клена. Через маленький грязный зал мы вышли на перрон. Посадка уже началась. В окнах вагонов видны люди.

— Давай-ка сюда, Юзьку! — показал Стародомский сыну на предпоследний вагон, в котором было не так много народу. — Этот до самого Киева пойдет? — на всякий случай спросил он у стоящего в тамбуре красноармейца.

— До Киева, отец, до Киева, — ответил красноармеец, поправляя пояс.

— А ты, служивый, в самый Киев едешь? — осторожно спросил у красноармейца Стародомский.

— Я дальше, в Брянск. В Киеве у меня только пересадка, — охотно объяснил красноармеец.

— Сделай такую милость, присмотри по дороге за моим сынком! — попросил Стародомский. — Он у меня в первый раз по железной колее едет.

— Ладно, не пропадет. У меня рядом полка свободная, — сказал красноармеец.

И вот Куница в вагоне. Через окно видно, как бе-

леет на верхней полке его корзинка. Он расстегнул воротник рубашки и высунулся к нам из окна вагона. А мы стоим на перроне рядом с низеньким отцом Куницы. Тяжело бывает провожать знакомых, видеть перед собой мелькающие вагоны отходящего поезда, еще тяжелее провожать друга, товарища, с которым прожито столько веселых и тревожных дней...

А когда загудел в последний раз паровоз и поезд тронулся, я, глядя на уходящие вагоны, почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Квадратик последнего вагона становится все меньше и меньше, стихает далекий стук колес, расходятся с перрона люди, и вскоре пассажирский поезд, увозящий Куницу, исчезает за поворотом в желтеющем широком поле.

ОДИННАДЦАТАЯ ВЕРСТА

На другой день после отъезда Куницы Маремуха принес мне лобзик. Еще вчера я просил его об этом. Я хотел лобзиком пропилить дырку в стенке крольчатника, чтобы устроить там турманам настоящую голубятню. Я уже и досок припас для нее и гвоздей. Прежде чем приняться за работу, я предложил Петьке поесть вместе со мной. Тетка ушла на речку полоскать белье и оставила мне в глиняной миске гречневой каши с молоком.

Вооружившись деревянными ложками, мы с Петькой сели за стол и принялись за кашу. В это время из своей комнатки к нам на кухню вышел Полевой.

— Тише! Ложки поломаете! — засмеялся он, остановившись у порога.

Петька Маремуха сразу присмирел и отложил ложку.

— Слушайте, молодцы, кто из вас знает дорогу в Нагоряны? — вдруг спросил нас Полевой.

— Я знаю. А что?

— Хорошо знаешь? — пытливо посмотрел на меня Нестор Варнаевич. Широкоплечий, лохматый, он стоял в дверях, загородив собой весь проход. Ворот его гимнастерки был расстегнут, на груди алели три остроконечные красные полоски — их звали «разговорами».

— А как же? Хорошо знаю! У меня там дядька живет, — сказал я, предчувствуя какое-то интересное дело.

— Мне надо за фуражом съездить, — медленно объяснил Полевой. — Хочешь прокатиться со мной?

Еще бы! Как не хотеть! Но я спокойно, безразличным тоном ответил:

— Верхом поедем или как?

— Нет. На бричке. Наши лошади останутся здесь.

— А Петьке можно? — показал я на Маремуху.

Он, бедняга, жалобно, с тоской смотрел на Полевого. А тот, поглядев на Маремуху, сказал:

— Ну что ж, хорошо, езжайте вдвоем!

Петька чуть не подпрыгнул от радости. Подумать только, какое счастье: проехать столько верст на казенных лошадях, да еще вместе с красноармейским командиром!

И вот после обеда мы прибежали к Полевому в епархиальное училище.

У бревенчатой конюшни во дворе училища мы увидели запряженную парой сытых лошадей желтую полковую бричку. Полевой стоял у входа в конюшню. Он внимательно следил, как маленький белобрысый красноармеец запрягал лошадей в забрызганную грязью подводу. На плечах у Полевого была длиннополая кавалерийская шинель, а на голове — барашковая с малиновым верхом кубанка. Увидев нас, Полевой строго спросил:

— Не оделись почему?

— Так сегодня же не холодно, дядя Полевой! — удивленно ответил я.

— Да, не холодно. Ночью в поле очень холодно. Бегите-ка домой и возьмите пальто. Только побыстрей — одна нога здесь, другая там!

Что делать? Ведь бричку уже запрягли. Пока мы добежим до Успенской церкви, ездовой приготовит и подводу. Разве станут они дожидаться нас? Возьмут и покатят сами в Нагоряны. Нет, бежать домой за пальто никак нельзя.

— Нестор Варнаевич, у нас нет пальто! Мы так поедем! И не простудимся, честное слово, не простудимся! — сказал я:

— Ах вы лентяи, лентяи, — покачал головой наш квартирант. — Неохота бежать? Правда? Ну, ладно! — и, запахнув шинель, он ушел в конюшню. Немного погодя он вынес оттуда потрепанную и обсыпанную трухой кавказскую бурку с приподнятыми плечами.

— Это моя собственная, старинная, — сказал Полевой. — Ездила когда-то со мной в обозе. Я уж не думал, что будет нужна, а сейчас пригодится. Ею еще пять таких мальцов, как вы, закутать можно. Ну, залезайте в бричку, живо.

Я уселся рядом с Полевым, а Петька полез на облучок к Кожухарю. Свернутая черная бурка лежала у ног Полевого. От нее пахло лошадиным потом. Полевой уложил на бурку две винтовки с ремнями и несколько обойм русских патронов с белыми острыми пулями.

— Поехали! — приказал он Кожухарю.

Тот подобрал вожжи и чмокнул губами; лошади тронулись, и мы выехали со двора епархиального училища прямо на Успенский спуск. Дорога предстоит немалая, ехать будет хорошо. Бричка весело подпрыгивает по булыжникам мостовой. Низенькие пожелтевшие липы, пестро размалеванные вывески парикмахерских, деревянные будочки медников, жестянщиков мелькают по обеим сторонам дороги.

Вот мы проехали дворик Стародомских. Как жалко, что Куница уехал в Киев. Подождал бы еще денька два — мы бы и его захватили сегодня в Нагоряны.

Мимо нас в новых буденовках проходит рота курсантов военно-политических курсов. Ротой командует пожилой сутулый командир в темно-коричневой гимнастерке.

Курсанты поют:

Гей, нумо, хлопці, ви комсомольці,
Треба нам в спілку єднаться!
Пану гладкому, богу старому
Годі вже нам покоряться!

Я знаю эту песню. Ее всегда поют комсомольцы.

Мы проезжаем Успенский базар. Дощатые, крытые жестью рундуки закрыты на тяжелые засовы. Мальчишки с удивлением поглядывают на нас. Как мы гордимся тем, что едем на полковой бричке вместе с командиром Полевым! Смотрите, смотрите! А вот вас не возьмут на бричку, как бы вы ни просились!

Бричка взбирается на гору. Мы выезжаем на Житомирскую улицу. Вдоль нее тянутся рядами молодые акации, каштановые деревья и высокие грабы. А вот и усадьба доктора Григоренко! Над резными дубовы-

ми дверями докторского дома колышется белый флаг с красным крестом посредине. Теперь здесь помещается дивизионный лазарет. На столбе у ворот можно заметить светленькое пятно: оно напоминает прохожим, что когда-то здесь висела медная дощечка с фамилией Котькиного отца.

Бричка въезжает на Тюремную улицу. Влево от нас белеет тюрьма. Перед нашими глазами расстилается широкое поле с уходящим к горизонту Калиновским трактом. Мы уже за городом. Где-то за высокими подсолнухами кричит «пить-пилить» запоздалый перепел. Пахнет чабрецом, мятой и полынью.

Полевой закуривает трубку. Синий дымок вьется над бричкой и сразу же уносится вольным полевым ветром.

До нагорянского кладбища оставалось совсем немного — каких-нибудь полверсты, как вдруг у нашей брички лопнула задняя ось. Полевой спрыгнул на землю. Он осмотрел лопнувшую ось и, крякнув с досады, достал из брички свою шинель, винтовки, патроны, черную бурку и бросил их на траву.

— Вот петрушка приключилась, будь ты неладна! — с сердцем произнес Кожухарь.

Подвода, которая ехала сзади, догнала нас. Белобрысый красноармеец спрыгнул с облучка и подошел к Кожухарю. Вдвоем они ощупывают ось, советуются.

Из села нам навстречу идет сутулый крестьянин в коричневой свитке. Поравнявшись с нами, он снимает шапку и кланяется.

— Добрый день!

— Здравствуй, папаша, — ответил Нестор Варнаевич. — Скажи, где тут кузница?

— Кузня? А вот, за церквою, на горбку!

— А Манджура в селе сейчас? Вы его знаете? — спросил я у старика.

— Авксентий? В сели, в сели. Вин у нас голова сильрады!

— Кто, кто? — заинтересовался Полевой. — Манджура? Он что, председатель сельсовета?

— Эгеж! — подтвердил крестьянин.

— Твой дядя? — тихо спросил у меня Полевой.

Я кивнул головой.

— Хорошо я, значит, сделал, что взял тебя, — улыбнулся Полевой. — Давай тогда искать твоего

дядьку. — И, подойдя к Кожухарю, Нестор Варнаевич приказал: — Вот тебе, Петро, винтовка, патроны. Езжай полегонечку к кузнице. Как-нибудь дотащишься. А потом шпарь в город один — мы на подводе доедем... Ну, садитесь, ребята.

Миновав кладбище, мы заезжаем прямо во двор к Авксентию. Дядьки нет дома, и Оська мчится за ним в сельсовет.

Авксентий радостно встречает нас. Я знакомлю его с Полевым.

В хате дядька рассказывает:

— А в селе у нас новостей, новостей! Староста наш прежний, Сигорский удрал с петлюровцами, пес поганый. Мельницу водяную у помещика Тшилятковского мы отобрали. Главный мельник у нас теперь Прокоп Декалюк — вы ж его, наверное, знаете? А я, кто я — как бы вы думали? — смеется дядька. — Такая шишка, не дай бог! Я голова сельрады! Верное слово! Был сход — беднота меня и выбрала. «Ты, — говорят, — Авксентий, пострадал от петлюровцев, так будь теперь у нас за главного». Ясное дело, куркули, ой, как недовольны. Знают, лихо им в бок, что я покажу им бенефис! Они уж мне записки бросали: «Не загибай, Авксентий, — подожжем!» Так я и испугался! Одно плохо, что они с бандитами снюхались, а те немалую шкоду могут селу сделать. Их же много теперь по лесам шляется.

Тем временем жена Авксентия ставит на стол миску с зеленым борщом и каравай хлеба. За едой Нестор Варнаевич договаривается с дядькой о поставке фуража.

— К четвергу подготовлю тебе десяток возов, а сейчас дам подводу, — обещает Авксентий.

Оксана разостлала на столе вышитое полотенце. Она приносит в подоле яблоки-цыганки и высыпает их на стол. Яблоки твердые и чуть продолговатые.

— Ну как, племянничек, много ты стекол побил за это время? — спрашивает Авксентий, видя, как я уплетаю вместе с Маремухой яблоки.

— Он — герой, дорогу нам сюда показал, — хвалит меня Полевой. — Мы вот его скоро в комсомол определим, пусть только подрастет немного.

Темнеет. В горницу входит Оксана, шлепая по глиняному полу босыми ногами. Она зажигает коптилку.

— О, да мы заговорились! — сказал Полевой. — Ну, спасибо, хозяин, за яблоки да за сено. В четверг я пришлю к вам обоз. — И, встав из-за стола, он протянул руку Авксентию.

Пока мы прощались, Полевой надел шинель и туго застегнул ее на все крючки. Потом перебросил через плечо ремень своего тяжелого маузера.

На дворе уже прохладно. Хорошо, что Полевой захватил для нас бурку.

Мы еще раз попрощались с Оксаной, с Оськой и Авксентием и полезли за Полевым на самый верх подводы. Легли животами на мягкое, упругое сено и укрылись буркой. Полевой улегся рядом с нами на сено — большой, чубатый, от него здорово пахнет табаком.

Ездовой — низенький красноармеец — примостился с винтовкой в руках где-то внизу, на облучке; он почти закрыт нависающей над ним копной сухого сена. Нам видно только, как дрожат внизу туго натянутые им вожжи. Лошади, почуяв дорогу домой, упрямо мотают головами, — крепкие постромки то и дело трут их шелковистую кожу.

Мы глядим вперед на дорогу, по которой, подскакивая и качаясь, едет наша подвода.

За березовой балкой всходит луна. Чем дальше мы едем, тем сильнее ее голубоватый свет заливает окрестности.

Когда мы выезжаем с проселочной дороги на ровное шоссе, Полевой легко поворачивается на бок и вынимает из кобуры свой маузер. Щелкает предохранитель.

Вдоль шоссейной дороги тянется частый сосняк. Все реже и реже мелькают случайные просеки, полянки. Чем ближе мы подъезжаем к городу, тем гуще становится лес. Теперь плотная стена деревьев уже окружает с обеих сторон Калиновский тракт.

Вдруг, когда мы, перевалив через бугор, спускаемся вниз, из придорожной канавы, наперерез нам, выскакивают три человека.

Кто это? Неужели бандиты? Ну да, бандиты!

— Сто-ой, холер-ра!..

Это закричал бандит, изо всей силы ухватив под уздцы наших лошадей.

Испуганные кони, захрапев, подняли бандита и круто повернули в сторону.

Подвода стала поперек дороги. От неожиданного поворота я чуть не слетел вниз.

— А ну, слезай, холера тебе в живот! — скомандовал ездовому бандит, остановивший лошадей. Два других медленно, опустив револьверы, подходят к лошадям. Они, наверное, думают, что ездовой на телеге один.

— Тащи его оттуда, паскуду! — хрипло выругавшись, потребовал один из бандитов.

И в эту минуту около нас хлопнул сухой, резкий выстрел. Маремуха от испуга схватил меня обеими руками за плечи.

Выстрелил Полевой. Он чуть приподнялся над сеном. Его каракулевая кубанка слетела. Почти к глазам прижав длинный маузер, он стреляет по бандитам. Видно, как из тонкого ствола маузера вылетают остренькие лучики огня. Кто-то из бандитов, крикнув, тяжело повалился. Остальные два метнулись в сторону. Вот они с размаху, один за другим, перепрыгнули канаву и пропали в лесу. Внизу, под нами, грохнул выстрел. Это пальнул из винтовки по убегающим бандитам ездовой. Эхо прокатилось над безмолвной листвой и замерло.

Как тихо стало сразу вокруг. Слышно только, как слева от нас, в лесу, куда убежали бандиты, трещит валежник. Кажется, будто какой-то полуночный встревоженный зверь, меняя свое логово, мчится среди деревьев.

Внизу, под колесами, застонал подстреленный Полевым бандит.

— Погоди, Степан, не стреляй, — громко, но совершенно спокойно приказал ездовому Полевой. Потом с маузером в руке он спрыгнул на землю.

— Гляди по сторонам! — тихо приказал ездовому Полевой, а сам подошел к бандиту.

Нам с Петькой стало жутко оставаться на подводе.

— Слезем, а, Петька? — шепнул я Маремухе, кивая на дорогу.

Тихонько, цепляясь руками за веревку, мы спрыгнули на шоссе и подошли к Полевому. Он опустился на корточки перед подстреленным бандитом и обыскивает его. Страшно, но и мне хочется посмотреть на бандита. Пересиливая страх, я наклонился.

Бандит уже не шевелится. Его лицо залито кровью.

Левая рука запрокинута далеко назад, точно он хочет схватить камень.

Я вздрогнул... Нет... не может быть... я ошибся...

Я наклонился к бандиту совсем близко, и снова мурашки забегали у меня по коже. Бандит очень похож на Марко Гржибовского.

— Петя, это не Марко? — толкнул я под бок Маремуху.

Петька тоже наклонился к бандиту, но тотчас же отпрянул.

— Марко!.. — испуганно прошептал он и попятился от трупа.

Ну, конечно, это Марко, широколобый, курносый Марко, сын колбасника пана Гржибовского. Это его упрямый лоб, его крутая шея. Да ведь и френч-то на нем, кажется, тот самый, английского покроя, с высоким стоячим воротником, в котором мы видели Гржибовского последний раз в Нагорянах.

— Дядя Полевой! Это Марко Гржибовский! Мы его знаем! — сказал я нашему квартиранту.

Но Полевой вместо ответа строго приказал:

— А ну, пошли на сено! Без вас разберутся!

Он, видимо, не хотел, чтобы мы смотрели на убитого. Мы отошли в сторону и только было собрались лезть вверх, на сено, как в эту минуту за перевалом громко застучали колеса какой-то подводы.

Едут к нам.

А что, если это спешат на выручку приятели Марко Гржибовского? Мы с Петькой сразу запрятались в тень, под сено. Мне кажется, что лес подкрадывается к нам со всех сторон, с голенастыми своими соснами, с ветвистой ольхой, с низеньким кустарником. Лошадиный топот и дребезжание колес раздаются все громче. Внезапно из-за бугра вылетает запряженная парой коней бричка и, не доехав шагов пяти до нашей подводы, останавливается.

— Кожухарь, ты? — негромко окрикнул Полевой, подняв навстречу маузер.

— Товарищ начальник, я тебя малость не признал, — радостно откликнулся с брички Кожухарь и, спрыгнув на землю с винтовкой в руке, побежал к Полевому, но, чуть не наступив на руку Марко, отпрыгнул и растерянно протянул:

— Э-э, да у вас тут... — но не договорил. Он с

изумлением стал разглядывать освещенное луной мертвое лицо Гржибовского.

— Ладно, поехали! — коротко распорядился Полевой и спрятал маузер в деревянную кобуру.

И вот через несколько минут мы едем дальше, к городу. Мы с Петькой лежим на сене, едва дыша, не шевелясь. Я пристально вглядываюсь в лесную чащобу. Теперь мне кажется, что из-за каждого ольхового ствола выглядывает бандит. Тень деревьев хорошо скрывает бандитов, а мы, наоборот, освещены луной и видны отовсюду отлично. Зачем только ездовой так быстро гонит лошадей? Ехал бы потише! Ведь подковы так звонко цокают по камням! Стук лошадиных подков и громыхание колес разносятся эхом по всему лесу. Наверное, услышав этот грохот, приятели Марко Гржибовского— страшные, волосатые бандиты — уже подползают к дороге, чтобы отомстить нам. В руках у них бомбы, обрезы. В этом дремучем лесу они хозяева — каждая тропа им знакома...

Но вот заискрились за лесом далекие огни епархиального училища. Уже близок город. Там стоит полк Полевого, там живет мой отец. В городе горят на улицах электрические фонари, а на мосту возле крепости стоит часовой. Если бандиты погонятся за нами, он не пустит их в город. На радостях я крепко прижался к Петьке Маремухе. А хорошо ехать здесь, на сене! Теплая бурка греет нас, как одеяло. Мы все ближе подъезжаем к городу. А впереди нашей подводы, на желтой бричке, мой приятель Кожухарь везет в уездную Чрезвычайную комиссию труп Марко Гржибовского.

РАДОСТНАЯ ОСЕНЬ

Занятия в школе начинаются поздней осенью. Уже облетают с деревьев последние желтые листья. Многие зареченские хозяйки ворохами собирают их в мешки на Новом бульваре. Будет чем зимой растапливать плиту и кормить коз.

Погода стоит ровная: свежие холодные дни, небо синее, ясное, целыми днями не увидишь ни тучки, ни облачка. Воронье в эти прозрачные осенние дни стаями кружится над Старой крепостью, над пожелтевшими ее бастионами. Черноголовые снегири уже качают-

ся на ветвях рябин около доминиканского костела. Одну за другой они хватают своими крепкими толстыми клювами терпкие рябиновые ягоды. Пунцовые брюшки снегирей мелькают по садам и у нас на Заречье. Много их налетело к нам в эту осень! Скоро начнем ловить их западнями, силками, обмазанными клеем прутьями.

Над балконом нашей бывшей гимназии, за голыми ветвями каштановых деревьев, краснеет новая вывеска:

ПЕРША ТРУДОВА ШКОЛА
імені
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

С гимназией покончено навсегда! Я пришел в класс как старый знакомый: заново составляли классный журнал, и меня вместе со всеми моими товарищами вписали туда. Новостей в нашей школе уйма! Скоро, говорят, будет выбран ученический комитет.

Пани Родлевская — учительница пения — ходит по коридору скучная-скучная. Не придется уж, видно, ей, караморе, больше разучивать с нами «Ще не вмерла...». А новые наши песни петь она еще не научилась. Ее перевели в соседний класс. Говорят, что, когда ученики называют ее «товарищ учительница», она морщится так, будто ей наступили на платье. Вместо Родлевской в учителя пения нам дали Чибисова — того самого, который раньше преподавал в высшеначальном училище. Чибисов очень худой и носит дымчатые очки. Так он учитель ничего, смирный, не кричит, когда, случается, разгуляешься на его уроке, — беда вот только, что каждый день после уроков он ходит в кафедральный собор. Чибисов — регент: он командует на клиросе соборными певчими. Он весь прокоптился в церковном дыму, от него за версту, словно от попа, пахнет ладаном и палеными свечами. Учитель украинского языка Георгий Авдеевич Подуст бежал за границу вместе со своими дружками — петлюровцами.

А вот природовед Половьян доволен! Он бегает по лестницам как угорелый. Он сам снял в актовом зале портреты всех петлюровских министров, выдрал из рамок и водворил на их место под стекло старые фото-

графии своих животных и в первую очередь портрет знаменитого муравьеда.

Тощего Цузамена что-то не видать. Я слышал, он все болеет — видно, соскучился по своим немцам. А может быть, он просто боится большевиков? Но самая главная и радостная новость, особенно для нас, прежних высшеначальников, это та, что заведующим нашей трудовой школой назначен Валериан Дмитриевич Лазарев. В первый же день занятий он собрал нас в актовом зале и сказал:

— Вы не смейтесь, ребята, что я плохо говорю по-украински. Я хоть и украинец, но учился в русском университете — тогда царь не разрешал студентам заниматься на их родном украинском языке. Конечно, я кое-какие слова перезабыл. Но сейчас-то мы с вами живем в Советской Украине, где большинство населения говорит по-украински. Вот и наша советская трудовая школа будет поэтому школой украинской. И вы будете основательно учить наш родной украинский язык, чтобы знать его хорошо. Давайте, хлопчики, жить дружно, не ссориться. Война окончилась, и теперь мы сможем учиться спокойно. Наша школа названа именем великого украинского поэта Шевченко. Не забывайте никогда его мудрые, простые слова:

Учітесь, читайте:
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь...

Мы рады были услышать после долгого перерыва мягкий, спокойный голос любимого учителя, да и те, которые его увидели впервые, тоже встретили Лазарева хорошо. Он всем понравился.

В субботу, через три дня после собрания в актовом зале, мы с Петькой встретили Валериана Дмитриевича возле учительской. Я отважился и спросил:

— Валериан Дмитриевич! А когда вы нас в подземный ход поведете?

— В какой подземный ход? — удивился Лазарев.

Тут выскочил Петька Маремуха и, запинаясь, объяснил:

— А помните, Валериан Дмитриевич, вы нам обещали, еще как Петлюры не было?

— Погодите... погодите... Мы собирались пойти в подземный ход возле крепости?

— Ага, ага! — закричал Петька Маремуха.

— Ну что ж, можно и сходить.

— Правда, Валериан Дмитриевич?! — даже не поверил я сначала, а Петька Маремуха протянул:

— А как же мы туда пойдем, раз у нас фонаря нет?

Валериан Дмитриевич улыбнулся.

— Это в самом деле закавыка. Ну, хорошо, я велю Никифору раздобыть фонарь.

Пока шел последний урок, наш старый знакомый сторож Никифор разыскал на складе фонарь и налил его казенным, школьным керосином.

Не успел замолкнуть звонок, не успел природовед Половьян захлопнуть классный журнал, как я вырвался из класса в коридор.

Следом за мной пустился Петька и, позабыв, что из соседних классов еще не вышли учителя, заорал на весь этаж:

— Васька, подожди, Васька!

На полу около дверей в учительскую стоял старый, поржавевший фонарь «летучая мышь».

Я, не раздумывая долго, схватил его. Когда подбежал Маремуха, он сморщился от огорчения, но потом, поразмыслив, сказал небрежно:

— Подумаешь, надо мне руки керосином пачкать...

Из учительской, в фуражке, с клубком шпагата под мышкой, вышел Валериан Дмитриевич.

Из-под чесучовой куртки у него выглядывала вышитая украинская рубашка, а на бархатном околыше форменной фуражки виднелась дырка от вынутой кокарды.

— Уже собрались? — спросил Валериан Дмитриевич, оглядывая нас, и подал Маремухе клубок шпагата. — Неси!

Петька, гордый доверием Лазарева, быстро метнулся к лестнице.

На улице Петька посмотрел на Лазарева и спросил:

— А где ваша кокарда?

Лазарев быстро ощупал фуражку и растерянно сказал:

— Потерял!

И стал искать кокарду на земле.

Тут я заметил, что он улыбается. «Ладно, ладно, — подумал я, — не проведешь!» Маремуха тоже понял, что директор шутит, и протянул:

— Нет, в самом деле, Валериан Дмитриевич?

Лазарев улыбнулся и сказал:

— А вы дотошные. Все заметите. Ну, снял ее, не нужна больше.

— А вы ее... выкинули? — осторожно спросил Петька.

— Да нет, валяется где-то дома.

Петька помолчал, пошмыгал носом, а потом вдруг, заглядывая в глаза Лазареву, дрожащим голосом попросил:

— Подарите ее мне, Валериан Дмитриевич.

— Кокарду? А зачем она тебе?

— А так... я всякие значки собираю...

«Ну и попрошайка! — подумал я про Петьку. — И не стыдно?»

— Ну что ж, подарю, — сказал Лазарев.

— Правда? Ну, вот спасибо! — сказал Петька и расцвел весь от радости.

Через несколько минут, когда мы спускались на крепостной мост, Петька, довольный, сказал:

— А знаете, Валериан Дмитриевич, трусливые люди боятся этого подземного хода. А я — ни капельки! Мы вот ходили летом с Васькой в Нагоряны. Там есть такие здоровенные Лисьи пещеры. Мы все их облазили — и ничего!

«Ну, что ж ты врешь? — чуть не закричал я. — Ведь мы не были в самих Лисьих пещерах!».

Но Петька сам сообразил, что на радостях заврался. Он покраснел, застыдился и глянул на меня такими жалобными глазами, что мне стало жаль его.

Я решил не выдавать Петьку. «Вот хвастун! — подумал я. — Ни капельки не боится, а? Посмотрим, както ты запоешь там, в подземном ходе?»

Подземный ход начинался у обрыва, под высокой стеной.

Снаружи он был похож на самый обыкновенный вход в погреб. Куда-то вниз вели белые каменные ступеньки, наполовину засыпанные мусором и навозом. Прямо на груде мусора, посреди входа, вырос большой куст ядовитого болиголова. Оттуда, из подземного хода, донесся к нам тяжелый запах плесени, гнилого дерева.

Не сказав ни слова, Валериан Дмитриевич вынул из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и, за-

слоняя от ветра ладонью ее огонек, зажег фонарь. В фонаре вспыхнула и сразу же погасла паутина, и ровный язычок пламени, почти незаметный здесь, на улице, потянулся вверх и стал гореть спокойно, как в комнате.

— Теперь привяжи шпагат, — скомандовал Лазарев Маремухе.

Петька стал на колени и, высунув от волнения кончик языка, привязал шпагат к столбику, который торчал около самой дороги.

— Ну что ж, тронулись?

С этими словами Лазарев первый шагнул в подземный ход. Через минуту его белая спина пропала в темноте. Спускаясь по ступенькам вслед за Лазаревым, я заметил, что часовой в серой папахе машет нам на прощанье рукой. Я поднял руку, чтобы и ему помахать тоже, но тут меня подтолкнул Петька, и я очутился в темноте, едва разгоняемой светом фонаря. Не успели мы пройти несколько шагов, как подземный ход круто повернул вправо, под Старую крепость, и светлое отверстие выхода скрылось из виду.

Сколько мы шли — не знаю. Но шли долго. Нас окружали со всех сторон покрытые плесенью камни. Подземный ход был похож на узенький коридор. Идти надо было согнувшись. Я шел следом за Валерианом Дмитриевичем и почти ничего, кроме белой его спины, не видел. Где-то совсем рядом, разматывая клубок шпагата, посапывал Маремуха.

— Осторожно. А ну, посвети! — сказал Лазарев.

Я с ходу ткнулся фонарем прямо в его спину. Поднял фонарь и посветил. Сбоку, из стены, так, будто их вымыло подземной рекой, вывалились камни. Они лежали перед нами, местами пересыпанные глиной и песком. Откуда-то снизу потянуло сыростью.

— Тише, ребята! — сказал Лазарев и взял у меня фонарь.

Я сперва даже растерялся. Как же я буду теперь без фонаря? А что, если этот ход выведет нас прямо в колодец Черной башни и мы бултыхнемся в быструю подземную реку?

Но Лазарев, держа фонарь перед собой, стал смело перебираться через груду камней. Вот он перелез, остановился и посветил мне. Огонь фонаря ослепил глаза, ноги разъезжались в разные стороны, я почти ощу-

пью прошел по неровному, сыпучему грунту и остановился около Валериана Дмитриевича. Дальше мы пошли рядом. После завала ход стал шире и чище. А земля под ногами пошла тверже, словно ее нарочно утрамбовали.

Я решил, что теперь уже ничто не помешает нам двигаться вперед, как вдруг Лазарев снова остановился.

Глухая деревянная перегородка преграждала путь. Кто-то нарочно и, по-видимому, очень давно заколотил подземный ход досками. Толстые широкие доски покрылись плесенью, а сбоку, там, где они были прибиты к столбу, вырос на них целый куст поганок.

— Вот тебе и фунт изюму! — сказал Лазарев, оглядывая перегородку. Он повернулся к нам, прищурился и, хитро улыбаясь, спросил: — Повернем, значит, обратно?

— А туда? — сказал я, показывая на перегородку.

— Туда как же? Видишь, перегорожено.

Наступило молчание.

Назад идти не хотелось. Стоило спускаться сюда, чтобы, встретив на пути преграду, повернуть обратно.

Я подскочил к перегородке, просунул обе руки в щель между скользкими досками и, упираясь ногами в нижнюю доску, сильно потянул перегородку на себя. Не успел я опомниться, как лежал уже на земле. Доски от старости прогнили, и потому я совсем легко отодрал верхнюю, а нижнюю продавил в подземный ход. Ноги мои были теперь по ту сторону перегородки, а скользкая, сырая доска лежала на груди.

«А вдруг меня кто-нибудь потащит за ноги к себе с другой стороны подземного хода?» — подумал я и вскочил.

— Ты, Манджура, настоящий богатырь, — похвалил меня Лазарев.

Мы без особого труда оторвали еще одну доску и пролезли друг за другом через перегородку.

Теперь мы шли по настоящему подземелью, где, возможно, уж много лет никто не ходил.

Я шел, довольный тем, что пробил перегородку. Если бы не я, мы и в самом деле повернули бы обратно. Будет чего порассказать хлопцам в школе. Даже сам Лазарев назвал меня богатырем. А это что-нибудь да значит!

Идти было легко, приятно — под ногами лежала не

то пыль, не то труха. Ноги неслышно ступали по ней. Вдруг у меня под ногой что-то хрустнуло и зазвенело.

— Валериан... — выкрикнул я и не договорил.

Лазарев сразу же опустил фонарь, и я увидел под старой холодной стеной чьи-то кости и рядом с ними белый, уткнувшийся глазными впадинами в землю круглый череп.

— Что такое, Васька? А? — прошептал Маремуха, наваливаясь на меня сзади.

Я не ответил Маремухе. Мне стало страшно. Теперь я пожалел, что мы пошли сюда, в этот проклятый подземный ход. Он лежал, длинный и узкий этот скелет, вытянув перед собою обе руки. Между ними, точно круглый булыжник, белел череп. Лазарев смело нагнулся и поднял с земли зазвеневшую цепь. Я увидел кандалы. Белые кости руки сразу высыпались из круглых кандальных очков на землю.

— Кто это? — чужим, придавленным голосом спросил Маремуха.

— Кто это? — спокойно повторил Лазарев, позванивая кандалами и поднося их почти к самому лицу. — Трудно сказать. Можно только догадываться. Давайте подумаем...

В подземном ходе стало очень тихо.

Фонарь горел мигая. Неровные отблески прыгали по стенам. В тишине подземелья было ясно слышно дыхание каждого из нас.

— Давайте подумаем, — медленно повторил Лазарев. — Когда уманский полковник Гонта вместе с Максимом Железняком поднял против своих магнатов восстание, известное в истории под названием Колиивщины, паны подавили это восстание и стали ловить казаков Гонты. Здесь, в нашей Старой крепости, тоже сидели перед смертью пойманные панскими гайдуками казаки. Кто знает — может, этот человек и есть один из них?

Помолчав немного, Лазарев добавил:

— А возможно, этот кандальник — один из друзей славного повстанца Кармелюка. Бедняга погиб здесь не так давно. Я сужу по кандалам. Им лет полтораста, не больше. Во всяком случае, человек этот не был паном, иначе не стал бы он умирать здесь в кандалах...

Я нагнулся и только хотел тронуть череп, как Маремуха заголосил:

— Не надо, Васька, не надо!.. — и шарахнулся в сторону.

— Не надо трогать! Оставь! — строго сказал мне Лазарев.

...Я представил себе, как умирал здесь, в подземелье, этот неизвестный человек. Наверное, он долго бился своими закованными руками о перегородку и так и не мог ее разломать... Он несколько раз брел назад, к тюремному замку, затем снова поворачивал обратно, искал другого выхода из подземелья, пока наконец, обессиленный, измученный пытками, не упал навсегда на эту сырую землю.

Конечно, он приятель Кармелюка! Ведь только Кармелюк и его друзья могли решиться удрать из этой страшной крепости. Наверное, вот этот человек вместе с Кармелюком подстерегал на гористых дорогах Подолии панов, мстил им за издевательства над бедным людом. Может быть, вместе с Кармелюком этот человек скрывался в густых подольских лесах и где-либо на привале, в глухом, неизвестном панам байраке, пел вполголоса в тихую звездную ночь песню храброго Кармелюка:

Вбогі люди, вбогі люди,
Скрізь вас, люди, бачу,
Як згадаю вашу муку,
Сам не раз заплачу.

Кажуть люди, що щасливий,
Я з того сміюся,
Бо не знають, як я часом
Сльозами заллюся.

Куди піду, подивлюся, —
Скрізь богач панує,
У розкошах превеликих
І днює й ночує...

И, наверное, когда кончалась эта грустная, протяжная песня, наступал рассвет, и звезды одна за другой гасли в небе. Тогда, при отблесках потухающего костра, товарищи Кармелюка, собирая оружие и готовясь выступать, затягивали новую смелую песню:

Гайда, хлопці, гайда, хлопці,
І я буду з вами!
Нападемо ми на панство
Темными шляхами!

И, должно быть, первый, кто запевал эту песню, был сам Устим Кармелюк. Я вспомнил все то, что рассказывал нам Лазарев об Устиме Кармелюке, и увидел его в предрассветном лесу, в полумраке глухого оврага, рослого, плечистого, запахивающего коричневую чумарку из домотканого крестьянского сукна; я увидел грозное и смелое лицо его с клеймом, выжженным раскаленным железом на широком лбу. Я видел, как Устим Кармелюк, подпоясавшись, нахлобучивает папаху, берет в одну руку старинный курковый пистоль, в другую — суковатую палку и говорит своим друзьям:

— Рушаймо, хлопці! Почастуэмо панів!

...Так, думая о Кармелюке, я шел за Лазаревым дальше по подземному ходу.

Рядом посапывал напуганный Маремуха.

Я протянул руку и нащупал клубок шпагата, который он держал перед собой. Шпагата оставалось совсем мало. А что, если мы здесь заблудимся?

Я хотел попросить Валериана Дмитриевича повернуть обратно, но не решился. «Хорошо еще, что красноармеец заметил, как мы пошли сюда, — подумал я, — в случае чего — он пришлет нам на выручку своих товарищей».

— Стойте! — сказал Лазарев и поднял руку.

Размахивая фонарем, он осторожно вошел в небольшой зал. Вправо в стену уходила черная квадратная дыра, а в левом углу зала чернели две щели. Лазарев повернул налево, и когда мы с ним подошли к щелям, то увидели, что продолжение хода здесь. Правда, ход был заложен большим квадратным камнем, но Лазарев сильно надавил камень одной рукой, и эта огромная глыба гранита повернулась на железной оси и стала поперек. Теперь по обе стороны каменной двери чернели высокие и узкие щели. В каждую из них мог пролезть человек. Лазарев молча передал фонарь Петьке, а сам, опираясь руками о камень, заглянул вглубь. Петька светил фонарем.

— Предположим, что сюда идет главный ход. Ну, хорошо, а что ж это такое? — И с этими словами Лазарев подошел к маленькой квадратной дырке, что чернела в стороне под самым потолком. Мы двинулись за Валерианом Дмитриевичем, и я споткнулся о камень.

— А ну, посвети! — шепнул я Маремухе.

Маремуха вытянул руку с фонарем так, словно на земле лежал новый череп. Он успокоился, лишь хорошо разглядев, что под ногами у меня обыкновенный квадратный камень. Наверное, им-то и была заслонена черная дырка, в которую заглядывал сейчас, приподнявшись на цыпочки, Лазарев. Вдруг Лазарев просунул в дырку руку и стал один за другим отваливать камни. Тяжело ухая, камни падали на землю, и полукруглый свод подземной залы трясся при каждом таком ударе. Лазарев смело отваливал камни, и за ними открывалась черная пустота. Когда дыра стала большой и круглой, Лазарев, кивая на черную впадину, сказал:

— Сюда пойти, по-моему, интереснее. Как вы думаете, а, ребята?

Мы молчали и, по правде сказать, думали только, как бы побыстрее выбраться отсюда на волю, на солнце, на свежий осенний воздух. Не дождавшись ответа, Лазарев махнул рукой в сторону входа, загороженного камнем, добавил:

— Главный-то путь, разумеется, там. Но туда мы пойти всегда успеем. Давайте лучше заглянем в потайное отделение.

И Валериан Дмитриевич, взяв фонарь у Петьки, шагнул к выломанной в стене дыре. Мы полезли за ним.

Идти сейчас было гораздо хуже, чем раньше.

Из земли то и дело высовывались острые камни, дорога пошла в гору. Но не успели мы сделать и пятидесяти шагов, как подъем кончился, и мы стали куда-то спускаться. И чем дальше мы шли, тем круче был спуск и у́же становился подземный ход. Вдвоем тут протиснуться было невозможно. Лазарев шел впереди, позванивая кандалами и размахивая фонарем. Но потом он стал идти медленее, ощупывая стены свободной рукой. Ноги так и скользили вниз, я тоже упирался руками о скользкие стены, чтобы не подбить Лазарева. Ноги все чаще нащупывали мокрую землю. Снизу тянуло сыростью.

— Валериан Дмитриевич! Подождите! — крикнул я, и голос мой сразу же замолк в этом сыром затхлом воздухе. За шиворот капнула вода. По стенам журчали ручейки. Я уже шел по воде, и мне почудилось кваканье лягушек. Но вот откуда-то сверху повеяло свежим ветром. Я сделал несколько шагов и почувствовал, что ход

снова пошел вверх. Тут было суше. Воды как не бывало.

— Подожди, Васька! Не так быстро! — взмолился, догоняя меня, Маремуха.

— Ну, давай скорей! — цыкнул я на Петьку, и мы стали карабкаться все вверх и вверх, пока я снова не натолкнулся на Лазарева. Он стоял, согнувшись, и освещал засыпанную мелким щебнем стену. Подземный ход кончился.

— Вот закавыка. Тупик! — сказал нам озадаченный Валериан Дмитриевич.

И впрямь, было похоже, что здесь тупик, но воздух здесь был чистый, свежий.

— Подержи, Манджура, — сказал Лазарев, протягивая мне фонарь. — А ну-ка, попробуем! — И Валериан Дмитриевич изо всей силы ударил ногой в стенку.

И сразу же нога его ушла в мягкий, сыпучий грунт, а когда Лазарев вытащил ногу обратно, мы увидели круглую дыру, а за ней солнечный свет.

Руками мы быстро разгребли землю и, когда нора стала широкой, посторонились, чтобы дать дорогу Лазареву. Я вылез из подземного хода последним и сперва даже не мог сообразить, где мы находимся. Рядом с норой, окруженной кустами, поднималась высокая зубчатая стена какой-то башни. В двух шагах от башни начинался обрыв; далеко внизу, в скалистых берегах, текла блестевшая под солнцем река. И, только взглянув налево и увидев там, на холме, обращенную к нам тыльной своей стороной Старую крепость, я понял, что мы попали в предместье Татариски, версты за полторы от нашего Заречья.

— Я думал, что мы в Калиновском лесу выйдем, а тут смотри, как близенько! — с огорчением сказал Маремуха и добавил: — Надо было в тот ход идти.

— Ну, давай пойдем! — вызвался я. — Полезли назад?

— Нет, что ты! — испугался Маремуха. — Уже поздно.

И, словно побаиваясь, чтобы я не потащил его обратно в эту черную дыру, Петька отошел в сторону, к высокой сторожевой башне.

— Валериан Дмитриевич! Валериан Дмитриевич! — вдруг закричал он. — Смотрите, тут что-то написано!

— Где написано? — спросил Лазарев, подходя к Петьке.

— А вот, смотрите! — показал Петька, задирая голову вверх.

Над входом в сторожевую башню, в каменной стене, белела узенькая мраморная плиточка. На ней была высечена надпись: «Felix regnum quod tempore pacis, tractat bella».

— Это поляки написали, правда, Валериан Дмитриевич? — радостно выкрикнул Маремуха.

— Написано по-латыни, — сказал Лазарев. — Надписи этой лет двести пятьдесят. Только вот как ее перевести? Постойте... — И Лазарев зашевелил губами, шепча про себя какие-то слова.

Мы, выжидая, смотрели на него. Наконец Лазарев сказал:

— Ну вот, приблизительно здесь написано так: «Счастливо то государство, которое во время мира готовится к войне».

В эту минуту я еще больше стал уважать Лазарева. Петька Маремуха смотрел Лазареву прямо в рот. Видно, Петьке было очень приятно, что он первый заметил и показал Валериану Дмитриевичу эту беленькую плиточку. А Лазарев поглядел вокруг, подобрал с земли кандалы и сказал:

— Ну, так вот — давайте, хлопчики, по домам! Нагулялись мы с вами сегодня — пора и честь знать.

— А мы еще пойдем сюда? — спросил я.

— Обязательно! — пообещал Лазарев. — Соберем побольше охотников да в воскресенье на целый день в поход пойдем. Помните, как в крепость с вами тогда ходили?

— В высшеначальном, да? — подсказал Маремуха.

Мы проводили Лазарева до самого бульвара, там попрощались и пошли к себе на Заречье обедать. Возле Старой усадьбы мы бросили жребий, кому послезавтра нести в школу фонарь. Вышло, что фонарь понесет Маремуха.

А я, довольный сегодняшней прогулкой, побежал домой с пустыми руками.

Из Нагорян к нам в город переехал учиться Оська. Часто во время переменок мы выбегаем с ним на площадь за каштанами. Мы отыскиваем их в кучах пожелтевших листьев, набираем полные карманы — и айда

обратно, на третий этаж. Очень приятно швырять каштаны с балкона через площадь — они летят, точно пули. Петро Маремуха наловчился и добрасывает их до самого кафедрального собора, однажды даже Прокоповичу каштаном в спину угодил. Его, нашего старого бородатого директора, мы видим часто. Он пошел в попы и служит в соборе. Смешным показался он нам, когда мы увидели его в первый раз в длинной зеленой рясе, с тяжелым серебряным распятием на груди. Теперь, как только попадается Прокопович на глаза, мы поднимаем крик:

— Мухолов! Мухолов.

Позанимались мы спокойно недели три и уже не думали, что в нашу школу будут записывать еще учеников, как вдруг в классе появился Котька Григоренко.

Я даже вздрогнул, когда увидел его в дверях нашего класса. У нас начался урок. Природовед Половьян прикалывал к доске рисунки скелета мамонта. Котька осторожно, на цыпочках, чтобы не заметил Половьян, пробрался в конец класса. Он бесшумно уселся там на заднюю парту. Весь урок меня подмывало обернуться, посмотреть хоть искоса, что делает Котька, но я сдерживал себя: ведь мы же враги!

На большой перемене Котька уже освоился и чувствовал себя так, будто и не уходил отсюда на каникулы. Он вымазал мелом всю доску, рисуя на ней хату под соломенной крышей, прыгнул несколько раз через парту, выменял у Яшки Тиктора за два карандаша австрийский патрон. Со мной и Маремухой Котька не разговаривал. А на другой день к нам на парту, как только окончился третий урок, подсел конопатый Сашка Бобырь.

— Хлопцы, помогите! — прошептал он, оглядываясь на соседей.

— А что? — спросил Оська.

— Хлопцы, слушайте, — взмолился Бобырь, — у Котьки есть мой бульдог. Он принес его в класс. Я подсмотрел, он показывал Тиктору. Хлопцы, я вам за то дам дроби, у меня есть целый фунт дроби. Только помогите, хлопцы!

— А где же Котька? — спросил, вставая, Маремуха. Его глаза загорелись. Он вышел из-за парты.

— Наверх побежал, наверх! — с волнением ответил Бобырь.

Он так волновался, что даже его веснушки побагровели.

Мы нашли Котьку в конце пустого коридора третьего этажа.

Он шел из уборной к нам навстречу, заложив руки в карманы.

— Котька, послушай! — дрожащим голосом остановил его Сашка Бобырь.

— Ну? — насторожился Котька и вынул руки из карманов.

Он стоял перед нами в серой гимназической курточке, чуть нагнув вперед голову; в его недобрых блестящих глазах было опасение, тревога.

— Котька, отдай бульдог! — решительно сказал Бобырь.

— Бульдог? — встревожился Котька. — У меня его нет!

— Не обманывай, есть! — прохрипел Бобырь. — Он у тебя в кармане.

И в ту же минуту Котька прыгнул назад к окну. Наперерез ему бросился Петро и закричал:

— Хватай его за ноги!

Хорошее дело — хватай за ноги! Но ведь это не так просто, как думает Петрусь. Котька размахивает ногами так быстро и сильно, что подойти к нему невозможно. Спиной он отталкивает Маремуху, но тот крепко сжал Котькины руки и не отпускает. Григоренко кряхтит от злости, мотает головой, но вырваться не может.

— Да ну, хватай! Дай ему леща. Что вы боитесь! — подбодрил нас Петрусь.

В эту минуту мне удалось поймать Григоренко за ногу. Я крепко ухватил его за ботинок и потянул изо всей силы к себе. Бобырь поднатужился и швырнул Котьку на пол, под самую печку, к ногам Маремухи.

Теперь Григоренко нам не страшен. Сейчас мы его обыщем!

— Пустите, сам отдам, — сквозь зубы прохрипел Котька.

— Отдашь? — сидя верхом на Котькиных плечах, недоверчиво переспросил Бобырь.

— Отдам... Ей-богу, отдам, — пообещал Григоренко.

— А ну, пустите его, хлопцы! — приказал Бобырь и вскочил на ноги.

Не очень охотно мы выполнили это приказание. Помятый, взъерошенный Котька, не глядя на нас, медленно поднялся и отряхнул со штанов пыль. Потом он полез в карман и неторопливо вытащил никелированный бульдог. Это был очень хороший бульдог — новенький, блестящий: видно, из него стреляли очень мало.

Бобырь даже облизнулся.

— Ну, дай сюда, — попросил он, протягивая свою длинную худую руку.

— Дать? Что дать? Что ты хочешь?.. — крепко сжимая рукоятку бульдога, удивленно спросил Котька.

— Револьвер! — простонал Бобырь и протянул навстречу другую руку.

— Револьвер? А, дудки! — и с этими словами Котька, размахнувшись, вышвырнул бульдог в открытое окно. — Нате! — злобно прошипел он, и в эту минуту, внизу, на площади, хлопнул револьверный выстрел.

Вот так штука! Это, видно, выстрелил, ударившись о камни, Сашкин бульдог. Мы присели. А вдруг пулей убило кого-нибудь на площади?

Маремуха попятился к лестнице. А Котька, одернув рубашку, злобно улыбнулся и спросил:

— Получили?

Только сейчас мы пришли в себя, поняли, как ловко обманул нас Григоренко.

— Ты... ты... к папе захотел? — выкрикнул, заикаясь, побледневший Сашка Бобырь.

— Подожди! — остановил Бобыря Петька. — Побежали на балкон, посмотрим!

Мы помчались по коридору.

— Он что у тебя — самовзвод? — догоняя Бобыря, с сочувствием спросил я.

— Ну да, самовзвод... — жалобно ответил Сашка.

Мы осторожно выглянули с балкона на улицу. На площади пусто.

Желтые листья валяются на камнях. На самом углу гимназии, под тем окном, из которого только что выбросил револьвер Григоренко, стоит какой-то красноармеец и смотрит вверх, на третий этаж, где ветер качает обе половинки открытого окна.

Постояв немного под окном, красноармеец сунул револьвер в карман и медленно, то и дело оглядываясь, пошел прочь.

Сашка с тоской следил за каждым его шагом. Никогда уж не видать ему своего бульдога! Да и мы все с сожалением смотрели вслед красноармейцу, а я подумал даже: «Не побежать ли за ним вдогонку?» Мне казалось, что, если бы как следует попросить красноармейца, он бы отдал нам бульдог. Зачем он ему, этот маленький пустяковый револьвер с мягкими свинцовыми пульками? Ведь, наверное, у красноармейца есть наган. Но пока я думал так, красноармеец скрылся за кафедральным собором. Бежать было поздно.

Уже в классе Котька Григоренко, отойдя к учительской кафедре, погрозил:

— Мы еще с вами поквитаемся! Погодите...

— Ладно, ладно. Еще захотел? Гадюка петлюровская! — со злостью ответил Маремуха.

В класс вошел с нотами под мышкой Чибисов, и Котька, озираясь, сел за парту.

Вскоре после этого случая от Яшки Тиктора мы узнали, что во второй трудовой школе на Тернопольском спуске в старших классах изучают какой-то новый, незнакомый нам предмет — политграмоту...

— Это про политику, наверное, — важно объяснил Бобырь.

— Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Маремуха.

— Вот и знаю... я все знаю... — запрыгал Сашка. — Мой старший брат посещает комсомольскую ячейку у печатников, он мне говорил такое самое слово.

— А почему у нас нет этой... как, Яшка? — спросил Маремуха.

— Политграмоты, — подсказал Тиктор.

— Почему нет? А разве ты не знаешь почему? — ответил Бобырь. — Учителя не хотят, вот почему! Разве у них политика на уме? Вот пойдем пожалуемся. .

— Куда ты пойдешь, куда? — затоптался около Сашки Маремуха. За это лето он почернел и даже немного подрос.

— А в тот красный дом, что за Новым бульваром! — смело предложил Бобырь. — Мой брат говорил, что в том доме все начальники жалобы от людей принимают.

— Ну, в красный дом... — испугался Маремуха. — Зачем туда? Надо у Лазарева спросить...

— Чудак, — сказал я, — Лазареву самому трудно нам помочь. Он пока один, а этих гадов, вроде Родлевской, много. Они его и так заедают.

На следующий день после уроков мы возвращались к себе домой на Заречье. У меня на душе было легко и радостно — уроки нам задали пустяковые, на дворе стояла хорошая погода. Ярко светило солнце, оно заливало весь наш старинный город своими ясными лучами, освещая сухие, чуть синеватые плиты тротуаров, отражаясь в лужицах воды, не просохшей еще после ночного случайного дождя.

Я щурился, глядя на солнце, и думал: как бы хорошо было, если бы круглый год стояло лето! А ведь скоро наступит зима; начнется она с легких заморозков, крыши по утрам будут седые, завянет зеленая трава на огороде, упадет, мертвая, на землю, а потом пойдут морозы один другого сильнее, и река вдруг остановится под Старой крепостью. Бросишь бабку, она запрыгает по льду, заскользит и даже следа не оставит: таким гладким, скользким, прозрачным будет первый, еще очень тонкий лед. Но тут же я представил себе, как хорошо будет бегать утром, на первой перемене, по школьному двору да проламывать затянутые с ночи тонкой коркой льда лужицы.

Это очень приятно, когда в ясное, морозное утро ноги будто сами несут тебя по мерзлым кочкам! Попадешь с разгона носком в такую лужицу — лед с хрустом проломится, зазвенит, а ты уж помчался дальше, и подошвы сухие. А потом как хорошо после переменки, с холода, вбежать в светлый класс да, пока не вошел учитель, прижаться животом к теплой, чуть-чуть пахнущей краской натопленной печке! И мне стало совсем не жалко, что уходит осень и скоро наступит зима. Это даже лучше. Наточу свои нурмисы...

Но вот впереди раздался сильный и дрожащий голос Сашки Бобыря.

Сашка вдруг запел:

Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады...

Пел Сашка плохо, по-козлиному, совсем не так, как пели эту песню красноармейцы, что стояли в епархиальном училище. Я хотел было крикнуть Сашке, чтобы он замолчал, как вдруг с ним вместе запел и Маремуха.

Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка, —

пели они уже вдвоем, маршируя по круглым булыжникам.

Теперь было трудно удержаться и мне. Мы пошли прямо посреди мостовой, как настоящие военные. Мы шли и пели:

И много есть у нас ребят,
Что шли с отцами вместе,
Кто подавал патрон, снаряд,
Горя единой местью...

Прохожие останавливались и глядели нам вслед. А мы не обращали на них никакого внимания. Кто нам мог что сделать? Кто мог нам запретить петь? Так, с веселой песней, мы вышли на Новый бульвар. Рядом, по узенькой тропинке, ведущей в глубь бульвара, идти было трудно. Мы пошли гуськом, и песня сразу оборвалась. На бульваре было совсем как в лесу: просторно, много голых деревьев, а вокруг ни одного камешка, только холмы да канавы.

Ветер гнал по бульвару желтые, сухие листья. Ноги вязли в листьях, даже когда мы шли по тропинке. Бобырь с разбегу прыгнул в усыпанную листьями канаву. Он растянулся там, как жаба.

— Вот мягко, хлопцы, поглядите! — позвал он нас, барахтаясь в листьях.

Мы, как в воду, бросаемся за ним в канаву, разрываем листья, подбрасываем их горстями кверху, осыпаем золотым дождем друг друга. Листья летают над нами, как огромные красноватые бабочки, и, виляя кривыми хвостиками, устало падают на пожелтевшую землю.

Наконец мы покидаем Новый бульвар и выходим на улицу.

— Ты про этот дом говорил, Сашка? — спросил Маремуха, показывая пальцем на красный двухэтажный дом, который стоял рядом с почтой.

— Про этот, про этот, — заволновался Бобырь. — Вот сюда и надо бы пойти.

— А у меня в этом доме знакомый служит, — похвастался Петька.

— Ну, не бреши... знакомый, — ответил я Маремухе.

— Что — не бреши? — окрысился Петька. — А Омелюстый не тут работает? Ты что, забыл?

А ведь Петька прав! Омелюстый действительно тут работает. Мне и отец говорил об этом. Сейчас Омелюстый живет где-то в городе, в общежитии горсовета, и мы встречаем его очень редко.

— Тогда давай пойдем к Омелюстому, — сразу решил Бобырь. — Вот сейчас. Пошли!

— Нет, зачем сейчас, — полез на попятный Маремуха. — Потом пойдем... после.

— Ага, ага! — обрадовался Бобырь. — Никого у тебя в этом доме, наверное, нет. И ты наврал нам про знакомого.

— Я наврал, а? Тогда пойдем... Вот увидишь! — закипятился Петька и шагнул в сторону кирпичного дома.

На коричневых дубовых дверях этого дома прикреплена картонная надпись:

Повітовий комітет
Коммунистичної партії (більшовиків)
України, Повітовий комітет
Коммуністичної спілки молоді України

— Ну, заходим? — прочитав эту надпись, нерешительно спросил у всех Маремуха.

Сашка Бобырь молча толкнул Маремуху первого в широкую дубовую дверь. Но Маремуха сразу же уперся руками в косяк двери.

— Ну, иди, иди, чего же ты? — сказал я. — Назад только раки лезут.

Гулко захлопнулась за нами тяжелая дверь.

Мы подымаемся по узкой мраморной лестнице, а направо, в глубь первого этажа, уходит полутемный коридор. Куда идти?

Пойдем лучше по коридору.

В его далеком углу стучит пишущая машинка. Мы

делаем несколько шагов в полутьме коридора и останавливаемся у какой-то двери. За ней слышен чей-то громкий голос. Неожиданно дверь открывается, и в коридор выходит наш бывший сосед Омелюстый. Он в высоких брезентовых сапогах, в вышитой косоворотке, в синих брюках галифе.

— Вы чего здесь, мальчики? — удивленно оглядывая нашу компанию, спрашивает Омелюстый.

— А это мы, дядя Омелюстый... Здравствуйте! — и, отстраняя хлопцев, я первый подхожу к Омелюстому.

— Васька? А я тебя не узнал. Ну, заходите, раз в гости пришли, — приглашает Омелюстый. И мы входим следом за нашим соседом в большую комнату с изразцовым камином.

В комнате, сидя на столах, беседуют какие-то люди. Увидев нас, они замолкают. В комнате очень накурено. Голубые облачка дыма плывут к потолку. У камина, прижавшись друг к дружке, стоят три винтовки.

— Вот делегация ко мне пришла, — смеется Омелюстый.

— А чем угощать будешь? — отзывается на его слова лысый коренастый старик в защитной гимнастерке. — Ты бы хоть бубликов для них принес.

— А где я их достану? — разводя руками, говорит Омелюстый и приглашает: — Садитесь, ребята, на подоконник.

Я рассказываю Омелюстому о нашей школе, об учкоме. Он внимательно слушает меня и только изредка почесывает подбородок.

— Директор-то у нас хороший, но вот новый учитель пения Чибисов в церкви поет, в бога верит! — вмешался в разговор Петька Маремуха.

— Да погоди ты, — огрызнулся я. — Вот Родлевская совсем не признает учкома. Она говорит, что в учкоме только одни нахалы и дерзкие.

— А нам нужна политграмота... Во второй школе есть, почему у нас нету? — вдруг храбро выпалил Сашка.

Омелюстый улыбнулся. Засмеялись и его товарищи, сидящие на письменных столах, а один из них вынул из кармана тетрадочку, записал в нее что-то.

— Ладно, хлопчики, все будет: и политграмота, и учителя хорошие, и завтраки, и грифельные доски. Погодите только немного, — обещает Омелюстый, потирая

лоб. — Сейчас всем нам много надо учиться. Вот я тоже собираюсь в совпартшколу поступать.

Уже когда мы уходим, я отзываю Омелюстого в сторону.

— А нас вызывали в Чека. Вы Кудревич знаете?

— Знаю, Васька, знаю, — подмигнул мне Омелюстый и посоветовал: — Не болтай только много!

Ровно через неделю после второй перемены в нашем классе появился высокий паренек в простой коричневой рубашке, в грубых зеленых брюках, в тяжелых военных ботинках на лосевой подошве. Мы бегали по классу и, увидев вошедшего, остановились: кто у доски, кто у печки, а Маремуха застыл на кафедре.

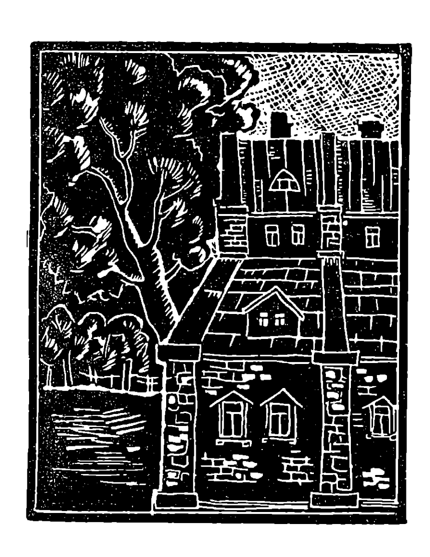
— Садитесь, — неожиданно предложил нам этот молодой паренек. — Садитесь, — повторил он и откашлялся.

Мы, недоумевая, как попало усаживаемся за парты.

— Ребята, — хрипло говорит молодой паренек и опять кашляет. — Товарищи... Давайте познакомимся. Моя фамилия Панченко. Дмитрий Панченко. Меня прислал к вам уком комсомола. А заниматься я буду с вами политграмотой. Вы знаете, что такое политграмота?

В классе тихо. Что ответить? Мы молча и с удивлением разглядываем нашего нового, не похожего на остальных и какого-то уж очень скромного преподавателя.

книга вторая



МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ

Мне очень хотелось до прихода Петьки установить новую голубятню посреди двора. Острый, хорошо отклепанный заступ все глубже уходил во влажную землю, перерезая на ходу дождевых червей, корни травы. Когда нога вместе с загнутой кромкой заступа касалась земли, я обеими руками тянул на себя гладкую ручку заступа. Целая груда земли взлетала наверх. Я ловко отбрасывал ее в сторону — черную, местами проросшую белыми жилками корней.

Вскоре глубокая яма зачернела посреди нашего небольшого дворика. Я приволок столб с голубятней и опустил его в яму. Поддерживая голубятню одной рукой, я набросал в яму несколько булыжников, окружил ими столб, и, когда голубятня перестала шататься, быстро засыпал яму свежей землей. Мне оставалось разровнять ее, как за домом скрипнула калитка.

«Ну, вот и Петька!» — подумал я.

Издали голубятня выглядела еще лучше. Сколоченная из тонких досок, выкрашенная охрой, она заметно выделялась среди старых сараев. Славно будет житься в этом домике моим голубям. Позавидует мне сейчас Петька Маремуха. Как бы он ни пыхтел, никогда не сделать ему такой голубятни. Вот уже слышны позади шаги. Я медленно обернулся. Ко мне подходил отец. Он остановился рядом и сказал:

— Голубятня приличная, а вот зря.

— Почему зря?

— Завтра отсюда переезжаем, — ответил отец. — Пойдем в хату — расскажу.

До прихода Петьки Маремухи я уже знал все. Уездный комитет партии направлял отца на работу в совпартшколу. Отец должен был устроить в совпартшколе маленькую типографию и печатать в ней газету «Голос курсанта». А так как все сотрудники совпартшколы жили на казенных квартирах, то и мой отец должен был переехать туда вместе с нами.

А что же будет с новой голубятней? Не оставлять же ее здесь в подарок тому, кто поселится в нашей квартире.

— Тато, а голубятню я возьму туда! — сказал я отцу.

— Еще чего не хватало! — отец усмехнулся. — Все курсанты только и ждали, когда ты заведешь у них голубей! — И, снимая со стены фотографию Ленина, отец добавил серьезно: — Не дури, Василь, голубятню оставишь тут.

— Да, оставишь! А где ж я голубей буду держать?

— А кто тебе позволит держать голубей?

Совсем тихо я пробормотал:

— А там разве нельзя?

— А ты думал? — сказал отец. — Пойми ты, чудак, там люди учатся — тишина должна быть, а ты голубей станешь гонять по крышам...

— Не стану, тато, честное слово, не стану. Я тихо...

— Знаю, как тихо: сам голубей когда-то водил. Голубь воздух любит, простор. Это не курица. Курицу можно в чулане держать, да и та скучать будет...

В эту минуту во дворе скрипнула калитка, и кто-то осторожно крикнул:

— Василь!

Я сразу узнал голос Петьки Маремухи и схватил кепку.

Выглянув в окно, отец сказал:

— Приятель твой пришел. Вот отдай ему голубей на попечение — и весь сказ.

Когда я рассказал Петьке Маремухе, что мы переезжаем, он отмахнулся.

Он, слушая мой рассказ, недоверчиво заглядывал мне в глаза, думая, что я его обманываю.

Лишь когда мы подходили к главной улице города Почтовке, Петька наконец поверил моим словам и — было видно по всему — огорчился, что я покидаю Заречье.

— Петро, давай меняться на твой револьвер, — предложил я.

— Выдумал! — сразу встрепенулся Маремуха. — Револьвер я ни на что менять не буду. Он мне нужен самому.

— Нужен, нужен, — передразнил я Маремуху. — Все равно его у тебя отымут.

— Кто отымет? — переполошился Маремуха.

— Известно кто: милиция.

— Кому он нужен? Он же ржавый.

— Ну и что ж такого? Все равно оружие.

— Какое там оружие! Ты же знаешь, что на Подзамче у каждого хлопца есть по десяти таких револьверов. Обрезы прячут, и то ничего.

Петька говорил правду. После гражданской войны, после гетмана, петлюровцев и сичевиков в нашем городе сохранилось много всякого оружия, и хлопцы продолжали хранить его в разных потайных местах.

Но все равно я решил припугнуть Маремуху и уверенно сказал:

— Отымут твой револьвер, вот посмотришь. Это раньше можно было держать оружие, а теперь война кончилась — и довольно. Давай лучше, пока не поздно, я выменяю его у тебя.

— Ну, если у меня отымут, то и у тебя отымут! — живо ответил Петька Маремуха и, подмигнув, добавил: — Ты хитрый, Васька, думаешь, дурного нашел.

— Ничего не дурного. Я же в совпартшколу переезжаю, а там мне никто ничего не скажет. Там военные живут.

Несколько минут мы сидели молча.

Мы давно дружили, и я знал, что Петька трусоват. «Лучше помолчу, — думал я. — Пусть призадумается над моими словами».

Помолчав немного, Петька засопел от волнения и спросил:

— Ну, а что бы ты дал за револьвер?

— Голубей могу дать...

— Всех? — приподымаясь, спросил Петька.

— Зачем всех? Пару...

— Ну, тоже пару... За пару я не отдам...

— И не надо... Завтра пойду на Подзамче и на одного своего чубатого полдюжины револьверов выменяю...

— Ну иди меняй, попробуй... А на мосту тебя милиционер задержит...

— А я нижней дорогой, возле мельницы, пройду.

— Ну и иди.

— Ну и пойду...

Мы опять замолчали.

Далеко внизу на реке женщина полоскала белье. Она гулко хлопала по нему вальком, то отжимала, то снова прополаскивала в быстрой воде. Рядом с ней чуть заметными белыми точками плавали гуси. Я следил за гусями. Вдруг Маремуха торопливо зашептал:

— Васька! Отдай всех голубей, я тебе тогда еще двенадцать запасных патронов дам. Хочешь?

Ага! Попался Петька. Моя взяла!

Я встал, потянулся и нехотя сказал:

— Ладно, только ради дружбы... А другому ни за что бы не отдал.

КОТЬКА ЧИНИТ ПОСУДУ

Когда мы шли по тропинке, каждый был доволен и думал, что надул другого. Петька изредка посапывал носом. Давно он зарился на моих голубей, еще с прошлой зимы, а теперь вот счастье неожиданно привалило. А у меня будет пистолет. Завтра же намочу его в керосине, чтобы отстала ржавчина, а потом и пострелять можно будет.

Новый бульвар давно кончился. Мы шли по Заречью. Потянулись базарные рундуки, низенькие будочки сапожников, стекольщиков, медников. На углу Житомирской, за афишной тумбой, виднелась мастерская одного из лучших медников Заречья, старика Захаржевского. Около мастерской на улице валялись покрытые белой накипью самоварные стояки, опрокинутые вверх дном котлы из красной меди, ржавые кастрюли с проломанными днищами, эмалированные миски, цинковые корыта. Из мастерской вышел сам Захаржевский в грязном брезентовом фартуке. Он стал рыться в своем добре. Резкими, сердитыми движениями он перебрасывал из

одной кучи в другую завитки жести, блестящие полосы латуни; все это звенело, дребезжало.

Когда мы были уже в нескольких шагах от мастерской, Захаржевский выпрямился и гулким сердитым голосом закричал в мастерскую:

— Костэк, иди сюда!

И на этот крик из открытых дверей мастерской на улицу вышел наш старый знакомый и мой недруг, Котька Григоренко.

Смуглое лицо его было выпачкано сажей. Он был в таком же грязном брезентовом фартуке, как и Захаржевский. В огрубелых, изъеденных соляной кислотой руках Котька держал тяжелую кувалду.

Увидев нас, Григоренко несколько смутился, но сразу же, небрежно размахивая тяжелой кувалдой, вразвалку подошел к Захаржевскому.

Пока глухим ворчливым голосом Захаржевский отдавал Котьке приказания, мы прошли мимо и завернули за угол.

— Говорят, он от своей матери отказался, — тихо прошептал мне на ухо Петька Маремуха, оглядываясь назад.

— Отказался? А живет-то он где?

— Ты что — не знаешь? — удивился Петька Маремуха. — На Подзамче, у садовника Корыбко. На всем готовом.

— В самом деле?

— Ну конечно. Скоро месяц как живет! — ответил Петька.

— Что бы все это значило?

Пока мы ходили в кинематограф, отец поснимал со стен фотографии; на обоях всюду — и в спальне и в столовой — виднелись темные квадратные следы. Мы давно не меняли обои, они выцвели от солнца и лишь под фотографиями сохранили свой прежний цвет. Уложив в корзину всю посуду и шесть серебряных столовых ложек, тетка стала опорожнять бельевые ящики комода. Отец снял со стены ходики, отцепил гирю и обернул вокруг циферблата длинную цепочку. Мне стало скучно здесь, в разоренной комнате, и я вышел во двор, чтобы поймать голубей. Я неслышно открыл дверь сарая. Оттуда пахнуло запахом дров. Вверху под соломенной крышей сквозь сон ворковали голуби. По голосу я узнал банточного турмана. Вот и лесенка. Засунув

за пояс мешок, я полез по ней к голубям. Почуяв недоброе, один из них, глухо урча, шарахнулся в угол. Ладно, не пугайся, и у Петьки будешь кукурузу получать! Голуби тяжело хлопали тугими крыльями. Я быстро похватал их друг за дружкой, теплых, чистых моих голубей, и с болью в сердце бросил в просторный мешок.

Пока я шел к Петьке Маремухе в Старую усадьбу, голуби возились в мешке, как кошки, урчали, трепыхались, хлопали крыльями. Банточный турман даже стонал от испуга.

Маремуха ждал меня на пороге своего ободранного флигеля. Только я подошел, он сунул мне обернутый тряпками револьвер «зауэр», выхватил из моих рук мешок с голубями и, пробормотав: «Подожди, я сейчас», — метнулся в сарай.

Сидя на теплом камне, я слышал, как щелкнул он ключом, открывая замок сарая, как заскрипела под его ногами лестница, как, взобравшись на чердак сарая, он визгливо запричитал: «Улю-лю-лю!»

Мне еще больше стало жаль голубей. Сколько я возился с ними! Как трудно было добывать для них в голодные годы кукурузу и ячмень! В те времена я очень боялся, чтобы их у меня не украли на мясо соседние мальчишки. А теперь я получил только один револьвер. Интересно, отойдет ли ржавчина или останется? Мне очень хотелось развязать бечевку, развернуть бумагу, хоть в темноте потрогать холодный и выщербленный ствол револьвера, пощупать нарезные пластинки на его рукоятке, но я удержался.

Петька вынырнул из темноты неожиданно. Тяжело дыша, он протянул мне пакетик с патронами и, заикаясь, сказал:

— Двенадцать... Можешь не считать...

Когда мы вышли на площадь, Петька дернул меня за руку и, оглядываясь по сторонам, шепнул:

— Васька, а ты знаешь, я слышал, что в той совпартшколе, где ты жить будешь, привидения водятся!

— Смешной, какие могут быть привидения?

— Самые настоящие. Верно, верно. Там белая монахиня по коридорам ходит. Там же монастырь католический был!

— Ну и что с того? В гимназии нашей тоже монастырь был, а привидений никто не видел.

— А в той совпартшколе видели, я тебе говорю!

Снизу от нашего дома к церкви кто-то шел.

— Тише, — цыкнул Петька и дернул меня за локоть.

Мы прижались к церковной ограде и пропустили прохожего. Когда он скрылся за углом, я сказал:

— Ох, и трус же ты, Петька!

— Почему? — вспыхнул Петька.

— А чего ты напугался?

— Я думал — милиционер. А у тебя револьвер.

— А вот врешь. Ты думал, что то привидение. И теперь домой тебе страшно будет идти. Можешь не провожать меня дальше.

— Совсем не страшно, — обиделся Петька. — Я в полночь на польское кладбище могу пойти, а ты...

— Ладно, ладно, знаем таких храбрецов...

— Думаешь — не пойду? — уже не на шутку рассердился Маремуха.

— Верю, верю... — успокоил я Петьку и протянул ему руку.

Мы попрощались. Но как только я скрылся за углом, позади зашлепали Петькины сандалии. Он, храбрец, не выдержал и сломя голову пустился бегом к себе домой.

Не знаю, как быстро уснули отец и тетка Марья Афанасьевна, но я ворочался с боку на бок почти до рассвета. Долго не выходил из головы Котька Григоренко.

Этой весной мы кончили трудовую школу. Долго думали хлопцы, кому где дальше учиться. Мы с Петькой Маремухой нацелились было осенью поступить на рабфак. Другие наши одноклассники готовились в химический институт, кто учился послабее — был на распутье. Все только и говорили об этом перед последними зачетами, а вот Котька все отмалчивался.

Он хорошо знал, что его — сына расстрелянного петлюровца — в институт наверняка не примут.

Что Котька будет делать после трудшколы — никто не знал. Вдруг пронеслась весть, что Котька поступил в ученье к меднику Захаржевскому.

Для чего ему, белоручке и докторскому сынку, понадобилось знать слесарное ремесло, сперва никто не мог понять.

Каждое утро Котька через наше Заречье бегал в мастерскую, держа под мышкой завернутый в газету завтрак. Каждый день до вечера он стучал тяжелой кувалдой по наковальне, учился паять кастрюли и точить ножики от мясорубок.

Когда, возвращаясь с работы, он проходил мимо нас, от него пахло соляной кислотой, квасцами, курным кузнечным углем.

Добрую половину ночи этот проклятый Котька стоял у меня перед глазами в брезентовом фартуке с тяжелой кувалдой в руках.

Неужели Галя, за которой я стал потихоньку ухаживать еще с трудшколы, могла променять меня на Котьку? Правда, несколько дней я не видел Галю, но ведь это ничего не значит. Если я ей хоть немного нравился, неужели она могла так быстро забыть меня?

А может, это Маремуха из зависти наговорил, что она ходит с Котькой?..

...Потом, уже засыпая, я вспомнил Петькины слова, что в совпартшколе, где мы будем жить, водятся привидения. И только я заснул, как мне приснился скелет с острой косой за плечами. Завернутый в прозрачное кисейное покрывало, он встретился со мной в подземелье и протянул навстречу сухие костяшки пальцев. Я пустился бежать, скелет за мной. Наконец я забежал в какой-то темный тупик подземного хода и здесь мертвец настиг меня. Я почувствовал, как он схватил меня сзади за горло и стал душить. Леденея от ужаса, я закричал.

— Вставай, голубятник, не ори! — смеясь, сказал отец и изо всей силы потряс меня, сонного, за плечо. — Подвода за вещами приехала! — добавил он, видя, что я проснулся.

Я повернул голову и легко вздохнул. В окно радостно, по-весеннему светило утреннее солнце.

НА НОВОЙ КВАРТИРЕ

Квартиру нам отвели в белом одноэтажном флигеле, расположенном на правой стороне большого школьного двора, в нескольких шагах от главного здания. Квартира была большая: три просторные комнаты, рядом с ними маленькая, но очень уютная кухня и через неболь-

шой коридор еще одна кухня, побольше, с высокой русской печью и чугунной плитой под ней.

Марья Афанасьевна вошла в эту просторную кухню, тронула пальцем чугунную плиту, на которой лежал слой пыли, и сказала отцу:

— А что я с этой кухней буду делать? Мне и той довольно.

— Не знаю, — сказал отец, — не знаю.

— Тато, — вдруг нашелся я, — а хочешь — я летом здесь жить буду?

— Живи, мне что — жалко? — И отец усмехнулся в густые черные усы.

— Да ты в своем уме, Мирон? — переполошилась тетка. — И не думай даже!

— А что? — спросил отец.

— Да он порох станет жечь на плите, весь дом взорвет!

— Не буду, тетя, верное слово — не буду! — взмолился я. — Нема у меня пороху. Поищите даже!

— Ну, вот видишь, — сказал отец, — и порох у него вышел — зря боишься. Васька теперь большой. Куда ему эти цацки!

— Да, большой... — буркнула, сдаваясь, тетка. — Начнет тут один мастерить и ноги себе поотрывает...

— Не поотрывает! — весело сказал отец и, обращаясь ко мне, добавил: — Так давай, Василь, устраивайся!

Вместе с теткой они ушли распаковывать вещи, а я остался один в своей кухне.

Вот здорово!

Сюда я могу свободно, когда мне вздумается, приводить Петьку Маремуху и других хлопцев. Я подскочил к окну, щелкнул задвижкой и с силой открыл обе половины оконных рам, разорвав давным-давно наклеенные старыми жильцами длинные полоски газетной бумаги.

В нежилой воздух комнаты ворвался теплый ветер.

Я перегнулся и, стирая рубашкой пыль с подоконника, посмотрел вниз. Ничего! Хоть первый этаж, но высоко.

Пока отец и Марья Афанасьевна распаковывали вещи, я принялся наводить порядок в кухне.

Чисто подмел пол, стер мокрой тряпкой отовсюду пыль — и с карнизов, и с подоконника, и с чугунной плиты. Я выпросил у Марьи Афанасьевны две сосновые

табуретки и поставил их в свободных углах комнаты. «Для гостей!» — подумал я. Плиту застлал газетами. Она мне заменит стол. Когда мы будем учиться дальше, на рабфаке, тут можно готовить уроки. Револьвер «зауэр» я сперва запрятал в духовку, но потом, передумав, полез на печку и положил его там на лежанке. И запасные патроны закинул туда же. На ржавое, пахнущее дымом жестяное дно духовки я выложил весь свой инструмент — клещи, молоток, два напильника и отвертку с обломанной ручкой. Туда же я высыпал из старого пенала весь запас гвоздей и винтиков. Оставалось приготовить постель. Разостлав на лежанке несколько газет, я положил на них красный полосатый матрац, набитый сеном, покрыл его простыней и сверху, сложив вдвое, набросил голубое, протершееся по краям ватное одеяло. Под стенку я бросил подушку. Постель вышла на славу! Я лег на одеяло и вытянул ноги. Отсюда, сверху, мне хорошо были видны раскрытое квадратное окно и кусочек мощеного двора.

В коридоре послышались шаги. Я спрыгнул с печки на пол. Доски скрипнули у меня под ногами. Кто-то дернул дверь, но потом, увидев, что закрыто, постучал. Я отодвинул засов. В кухню вошел отец. Он остановился у окна и посмотрел вокруг. Я с опаской следил за его взглядом. Мне казалось, что отец прикажет мне перенести постель обратно. Но отец потрогал оконную раму и, отодвинув ногой к самой стенке табуретки, сказал:

— Прямо настоящий кабинет!

Помолчав, он добавил:

— Видишь, а ты еще не хотел сюда переезжать. Да здесь тебе будет куда веселее, чем у нас на Заречье.

Надевая поглубже на голову плетеный соломенный картуз, отец направился к двери и на ходу сказал:

— Обедать будем поздно. Я сейчас еду в типографию за шрифтами. Ты пойди к тетке, подкрепись до обеда.

К Марье Афанасьевне я не пошел, а, закрыв кухню на черный висячий замочек, выбежал во двор. Издали я увидел, как отец подошел к ожидавшей его у ворот военной подводе на высоких колесах и прыгнул на облучок. Часовой в буденовке открыл широкие железные ворота, и подвода выехала на улицу.

Во дворе было пусто. Видно, курсанты занимались. Где-то далеко, за длинным трехэтажным зданием совпартшколы, пели птицы. Я прислушался к их веселому пению, и мне захотелось пойти в сад.

Туда вела маленькая, но очень скрипучая калитка. Я потихоньку открыл ее и пошел по небольшой аллейке вниз, в гущу сада, мимо высоких кустов барбариса, бузины и можжевельника. Справа тянулся, ограждая сад от проселочной дороги, каменный забор, слева белела глухая стена школьного здания. У подножия стены я заметил низенькие, очень знакомые кустики. Крыжовник! Вот здорово! На ветках между листьями желтели созревшие ягоды. Что, если нарвать? А если заругают? Чепуха!

Согнувшись, я одну за другой срываю с колючих веток продолговатые тяжелые ягоды. Крапива жжет ноги. Я не замечаю ее укусов. Где-то вблизи послышался разговор. Я отдернул от кустарника руки и насторожился. Вот чудак. Да это не здесь. За каменным забором идут по дороге к реке какие-то люди и разговаривают. Это рыболовы. Над забором, покачиваясь, проплывают бамбуковые прутья их удочек.

Нарвав полные карманы крыжовника, я снова вышел на аллею и направился дальше. А вкусный крыжовник! Ягоды чуть мохнатые, покрытые желтоватой пыльцой. Они хрустят на зубах. И сладкие какие! Такого крыжовника можно съесть целую шапку, и никакой оскомины не набьешь.

Белый дом совпартшколы остался позади.

Деревья становятся все выше и выше. Замелькали среди простых грабов и ясеней обмазанные известкой стволы яблонь и груш. Под деревьями в густой траве растут лопухи. Лопухов тут пропасть. Осенью, когда опадет лист и полетят на юг журавли, тут можно будет найти много подходящих мест для ловли птиц.

Но как тихо в этом саду! Только пение птиц заглушает мои шаги. Недаром здесь так много всяких птиц. Я узнаю голоса чижей, малиновок, зябликов. Никто их не беспокоит, не гоняет, разве что соседние белановские хлопцы, которые, наверное, заглядывают в этот сад, чтобы нарвать яблок или груш.

Аллея повернула к самому забору. Дальше по ней мне было идти неинтересно, и я зашагал прямо по мягкой зеленой траве в глубь сада.

Все мне здесь нравилось, а самое главное — я был тут уже свой человек.

Возле большой старой шелковицы, окруженная кустами сирени и терновника, подымалась высокая горка. Вся она поросла травой, а наверху на этой горке виднелась белая некрашеная скамеечка. Мне захотелось сесть на скамеечку и оттуда, сверху, осмотреть весь сад. Но не успел я подойти к подножию горки, как за кустами послышался шум и мелькнуло что-то белое. Я сразу присел на землю и спрятался за шелковицу. Выглянув, я увидел, что на старое, высохшее и чуть прикрытое от меня листвой сирени дерево карабкается хлопец в белой рубашке.

В руке он держит маленький легкий сачок. Осторожно, словно боясь кого-то испугать, хлопец подбирается к разветвлению дерева.

Я вышел из своей засады и тихонько подкрался к кустам сирени. Теперь я уже хорошо видел спину хлопца, его серые в полоску штаны, протоптанные подошвы ботинок. Хлопец заткнул за пояс марлевый сачок и, освободив вторую руку, полез дальше. Задрав голову, я стоял внизу и следил за каждым его движением. Я слышал, как шуршит сжимаемая его ногами пересохшая кора дерева, как царапается об эту кору белая рубашка хлопца. Вот он добрался до разветвления и, ухватившись обеими руками за толстую ветку, чуть приподнялся вверх. Вытянув шею, он заглянул в дупло. Из черной щели дупла выпорхнула серая, неприметная птица и, жалобно заголосив, полетела к реке. Хлопец отшатнулся, белый сачок чуть было не выпал у него из-за пояса. Испуганный, протяжный крик птицы раздавался теперь на окраине сада.

Хлопец сел верхом на толстую ветку и вытянул из-за пояса сачок.

Он постучал сачком по стволу дерева и прислушался. Потом он припал к дуплу глазом, но, ничего в нем не увидев, легко засунул внутрь сачок. Передохнув, он лег на ветку грудью. Так, лежа и облокотившись правой рукой на ветку, он несколько раз подергал, пошевелил в дупле сачком и тихонько, совсем тихонько вытащил его наружу. В сачке что-то было. Хлопец заглянул в сачок и опрокинул его над ладонью. Оттуда, из марлевого сачка, выкатилось продолговатое беленькое яичко. Парень ловко взял его в рот и тотчас же снова опустил

сачок в дупло. Несколько раз он то опускал в дупло сачок, то вытаскивал его обратно, пока не выбрал из гнезда все яйца птицы. Тогда он, не глядя, швырнул вниз на траву сачок и стал осторожно съезжать по стволу вниз.

Пока он спускался по дереву, я, раздвигая кусты, смело пошел ему навстречу.

Очень хотелось узнать: чье же это гнездо он разорил? Но не успел я подойти, как хлопец спрыгнул на землю, и в ту же минуту я шарахнулся в сторону.

В нескольких шагах от меня, оправляя рубашку, стоял Котька Григоренко. Никак не ожидал я встретить его здесь! Что ему, барчуку, нужно в совпартшколе? Этого еще не хватало! Какое он имел право залезать сюда да еще воровать яйца? Мало, что ли, погулял он в своем собственном саду?

Я уже чувствовал себя тут хозяином, и потому мне стало очень обидно, что этот петлюровский прохвост появился в таком месте, как совпартшкола. А может, ему разрешили курсанты, может, они не знают ничего о нем?

Ну, хорошо, курсанты могут не знать, зато я знаю!

Если бы мы встретились с Котькой на улице, я не стал бы даже разговаривать с ним, но здесь, в саду, я понял, что обязан выгнать его немедленно.

— А ну, положи обратно! — крикнул я, быстро подходя к Григоренко.

Котька вздрогнул, но, заметив меня, принялся снова обчищать рубашку. Он даже не смотрел в мою сторону, собака!

— Ты что, глухой? — закричал я, останавливаясь. — Тебе говорят!

Котька все так же медленно и не глядя на меня стряхивал ладонью с полотняной рубахи шелуху.

— Слышишь?! — закричал я, свирепея.

Котька выпрямился и, ловко выплюнув на ладонь пять мокрых яичек серой птицы вертиголовки, удивленно сказал:

— Это вы ко мне?

— А ты думаешь...

— Я-то думал: кто это пищит здесь? И никак не могу понять...

— Ты зачем гнездо разорил? Ведь из них не сегодня-завтра должны птенцы вылупиться.

— Серьезно или шутишь? — прищурившись, спросил Котька.

— Полезай на дерево и положи обратно яйца... — скомандовал я.

— Не много ли ты, сопляк, на себя берешь? — ехидно сказал Котька.

— Я... сопляк? Я...

— Ты чего в этот сад залез?

Вопрос Котьки заставил меня поперхнуться.

— Как чего? Я свой... Мой отец здесь... А ты не имеешь права!

— Ну, будет! — неожиданно громко сказал Котька. — Сейчас я тебе прощаю, потому что у меня нет настроения учить тебя уму-разуму. Но имей в виду, в следующий раз мы можем поговорить в другом тоне... — И, словно невзначай, Котька вынул из кармана правую руку. Солнце блеснуло на его пальцах. Я увидел, что Котька, пока мы с ним разговаривали, успел насадить на руку тяжелый никелированный кастет.

Поиграв кастетом и оставляя меня одного, оторопевшего, под деревом, Котька быстро пошел к выходу.

Будь у меня в руках хоть палка — другое дело. А так я знал, что вооруженный кастетом Котька куда сильнее меня.

Котька быстро шагал по дорожке. «А может, все-таки догнать его? Нет, сейчас уже поздно!»

Самая удобная минута была упущена. Надо было, не вступая с ним в разговоры, бить его с налету по лицу, а потом вырвать кастет. Посмотрел бы тогда, чья взяла!

НАД ВОДОПАДОМ

По обеим сторонам реки, как высокие коричневые стены, подымались скалы. Сжатая этими отвесными ржавыми стенами, река текла здесь по мелкому каменистому дну. Я шел по узенькой тропинке, и острый щебень колол мне пятки. За поворотом реки я увидел белые стены хаты, в которой жила Галя. Низенькая, крытая камышом, эта хата стояла на отшибе, прислоненная к скале. Вблизи домиков больше не было. Только на самом верху, на скале, где чернели остроконечные, с зубчатыми веничками башни Старой крепости, виднелись белые хатки предместья Подзамче, стога желтой соло-

мы, длинные кирпичные постройки паровой мельницы. Нижний пустынный берег реки, по которому я шел, назывался Выдровка. Раньше тут было много выдр. Они селились в скалистых норах над самой рекой.

Я остановился у плетня, постояв так минуты две, крикнул:

— Галя!

Наверху у крепости заскрипели колеса подводы. В Галиной хате было тихо.

— Галя-а-а! — сложив лодочкой ладони, чуть погромче крикнул я.

В сенях звякнула клямка, и на пороге хаты появился Галин отец — лысый Кушнир.

Мне сразу захотелось спрятаться под плетнем. Но было уже поздно: Кушнир спускался по двору ко мне.

Подойдя к калитке, он облокотился на деревянную перекладину, вынул из рта прокуренную трубку и тихо спросил:

— Чего кричишь?

— Да мне Галю нужно.

— Галю? — удивился Кушнир. — Смотри ты! Кавалер! Плохо, брат, дело. Гали нет!

— А где же она?

— Где?.. — Кушнир помолчал, затянулся, выпустил носом две струйки дыма и затем, выколачивая о плетень трубку, спокойно сказал: — А по воду пошла На ту сторону. Вот если ты настоящий кавалер и не лентяй, беги навстречу. Поможешь ей воду нести...

Не оглядываясь на старика, я перебрался по камням через быструю и мелкую реку, которая сразу же за Галиной хатой сворачивала и затем, пенясь, мчалась в черный тоннель под крепостным мостом, чтобы вырваться на другой стороне белым кипящим водопадом.

Перебравшись через реку, я подбежал к лестнице. Она подымалась по скалам к мосту.

Наконец я взобрался на улицу, что спускалась из города на крепостной мост. Гали наверху не было. Я отдышался, перешел мощенную круглыми булыжниками улицу и посмотрел вниз. Отсюда я увидел другую часть города — Карвасары, белый пенящийся водопад, переброшенную через него рядом с высоким крепостным мостом деревянную кладочку, широкий спокойный разлив реки за водопадом, скалистые, поросшие желтой медуницей и дерезой берега Смотрича. Вниз, к водопа-

ду, вела выщербленная лесенка без перил. Гали на лестнице не было. Наверное, она еще возится около колодца. А колодец отсюда разве увидишь — он по другую сторону водопада, и его заслоняет деревянная церковь с погостом, усаженным высокими тополями.

«Что же делать? Ждать Галю здесь или сбежать вниз?.. А, сбегу, пусть узнает, какой я добрый! Подсоблю тащить ей ведро от самого колодца».

И я побежал вниз, к реке. Я так разбежался, что было трудно остановиться. С разгона я влетел на деревянную кладочку, повисшую над водопадом, и меня сразу обдало холодной водяной пылью. Белые брызги подлетали вверх, до самых досок. Вода шумела и грохотала внизу, я видел ее сквозь щели в кладке, и этот грохот водопада сливался с грохотом наверху: там по деревянному настилу крепостного моста быстро ехала подвода. Я уже почти пробежал всю кладку, как вдруг сквозь шум воды и громыхание телеги услышал свое имя.

— Василь! Вася-а-а! — донеслось издали.

Я задрал голову и посмотрел на мост. Но у перил моста никого не было. С моста мне в глаз упала соринка, и глаз заслезился. Я стал растирать глаз кулаком, но тут снова послышалось:

— Василь! Вася!.. Сюда!

Я оглянулся.

В стороне, над самой скалой, сидела Галя и с ней еще кто-то, но кто именно — я сперва не разобрал.

— Иди сюда! — крикнула Галя и поманила меня рукой.

«Кто же это, интересно, с ней сидит?» — думал я, пробираясь между кустами к Гале. Фу ты, что такое! Я чуть было не наткнулся на ведра с водой, которые Галя оставила здесь под кустами.

Дорогу мне преграждала глыба гранита. Я полез на нее, цепляясь за пучки травы, и, взобравшись наверх, остановился.

Рядом с Галей сидел Котька Григоренко. Плохо у меня стало на сердце в эту минуту. Ведь они еще могут подумать, что я нарочно пришел подсматривать за ними. Удрать разве?

— Спускайся, Василь, ну, быстро! — потребовала Галя, и мне волей-неволей пришлось спрыгнуть с глыбы и подойти к лужайке, на которой они сидели.

Не глядя на Котьку, я протянул руку Гале.

— Где же ты пропал? Я уже думала... Садись! — сказала Галя.

Я, посапывая, опустился на мягкую траву.

— А мы ж позавчера переехали отсюда! — И я кивнул головой в сторону Заречья.

— Куда переехали? — заинтересовалась Галя.

Пришлось рассказать Гале о нашем переезде в совпартшколу.

— Там сад какой! Большущий. Я к тебе за черешнями теперь буду приходить! — сказала Галя.

— Приходи, — ответил я неуверенно.

— А я несла воду, несла и заморилась. Вижу — навстречу Котька. Вот мы и решили посидеть. А ты куда шел?

— Да мне надо туда... — соврал я, кивая в сторону деревянной церкви. — На Подзамче! К хлопцу одному.

— К хлопцу? — протянула Галя. — А разве... — И она запнулась.

«Ничего, ничего, правильно! Нехай думает, что я шел к хлопцу, а не к ней».

Котька в это время встал, потянулся, поправил свою белую батистовую косоворотку, одернул кавказский ремешок с тяжелыми серебряными язычками и поднял с земли камень.

Широко раздвинув ноги, он размахнулся, — и круглый камень упал далеко-далеко, посреди запруды.

— Здóрово! — сказала Галя, и ее слова обожгли меня.

А Котька схватил еще один камень и сказал Гале важно:

— Ну, это еще не здорово. Вот смотрите, куда закину!

Он примерился и размахнулся. Но камень вырвался у него из руки и упал совсем близко от нас, под скалу.

«Ага, ага, так тебе и надо! — чуть не закричал я. — Не задавайся зря!»

Галя засмеялась, и Котька, желая оправдаться, объяснил:

— Ну, это случайно. Сухожилие сорвал! — Он даже сморщился, будто от боли, и сказал: — Вы остаетесь, Галя, или идете?

На меня Котька не смотрел.

Галя встала, оправила платье. Втроем мы перелезли через каменную глыбу. Галя нагнулась к ведрам.

— Давайте, я помогу вам! — сказал Котька, отстраняя Галю и хватая оба ведра.

— Ну нет, зачем? Я сама!

Но Котька уже потащил ведра к лестнице.

— А тебе обязательно надо на Подзамче, Василь?.. Как того хлопца звать? — спросила меня Галя.

— Какого хлопца?

— Ну того... к которому ты идешь?

— Того?.. Тиктор! — выпалил я наугад.

— Тиктор? Да ведь Тиктор не на Подзамче живет.

— Ну да, но сейчас он у знакомых на Подзамче, вот мы и договорились встретиться, — кое-как выпутался я.

— А может... ты с ним другим разом встретишься? — И Галя робко посмотрела мне в глаза.

Но здесь я решил быть жестоким до конца! Я хотел наказать Галю за ее встречу с Котькой и сказал сухо:

— Нет, другим разом нельзя. Я должен встретиться с Тиктором сегодня!

Мы подошли к лестнице. На площадке меж ведер стоял, поджидая нас, Григоренко.

— Ну спасибо, Котя, — очень ласково сказала Галя. — Теперь я сама донесу.

— Да бросьте стесняться! Я вам помогу, — сказал Котька басом.

— Нет, нет, Котя, спасибо. Вы же идете в другую сторону, вот с ним вам по пути, — кивая на меня, сказала Галя.

— Давай, Галя, я тебе помогу! — сказал я.

— Не надо мне помогать, — ответила Галя. — Сама не донесу, что ли? Идите себе вместе. Ну, до свидания!

— Нет, спасибо. Я не имею большого желания идти в такой компании! — сказал Котька и отвернулся.

У меня перехватило дыхание.

— Ты молчи... ты... ты... — почти выкрикнул я.

А Галя глянула сперва на меня, потом на Котьку и засмеялась.

— Ой я ж дура! — сказала она, смеясь. — Вы не разговариваете? Да? А я думаю: чего вы все молчите? Вы что — в ссоре?

— Так, у нас счеты! — сказал Котька и, подхватив оба ведра, потащил их вверх по лестнице.

— А я не заметила. Ну, что ж, до свидания, Василь. — И Галя медленно протянула мне руку. Я пожал ее холодную ладошку, и она, крепко ступая и чуть покачиваясь, пошла по ступенькам вслед за Котькой.

Я стоял посреди лестницы и смотрел им вслед. А что, если Галя или, еще хуже, Котька обернутся? Мне стало стыдно, и я быстро спустился и перешел по кладке через водопад. Ну и ругал же я себя в эту минуту! «Эх, ты, — думал я, — трус. И зачем выдумал Тиктора? Надо было остаться с Галей, спровадить от нее Котьку. Не мог надавать Котьке или просто взять ведра да понести сам. Тогда бы Котька ушел. Упустил такой случай. А так смотри: шел-шел сюда, чтобы повидать Галю, из самой совпартшколы шел, и вот радуйся — повидал! Теперь, наверное, они вместе пойдут. И Котька станет хвастаться перед Галей, какой он сильный, скажет, что я его испугался, будет наговаривать про меня всякое. Обязательно будет наговаривать».

Я обогнул деревянную церковь. В луже возле колодца размокала желтая коробочка папирос «Сальве». Тисненая этикетка с нарисованной дымящейся папиросой уже отклеилась и плавала поверх лужи. Я посмотрел на плавающую этикетку, вспомнил, как несколько лет назад мы собирали коллекции таких вот коробочек от папирос, и быстро пошел по горной крутой дороге, которая огибала Старую крепость со стороны Карвасар. Я шел на Подзамче и никак не мог сообразить, зачем я иду туда.

Уже в городе, по дороге домой, я остановился возле витрины парикмахерской Мрочко. Там, за толстым бемским стеклом, торчали на болванках восковые лица тонконосых красавиц. На каждой был приклеенный парик. А сбоку, по обеим сторонам нарядной и устланной разноцветной бумагой и журнальными вырезками витрины, блестели два зеркала. Я делал вид, что рассматриваю лица восковых красавиц с каплями клея на висках, а сам искоса глядел в зеркало. Мне было стыдно смотреть на себя в зеркало просто так. Прохожие еще станут смеяться: такой здоровый парень и, как девчонка, в зеркало себя рассматривает. Я смотрел украдкой и думал: «Котька шире меня в плечах — и

только». Я видел в боковом зеркальце свое сердитое лицо, глаза навыкате, рубашку апаш, подпоясанную ремнем, целые, без единой латки, черные молескиновые штаны. Серая кепка была слегка заломлена назад. Худо только то, что я был босиком. Надо было надеть сандалии. «Эх, ты!» — поругал я себя. Налюбовавшись собой вдоволь, я широко расправил плечи и, как борец, размахивая согнутыми в локтях руками, зашагал по мостовой к совпартшколе. Городские тротуары были гладкие и теплые от солнца.

ПЕРВЫЙ МАТЧ

На зеленой лужайке во дворе совпартшколы курсанты гоняли мяч.

Часовой у ворот, молодой черномазый парень с раскосыми глазами, в голубой буденовке, опираясь на винтовку, следил со своего поста за игрой. Я остановился возле турника.

Турник — водопроводная труба, до блеска отполированная ладонями, — был закреплен одним концом в развилке клена. Другой конец трубы был прибит скобками к врытому в землю столбу. Столб да брошенная на траву одежда и были воротами для играющих. Вторые ворота — два пенька — виднелись под самыми окнами нашего флигеля. Там в голу стоял, полусогнувшись, мой старый знакомый Полевой, секретарь партийной ячейки совпартшколы. После демобилизации из Красной Армии он решил не возвращаться к себе на родину, в Екатеринослав, а остался у нас, в Подолии, и уездный комитет партии направил Нестора Варнаевича в совпартшколу.

В тех воротах, что были возле меня, суетился лектор политэкономии, стриженный под машинку Картамышев в широченных синих галифе и оранжевой майке-безрукавке. Вчера я услышал, что этого Картамышева и лектора по естествознанию Бойко называли «братьями-разбойниками». Они были похожи друг на друга — носили синие костюмы и каракулевые папахи с красным бархатным верхом.

Теперь «брат-разбойник» Бойко суетился в центре. Я сперва не мог даже разобрать, кого он играет — центрфорварда или левого края. Он бегал посреди

лужайки в своих брюках с кожаными блестящими леями и, наконец, вырвав мяч, повел его в мою сторону, к турнику. Тогда я понял, что «братьев-разбойников» назначили в разные команды и что они играют друг против друга.

Не добежав до ворот шагов пяти, Байко рванулся вперед, крикнул и хватил по мячу так, что мяч чуть не распоролся. Вертясь волчком в воздухе и задевая траву, мяч пролетел в «ворота» и, скользнув мимо самых моих ног, подпрыгивая, покатился к часовому, а довольный Бойко, утирая пот с лица, крикнул растерявшемуся голкиперу:

— Поймал зайца?

Картамышев ничего не ответил и, тяжело дыша, помчался в своих тяжелых кованых сапогах вдогонку за мячом к будке часового.

Злой оттого, что ему забили гол, Картамышев возвращался обратно к воротам шагом, опустив стриженую голову.

Бойко, все не отходя от чужих ворот, подсмеивался:

— А еще говорите: мы, мы — сильная команда! А у нас двух игроков недостает, и то голы вам забиваем.

— Кто же вам мешает? Возьмите себе игроков еще! — хмуро ответил Картамышев.

Все игроки, переминаясь с ноги на ногу, нетерпеливо ждали продолжения игры.

— А где ж их возьмешь еще, игроков? — сказал Бойко и оглянулся.

Мне хотелось, чтобы он заметил меня. Но Бойко безразлично скользнул по мне взглядом и, привстав на цыпочки, посмотрел в палисадник. Там, около здания, за кустами подстриженной сирени, читали газеты два курсанта.

— Эгей, Бажура, идите в футбол играть! — крикнул через весь двор Бойко.

— Не хочу! — донеслось из-за кустов.

Я уже знал здесь некоторых курсантов, но попроситься в игру не решался. Ведь я неплохо играю в футбол. Ну, позови меня, позови! Я прямо чуть не прыгал на месте от волнения — так мне хотелось играть. А главное — такая подходящая наступила минута, чтобы войти в игру, но она сейчас пройдет, лишь только Картамышев зашнурует мяч. И я следил теперь, как голкипер заталкивал под кожу остаток сыромятного

хвостика. Ну вот... хвостик спрятался под кожаной покрышкой. Все, значит, кончено. Картамышев приготовился и, уже подняв перед собою мяч, чтобы бросить его на ногу, искоса глянул на меня. И остановился.

— Слушай, капитан! — крикнул Картамышев. — Возьми вот себе парня. Пусть не скучает.

Бойко медленно посмотрел на меня. Видно было — он колебался. Потом нехотя спросил:

— Эй, хлопчик! Умеешь играть?

— Умею, только не особенно! — ответил я дрожащим голосом, все еще не веря, что меня возьмут в игру.

— Да мы все тут не особенно, — засмеялся Бойко и приказал строго: — Беги к воротам. Беком будешь. Понял?

Ну, еще бы не понять!

И, задевая босыми ногами влажный подорожник, я помчался к Полевому. Уже пошла игра, и мяч заухал у меня за спиной. Полевой стоял в воротах, наклонившись, и следил за мячом.

— Я буду беком! — крикнул я, подбегая.

Полевой, не глядя, сказал:

— Ладно, становись! — и продолжал смотреть на середину поля.

Я стал перед воротами, поправил кепку и приготовился бить.

Теперь я уже чувствовал себя здесь своим. Если я хорошо сыграю, меня будут брать в игру каждый вечер. Я буду по воскресеньям ходить с командой на широкое поле к провиантским складам. Молодец Бойко, что позвал меня сюда. Важно только играть хорошо. Бить крепко, сильно. Хоть бы мяч сюда кто послал!

Но игра по-прежнему шла на центре. Вот Бойко снова повел мяч к чужим воротам. Ему наперерез бросился бек в белых трусах и блестящих сапогах до коленей. Бойко, обманывая бека, придержал мяч. Вот он бьет по воротам. Сейчас будет гол.

Ах, черт! Голкипер Картамышев выручает команду. Он легко взял мяч на носок сапога, и мяч взлетел вверх. Хорошая «свечка»! Мне бы, пожалуй, так не ударить. Я, задрав голову, следил за полетом мяча. Он падает вниз и сразу достается центру чужой, картамышевской, команды, Марущаку. Этот Марущак здорово играет. Видно, как мелькает между игроками его военная фуражка, красно-желтая, с вогнутым лакированным

козырьком. Марущак бежит прямо на меня, высокий, тяжелый. Мокрый мяч катится перед Марущаком. Он все ближе, ближе, этот бурый мяч, похожий на ежа. Марущак ударил. Мяч оторвался и, шурша по траве, такой хороший, низкий, мчится на меня.

Сейчас я его...

Я сразу засуетился, запрыгал, подняв навстречу мячу ногу... и промазал.

Полевой не ждал мяча. Казалось, вот-вот будет гол. Но в ту минуту, когда мячу оставалось пролететь до ворот каких-нибудь два шага, Полевой вдруг сразу бросился на землю и принял мяч. И сразу Полевой вскочил и, подбросив мяч, сильно ударил по нему кулаком. Мяч снова полетел на середину.

На белых трусах Полевого зеленело теперь большое круглое пятно. Он стряхнул с трусов стебельки мятой травы и недовольно крикнул:

— А ты не суетись зря. Я думал — ударишь. Зачем ногу задрал?

— Да я нечаянно, — буркнул я.

— Нечаянно, нечаянно, — пробормотал Полевой и добавил: — А ты наверняка действуй всегда. Не болтай ногой, когда мяч далеко. Понял? А вот подойдет близко — тогда бей сразу, навылет. И от ворот отойди подальше.

Я, словно меня подстегнули, рванулся вперед, в самую гущу играющих. Навстречу мне снова бежал Марущак без мяча. Противники что-то затевали. Так и получилось. Еще мы не встретились, как их левый край послал Марущаку мяч. Марущак приготовился бить. «Эх, была не была! — решил я. — Перебьют ноги — ладно». И бросился на здоровенного Марущака. Но он, думая меня обмануть, легким ударом хотел перебросить мяч через голову. Не тут-то было! Оставалась какая-нибудь секунда, и мяч был бы у меня за спиной, но я подпрыгнул и стукнул мяч лбом так, что моя кепка сразу же слетела. Не успел еще я нагнуться, чтобы поднять кепку, как мяч принял Бойко и косым ударом забил гол.

Мяч снова запрыгал по каменному двору к будке часового. Картамышев медленно побежал за ним, а Бойко, улыбаясь, крикнул мне через все поле:

— Так всегда играй. Понял? Пасовка, пасовка!

Я был счастлив. Хорошо, что я ударил головой, а

возьми я мяч, допустим, ногами, не получил бы Картамышев гол.

Игра оживленно пошла дальше. Мяч с шумом перелетал с одного конца двора на другой. Уже смеркалось. Загудели жуки-рогачи над густым кленом. Вокруг стояли, наблюдая за игрой, курсанты.

Мне было приятно, что они следят и за тем, как я играю. Я носился из одного конца поля в другой, я совсем забыл, что беку не полагается отбегать далеко от своих ворот, и однажды попробовал сам забить гол, но Картамышев перехватил мяч. Ноги мои были исцарапаны, где-то в пятке покалывала заноза, — видно, я загнал в пятку колючку от акации, и большой палец левой ноги был окровавлен — я зацепился за камень, но не почувствовал боли. Было жарко. Мокрый, вспотевший, я гонял по полю, стараясь вырвать мяч у чужих игроков. В это время, желая обмануть меня, Марущак издали ударил по воротам, но промазал. Мяч ударился и возвратился к воротам, унося на себе белое пятно известки. Опасность миновала, и я спокойно следил за игрой на центре.

Все игроки были распарены, как и я, от них пахло пóтом, табаком, сапожной мазью. Трусы у нашего голкипера Полевого зазеленились еще больше, а на колене краснела ссадина.

С улицы крикнули:

— Васька, Васька!

Я сперва ударил по мячу, передал его левому краю, а затем поглядел, кто это меня зовет.

Прижимаясь носом к деревянной перекладине забора, стоял Петька Маремуха. Он с жадностью глядел на игру и, видно, крепко завидовал мне. Прогоняя маяч мимо забора, я крикнул Петьке:

— Не уходи, скоро кончим!

Петька кивнул головой и поудобнее примостился на каменном фундаменте забора. Я же с налету ударил по мячу, дал отличную «свечку», но только чуть влево, за линию игры. Мяч упал прямо на верхушку клена, с шумом пробивая листву, зацепил турник и затем подкатился к ногам Картамышева за линией корнера. Где-то в коридоре здания прозвенел звонок.

— Пошли, товарищи, ужинать! — крикнул Полевой и, ловко подобрав лежавшую подле пенька одежду, вышел из ворот.

— Захватите мяч, товарищ Марущак! — распорядился Бойко и, подойдя к голкиперу Картамышеву, предложил: — Давай, Володя, сходим на речку до ужина, выкупаемся.

Картамышев согласился, и оба они, натягивая на ходу синие гимнастерки, направились к воротам.

Я обогнал их и выскочил на улицу первый.

— Здорово, Петрусь! — радостно сказал я Маремухе, крепко пожимая его пухлую руку. — Ну, видал, как я чуть не забил гол? Здорово, правда?

— Ты же портачил тоже здорово. Ту «свечку» как промазал, — ответил мне очень холодно Маремуха.

— А ты бы не промазал? — сказал я, но Петька, как бы не расслышав моего вопроса, спросил:

— Откуда ты их уже всех знаешь?

— Ну, не всех, а так половину знаю — вчера они здесь играли в городки, вот я и узнал, кого как зовут. Пойдем ко мне в гости! — предложил я.

— Как? Туда? — недоверчиво покосился глазами Маремуха в сторону нашего флигеля. — А мне разве туда можно?

— Раз со мной идешь — значит, можно! — важно сказал я, и мы двинулись к воротам.

Петьке Маремухе все понравилось у меня в кухне: и моя постель на печке, и разложенный в духовке инструмент, и окно, выходящее во двор. Пока Петька все разглядывал, трогая коротенькими и пухлыми, как у девочки, пальцами, я сидел на табуретке и выковыривал булавкой занозу.

Возле меня на краешке плиты, мигая, горела коптилка.

Вытащив, наконец, английской булавкой занозу, я стукнул пяткой по полу, — чуть-чуть защемила расцарапанная ранка. Я сполоснул под умывальником руки и стал думать, чем бы угостить Петьку. И вдруг, вспомнив свою встречу с Григоренко в саду, сказал Петьке:

— А ты знаешь, Петро, что Котька сюда захаживает?

— Куда? В совпартшколу?

— В том-то и штука, что сюда!

И я рассказал Петьке Маремухе о встрече с Котькой.

— А ты бы взял ему и всыпал! — смело сказал Маремуха.

— Легко тебе сказать — всыпал. Я бы всыпал, но, видишь, какое дело: его ж Корыбко в сад пускает.

— А разве Корыбко тут работает?

— Ну да! В том-то и фокус. Я сперва этого не знал и, когда застукал Котьку в саду, тоже удивился, чего он задается так, словно у себя дома. А потом вчера вечером смотрю — они вдвоем по двору идут. У Корыбки ножницы здоровенные и ведро с известкой. Спрашиваю одного курсанта, что этот старик здесь делает, а курсант мне и говорит: «Садовником работает».

— Вот оно что! — протянул Маремуха. — Ясное теперь дело. Раз Котька квартирант Корыбки, то теперь он свободно будет ходить сюда. Этот старый черт будет его пускать и когда яблоки поспеют.

— Факт! — подтвердил я.

— Ну, теперь Котька у вас все гнезда разорит. Ты знаешь, какая у него коллекция яиц? — сказал Петька. — Даже в городском музее такой нет. Он ведь давно собирает яйца. Такой здоровый, а все еще по деревьям лазает. Да, Васька! — спохватился Маремуха. — У меня же для тебя записка.

— От кого?

— А ну, угадай!

— Ну, скажи!

— Нет, ты угадай!

Петька вынул из кармана голубой конвертик и спрятал его за спину.

— Ну, дай сюда! — закричал я.

— Я дам, только ты побожись, что сделаешь одну штуку.

— Какую?

— Если тебя спросят, когда ты получил это́ письмо, скажи, что утром.

— Так ведь сейчас же вечер!

— Ну, я знаю. А ты скажи, что я тебе занес его утром. Хорошо?

— От кого письмо?

— Поклянись, тогда скажу!

— Ну, сам тогда возьму. Отдай письмо. — И я, шагнув к Петьке, схватил его за руку.

— Я не дам, Васька. Вот верное слово — не дам. Порву, а не дам. Ой, не крути руку!

Вырвать письмо было трудно. Я отпустил Петьку и сказал:

— Ну, хорошо. Я клянусь.

— Что клянусь? Ты хитрый. Скажи все, как полагается.

— Я клянусь, что если меня спросят, когда я получил письмо, скажу, что утром.

— Ну, тогда возьми! — И Петька протянул мне измятый конверт. Я быстро разорвал его и стал читать письмо.

«Вася!

Если у тебя есть время, приходи сегодня вечером ко мне, и мы пойдем вместе в иллюзион.

Галя».

Я чуть не бросился на Петьку с кулаками.

— Чего же ты мне не отдал письмо утром?

— Я не мог, я с утра поехал с папой на огород.

— А когда Галя тебе отдала письмо?

— Сегодня утром. На базар шла за молоком и отдала. А что там написано? — И Петька попробовал заглянуть в письмо.

— Подожди, — отстранил я Петьку. — А ты не мог забежать ко мне, как на огород ехал?

— Ну, конечно, не мог. Я вез тележку: оставил бы на улице, и ее могли бы украсть.

— Ну, хорошо, — сказал я, — я скажу Гале, когда ты передал мне письмо.

— Ой, не надо, Васька! Она будет думать, что я брехун.

— Почему?

— Да я сейчас шел по бульвару к тебе сюда. А она на качелях катается. Ко мне подбежала, спрашивает: «Ты передал записку?» Я говорю: «Передал». А записка у меня в кармане. А она спрашивает: «Когда передал?» — «Еще утром», — говорю.

— Зачем же ты набрехал?

— Ну и набрехал! Что сделаешь? — И Петька жалобно зашмыгал носом. — Она утром меня просила, чтоб я обязательно тебе передал записку. Я побожился, что передам. А потом забыл. Мне было стыдно сознаться, что я такой растяпа.

Петька почувствовал, что заврался совсем. Он оглянулся и потом растерянно сказал:

— Про огород я тебе выдумал нарочно... Я просто забыл.

Ну, как мне Петька все напортил! Если б он только знал!

Теперь мне все было понятно. Галя из гордости перед Котькой не спросила меня, получил ли я записку. Видно, она очень ждала меня сегодня вечером. А я, дурак, выдумал этого Тиктора и так был холоден с Галей! Мне очень захотелось побить Петьку, но я сдержался и спросил:

— А Галя с кем была на бульваре?

— С кем? Ясно с кем: с Котькой! — ответил Маремуха, не догадываясь, как затронули меня его слова. — С Котькой! — весело повторил Петька. — Да, да! Он ее на качелях раскачивает. Галя кричит, боится, а он ее как раскачает — аж до самой верхушки дерева! Котька — ее симпатия.

Теперь, после этих слов Петьки, я забыл и о футболе, мне стала противна моя собственная отдельная комната и все, все. Я представил себе, как Котька Григоренко раскачивал Галю на скрипучих железных качелях, как скрипели при этом два высоких ясеня, как развевалось по ветру Галино голубое платье, и мне сразу стало очень досадно.

В НАС СТРЕЛЯЮТ

— Ты револьвер почистил? — подлизываясь ко мне, спросил Маремуха.

— Почистил.

— Уже стрелял?

— Нет еще.

— Давай постреляем.

— Постреляем.

— А когда прийти?

— Когда? — Я задумался. «А что, если пострелять сейчас!»

— Слушай, — сказал я Маремухе, — давай сейчас попробуем.

— А где же ты будешь пробовать?

— В сад пойдем, — ответил я и, вскочив на печку, взял «зауэр».

— В сад? Да что ты! Услышат, — сказал Маремуха.

— И ничего не услышат. Там деревья, темно, никого нет. Там хоть бомбы рви — здесь ничего не слышно: дом заслоняет звуки. А курсанты все теперь ужинают, — ответил я и с револьвером в руках гулко спрыгнул на пол.

— Не-ет, Василь. Я не хочу в сад. Пойдем лучше завтра к Райской брамке. Там скалы и людей нет.

— Но и тут никого нет. Ты чудак! — ответил я и бросил на пол промасленную бумагу, в которой был завернут «зауэр».

Петька смотрел на револьвер, как на живую гадюку, — было вовсе не похоже, что всего несколько дней назад этот «зауэр» принадлежал ему.

— Ну я ж тебя прошу! Пойдем в Райскую брамку. Я своих патронов принесу. Ну пойдем, Васечка!

— Тише ты! — цыкнул я на Петьку. — Никуда мы завтра не пойдем, а будем стрелять сегодня. И если ты сейчас не пойдешь со мной в сад, я никогда с тобой разговаривать не буду. Понял? Я всем хлопцам расскажу, какой ты трус. Понял? И всем девчатам тоже. Ну, пошли. Нечего хныкать.

Засунув револьвер за пазуху, я направился к двери и с треском отбросил крючок. Петька молча двинулся за мной.

Когда мы с Петькой пробирались по темному саду, я уже пожалел, что затеял это. Ночью в саду все было незнакомо. Кустики барбариса казались огромными деревьями, шелковица, груши, яблони сливались в одну темную стену. Где-то далеко-далеко позади, в совпартшколе, глухо стукнула дверь, и снова стало тихо. В каменном заборе, вдоль которого мы шли, пели сверчки. Иногда они замирали, как бы прислушиваясь к шороху наших шагов, но потом снова продолжали свое пение.

Сквозь листву деревьев было видно чистое, все в переливающихся звездах небо, рассеченное надвое белым от звезд Чумацким шляхом.

Мы шли не по дорожке, а напрямик. Ноги жгла крапива, хворост и пересохший бурьян похрустывали внизу. Впереди не было видно ни одного огонька. Там, за садом, кончался город. Петька, молча и не отставая от меня ни на шаг, семенил сзади.

— Давай налево! — приказал я Маремухе и, схватив его за руку, повернул в сторону. Мне хотелось уй-

ти подальше, в самый конец сада, к оврагу. Прямо перед нами выросла окруженная кустами сирени горка.

— Это сарай? — шепнул Петька.

— Горка, смешной! — успокоил я его и остановился.

— Здесь будешь стрелять?

— Нет, я просто заряжу, — ответил я Петьке. И, вынув из кармана косую обойму с патронами, затолкал ее в рукоятку револьвера и оттянул затвор. Щелкнув, затвор возвратился обратно, — все было в порядке. Патрон лежал теперь в стволе.

— Пошли! — предложил я Петьке.

— Василь, когда будешь стрелять, скажи мне раньше. Я уши закрою! — взмолился Петька.

Я ничего не ответил и подумал только: «Как же, жди! Так я тебе и скажу, когда буду стрелять. Какой интерес? Пальну сразу — и тогда сядешь с перепугу».

Я уже легонько трогал пальцем спусковую гашетку, но стрелять здесь еще было опасно: могли услышать. Я пробирался сквозь мокрые от росы кусты, их ветви больно хлестали шедшего сзади Маремуху.

Но вот реже пошли деревья, и, освещенный ясным светом звезд, замаячил вдали за низенькими кустами старый монастырский забор.

Сделав еще шага три, я остановился. «Дальше идти не стоит, — подумал я, — и в забор стрелять тоже опасно. Пуля еще даст рикошет».

Перед нами чернело высокое кривое дерево. Одна его толстая ветка, как здоровенная лапа, тянулась к забору.

Далеко у реки заухал филин. И вдруг я подпрыгнул на месте и, тонким, срывающимся голосом закричав: «Стой!» — выпалил прямо в ствол этого черного кривого дерева. Красный клубок огня вырвался из вздрогнувшего револьвера.

И не успело прокатиться по темному, глухому саду, по соседним оврагам эхо, как под забором послышался шум и кто-то очень ясно крикнул:

— Прендзе!

И вслед за этим криком «скорее» один за другим два тяжелых гулких выстрела прогрохотали там в кустах. Я видел огоньки пороховых вспышек, слышал, как тонко, точно осы, завизжали где-то у меня над головой пули.

— Беги! — крикнул Маремуха и, ломая кусты, понесся назад.

— До забора! — шепнул я ему на ходу, и мы сразу взяли круто назад.

Там, за ореховой аллеей, виднелся все тот же окружающий сад каменный забор.

Я подбежал к нему, подпрыгнул и обеими руками схватился за покатую верхушку. С шумом полетели вниз, в густую крапиву, камни, зашуршал мелкий щебень.

Уже переваливаясь грудью через забор и забрасывая наверх ноги, я услышал, как царапался, взбираясь на забор, Маремуха.

Мы спрыгнули вниз почти одновременно. Пыльная проселочная дорога к Приворотью пролегала под забором. Как приятно было бежать по этой ровной проселочной дороге после засыпанного колючками сада! Ноги вязли в мягкой, еще теплой пыли.

Остановились мы уже наверху, около белого здания совпартшколы. В этом выходившем на проселочную дорогу левом крыле здания было темно.

Только в самом верхнем окне третьего этажа тускло горел свет.

— Кто это был? — задыхаясь от быстрого бега, спросил Маремуха.

— А я знаю?!

— Кому же ты кричал «стой»?

— Бандитам! — ответил я твердо.

Никаким бандитам я, конечно, не кричал. Просто мне было страшно ни с того ни с сего спустить курок. Чтобы заглушить страх, я и крикнул самому себе «стой».

Но кто же был там? Кто кричал «прендзе»? Кто палил в нас?

Только сейчас, на пыльной проселочной дороге, в нескольких шагах от ворот совпартшколы, где было столько вооруженных людей, мне вдруг сделалось очень страшно. И я пожалел, что мы переехали сюда, на окраину города, с нашего тихого Заречья, где никогда со мной такого не приключалось.

— Петька, зачем тебе домой идти? — сказал я Маремухе очень спокойно. — Пойдем лучше ко мне, переночуешь на печке. А завтра рано в сад залезем, я тебе крыжовнику дам.

— Нет, спасибо! — решительно отозвался Маремуха. — Я тебе говорил, что у вас здесь нечисто. Нехай сатана у вас ночует, а я не буду. До свидания! — И сразу же побежал вниз по Житомирской на Заречье. Его белая рубашка быстро исчезла в темноте.

Утром чуть свет, когда еще отец и тетка крепко спали в соседних комнатах, я поднялся и пошел в сад. Роса блестела всюду — и на листьях слив, и на кругленьких темно-красных листочках барбариса, и на больших лопухах.

Я шел вниз к забору и даже удивлялся: чего мы так перепугались вчера? А может, просто это какой-нибудь курсант выстрелил? Кто его знает! Не верилось, что все случилось именно здесь, вот в этом саду. Мне казалось даже, что выстрелы, наш побег из сада — все это приснилось мне прошлой ночью, душной и тяжелой оттого, что я спал при закрытом окне. Но чем ближе я подходил к оврагу, тем медленнее становились мои шаги. А вдруг в кустах лежит человек, убитый пулей из моего револьвера?

К кустам, которые росли под самым забором, я подходил уже совсем медленно. Сперва я несколько раз прошел мимо. Кусты стояли тихие, на одном из них звонко пела коноплянка. Трава под кустами была примята. Наконец я решился и осторожно раздвинул кусты. Жалобно пискнув и ныряя под ветвями, коноплянка улетела прочь из сада. В кустах никого не было. Я уже хотел идти дальше, как вдруг заметил в траве около пенька погнутую алюминиевую миску. Рядом валялась алюминиевая ложка. В миске, покрытая слоем жира, застыла не доеденная кем-то ячменная каша. Такой кашей часто кормили на ужин курсантов. Эту кашу, наверно, ели вчера люди, стрелявшие в нас. Кто они? Зачем понадобилось им ужинать здесь, в саду, под кустами? А может, это был курсантский патруль? Но почему тогда они оставили миску? Я хотел поискать еще в траве стреляных гильз, но мне стало не по себе в этом тихом, влажном от утренней росы саду.

Если бы тут рядом был Петька — другое дело. Но Маремуха был далеко. Он, должно быть, еще крепко спал в своем флигеле на Заречье. Спали и курсанты в белом здании совпартшколы. Мне сразу захотелось домой, туда, к себе в кухню.

Подобрав миску, я пошел к высокому и красивому дереву. Это был старый берест, в него я вчера стрелял и опознал сейчас это дерево по кривой, протянутой к забору высохшей ветви. Вот здесь мы стояли вчера с Петькой, отсюда я крикнул «стой».

В одном месте на коре береста краснела свежая коричневая царапина. Здорово! Я, целясь навскидку, попал в дерево: из ствола торчал хвостик колючей, расщепленной от близкого выстрела мельхиоровой пульки.

Куда же деть посуду?

Бросить миску просто так, в траву, я пожалел. В стороне на боковой дорожке рос высокий, с гладкой светло-серой корой грецкий орех. В его расщелине, на высоте моей груди, чернело большое дупло. Я затолкал в него миску, и она, пройдя косяком всю щель, упала вниз, на самое дно дупла.

Еще раз оглядев старый берест и пульку, торчащую из коры, я решил обязательно привести сюда Марему-ху — пусть поглядит, какой я меткий стрелок. Позабыв совсем о ночных страхах, я быстро зашагал по дорожке к выходу из сада.

До калитки оставалось несколько шагов, когда из-за кустов крыжовника со старинной дупельтовкой за плечами, похожий на охотника, вышел садовник Корыбко. Он был в черном сюртуке, нанковых синих брюках, заправленных в рыжие сапоги. На голове у него был синий картузик с черным околышем, лакированным козырьком и черным шнуром. Сморщенный, усатый садовник Корыбко, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу.

— Стой! Стой! — крикнул он, хотя я вовсе и не собирался удирать. — Я тебе покажу, как крыжовник воровать! — И Корыбко снял с плеча свою дупельтовку.

Побаиваясь, как бы он не выпалил в меня зарядом из соли, я пробормотал:

— Да что вы, дядя? Я же свой, здешний.

— Какой еще здешний?

— Я же Манджура! — заявил я очень гордо, словно мой отец был по крайней мере начальником совпартшколы. — Я же сын печатника Манджуры!

Корыбко испытующе глянул на меня — не вру ли, заморгал опухшими коричневыми веками и медленно повесил обратно за плечо свою дупельтовку.

— В белом флигеле поселились? — спросил Корыбко уже более мягко. — Раньше на Заречье жили, да?

Я кивнул головой.

— Чего ж ты бродишь по саду в такую рань? Что ты забыл здесь?

— Я гулять ходил.

— Гулять! — заворчал садовник — Люди еще спят, а он гуляет. Бульвар нашел тоже — нечего сказать! Но смотри: будешь рвать крыжовник, в руки не попадайся! Отцу скажу, и тогда...

— Добре, дядько! — крикнул я, не дослушав, и помчался домой.

«Однако этого черта старого надо остерегаться, — думал я, подходя к нашему флигелю, — и доверять ему нельзя. Если сейчас, когда только начинает созревать крыжовник, он выходит караулить сад спозаранку, то что, интересно, будет, когда поспеют яблоки и груши?»

Завтрак был очень вкусный. Тетка Марья Афанасьевна нажарила оладий из муки и тертого сырого картофеля. Оладьи были нежные-нежные, мягкие, покрытые сверху хрустящей розоватой коркой. Груда поджаренных оладий дымилась посреди стола в покрытой глазурью глиняной миске. В комнате пахло подгорелым подсолнечным маслом. Я сидел напротив отца, уже крепко проголодавшийся после утренней прогулки, и накалывал вилкой оладьи. Я уплетал их за обе щеки, обжигая губы горячим маслом. Отец пережевывал оладьи молча, медленно шевеля густыми черными усами. Я поглядывал на него, молчаливого, и мне очень хотелось рассказать отцу о том, что приключилось с нами вчера ночью. Но я побаивался. Еще, чего доброго, отец меня побранит, а то и отнимет револьвер Ну его! Ничего не скажу! А что, если Петька Маремуха вдруг проболтается кому-нибудь? Нет, вряд ли: он побоится.

— Когда на рабфаке занятия начинаются, Василь? — отложив в сторону вилку, спросил отец.

— Занятия? — Я думал о другом и поэтому вздрогнул. — Пятнадцатого сентября начинаются.

— Знаешь наверное, что экзаменов не будет?

— Не будет, тату. Я ж тебе говорил: кто трудшколу кончил, тех без экзаменов примут.

— Смотри! А то поздно будет.

— Что поздно?

— Готовиться. Ты бы лучше сейчас, чем болтаться с Петькой, подучил кое-что. А то позабудешь все за лето.

— Ничего. Я помню все. Вот спросите.

— Ты хитрый. Что же я тебя спрашивать буду? — улыбнулся отец.

И верно. Спрашивать ему было нечего. Хотя отец умел набирать по-французски, по-итальянски и даже по-гречески, но вот что такое за штука префикс или суффикс — он, возможно, не ответил бы.

Тетка внесла из кухни коричневый эмалированный чайник и, заварив в чайнике щепотку фруктового чаю «малинки», стала наливать в чашки кипяток. Потом она дала нам с отцом по две штуки монпансье и села за стол.

— А на рабфаке долго учиться? — спросила она, глядя на меня и завязывая платок.

— Года три.

— А потом?

— Ну, потом сразу переведут в институт.

— Туда, где духовная семинария была? — спросила тетка.

— Ага!

— Ты совсем большой будешь, когда институт окончишь!

— Я и сейчас большой, — обиделся я. — У меня уже усы растут.

И я провел блестящим от масла пальцем по верхней губе. Никаких, конечно, усов там не было — мне просто хотелось позадаваться.

— Ну, ладно, усатый, — сказал, подымаясь из-за стола, отец. — Я сейчас в город поеду, а ты помоги тетке дров наколоть.

В это время легко отворилась дверь, и в комнату вошел Полевой. Он поздоровался со всеми и даже со мной за руку.

— Садитесь, чаю выпейте, — предложил отец и крикнул тетке в кухню: — Дай-ка чистую кружку, Мария!

— Да нет, спасибо! — отказался Полевой. — Я уже пил.

— Ну, тогда оладий попробуйте, домашние!

— Нет, нет, не беспокойтесь. Я же с завтрака. — И, оглядываясь, Полевой спросил: — Уже устроились?

— Много ли нужно? — ответил батько.

— Когда же на учет перейдешь к нам в ячейку?

— Да вот сегодня заберу в типографии остаток шрифта и захвачу у секретаря учетную карточку.

— Чем скорее, тем лучше, — сказал Полевой. — Тут люди в связи с учебой пооторвались от производства, а ты — рабочая прослойка. Ряды наши будешь укреплять.

— Мной ты много укрепишь! — сказал отец, улыбаясь. — Вы здесь все ученые, а я серый. Вон хлопец мой, — отец кивнул на меня, — и то больше знает.

— Ладно, ладно, не скромничай, — ответил Полевой. — Скажи лучше, у тебя чоновская карточка в порядке? Ты в каком отряде?

— В третьем.

— Оружие есть?

— Только наган. Винтовку я в штаб сдал.

— Ничего, закрепим винтовку за тобой здесь, в складе. Ты из отряда тоже открепись — и к нам. А то, понимаешь, отсюда в штаб ЧОНа по тревоге тебе бегать будет неудобно. Сегодня обязательно открепляйся и будешь у нас на полном иждивении.

Когда отец и Полевой ушли, я вытер полотенцем засаленный рот, надел праздничную сатиновую рубашку, сандалии и, причесав волосы колючей щеткой, побежал на Выдровку.

РЕВНОСТЬ

На центральной площади, под ратушей, уже открывались магазины. Хозяева магазинов поддевали крючками гофрированные железные шторы, толкали их, и шторы с грохотом взлетали под карнизы этажей и прятались там. В этом шуме и грохоте одна за другой показывались нарядные витрины. Я шел мимо витрин по холодному, еще сырому с ночи тротуару. Из конфетной Аронсона на меня пахнуло густым сладким запахом конфет-«подушечек». В полутьме магазина за прилав-

ком уже копошился сам Аронсон. Хорошие у него «подушечки», вкусные! И каких только нет! Темно-красные с вишневой начинкой, нежно-желтые лимонные, прозрачные медовые, ореховые, черная смородина, барбарисовые, но самые вкусные, конечно, кисленькие мятные. Особенно приятно их есть в жару, когда хочется пить. Они быстро утоляют жажду. Аронсон подливает в них немного мятных капель, и после таких конфет во рту долго-долго прохладно — точно ветерком продуло. «Зайти разве купить четверть фунта мятных да угостить Галю? Но ведь у меня всего десять копеек. Не хватит. Вот жалко!» И, нащупав у себя в кармане последние два пятака, я пошел дальше.

«Поскорее бы начинались занятия на рабфаке, — подумал я. — Говорят, рабфаковцам выдают стипендию — по пятнадцати рублей в месяц. Можно тогда будет свободно покупать «подушечки», не придется просить денег у отца».

Освещенные утренним солнцем, блестели в витринах ювелирного магазина подержанные никелированные будильники, золотые браслеты, потемневшие серебряные подстаканники. Показалось за углом самое лучшее в нашем городе кафе-кондитерская Шипулинского.

За его высокими чистыми витринами были видны белые мраморные столики, а на дверях висел тяжелый замок. Шипулинский еще не пришел.

Вверху на ратуше послышался бой часов. Стрелки показывали ровно девять. Галя, наверное, уже проснулась. Надо торопиться! Я поддал ходу и свернул в узенький проулочек, сжатый с обеих сторон высокими трехэтажными домами. Окошечки в них маленькие, без форточек, старинные дома стоят очень близко друг к другу. На одном из домов виднеется старинный герб — лебедь с выгнутой шеей, а под ним римскими цифрами обозначен год, по-видимому, очень давний.

Пройдя тенистым, узким и очень грязным проулочком, я вышел на Колокольную. Здесь было чище, хотя в одном месте на круглых булыжниках валялся навоз и кой-где камни проросли бурьяном. Выискивая ячмень, бродили по мостовой куры. Тянулось вдоль дороги высокое здание бывшего воинского присутствия с церковными куполами в глубине двора, за ним начиналась деревянная ограда Старого бульвара. Я толкнул веду-

щую на бульвар маленькую скрипучую калиточку и только прошел несколько шагов, как у поворота большой аллеи встретился с Галей.

Я думал, что застану ее дома, и был удивлен встречей с ней. Я чувствовал себя виноватым перед Галей и не знал, что лучше — пропустить ли ее, а потом окликнуть сзади, или сразу броситься ей навстречу.

Галя шла быстро, в руке у нее была кругленькая плетеная корзиночка, покрытая сверху кусочком марли.

— Здравствуй! — сказала Галя очень холодно и, кивнув мне головой, быстро пошла дальше.

Я крикнул вдогонку:

— Галя!

Она остановилась. Высокая, румяная, в простеньком голубом сарафанчике, она стояла посреди аллеи и удивленно смотрела на меня. Темные ее волосы были зачесаны назад, и розовые маленькие уши были открыты.

— Куда бежишь? — спросил я.

— Да так, в одно место!

— А куда — в одно место?

— Какой ты любопытный! С чего бы это? Ну, если тебе интересно — к папе. Завтрак ему несу! — И Галя махнула корзинкой.

Помолчали. Галя смотрела в сторону, на речку, что протекала внизу под обрывом. Потом, не глядя на меня и делая вид, что я ей совершенно безразличен, Галя спросила:

— А ты... куда?

— Я... к тебе.

— Ко мне?

— Ну конечно. А чего ты удивляешься?

— Вот никогда бы не подумала.

— Почему?

— Но я ж тебя просила прийти — ты не пришел.

— Галя, честное слово, я не виноват. Ну, давай пойдем туда, к скале, я тебе все расскажу.

— Что расскажешь?

— Все как есть. Это Петька виноват. Давай сядем.

— Нет, садиться я не буду. Мне некогда. Вот, если хочешь, проводи меня. Скоро на заводе обед, а папа голодный останется...

Мы пошли рядом. Когда я рассказал Гале, как обманул ее и меня Петька, она протянула:

— Вот жулик толстый, смотри ты! А я думала — ты на меня сердишься за что-нибудь. Не приходит, не приходит! Дай, думаю, напишу записку. Послала — тоже не приходит. А встретились — даже не разговаривает. Важный такой. Ну, думаю, и не надо.

— Скучно тебе было? — криво усмехаясь, сказал я. — Вот не поверю. Ты же с Котькой ходила!

— Ну, то когда было, — безразлично протянула Галя, — когда ты на Подзамче ушел. Мы с Котькой на качелях катались, комическую картину смотрели в иллюзионе, а когда совсем стемнело, сюда зашли. — И Галя спокойно кивнула головой на кондитерскую Шипулинского.

— К Шипулинскому? — переспросил я и даже поперхнулся от волнения.

— Ага. Если бы ты знал, какие мы ели миндальные пирожные, а потом мороженое фисташковое.

— Ну, подумаешь! Я каждое воскресенье захожу сюда с нашими хлопцами.

— Правда? — поверила Галя. — Смотри ты! А меня на улице тот раз мороженым угощал. Зашли бы лучше сюда.

— Ну и зайдем. Конечно, зайдем.

«Вот дурак, нахвастался! — тотчас выругал я себя. — Как же я поведу Галю в кафе, когда у меня денег нет?»

А Галя, словно угадывая мои мысли, спросила:

— А откуда у тебя деньги, Васька? Ты же не работаешь?

— У меня больше денег, чем у твоего Котьки. Я насобирал себе денег.

— Ну, положим, — протянула Галя. — И совсем не больше. Котька знаешь сколько у медника получает? А ну, угадай. Ни за что не угадаешь! На десять рублей меньше, чем мой папа на заводе получает. Тридцать пять рублей в месяц Котька получает, вот.

— Ну, то он тебе нахвастался!

— Чего нахвастался? Да Захаржевский сам моему папе рассказывал, сколько он денег Котьке платит.

— Еще бы не платить! — сказал я. — Захаржевский жулик! Он частник! Он в своей мастерской людей как хочет обмахоривает, оттого и Котьке много платит. Чтобы молчал.

— Ну, этого я не знаю, — ответила Галя.

Разговор оборвался.

Я шел и думал о Котьке.

Котька все больше и больше становился у меня поперек дороги.

Чем ближе мы подходили к Больничной площади, тем громче доносился оттуда частый треск заводского двигателя. Вскоре мы увидели красные кирпичные стены заводского здания и пошли к нему напрямик через площадь, поросшую густым подорожником. На одной стороне площади, в глубине тенистого двора, усаженного высокими тополями и старыми липами, виднелось длинное, растянувшееся на целый квартал здание бывшей земской больницы.

Завод «Мотор» стоял напротив, через площадь. Почему его так назвали, трудно сказать. Моторов завод не собирал, а делали на нем только маленькие соломорезки да изредка ремонтировали тяжелые вальцы для соседних мельниц. Рядом с заводом высился желтый трехэтажный дом — заводская контора. Сюда приходили крестьяне, платили деньги и увозили к себе домой крашенные зеленой краской соломорезки с круглыми чугунными маховиками на боку.

Завод в нашем городе был самым большим предприятием: на нем работало сто десять рабочих, по утрам заводской гудок ревел так громко, что его было слышно и на Заречье и даже у нас — в совпартшколе.

Узенькая железная труба с острым колпачком, притянутая к земле четырьмя тросами, дымилась над заводом. Когда мы подошли совсем близко, запахло курным углем.

— Ты... очень торопишься? — спросила меня Галя, останавливаясь.

— Нет, а что?

— Подожди меня. Хочешь? Я снесу папе завтрак и — назад.

— Только быстренько. Раз-два!

— Я недолго! — крикнула Галя и убежала. От ветра ее голубой сарафан надулся, обнажив длинные, загорелые ноги. Галя бежала легко, поправляя на бегу свободной рукой волосы. Когда она скрылась за воротами, я подошел к заводу и стал прогуливаться по тротуару.

Завод стоял на крепком кирпичном фундаменте. Сквозь разбитые стекла его чугунных переплетов до-

носился скрип станков. Кто-то крикнул. Тяжело ухнули кувалдой.

Хорошо, должно быть, работать там, внутри завода, у станка, и растачивать острыми резцами твердое железо! А потом, когда наступит обед, сидеть на солнышке на заводском дворе, посреди старых поржавевших маховиков, обломков железа, и есть из платочка свежий хлеб с краковской колбасой. Солнце греет вовсю, птицы поют на деревьях в соседнем больничном саду, а ты знай себе сидишь да не спеша пожевываешь колбасу. Времени на обед дается на заводе много — целый час, словно на большую перемену в трудшколе.

А как, должно быть, приятно, когда тебя спросят, кто ты, ответить: рабочий! Да еще добавить погодя: работаю на заводе «Мотор»! Это очень много значит — работать на заводе «Мотор», быть металлистом. В нашем маленьком городе есть рабочие-типографщики, железнодорожники, мукомолы, деревообделочники, но никого так не уважают, как металлистов. Про них все говорят: это чистокровные пролетарии, это настоящий рабочий класс!

В большие революционные праздники, когда колонны жителей города маршируют перед сосновой трибуной по бывшей Губернаторской площади, сразу же за главным оркестром идет завод «Мотор». Идут литейщики, слесари, кузнецы в кожаных фуражках, в синих спецовках. Знамя завода, тяжелое, бархатное, обшитое золоченой бахромой, — самое красивое в городе. На этом красном бархате масляными красками нарисован в кожаном фартуке рослый рабочий, выпускающий из высокой черной печки струю расплавленного металла.

Знамя для завода было сделано не в нашем городе, как знамена других профсоюзов. Бархатное знамя металлистов заказывали в Киеве, и делали его там лучшие мастера. Это тяжелое бархатное знамя обычно несет самый сильный из металлистов-литейщиков, Козакевич, любитель французской борьбы и очень веселый парень. Недавно, когда трудящиеся города в годовщину захвата румынскими боярами Бессарабии демонстрировали перед исполкомом, требуя вернуть Бессарабию, было пасмурно и ветрено. Ветер рвал изо всей силы бархатное полотнище знамени, древко гнулось, но Жора Козакевич шел впереди колонны с высоко поднятой

головой и не выпустил знамени из своих загорелых мускулистых рук. Да что там говорить! Рабочим-металлистом очень почетно быть. Жаль, что мне нельзя сейчас попытаться поступить на завод. Надо окончить рабфак и потом...

Я подошел вплотную к задымленной выхлопной трубе. Она торчала прямо из стены — черная, немного загнутая вниз. Камни на тротуаре под трубой закоптились, стали скользкими от нефтяного нагара и блестели. Из трубы вылетал голубоватый прозрачный дымок.

А ну, интересно — горячо или нет? Я осторожно провел под трубой рукой. Ладонь мою сразу обдало тугим и теплым дыханием двигателя.

Потрогал и трубу — теплая.

А что, если закрыть трубу совсем, остановится двигатель или нет? Но только я поднес ладонь к черному и скользкому отверстию, как ее сильной струей теплого воздуха сразу же отбросило вниз. Тогда я подложил обе ладони вместе, но и они были отброшены вниз сильной струей газа.

Скоро ладони покрылись маслянистым глянцем и пахли, как труба, перегорелой нефтью, заводом, станками.

«Должно быть, так пахнут все металлисты», — подумал я, и мне стало не по себе, что я — лодырь — шатаюсь по улицам днем, когда все работают, а самое главное — неуютно стало на душе оттого, что мне предстояло гулять еще долго, до самой осени, до того времени, когда начнутся занятия на рабфаке.

— Василь! — послышалось издали. — Пошли!

Я обернулся. Помахивая пустой корзиночкой, Галя ждала меня у ворот.

Мы погуляли с Галей еще немного на бульваре, покатались там на качелях; когда я понял, что Галя перестала на меня сердиться, я проводил ее домой и, веселый, пошел купаться к водопаду.

Но вот ближе к ночи, когда зажглись все шесть окон курсантского клуба в здании совпартшколы, мне сделалось очень тоскливо. Не заходя к родным, я вышел из кухни и сел на ступеньках каменного крыльца.

Большой жук пролетел над ветками явора и сразу же круто взвился вверх. В красном флигеле напротив, где жил начсостав школы, было ярко освещено одно окно. Из этого окна доносились звуки балалайки. Там

жили Картамышев и Бойко. Видно, это кто-нибудь из них играл сейчас на балалайке.

На кухне мыли посуду после курсантского ужина. Слышно было, как постукивают в чанах с горячей водой алюминиевые ложки, миски, большие кастрюли из-под соусов.

Я вспомнил о сегодняшнем обещании повести Галю в кондитерскую к Шипулинскому. Уже после полудня, когда, нагулявшись вдоволь по дорожкам бульвара, мы расставались, Галя лукаво посмотрела на меня и спросила:

— Скоро будем есть пирожные, да?

— Ну конечно! — сказал я басом и поспешил поскорее уйти. Теперь нельзя было показаться на глаза Гале, пока у меня не будет денег, иначе она подумает, что я лгун и обманщик вроде Петьки Маремухи. Но где взять денег? Одолжить у Петьки? Не даст! Да и нет у него столько денег — копеек двадцать, может, наберется. Жаль, что я выменял у Петьки на его револьвер своих голубей. Для чего он мне, этот револьвер? А голубей можно было снести на птичий базар и продать.

Что же еще можно продать из моих вещей? Я стал перебирать в уме свое имущество: клещи, молоток, снарядные капсюли, альбом для марок. Все это для продажи никак не годилось.

На кухне сильнее загромыхали посудой. Я представил себе, как старший повар обливает кипятком из медного бака засаленные миски и ложки.

— Ложки... ложки... ложки...

Несколько раз я тихо, про себя, повторил это слово.

В маленькой плетеной корзинке у тетки Марьи Афанасьевны лежали завернутые в бумагу полдюжины серебряных ложек. Не раз, вытаскивая их оттуда, тетка говорила:

— Это приданое тебе, Василь. Будешь жениться — подарю тебе на хозяйство ложки.

Почему я не могу взять ложки сейчас, раз они для меня приготовлены? Ну, хоть не все, а половину, скажем?

«Но ведь это будет кража», — подумал я и оглянулся так, словно кто-то мог подслушать мои мысли. Но вокруг никого не было.

«Это когда чужой у чужого ворует, тогда кража, — подумал я, — а я свой, и ложки для меня приготовлены.

Нужно мне беречь их для приданого — разве я буржуй?»

И в этот теплый летний вечер, сидя на каменном крыльце флигеля, я твердо решил забрать у тетки половину ее ложек.

У ЮВЕЛИРА

За витриной у деревянного столика сидел седой старый ювелир. Несколько раз, сжимая в кармане рукой, чтобы не звенели, три серебряные ложки, я проходил мимо ювелира и все не решался войти.

Возле ювелира были люди. Двое. Они разговаривали с ювелиром, а он, не вставая, искоса глядел на них.

— Ну, уходите побыстрее, черти! Побыстрее, ну!.. — шептал я, злясь на этих разговорчивых людей.

Возвращаться еще раз к ювелиру мне не хотелось, и я перешел на другую сторону улицы и остановился около витрины магазина Аронсона. Рассыпанные на блюде, лежали за пыльным стеклом наполовину растаявшие под солнцем конфеты-«подушечки». По блюду ползали мухи, шевелили крылышками, нежно прикасались к сладкой конфетной жиже тонкими носиками. Я поглядывал в сторону ювелирного магазина. Наконец стукнула дверь, и на улицу вышли двое людей. Один, низенький, в синей толстовке до коленей, держал на ладони белые часы. Выйдя на тротуар, он глянул на них, весело сплюнул и передал часы другому человеку, высокому и плешивому, в черных роговых очках. Плешивый пожал плечами и, сунув часы в карман, пошел в другую сторону, а человек в синей толстовке, легко подпрыгивая, быстро побежал вниз, к мосту. Видно, плешивый хотел обжулить этого низенького в толстовке, но ничего у него не вышло.

Я перешел дорогу и, набравшись храбрости, толкнул дверь магазина.

Тикали в углу большие стенные часы, пахло кислотой. За деревянным барьерчиком, прижатый к стене, стоял тяжелый несгораемый шкаф.

Седой ювелир сидел, сгорбившись, и разглядывал в лупу круглую браслетку с темно-зеленым камнем. Когда я подошел к деревянному барьерчику, ювелир поднял голову и глянул на меня.

— Вы... покупаете серебро? — спросил я тихо.

Ювелир вынул из глаза трубку с лупой, положил ее на стол и сказал:

— Ну, допустим, покупаю... А что?

— Вот, хочу продать... — сказал я и, чуть не разорвав карман, вытащил оттуда ложки. Я положил их рядышком на деревянный барьерчик.

Ювелир быстро сгреб их к себе и стал просматривать на каждой пробу. Потом, глядя мне в лицо, он спросил подозрительно:

— Чьи ложки? Небось ворованные?

— Мои, — ответил я совсем тихо, чувствуя, как лицо заливает кровь. И добавил: — Мне мама велела их продать. Она больна.

— Мама велела? — переспросил ювелир. — Значит, ложки не твои, а мамины?

Я кивнул головой.

— Где вы живете?

— На Заречье, — соврал я.

— Адрес?

— В Старой усадьбе... Возле церкви...

— Над скалой?

— Ага...

— Твоя фамилия?

— Маремуха! — выпалил я и съежился, думая, что ювелир сейчас же схватит меня за шиворот и позовет милиционера.

Но старик, записав фамилию на крышке папиросного коробка, спросил сухо:

— Сколько?

— А сколько дадите?

— Твой товар — твоя цена! — строго сказал ювелир и поглядел в окно.

Я поднатужился и сказал как можно тверже:

— Шесть рублей!

— Много! — ответил ювелир, вставая. — Четыре?

— Ну, давайте четыре!

Ювелир, не глядя, открыл ящик стола, вынул оттуда желтый кожаный бумажник и, отсчитав деньги, положил их на барьерчик. Я схватил эти четыре грязные бумажки и, сжав их в кулаке, выбежал на улицу.

Я шел домой мимо поросших зеленью палисадников, опустив голову, стараясь не глядеть в лицо случайным прохожим.

Было жарко.

Лицо горело от стыда.

Лишь за один квартал до совпартшколы я, разжав кулак и расправив смятые влажные бумажки, сунул их в карман.

— Василь! Подожди! — закричал кто-то издали.

Я обернулся. Снизу по Житомирской бежал Маремуха. Он приблизился, и я увидел, что лоб его блестит от пота.

— Фу, заморился! — сказал Петька, пожимая мне руку. — Целое утро полол кукурузу, аж четыре грядки выполол, а теперь тато пустил меня погулять... Где ты пропадаешь, Васька, почему не заходишь?

— Да времени не было!

— Кто стрелял, ты знаешь?

— А откуда я знаю кто? Может, жулики с Подзамче в сад залезли за крыжовником.

— Ну, ты брось! — важно сказал Маремуха. — Какой дурак ночью за крыжовником полезет? Разве его ночью нарвешь? Яблоки — это другое дело.

Я промолчал и ничего не ответил Петьке. Проклятые ложки не давали мне покоя. А вдруг тетка уже заметила пропажу и станет допытываться о них при Петьке? Идти вдвоем к нам во флигель мне не хотелось.

— Пойдем к тебе в сад, Василь? — попросил Петька. Видимо, ему хотелось отведать крыжовника.

— Давай лучше в другое время. Там Корыбко теперь шатается. Сходим лучше выкупаемся.

— А куда?

— В Райскую брамку.

— Это далеко! — заныл Ма́ремуха. — Жарко сейчас.

— Ничего, пойдем через кладбище. Там холодок! — решил я и двинулся возле ограды совпартшколы по направлению к Райской брамке. Петька Маремуха нехотя поплелся за мной.

Купанье немного развеселило меня, и я совсем забыл о деньгах, которые лежали в кармане. Только расставшись с Петькой и подходя к нашему флигелю, я снова вспомнил о ложках, и мне стало не по себе. «Лишь бы не заметили! Лишь бы не заметили!» — думал я, проходя полутемным коридором в квартиру родных.

За дверью послышался голос тетки.

Я вошел в комнату и увидел за столом отца. Он обедал, а тетка доставала с полки пустую кастрюлю.

Я без всякой охоты сел за стол напротив отца.

— Мне сегодня нагоняй за тебя был, — сказал отец.

— Какой нагоняй? — спросил я, насторожившись.

— Полевой все меня расспрашивал о тебе.

— Полевой?

— Ну да. Ты ему, видно, понравился. Все интересовался: где, говорит, учился, куда думает дальше? Я ему рассказал все, а он тогда: «Что ж, пора, — говорит, — парню в комсомол вступать. Ты, — говорит, — Манджура, коммунист, передовой человек, а парень у тебя баклуши бьет. Пусть, — говорит, — посещает нашу комсомольскую ячейку... Нагрузочку ему дадим». Понятно?

Тетка подвинула ко мне тарелку супа с клецками.

— Понятно, Василь? — переспросил отец.

Мне было очень стыдно в эту минуту. Зачем я забрал эти ложки? Отец еще не знал об их пропаже, но ведь каждую минуту он мог узнать о ней.

Я не выдержал его взгляда и, опустив глаза, помешивая ложкой горячий суп, чуть слышно сказал:

— Понятно!

ДОЖДЬ ПРОШЕЛ

Вот уже много месяцев я не мог спокойно видеть тех ребят, которые носили на груди темно-красные кимовские значки. Как завидовал я им!

Не раз, когда комсомольцы ячейки печатников строем проходили из Старого города в свой клуб на Житомирской, я останавливался и подолгу смотрел им вслед.

Я мечтал: поступлю осенью на рабфак, буду посещать комсомольскую ячейку, а погодя и заявление подам. Мне и в голову не приходило, что я смогу вступить в комсомол здесь же, в совпартшколе. Думал, я для курсантов чужой, простой квартирант, а вот сейчас оказалось — совсем нет.

«Надо поговорить с Полевым о комсомоле самому!» — решил я. Но, как на грех, Полевой пропал неизвестно куда. Целый вечер бродил я по двору, посидел на скамеечке возле турника, покрутился возле часового,

долго прохаживался вблизи курсантской кухни, — мимо пробегали курсанты, сотрудники, но Полевого среди них не было.

Можно, конечно, было спросить у любого, где он, но я стеснялся, — вернее, мне не хотелось, чтобы Полевой узнал, что я его разыскиваю. Хотелось встретить его случайно и тогда поговорить с ним.

На следующий день после полудня пошел дождь. Утром небо было чистое, солнце светило ярко, казалось — весь день будет хорошая погода, как вдруг неожиданно поползли с запада тучи, и не успел я, возвращаясь от Петьки Маремухи, пройти два квартала, как сразу подул сильный ветер, завихрилась по улице пыль, и прохожие стали быстро прятаться под воротами. Побежал и я. Ветер засыпал глаза пылью, волосы растрепались. Я мчался что было сил посредине мостовой навстречу ветру и поеживался в ожидании первого удара грома. Тучи на небе сдвигались все плотнее, они кружились над городом, наталкивались одна на другую, низкие, синеватые, густые. На глазах темнело. Казалось, не полдень сейчас, а сумерки.

Мелькнул вдали за кустами зеленый забор совпартшколы, и тут первые тяжелые капли дождя посыпались на пыльную, прогретую солнцем землю. Жалобно закаркали вороны на деревьях. Мигом, точно испугавшись первых капель дождя, утих ветер, и грязный лоскут бумаги, накружившись вдоволь, бессильно упал на землю.

И только я вбежал во двор, миновав часового в будке, дождь хлынул изо всей силы. Пока я добежал до флигеля, земля уже стала черной и мокрой, трава и кусты заблестели. Слышно было, как барабанит дождь по жестяной крыше. В кухне я стащил мокрую рубашку и посмотрел в окно. По стеклам сбегали струйки воды, дождь бил косяком, окно сразу заслезилось, и почти совсем нельзя было рассмотреть, что делается на дворе.

Я открыл окно, шумно стало в кухне, где-то за крепостью резко ударил гром и сразу же затих, прибитый потоками дождя. Белое здание совпартшколы сквозь дождь казалось пустынным, нежилым; окна его блестели и сливались со стенами, как при закате. Я лег животом на холодный подоконник и высунулся наружу. По волосам и по шее стал бить меня дождь Это очень приятно — лежать голым животом на гладком холод-

ном подоконнике, подставив затылок свежему густому дождю. Рядом, из водосточной трубы, повисшей на углу дома, прямо в ржавый круглый котел с железными ушками хлестала вода. Она лилась в котел струей, мелькали в ней смытые с крыши листья. Котел уже наполнился водой до краев, вода лилась через верх на песчаную землю, растекалась озером. Откуда ни возьмись, крякая и переваливаясь, к водосточной трубе подошли две жирные утки. Одна из них, задрав шею и раскрывая желтый клюв, стала ловить воду, лившуюся из котла, но ей скоро наскучило это, и она, крякнув, захлопала мокрыми, вымытыми дождем белыми крыльями и, мотая головой, поковыляла за своей подругой к воротам.

В эту минуту сквозь шум дождя я услышал громыхание колес. С улицы во двор быстро въехали одна за другой две высокие военные подводы. Укрытые мешками, брезентом, сидели на них люди. Подводы повернули влево и скрылись под аркой на заднем дворе.

Дождь прошел быстро, как и всякий летний дождь. Тихо стало на дворе, мигом посветлело, тучи, потихоньку расползаясь, открывали солнце, и яркая разноцветная радуга поднялась над садом, опираясь одним краем на мокрую жестяную крышу совпартшколы.

Разве можно оставаться дома, когда на дворе светит радуга? Я скинул сандалии, натянул сухую рубаху и, подвернув влажные штаны, выбежал на крыльцо. И сразу же остановился.

Внизу, около водосточной трубы, фыркая, мылся Полевой. Он стоял, согнувшись над чугунным котлом, и, зачерпывая широкой ладонью ржавую дождевую воду, обливался ею. Он быстро плескал воду то себе на грудь, то на спину, то, нагибаясь, совсем касался воды головой. Рядом на камешке лежал маленький серый обмылок. Вода в луже под котлом была мутная, беловатая, — видно, Полевой уже намылился и сейчас смывал пену. Он стоял у котла в одних трусах, и его большие крепкие ноги до щиколоток были забрызганы грязью. Рядом на ветке сирени висела его одежда. Я спустился вниз. Полевой мылся, громко фыркая, и не слышал моих шагов.

Как окликнуть его? Сказать: «дядя Полевой»? Нет, ни в коем случае! «Дядя» говорят только мальчишки, а я уже большой. Потоптавшись на месте на сырой

земле за спиной Полевого, я кашлянул и сразу же сказал:

— Здравствуйте, товарищ Полевой!

Он быстро обернулся. По носу его пробежала струйка воды. Мокрые темные волосы падали на загорелый лоб и доставали почти до бровей.

— Здравствуйте, молодой человек! — сказал Полевой. — Ты не гнать ли меня пришел?

— Как гнать?

— Ну, отсюда. За то, что я воду вам перевожу. Котел-то ваш небось?

— Нет, казенный.

— Ну тогда ничего. А то я, видишь, запылился дорогой. Приехал, смотрю — дождь кончается. Дай, думаю, кстати помоюсь. Очень я люблю дождевой водой мыться. Это, брат, лучше всякой бани, дождевая вода.

— А вы где были, товарищ Полевой?

— Бандитов ловили, — коротко ответил Полевой, зачесывая пятерней волосы назад. — И вот пришлось мне на мельнице в засаде посидеть. Целых пять часов. А знаешь, какая на мельнице пыль? Задохнуться можно. Особенно на чердаке.

— Поймали бандитов?

— Было дело под Полтавой! — усмехнулся Полевой.

Сейчас мне стало понятно, где он пропадал столько времени. Как я не мог раньше догадаться? Ведь еще сегодня утром отец рассказывал, что из города на ликвидацию банды Мамалыги, перешедшей из Галиции, выступил большой чоновский отряд. Значит, и Полевой был в этом отряде. Я смотрел теперь на него с восхищением и завистью. А он, погладив себя рукой по груди, нагнулся за мылом. И, ополоснув в котле ногу, прыгая на другой, стал натягивать штаны.

Когда Полевой оделся и, надвинув на мокрые волосы выцветшую буденовку, собрался уходить, я спросил осторожно:

— Скажите, это правда, что я могу посещать комсомол?

— Конечно, правда! — сказал, улыбаясь, Полевой. — Я говорил Мирону.

— А когда?

— Когда? Что у нас сегодня? Четверг? Ну да, четверг. Значит, собрание завтра. Ну вот и приходи в пять часов в клуб.

Я пришел в клуб не в пять, а в половине пятого. Клуб помещался на втором этаже, в бывшей церкви. Еще до сих пор кое-где у самого потолка выглядывали из-под лозунгов темные лики святых, и стена соединялась с потолком не отвесно, как в обычных комнатах, а полукругом. В этом большом клубе перед сценой стояли рядами черные парты, а на занавесе была нарисована фигура обнаженного по пояс рабочего, который молотом разбивал цепи на земном шаре. В левом углу, под самой сценой, стоял рояль. На скамеечке у рояля сидел курсант Марущак, тот самый, что был центрфорвардом в футбольной команде. Когда я вошел, Марущак сидел задумавшись, но только я подошел к партам, как он, точно встречая меня, заиграл на этом разбитом рояле «собачий вальс». Я подошел к роялю и сел рядом на парту. Марущак покосился на меня и продолжал играть. Он слегка покачивался в разные стороны, махал головой, закрывал иногда глаза, — видно, ему очень нравилось играть на рояле. Иногда он подымал обе руки высоко над клавишами и потом, точно рассердившись, сразу бросал их вниз. Рояль гремел так, что казалось, струны полопаются. Когда ему наскучил «собачий вальс», он заиграл «Мама, купи ты мне дачу». Эта штука получалась у него лучше, тише и яснее. Здорово получалась!

В зал стали собираться курсанты. Постукивая крышками парт, они рассаживались.

В одном углу зала запели:

Все пушки, пушки грохотали,
Трещал наш пулемет,
Бандиты отступали,
Мы двигались вперед...

Я тихонько встал и, отойдя, уселся позади всех, на последней парте. Я чувствовал себя не очень хорошо: вокруг были все незнакомые люди, а Полевой еще не приходил.

Раскрыли занавес. В полутьме сцены, покрытой красным ситцем, стоял маленький столик с графином воды.

Марущак, как только открыли занавес, гулко захлопнул крышку рояля и надел фуражку. Почти все курсанты носили здесь, в совпартшколе, голубые летние буденовки, а вот Марущак никак не мог расстаться со своей щеголеватой фуражкой. Видно, она сохранилась

у него еще со времен гражданской войны, эта нарядная фуражка с малиновым верхом, желтым околышем и маленьким вогнутым лакированным козырьком. Раньше такие фуражки носили конники-котовцы, те, что выгнали из нашего города Петлюру. Даже сам Котовский, рослый, плечистый командир конного корпуса, приезжал однажды к нам в город на парад в такой фуражке, как у Марущака.

Собрание началось. Как выбрали председателя и секретаря, я не расслышал; ускользнуло от меня и то, как председатель, совсем молодой курсант в синих широченных бриджах и бархатной толстовке, объявил повестку дня. И сразу же из зала на сцену по скрипучей деревянной лесенке поднялся Марущак. Он стал делать доклад о том, как живет подшефная сотня червонного казачества. Оказывается, Марущак недавно ездил в эту сотню, отвозил туда комсомольские подарки.

Говорил Марущак медленно, часто запинался, — видно, ему трудно было выступать на собрании. Иногда, подолгу подыскивая нужное слово, он сердито махал рукой, точно рубил. Кончил Марущак доклад как-то сразу. Все думали: он будет говорить еще, и сидели молча, а он улыбнулся и сказал:

— Ну, вот и все. Чего ж больше?

Ему задали несколько вопросов. Ответил он на вопросы быстро и коротко.

Молодой парень в синих бриджах позвонил в колокольчик и предложил прений не открывать, а информацию товарища Марущака принять к сведению и руководству.

Постукивая тяжелыми подкованными сапогами, Марущак спустился со сцены и сел рядом со мной. Наверное, он волновался, когда делал доклад, потому что лоб его покрылся испариной. Глядя на сцену, он на ощупь достал из кармана платок и стал утирать им лицо. Я искоса следил за Марущаком и не слушал, что делается на сцене. Мне было приятно, что Марущак уселся рядом со мной на одной парте, и я даже решил спросить: правду ли говорят, что он был у Котовского, или мне набрехали? Но в эту минуту Марущак поймал на себе мой взгляд и внимательно посмотрел на меня. Я сразу отвернулся и стал разглядывать портреты, висевшие на стене. Парта покачнулась, стукнула ее крыш-

ка, я почувствовал, что Марущак подымается, и услышал его голос.

— Минуточку, товарищ председатель! — громко, на весь зал, сказал Марущак. — По-моему, здесь не все комсомольцы.

Шорох пронесся по залу, затем наступило молчание. Все курсанты повернулись к нашей парте.

Председатель зазвонил в колокольчик и спросил:

— Откуда они взялись, товарищ Марущак? Я уже объявил после доклада, что собрание закрытое. Посторонние ушли.

— А вот, по-моему, этот паренек не комсомолец, — громко сказал Марущак и, трогая меня за локоть, спросил: — Комсомольский билет у тебя есть?

— Товарищ, вы комсомолец? — крикнул со сцены через весь зал председатель.

— Нет, — ответил я тихо.

— Не комсомолец! Не комсомолец! — передали на сцену сидевшие рядом курсанты.

— Тогда освободи, пожалуйста, помещение, — сказал председатель. — Сейчас собрание закрытое, и присутствовать на нем могут только комсомольцы.

Еще как следует не понимая всего, что произошло, я поднялся и медленно пошел к выходу. Я чувствовал, что курсанты смотрят мне вслед, — собрание остановилось только из-за меня: все ждали, пока я выйду.

«Выгнали! Выгнали! — думал я, шаркая сандалиями по гладкому полу. К лицу приливала кровь. — Зачем я пришел сюда? Так оскандалиться! Теперь все курсанты будут тыкать в меня пальцами и шептать друг другу: «Это тот, кого попросили с закрытого комсомольского собрания!»

Самое обидное — они, верно, думают, что я нарочно подслушивать остался, а ведь я просто не расслышал, как председатель объявил, что собрание закрытое.

А Марущак тоже хорош: не мог просто шепнуть мне на ухо, чтобы я вышел, — так нет, опозорил меня перед всем собранием.

Только я вышел на улицу, как увидел Полевого. Он быстро шел по тротуару.

Еще издали Полевой спросил:

— Началось собрание?

Я молча кивнул головой.

— Вот беда, поди ты, а меня задержали в укоме! —

сказал, как бы извиняясь, Полевой и, подойдя, спросил: — А ты куда? Пошли на собрание?

Лучше бы он этого не говорил! Я еще острее почувствовал обиду и, сдерживая подступившие слезы, молча махнул рукой и быстро пошел вниз.

КАФЕ ШИПУЛИНСКОГО

У самого въезда на Новый мост, под каменным барьерчиком, сидела на скамеечке торговка. Голова ее была повязана черным шерстяным платком. На камнях стояла доверху насыпанная семечками корзина.

— Два стакана! — сказал я и с болью в сердце подал торговке бумажный рубль.

Сперва она отсчитала сдачу. Я спрятал медяки и оттянул карман штанов. Торговка всыпала туда один за другим два стаканчика пахучих семечек.

Щелкая их и выплевывая шелуху через перила, я медленно пошел по деревянному тротуару моста. Шелуха летела вниз долго. Вот она коснулась воды и чуть заметной белой точечкой поплыла вниз по течению. Маленькие, крытые гонтом домики стояли под скалами у зеленых берегов реки и были похожи на спичечные коробочки, брошенные сверху.

Очень длинным показался сегодня мост; поскрипывали под ногами его стертые доски, и когда я увидел в щель между ними и блеснувшую далеко внизу реку, еще беспокойнее стало на душе. Так было радостно мне, когда я узнал, что Полевой сочувственно относится к моему желанию поступить в комсомол, и так стало неприятно после того, как меня попросили с собрания...

А может, все они каким-нибудь образом узнали, что я забрал ложки, и просто выдумали предлог, чтобы прогнать меня с собрания?

Зачем я продал ложки? Теперь этот грех будет мучить меня всю жизнь.

Но вскоре вкусные, хорошо прожаренные семечки немного развеселили меня, стало легче на душе, и я вспомнил о Гале.

Я обещал быть у нее вчера, но не пришел. Надо пойти к ней сейчас, позвать ее в город, решил я.

...А уже через час мы вдвоем сидели в открытом

летнем кино на бульваре и смотрели интересную картину «Хозяин черных скал». Скамейка была высокая, со спинкой, — сидя на ней, я не мог достать земли и свободно болтал ногами. Позади в похожей на голубятню будке трещал аппарат, а из квадратного окошечка, прорезывая тьму, вырывался яркий луч света. По обеим сторонам площадки чернели высокие деревья, и звуки рояля, который дребезжал где-то сбоку от экрана, заглушались в их густой листве. Небо над нами было звездное, темно-синее.

Галя смотрела на экран молча, только когда появлялись надписи, она быстро шепотом прочитывала их, а когда я хотел однажды подсобить ей читать, махнула рукой и цыкнула, чтобы я не мешал. Я искоса поглядывал на Галю, на стриженые ее волосы, на чуть вздернутый нос, на чистые, гладкие щеки, на маленькие розовые уши с проколами для серег и радовался, что сижу с ней рядом и билет на ее место лежит у меня в карманчике рубашки.

Мне очень хотелось, чтобы где-нибудь вблизи оказался Котька Григоренко. Вот бы, наверное, скривился, увидев нас вместе.

Уже когда пошла последняя часть и бородатый хозяин черных скал, отыскивая лодку, стал бродить по каменистому берегу моря, подул ветер, и деревья вокруг на бульваре зашелестели. Верхушки их, поскрипывая, закачались в разные стороны, а белое полотно надулось, как парус, и стало очень похоже, что на море и в самом деле буря, что злые волны бьют в скалы не на экране, а где-то около нас, — в шуме ветра мне даже послышался их грохот.

— Холодно! — сказала Галя, поеживаясь и прижимаясь ко мне.

Сперва я хотел отодвинуться, но потом осмелел и, просунув свою руку под Галин локоть, взял Галю под руку.

— Не надо, — шепнула Галя и выдернула руку.

Я не знал, что ответить ей, и пожалел, что не захватил с собой суконную курточку. Я смог бы отдать ее Гале.

Пианист последний раз громко ударил по клавишам, и на всех столбах сразу вспыхнули лампочки. Качаемые ветром, они бросали неровные полосы света на публику, ветки деревьев шелестели все больше, а когда

мы вошли в темную аллею, ведущую вниз к мостику, этот шум листвы усилился, и похоже было, что мы идем по запущенному, безлюдному лесу.

На мосту стало совсем холодно. Ветер продувал насквозь скалистую и глубокую долину реки. Галя то и дело придерживала рукой волосы, оправляла юбку, матросский воротник ее блузки подымался. Я держал Галю крепко под руку, чувствовал теплоту ее тела и шагал быстро, чтобы поскорее пройти этот длинный, на шести каменных быках высокий мост, переброшенный через пропасть.

В кармане у меня шуршали еще семечки, но есть их не хотелось. И так уже язык заболел от них, шелухой я ободрал себе нёбо.

— Вот дует! — сказала Галя. — Как осенью.

— Ничего, — сказал я. — В городе будет тише, это на мосту только холодно так.

В городе, за высокими стенами домов, в узенькой улочке и впрямь стало тише. Ветер гулял сейчас вверху, над крышами, и слышно было, как попискивали там жестяные флюгера да изредка хлопали форточки.

За поворотом начиналась центральная улица — Почтовка. Из открытых дверей колбасной вырывался на тротуар яркий свет.

Я ощупал еще раз в кармане деньги и, только мы поравнялись с колбасной, сказал Гале как можно более небрежно:

— Знаешь, я совсем замерз... Давай зайдем...

— Куда? — испуганно перебила меня Галя и посмотрела на витрину колбасной.

— Нет, не сюда... К Шипулинскому!

— К Шипулинскому? Не надо. В другое время как-нибудь зайдем.

— Пойдем сейчас! — взмолился я. Мне очень хотелось повести Галю к Шипулинскому не потом, не завтра, а именно в этот холодный, ветреный вечер, именно сегодня растратить все деньги.

— Ах да! Я совсем забыла! — рассмеялась Галя. — Мы же тогда говорили про кондитерскую, и ты запомнил, верно? Ты думаешь, я серьезно это говорила? Вот чудак!

— Я ничего не думаю. Просто мне хочется... кофе... — сказал я обиженно.

— Уже поздно. Как я домой буду возвращаться?

— Ничего, я тебя провожу!

Галя подумала минутку, а потом сразу решилась:

— Ну, хорошо, пошли.

Мы осторожно вошли в кондитерскую и сели за самый крайний столик, около витрины. Можно было, конечно, сесть поближе к буфету, но там за длинной стойкой в шелковом розовом платье, в белом кружевном переднике хозяйничала красивая желтоволосая пани Шипулинская. Мне не хотелось, чтобы она прислушивалась к нашему разговору.

Несколько минут мы просидели молча. Галя разглядывала картины, развешанные на стенах, а я чувствовал себя здесь не очень хорошо. Мне было страшновато заговорить с Галей громко в этой почти пустой кондитерской, залитой таким непривычным зеленоватым светом газовых ламп.

Нигде больше в городе их не было, только у Шипулинского они сохранились — газовые калильные лампы, подвешенные к потолку на золоченых цепях.

Шипулинская молча, не глядя на нас, вытирала чистой тряпкой буфет. Мне надоело ждать, и я кашлянул.

— Франек! — крикнула за перегородку Шипулинская.

Оттуда в хорошем выутюженном черном костюме выскочил розовощекий, слегка лысоватый Шипулинский. Он посмотрел в нашу сторону и тихо, но так, что мы слышали, сердито сказал жене:

— Почему ты не сказала, что здесь клиенты?

— Я думала, что ты сам знаешь об этом... — ответила Шипулинская и отодвинула на край стойки высокую, на тонкой ножке вазу с фальшивыми яблоками из папье-маше.

Легко размахивая руками и подняв голову, Шипулинский не спеша подошел к нашему столику.

Чуть прищурившись, он посмотрел сперва на Галю, а потом скользнул взглядом по мне, и я быстро убрал под стол ноги в запыленных сандалиях.

— Что желаете заказать, молодые люди? — спросил пан Шипулинский. Глядя на Галю, он добавил: — Что угодно барышне?

Галя покраснела и, кивая на меня, тихо сказала:

— Я не знаю... Вот...

— Дайте нам! — сказал я басом и поперхнулся. — Дайте нам кофе и потом пирожных...

— Какой кофе желают молодые люди? По-варшавски или по-венски, а может, черный...

— А все равно! — сказал я, но Галя поправила меня:

— Нет, черный не нужно.

— Хорошо! — согласился Шипулинский. — Я предложу вам по-варшавски. Это вкуснее. А пирожные какие?

— Мне наполеон, — сказала Галя.

— А мне все равно! — ответил я.

— Словом, я подам, а вы сами уж выберете, — решил Шипулинский и, шаркая лакированными туфлями, ушел за перегородку. И сразу зазвенел там стаканами.

Теперь я чувствовал себя легче. Кофе был заказан, пирожные тоже, сейчас надо было ждать, есть, а затем расплачиваться. Я уже согрелся здесь, в теплой кондитерской, и забыл, что на улице ветер.

— И ты смотри, как он управляется, — перегибаясь через стол, тихо шепнула мне Галя, и один локон упал ей на лоб.

— Еще бы, — ответил я. — Он не хочет брать прислугу, чтоб налог не платить.

— А разве у кого нет прислуги, тот налог не платит?

— Платит, но меньше! — сказал я совсем шепотом, потому что к нам приближался с блестящим подносом в руках Шипулинский.

Кофе он принес в серебряных подстаканниках, сверху в каждом стакане плавали взбитые, слегка похожие на растопленное мороженое сливки, а на блюдечках лежали маленькие золоченые ложечки с кручеными ручками.

Галя взяла ложечку и окунула ее в стакан.

Шипулинский прошел еще раз за перегородку и быстро вернулся обратно.

«Зачем столько?» — чуть не закричал я.

Шипулинский принес и поставил на стол вазочку, на которой был разложен добрый десяток пирожных. Тут были и наполеоны, и эклеры, и высокие корзиночки с розовым кремом и вишенкой наверху, и плоские яблочные пирожные.

«Нам не надо столько пирожных. Нам только два надо! Только два! У нас не хватит денег расплатиться

за все!» — хотелось крикнуть мне, но я ничего сказать вслух не мог, а проклятый Шипулинский, словно чуя, что ему могут вернуть пирожные, быстро, щелкнув каблуками, ушел за перегородку.

Совсем расстроенный, я ощупывал в кармане деньги и не знал, что делать. Я пожалел, что мы пришли сюда, я с удовольствием вернул бы обратно и кофе и пирожные, лишь бы только убраться без скандала. Ведь если у меня не хватит денег, Шипулинский не выпустит меня отсюда и потребует залог, а что я ему оставлю в залог — рубашку, штаны, поясок? А потом — какой это позор будет перед Галей!

А Галя, не чувствуя моего волнения, сидела спокойно и маленькими глотками отпивала кофе.

— А ты чего не пьешь? Пей! — сказала она.

— Мне не хочется! — буркнул я.

— Вот тебе и раз — не хочется! А зачем мы тогда пришли сюда? Пей! — Она подвинула мне стакан кофе и спросила: — Тебе какое пирожное?

«Эх, была не была!» — подумал я, зажмурился и сказал через силу:

— Какое хочешь...

— Ну, я тебе положу заварное, оно вкусное и в середине крему много. Кушай.

Я отколупывал потихоньку ложечкой куски этого жирного пирожного и от волнения не чувствовал даже вкуса желтого крема.

— Кушай! Кушай! — поторапливала меня Галя. — Иначе мы до утра здесь сидеть будем.

Почти насильно я запихнул себе в рот кусок пирожного и только хотел запить его кофе, как почувствовал себя совсем плохо.

За витриной, на улице, упираясь обеими руками в круглый железный поручень, стоял мой отец. Коренастый, в белом полотняном костюме, в соломенной фуражке, слегка щуря глаза, он смотрел сквозь стекло на меня в упор; мне сразу захотелось полезть под стол: взгляд отца жег меня.

Я опустил глаза, и когда осторожно поднял их снова, отца за витриной не было. Он появился внезапно и так же внезапно исчез в ночной темноте.

— Ты чего такой бледный, Василь? — спросила Галя. — Ты не простудился случайно?

— Да ничего. В боку кольнуло! — солгал я и с шумом отодвинул назад тяжелый стул.

Откуда ни возьмись, возле нашего столика вырос Шипулинский.

— Молодые люди желают рассчитаться? — ласково спросил он.

— Да! — сказал я дрогнувшим голосом и, чувствуя, как по всему телу прошел холод, подумал: «Ну, начинается».

— Два стакана кофе по-варшавски и... два пирожных, — глядя на вазу, чуть слышно прошептал Шипулинский и, весело тряхнув лысеющей головой, громко сказал...

— Один рубль сорок копеек.

Сразу повеселев, я быстро вынул из кармана смятый рубль, расправил его и затем высыпал на мраморный столик сорок копеек медяками. Вместе с монетами затесалось несколько семечек, но мне было стыдно убирать их, и я, нахлобучивая кепку и не оглядываясь, выскочил вслед за Галей на улицу.

Все еще дул ветер, и опять стало нам холодно на улице, но теперь я уже не обращал внимания на холод.

Как хорошо, что все окончилось благополучно!

Однако я не мог забыть появления у витрины моего отца. Мне все еще казалось, что отец подстерегает меня.

Мимо ресторана «Венеция» и финотдела, мимо развалин сгоревшего еще во время войны театра мы шли по узенькой Кузнечной улице. Показалась вдали огромная семиэтажная башня Стефана Батория. Внизу, у подножия башни, чернела дыра. Это была Ветряная брамка — проезд в Старый город с севера. Как только мы вошли в нее и скрылись под низко нависшими полукруглыми сводами, наши шаги гулко застучали по мостовой, а в ушах сильнее засвистел ветер...

— Ого-го-го! — закричал я, и эхо загудело вокруг, как в бочке.

— Тише ты, сумасшедший! — крикнула Галя. — Подумают — грабят! — И рванулась быстрее вперед, к светлому выходу из башни.

Внизу за башней было совсем пустынно, река, отражая звезды, поблескивала у самых ног, квакали на

противоположном ее берегу лягушки, две наши зыбкие, расплывчатые тени быстро скользили по воде. Только миновали белую, взбегающую по скалам вверх, к трудшколе, Турецкую лестницу, вдали над рекой замаячил черный камень. Широкий и гладкий сверху, обрывистый по краям, точно сброшенный оттуда, со скалы, он повис над водой, и казалось, вот-вот покачнется и грохнется дальше, вниз. Подмывая камень, река в этом месте круто поворачивала. Выше тихая и спокойная, здесь она шумела, и даже теперь, в темноте, на ее поверхности была заметная рябь и круги от маленьких водоворотов.

Подходя к черному камню, я поежился и пожалел, что не захватил с собою из дому ржавый, но меткий «зауэр». Место, которое мы сейчас проходили, было неспокойное, с дурной славой. Еще недавно здесь ограбили прохожего, и, совсем голый, он едва вырвался от бандитов и прибежал прятаться к нам в совпартшколу...

Мы прошли черный камень, круча осталась позади, теперь мы приближались к низенькому, переброшенному на козлах через реку мостику. За мостиком начиналась Выдровка, до Галиного дома было совсем недалеко. Вдруг Галя дернула меня за руку и шепнула:

— Тише! Кто это?

На мостике, облокотившись на перила, стоял человек. Он смотрел в воду и был хорошо виден нам отсюда, снизу.

— Василь, — шепнула Галя, — я боюсь. А может, это кто из банды Мамалыги? Пойдем назад.

— Куда?

— Кругом!

— Кругом?

— Ну да, через Польские фольварки.

Если сейчас до Галиного домика нам оставалось каких-нибудь пять минут ходу, то путь на Выдровку через Польские фольварки отнял бы добрый час. Надо было пройти обратно через Ветряную брамку, Почтовку, Новый мост, потом сделать крюк по темному бульвару, повернуть к Подзамецкому спуску...

...Человек на мосту зашевелился, и перила моста заскрипели.

«Будь что будет!» — решил я и нагнулся. В мокрой,

росистой траве возле дороги я быстро отыскал тяжелый, с острым концом камень и, зажав его в руке, шепнул Гале:

— Пойдем!

— Мне не хочется, Васька! Давай лучше обратно.

— Обратно круча. Ты что — забыла?

Галя неслышно пошла за мной. Я шел по мосту тихо, стараясь не шаркать подошвами сандалий. Камень я держал за спиной.

Человек у перил сразу повернулся и ждал нас.

Галя, чтобы не оставаться позади, втиснулась между мной и перилами и своим локтем невольно выталкивала меня на середину мостика, прямо к этому неизвестному человеку. Теперь я уже старался не смотреть на него и ждал только крика «стой».

До человека оставалось каких-нибудь два шага, и тут я, отважившись, посмотрел в его сторону.

Наискосок от меня, прижавшись спиной к перилам, с карабином, опущенным дулом вниз, стоял обыкновенный милиционер.

Я сразу громко топнул ногой по доскам моста и взял Галю под руку.

«Только бы он не заметил у меня камень», — подумал я, шагая.

— Спичек нет, ребята? — неожиданно спросил милиционер.

Было приятно услышать в этом опасном месте голос человека, который не мог сделать нам зла.

— Мы не курим, — ответил я хрипло. — А семечек не хотите?

— Семечек? — переспросил милиционер. — Если не жалко, давайте!

— Берите, товарищ, — сказал я, высыпал в теплые ладони милиционера горсть семечек и снова полез в карман.

— Хватит, хватит! — остановил меня милиционер. — И так обидел тебя. Спасибо. Веселее теперь стоять будет.

Лицо у милиционера простое, доброе.

— Спокойной ночи! — крикнул я, уходя.

— Счастливого пути! — отозвался милиционер.

— Жалко, что он не всегда здесь стоит, правда? — сказала Галя.

— Не всегда разве?

— Ну конечно. Одну ночь постоит, а потом неделю не видно.

— На села ездят, бандитов ловят — потому.

Кончились скалы, начался крепостной мост. Молча мы пошли по неровной узенькой плотине. Вода в речне спáла, и сейчас многие камни, которых днем не было видно, торчали наружу. За высоким каменным мостом, соединяющим город со Старой крепостью, глухо шумел водопад. Мы подходили к Галиному домику. В темноте за деревьями забелели его стены. Крайнее черное окно было открыто. У самой калитки Галя спросила:

— Ты рубль сорок Шипулинскому заплатил?

— Ага!

— Ну, тогда вот возьми мою долю, — сказала Галя и протянула руку.

— Ты что?.. Смеешься?

— Ничего не смеюсь. Возьми. У меня есть деньги, а у тебя мало. Я же знаю.

Я совсем растерялся. Надо было показать Гале остаток денег, надо было сказать, что деньги у меня есть еще и дома, а я только промямлил:

— Не хочу!

— Ну тогда я с тобой поссорюсь!

— Если ты хочешь ссориться из-за... — начал я что-то длинное, но Галя, не дослушав, настойчиво сказала:

— Возьми деньги, Васька, ну, слышишь!

И с этими словами она сунула мне в карман мелочь.

Не успел я вытащить мелочь обратно, как Галя бросилась к калитке. Я пустился за Галей, но калитка захлопнулась перед самым моим носом.

— Я выброшу, Галя! Здесь же, у ворот, выброшу! — прошипел я вдогонку, стараясь не кричать громко, чтобы не разбудить Галиного отца.

— Ну и выбрось! — уже издали, из-за деревьев, ответила Галя. — Спокойной ночи!

ТРЕВОГА

Здорово хотелось есть, когда я пришел. Подергал дверь в квартиру — закрыто. Из-за плотной, обтянутой клеенкой двери донесся чуть слышный храп тетки.

Сейчас я пожалел, что живу отдельно. Не поселись я в кухне — полез бы в шкафчик и разыскал еду. Кусок хлеба с брынзой или коржик.

В кухне не было даже и корки хлеба.

Тут я вспомнил, что тетка иногда прячет съестное на холоде, в заброшенном колодце вблизи нашего флигеля. Захватил пистолет и вышел во двор.

Весь край неба за Должецким лесом был багровый. Что это? Ведь еще несколько минут тому назад небо было обычного цвета. Зарево росло на глазах, верхушки деревьев выделялись все больше и отчетливее, огненная полоска протянулась от Старой крепости до провиантских складов и упала далеко за польским кладбищем, у Райской брамки. «Ну и горит! — подумал я. — Хат десять горит. Не в Приворотье ли случайно? Наверное, в Приворотье!»

Но в эту минуту посреди зарева стал расти, подыматься огненный столб, и над деревьями выплыла багровая круглая луна.

И сразу, как только появилась она над садом, багровая полоска вдоль горизонта стала гаснуть, а луна бледнеть, бледнеть, пока не превратилась в обычную желтую луну.

Я обогнул флигель и подошел к заброшенному колодцу. Его окружало несколько чахлых слив да заросли крапивы.

Я провел рукой по каменному ободу колодца и в одном месте нащупал веревку.

«Есть рыбка!» — весело подумал я и потянул из колодца что-то тяжелое.

К веревке были привязана эмалированная кастрюля. Сбросив крышку, я увидел твердую, застывшую, как лед, корку жира. А на дне под жиром небось мясо. Но как его достать? Пальцами? Нет, пальцами не стоит. Я выломал два прутика сирени и вытащил ими из супа тяжелый кусок. Попалась кость с острым краем и застывшим мозгом внутри. Славно было ужинать ночью, сидя на цементном краю колодца, в пустом, освещенном луной садике! Куда лучше, чем у Шипулинского. Жаль только, что со мной не было Гали. Интересно — то отец заглядывал в кондитерскую или мне почудилось? Ну, а если даже отец, — что, разве я не могу зайти со знакомой девушкой к Шипулинскому? Конечно, могу, только на какие деньги — вот вопрос.

Постучав костью о камень, я выколотил из нее на ладонь холодную колбаску мозга. Когда я съел ее, весь рот покрылся липким и густым слоем жира, и мясо, которое я стал обгрызать потом, потеряло свой обычный вкус. Я ел его без всякого вкуса, как пирожное у Шипулинского. Вспомнив об отце, я уже не мог успокоиться.

Хорошо, если он просто будет подшучивать надо мной, что я уже с барышнями гуляю, в кафе их вожу. А ведь отец может спросить, откуда у меня деньги. Пропал я тогда.

И зачем только мы уселись перед этой дурацкой витриной! Разве мало было свободных столиков в уголке? Никто бы там нас не увидел.

Я поднял вместе с веревкой тяжелую кастрюлю и прислонился губами прямо к ее задымленному краю. В саду у каменной ограды защелкал соловей. Его нежное и громкое пение донеслось сюда через весь тихий молчаливый сад. Мне в горло, булькая, лился холодный, слегка отдающий запахом колодца суп, и твердые плиточки жира прикасались к губам. Я наклонил кастрюлю, чтобы отогнать жир назад, как за Старой крепостью раз за разом хлопнули три винтовочных выстрела. Я поставил кастрюлю на камень. Эхо от выстрелов прокатилось над городом. Рядом, через дорогу, в тюрьме свистнул часовой. Внезапно из того места, где прогремели выстрелы, послышалась еще и короткая пулеметная очередь.

Визгливо залаяли в ответ около провиантских складов собаки. У ворот совпартшколы завозился часовой. И сразу в здании где-то возле клуба стукнула дверь, другая, третья! Кто-то промчался по дощатому коридору к общежитию курсантов. Оттуда донесся шум, приглушенный говор.

Не успел я подбежать к флигелю и подняться на свое крыльцо, как внутри главного здания по каменной лестнице застучали сапогами, и во двор по одному стали выбегать курсанты. Слышно было, как они щелкали пряжками, затягивали ремни.

Из дверей вырвался высокий курсант и, нахлобучивая буденовку, закричал:

— Получайте винтовки, товарищи коммунары!

С этими словами он подбежал к низенькой дверке

оружейного склада, что чернела рядом с главным входом в здание, открыл замок и исчез в складе.

Сразу же на уровне земли тускло вспыхнули два забеленных мелом и взятых в решетки подвальных окна, остальные окна по всему зданию были темные, лишь в крайних двух у садика слегка отражалась еще низкая луна.

Один за другим выбегали курсанты из склада. Высоко держа винтовки, они щелкали затворами, загоняли патроны в магазины, оттягивали тугие предохранители.

— Связные здесь? — послышался голос Полевого.

— Здесь, товарищ секретарь, — откликнулись сразу несколько человек.

— Будите начсостав и сотрудников! Живее! — приказал Полевой.

По двору в разные стороны побежали связные. Один из них, с шумом раздвинув ветви сирени, помчался напрямик по бурьяну к нашему флигелю.

— Где печатник Манджура живет? — запыхавшись, спросил он.

Связной был низенький комсомолец в бриджах, тот, что председательствовал на собрании и попросил меня из зала.

— Сюда! — крикнул я коротко и первый побежал в коридор.

Связной чиркнул спичкой. При ее зыбком свете я показал ему дверь, ведущую к родным, и он сразу же заколотил в нее кулаком.

— Кто там? — глухо отозвался отец.

— Тревога! Быстрей! — крикнул связной.

Пока отец одевался, я стоял на крыльце.

Под белой стеной главного здания уже выстраивались курсанты. Они были хорошо видны мне отсюда, сверху, лишь правый фланг слегка заслоняли кусты сирени.

— Я с тобой, тато, можно? — шепнул я отцу, как только он показался на пороге.

— Куда со мной? Еще чего не хватало! Марш спать! — не глядя на меня, сердито крикнул отец и осторожно сбежал по ступенькам во двор.

Послышался тихий, приглушенный голос Полевого:

— Смирно! Первый взвод, за мной шагом марш!

Курсанты двинулись строем по четыре вдоль здания. Впереди без винтовки шагал Полевой. Отец пристроился на ходу, и я сразу же потерял его из виду.

Без песен, без громкой команды, поблескивая штыками винтовок, отчеканивая шаг, колонна курсантов-чоновцев вышла из ворот на улицу, и часовой сразу же закрыл за нею высокие железные ворота.

Мне стало очень одиноко здесь, на крыльце. К тетке идти не хотелось. Я знал, что теперь на все это большое здание, на весь огромный, занимающий целый квартал двор совпартшколы осталось всего несколько человек беспартийных сотрудников да жен начсостава с детьми. В городе было тихо, совсем тихо, но тишина эта была обманчивой. Я знал, что сейчас со всех улочек города и даже с далекой станции спешат по тревоге на Кишиневскую, к штабу ЧОНа, группами и поодиночке коммунары-чоновцы.

Пересекая освещенный луной пустой двор совпартшколы, я направился к воротам.

— Стой? Кто идет? — громко закричал часовой. Голос его показался мне знакомым.

— Свои, — ответил я тихо.

— Кто такие свои?

— Я живу здесь.

— Фамилия?

— Манджура.

— Ну, проходи...

Часовой ждал меня в тени высокого вяза, и мне сперва было трудно разглядеть его в темноте; когда он вышел из-под дерева на свет, я узнал Марущака.

— Старый знакомый! — протянул Марущак, улыбаясь, и взял винтовку за ремень. — Почему не спишь?

— Хорошее дело! А тревога?

— Какая тревога?

— Да, какая? Вы будто не знаете?

— Первый раз слышу!

Я понимал, что Марущак меня разыгрывает, но все же спросил:

— А куда курсанты пошли?

— Кто их знает, может, в баню!

— Ночью в баню? Вы что думаете, я — дурной?

Марущак засмеялся и сказал:

— Вижу, что не дурной, а вот любопытный — это да.

Я не нашелся, что ответить, и затоптался на месте. Марущак предложил:

— Давай посидим, раз такое дело.

Мы сели на скамеечке около турника.

Я незаметно поправил в кармане револьвер и спросил Марущака:

— Часовому разве можно сидеть?

— В армии нельзя, здесь разрешается, — ответил Марущак, шаря в кармане. Он вытащил кисет и, свернув папироску, чиркнул спичкой.

— Папаша тоже ушел по тревоге?

— Ага!

Марущак с досадой, попыхивая папироской, сказал:

— Вот черти, а меня не взяли. Надо же — второй раз тревога, а я в наряде.

— А то не Петлюра случайно перешел границу?

— Петлюра? Навряд ли. Вот только разве кто-нибудь из его субчиков. Нажимают на них Англия, Америка да Пилсудский, чтобы те деньги отрабатывали, которым ихняя буржуазия подкармливает всю эту националистическую погань. Вот и лезут сюда, к нам.

Далеко за Должецким лесом прокатился выстрел. Немного погодя — другой.

— Пуляют, бандитские шкуры! — сказал Марущак.

— Когда же тех бандитов половят?

— А с кем их ловить будешь? Войска-то настоящего нет. Пограничники, те на границе, а тут чоновцы да милиция. С Польшей как мир подписывали, уговор был войска регулярного вблизи границы не держать.

Марущак затянулся последний раз и очень ловко выплюнул окурок. Описав дугу, окурок упал далеко в траву, погорел там немного маленькой красной точечкой, похожей на светлячка, и погас.

Луна светила ясно. Она стояла сейчас как раз над тюрьмой. Очень громко пели соловьи в саду совпартшколы. «Наверное, чоновцы уже где-нибудь за городом», — подумал я и в эту минуту услышал позади чуть слышный колокольный звон. Сперва я решил, что мне почудилось, и глянул на Марущака. Но он тоже услышал, повернулся и смотрел сейчас на открытые окна главного здания, откуда несся к нам этот неожиданный звук.

«Бам, бам, бам!» — точно на кафедральном костеле, ровно отбивал удары колокол.

— Что за черт! Чего он балуется? — сказал Марущак и вскочил.

— Кто балуется?

— Погоди.

Кто-то быстро прошел по коридору, спустился по каменной лестнице, хлопнула внизу дверь, и я увидел, как выскочил из нее человек. Он оглянулся, перемахнул через проволочную ограду палисадника и побежал к нам. Это был незнакомый мне пожилой курсант, слегка сутулый, в большой, надвинутой до ушей буденовке.

— Ты чуешь, Панас? — тихо спросил он Марущака.

— Чую-то чую, — ответил Марущак, — но я думал сперва — может, это ты?

— Да, я... — обиделся курсант. — Только мне еще не хватало по ночам в колокол звонить...

— Наган с тобой? — строго спросил Марущак.

— Ага! — ответил дневальный, хлопая себя по кобуре.

— Покарауль тогда у ворот, а я схожу гляну, — продолжал Марущак и, посмотрев на меня, спросил: — Не хочешь за компанию?

— А чего ж!

— Ну, смотри, — сказал Марущак, — проверим, какой ты герой.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

С какой бы стороны ни поглядел на него, окруженный с улицы зеленым двором, а позади — огромным садом, высокий, в три этажа, дом совпартшколы кажется очень большим, очень вместительным. Далеко-далеко вглубь уходят слабо освещенные узенькими монастырскими окнами длинные и сырые комнаты-кельи.

Однако стоило человеку попасть внутрь совпартшколы, он сразу же убеждался, что дом этот выглядит с улицы очень вместительным и большим потому, что внутри разбит небольшой фруктовый сад. Он отделен от главного сада высокой стеной учебного корпуса. В этом круглом саду растут одни груши, очень старые и дуплистые.

Когда я впервые увидел этот грушевый сад, очень уж странным показалось мне, что в него нет входа: в одном лишь простенке, между окнами столовой, виднелся след давно замурованной двери. В сад можно было попасть не иначе как через окна из коридоров первого этажа. Должно быть, и садовник Корыбко залезает сюда так, когда нужно ему весной обмазывать известкой стволы деревьев, а осенью собирать спелые плоды.

Длинные, очень длинные тут, в совпартшколе, коридоры. Все они, кроме самого верхнего, в третьем этаже, соединяются. Можно легко обойти по коридору все это старинное здание с темными крутыми лестницами, полукруглыми окнами, скрипучими полами, затхлым монастырским запахом. Коридоры во всех этажах низкие, сводчатые, их окна с наклоненными, как в бойницах, подоконниками выходят только в грушевый сад. Кое-где из капитальных стен выступают, загораживая наполовину проход, побеленные известкой квадратные печи с тяжелыми чугунными дверцами на винтах, с узенькими поддувалами.

Курсантская кухня в этом здании соединена с остальными помещениями длинным коридором, который проходит через все подвалы. Невеселая туда прогулка, особенно одному: низкие своды, пол вымощен каменными плитами, ни одного окна на волю, только маленькие угольные лампочки тускло горят у самого потолка, бросая неровный свет на обитые железом, тяжелые, с круглыми глазками двери кладовых и дровяных сараев. Добрая половина сараев пустует.

В самом крайнем от кухни устроился садовник Корыбко. Он хранит там свои грабли, цапки, ножницы для стрижки кустарника, а на стеллажах лежат у него цветочные семена. Проход на кухню мне показала тетка в тот день, когда я забрал у нее ложки. Мы прошли с ней на кухню вдвоем, там она заговорилась с поваром, а я помчался обратно с котелком гречневой каши в руках. Пробегая по коридору, я заметил, что дверь одного сарая открыта, и заглянул туда. Под стеной, седой и сморщенный, сидел на скамеечке Корыбко и сухими, дрожащими руками оттачивал цапку. Так было неожиданно встретить его здесь, под землей, что я даже испугался.

Все это я припомнил в ту минуту, когда мы с Марущаком подходили к зданию совпартшколы, откуда все яснее доносился к нам дрожащий звук колокола.

Я представил себе, каков он, этот дом, сейчас, ночью, когда нет в нем ни одной живой души, только этот загадочный звонарь да пустые коридоры тянутся по этажам. А что, если Марущак пошлет меня одного на разведку в глубокие монастырские подвалы? «Ну его к черту! Не пойду! Подожду лучше Марущака здесь!» — подумал я, но было уже поздно.

Марущак легко открыл дверь и придержал ее. Только я переступил порог, он дал двери неслышно захлопнуться и, опередив меня, шагнул в полутемный вестибюль.

Сразу почудилось, что колокол звонит в какой-то из комнат первого этажа — не то в столовой, не то в библиотеке. Марущак задержался и хотел было двинуться туда, но, покачав головой, пошел по ступенькам вверх. Поднялись выше, на площадку второго этажа, — колокол звенел все так же, и казалось теперь — на втором этаже.

Вот наконец и третий этаж. Плотно закрытые дубовые резные двери, ведущие в клуб. Лестница подводит прямо к ним. Сворачивая налево, открываем двери в коридор третьего этажа, — колокольный звон не утих.

Он слышался здесь, как внизу, слегка приглушенный, но ясно различимый, одинаковой силы, точно кто-то, пока мы поднимались вверх, переносил вслед за нами колокол.

Я уже не мог выдержать и, осторожно вытащив из кармана «зауэр», наставил его в коридор. Марущак покосился на меня, заметил револьвер, но не сказал ни слова.

Шагах в двух от застекленной двери стояли тумбочка дневального и вблизи нее сосновая табуретка. На тумбочке горела лампа, прикрытая абажуром из газет. Свет ее падал на книгу в пестрой обложке.

Нигде дальше электрического света в коридоре не было. В открытые окна косыми лучами из внутреннего двора просачивался лунный свет. На уровне окон были видны верхушки старых груш. Деревья не шелохнулись, кривые, дуплистые, окруженные с четырех сторон стенами дома под блестящей от луны крышей.

Двери из коридора в курсантское общежитие были открыты. Я увидел там, в полутьме, развороченные по тревоге кровати, опрокинутые табуретки. Из комнат доносились к нам запахи жилья, человеческого тела, кожаных сапог. Мы шли на цыпочках, очень тихо, поскрипывая досками, стараясь не спугнуть звонаря и отыскать точное место, откуда идет к нам этот дребезжащий тоскливый звук.

Но странное дело — это было самым трудным. Прошли половину коридора — колокол звонил около нас, рядом, но где именно — определить было невозможно. Сперва показалось, что из-под досок пола, потом — из печки, наконец, мне почудилось, что из внутреннего двора, и я высунулся в окно, но ничего там, кроме деревьев, не увидел.

Я крепко сжимал свой «зауэр». Палец лежал на спусковом крючке.

— А ну тише! — шепнул мне Марущак.

Я остановился и затаил дыхание. Теперь в полной тишине звук колокола был слышен еще яснее. Марущак прижался ухом к плотной каменной стене, разделяющей коридор и общежитие. Послушал, пожал плечами и, подойдя на цыпочках ко мне, чуть слышно прошептал:

— Я эту чертовщину размотаю! — И, оглядываясь, предложил: — Давай ляжем.

Легли. Так было удобнее слушать.

Еще шагов пятьдесят до тупика, до тыльной стены курсантского клуба, тянулся перед нами испещренный полосками лунного света коридор.

Марущак легко повернулся на бок и, открыв затвор, зарядил винтовку. Прислушался. Колокол звонил по-прежнему — уныло, надоедливо.

Марущак вскочил и бросился к открытому окну.

— Сволочь, гадина, перестань звонить, слышишь? Я тебя найду, сукин сын, помяни мое слово! — хрипло закричал Марущак и, вскинув винтовку, пальнул туда, вниз, в листву деревьев. Эхо от выстрела, очень сильное, гулкое, рвануло из окон обратно в коридор, и я тоже, словно меня кто-то подтолкнул, выстрелил вслед за Марущаком в соседнее окно.

Оба мы глядели в окна.

И странное дело: как только затихли выстрелы — колокольный звон прекратился. Тихо стало вокруг.

Лишь где-то далеко, на Выдровке, у самой реки, залаяли собаки.

Так молча простояли мы у открытых окон добрых минут пять, а потом вышли обратно во двор.

Дневальный дожидался нас с нетерпением. Не успел Марущак перелезть через ограду палисадника, дневальный бросился к нему и спросил:

— Ну что?

— Ничего, — ответил я. — Какой-то чертяка!

— Чертяка, чертяка! — пробурчал Марущак. — Это, брат, не чертяка, если выстрела испугался! Слышишь — молчит? Эти черти, видать, бесхвостые...

— Но как же его поймать?

— Как-нибудь да постараемся. Только вот оплошка — зря мы над Неверовым смеялись.

— А кто он? — не понял дневальный.

— Неверов? Да из третьего взвода комсомолец. Он на прошлой неделе стоял дневальным и вот тоже ночью услышал звон и разбудил с перепугу ребят в комнате. Разбудил, а звонить перестали. Мы над ним посмеялись, а теперь видишь — дело тут не простое...

— Надо будет рассказать Неверову, — сказал дневальный.

— Нет, не надо. Давай договоримся — никому, — строго ответил Марущак.

— А начальнику школы?

— Начальнику скажем. И Полевому. А больше никому. Договорились?

— Ладно!

Глянув на меня, Марущак сказал:

— И ты, пацан, смотри — ни мур-мур.

— И зачем мне?

— Зачем не зачем — никому.

— Я пойду, а, Панас? — вмешался дневальный.

— Добре. Иди. Но как что — давай за мной.

Когда ушел дневальный, мы сели на скамеечку, и Марущак спросил:

— А понятно тебе, почему не надо болтать об этом?

— Немного понятно.

— Ведь не иначе нас кто-то на испуг берет. Какие мы, дескать, храбрые... И вот надо молчать об этом, пока не размотаем, а то, если станем болтать раньше времени, слухи пойдут по городу.

Тут я вдруг решился и рассказал Марущаку, как в

нас с Маремухой стреляли в саду. Марущак слушал меня внимательно. Чем дальше я рассказывал, тем его жесткое, загорелое, слегка скуластое лицо становилось серьезнее.

— Давно это было?

— На прошлой неделе.

— И точно по-польски кричали?

— Ага. Как крикнет: «прендзе», и в нас — бух, бух. А мы ходу! Через забор!

— Это хорошо, что ты мне рассказал. Совсем другой табак получается! Видно, кому-то мы здорово поперек горла стали.

— А что вы кому сделали? — осторожно спросил я.

— Да вот собираемся. Ты подумай — собрали нас сюда со всей губернии, молодых и старых. Кого из армии, кого из села. Многие-то хлопцы впервые книжку по-настоящему в руки взяли. Ну возьми хотя бы, к примеру, меня. Кем я был лет семь назад? Из рогатки по собакам стрелял да голубей в силки ловил на соборной колокольне. Только подрос, а тут революция, опять война — гетман, Петлюра, Пилсудский, гады всякие разномастные, не разбери-поймешь. Взял меня дядька с собою к красным, а через год вызывает эскадронный. «Получайте, — говорит, — товарищ Марущак, взвод». Получил. А сам — сапог сапогом. Усов еще нет. Крикнешь «смирно», а голос срывается, как у молодого петуха. Ну и пошло! То бои, то лазареты. Ранило раз пять. Возле Попельни как ударило разрывной в бок, думал — конец пришел. Теперь дальше. Кончили воевать, послужил еще немного, новые ребята на смену пришли, думаю — домой пора. Вызывает меня к себе военком. «Не желаешь ли, — говорит, — Марущак, подучиться?» — «Желаю», — говорю. Ну и поехал сюда. А здесь за неделю больше книг прочел, чем за два года в начальной школе. И книги все стоящие, солидные книги. Политэкономия, скажем. Ты знаешь, что такое политэкономия?

— Нет, не знаю

Марущак укоризненно покачал головой.

— А я знаю. Не всю, правда, а знаю. А недавно еще не знал. Вот подучимся мы здесь, уедем — кто в село, кто в район, кто на сахзаводы, кто на железную дорогу. Все переворошим. Куркулей прижмем — запищат, людей порядочных на труд подымать будем, Совет-

скую власть укрепим во как! Теперь посуди, очень ли все это приятно тем, кто раньше хозяйничал в этих краях?

— Не очень приятно, — сказал я тихо.

— То-то, — сказал Марущак и хлопнул меня по ноге. Ладонь его задела дуло пистолета. Марущак прикоснулся к нему через брюки еще раз и спросил: — А где ты пугач этот достал?

Я вытащил пистолет и сказал:

— Да разве ж это пугач? Это ж «зауэр»!

Марущак взял у меня пистолет и, нажав защелку, вытащил из рукоятки обойму. Он положил ее на скамейку и оттянул назад пистолетный ствол. И сразу спустил курок. В глубине ствола звонко щелкнул боек.

— Ничего. Пружина сильная. Только смазывать да чистить надо почаще. А патронов много?

— Штук десять осталось.

— Плохо. Запасайся еще. Их, верно, трудно достать?

— Чего ж трудно? От браунинга второго номера свободно подходят.

— Правда? — удивился Марущак. — Тогда хорошо. Я эту систему не встречал еще. Немецкая, видно. «Зау-эр»! — сказал он медленно. — Ну да, немецкая.

— Я его у одного хлопца на голубей выменял. А тот хлопец, когда немцы с Украины убегали, его на улице возле семинарии нашел. Видно, обронил со страху какой-нибудь немец...

— Может, обронил, а может, выбросил, чтоб легче было удочки сматывать, — согласился Марущак.

— Товарищ Марущак! — спросил я осторожно. — А если я в комсомол поступлю, мне разрешат его в кобуре носить?

— А чего ж! Будешь комсомольцем, запишут в твою чоновскую карточку номер — и все.

Помолчав, Марущак с улыбкой спросил меня:

— Обиделся на меня давеча?

— Чего?

— Ну чего! За то, что с собрания тебя попросили?

— Ну... пустяки...

— Ты, брат, не обижайся. Дружба дружбой, а табачок врозь. Сам понимать должен. Мало ли...

— Я понимаю.

— Понимаешь — значит, молодец!

И не успел я опомниться от похвал Марущака, как он спросил:

— Ты давно в этом городе живешь?

— С шестнадцатого года.

— Сюда, к нам, недавно переехал?

— Недавно.

— А раньше ничего не слыхал про этот дом?

— Один хлопец брехал мне, что здесь будто бы привидения, но я ему не верю. Еще наш директор трудшколы Валериан Дмитриевич Лазарев рассказывал нам, что никаких привидений на свете нет, что все это чепуха.

И я подробно рассказал Марущаку о нашем любимом историке.

Марущак выслушал меня очень внимательно, а потом спросил:

— Видно, Лазарев ваш очень ученый человек?

— Ну спрашиваете! Он все знает. Где какая башня, кто ее построил, в каком году. А про Старую крепость сколько он нам всего порассказывал... А про Устима Кармелюка!..

— Вот бы свел ты меня к нему! Я люблю про старину слушать! — сказал Марущак.

— Хотите, правда? Так давайте пойдем.

— Ну и прекрасно. Он далеко живет?

— Не очень. Возле Кишиневской, там, где клуб комсомольский.

— Завтра пойдем?

— Пойдем! — охотно согласился я.

Мне стало радостно, что я приведу к Лазареву Марущака, этого рослого, плечистого курсанта в военной форме. Пусть Лазарев увидит, какие теперь у меня приятели. Это не какой-нибудь Петька Маремуха. Это Марущак. Он Петлюру бил.

ВСЕ ПРОПАЛО

Я понял, что пропажа ложек обнаружена, как только Марья Афанасьевна появилась у меня в кухне. Она зашла внезапно, сильно толкнув дверь, сердитая и озабоченная. Я едва успел сунуть в карман скользкий, блестящий «зауэр», как раз перед этим я разбирал и смазывал его оружейным маслом.

Тетка подошла к плите и открыла духовку. Она засунула туда руку и с грохотом выдвинула на жестяную дверцу все мои инструменты. Я с тревогой следил за ее движениями, а потом не удержался и спросил:

— Что вам надо, тетя? Что вы ищете?

Тетка затолкнула обратно в духовку инструменты и громко захлопнула дверцу. Она сдернула с плиты бумагу и, отодвинув пальцем в сторону чугунные конфорки, заглянула внутрь.

— Что вы ищете? — повторил я.

— Ты не брал ложек, Василь? — спросила тетка. Голос у нее был расстроенный, жалобный.

— Каких ложек?

— Да тех, серебряных.

Я молча покачал головой. Смалодушничал. И как я ругал себя потом за это! Ведь проще всего было сознаться, и никакого шума не было бы.

— Понимаешь, пропали ложки, — продолжала тетка. — Три есть, а остальных нет. Я думала — может, у тебя случайно.

— Зачем мне ложки, тетя? — сказал я как можно спокойнее.

Она поверила и ушла. Совестно да и незачем было заходить в комнаты к родным. Я оставался в кухне. Я хорошо себе представлял, как тетка роется в сундуке, в десятый раз выдвигает все ящики буфета, заглядывает под кровати. Ложки были ей очень дороги. Самая ценная вещь в нашей семье.

Я знал это, но пойти и признаться тетке у меня не хватило силы.

А погодя, когда затих в комнатах грохот ящиков, ко мне вошел отец. Я знал, что он зайдет, и приготовился к этому, но было очень тяжело выдержать первый его взгляд.

Войдя, отец плотно закрыл за собой дверь и сел на табуретку посреди комнаты.

— Василь!

— Что, тато?

— Давай поговорим с тобой, как товарищи. Скажи, ты взял ложки?

— Не брал, тато! — сказал я, колеблясь.

— Правда не брал?

— Правда!

— Ну, а кто же их взял?

— А я знаю? Может, украли.

— Кто мог их украсть, как ты думаешь?

— А я знаю? Может, чужой кто... Нищий.

— Василь, ты же знаешь, что нищие сюда не заходят: часовой нищего не пустит.

— А может, он через окно залез, когда тетки не было?

— Я спрашивал. Марья Афанасьевна говорит, что она еще ни разу окон на улицу не открывала.

— Ну тогда я не знаю.

— Василь, сознайся сам, я тебе слова не скажу, вот посмотришь.

Еще минута, и я бы сознался, но не знаю, что меня дернуло, и я, отворачиваясь, промямлил:

— Мне не в чем сознаваться, тато.

— Не в чем? — голос отца дрогнул. — Василь, скажи тогда, на какие деньги ты пировал у Шипулинского?

— Я взял взаймы у Петьки два рубля.

— У какого Петьки?

— У... Маремухи.

— Из Старой усадьбы?

— Ага.

— Правда взял взаймы?

— Правда... А еще он мне рубль дал за голубей.

— Хорошо. Идем к нему.

— Куда?

— К Маремухе.

— Да его дома нет.

— Ничего. Найдется! — И очень спокойно отец надел соломенный картуз.

Едва передвигая ноги, я вышел за отцом во двор. Уже окончились занятия, и курсанты в ожидании обеда играли на площадке в футбол. Мелькнула среди играющих фуражка Марущака, и я отвернулся. Мне казалось, что курсанты уже обо всем знают.

Я шел за отцом, опустив голову, как арестант.

Скоро мы придем к Маремухе. Там, на глазах у Петьки, его отца, старого сапожника Маремухи, и Петькиной мамы, выяснится все. Все узнают, что я не только вор, но и трус.

Два квартала мы шли молча.

Только поравнялись с усадьбой ремесленного училища, показалась за углом мастерская Захаржевского.

Сейчас меня увидит Котька Григоренко. Ведь это он, наверное, громыхает там кувалдой?

У афишной будки отец круто остановился.

— Василь! Мне стыдно за тебя, пойми. Я не хочу тебя позорить. Ты мой сын, Василь, а я коммунист. Я хочу, чтобы ты вырос правдивым и честным хлопцем. Когда я был в твоем возрасте, мне жилось куда тяжелее, но я никогда не обманывал своего отца, не обманывай и ты меня.

Прошла мимо какая-то тетка и с удивлением глянула в нашу сторону. Как только затихли вдали ее шаги, я, собравшись с силами, сказал:

— Тато! Я продал ложки!

— Кому?

— Я думал, что они мои. Тетка говорила...

— Кому?

— Тетка говорила, что это мое приданое.

— Слышишь, я тебя спрашиваю: кому ты их продал?

— Я отнес в город, к ювелиру.

— Пойдем! — сказал отец и ощупал в кармане бумажник.

Даже вспомнить тяжело, как зашли мы в ювелирную мастерскую. Узнав, что фамилия отца Манджура, ювелир, глянув на крышку папиросного коробка, засмеялся и сказал:

— А еще голос повышаете! Ложки не ваши, а гражданина Маремухи!

Больших трудов стоило уговорить ювелира, чтобы он вернул ложки обратно. Пришлось заплатить за них с процентами: вместо четырех рублей отец дал ювелиру четыре рубля девяносто копеек. На каждой ложке этот старый спекулянт заработал по тридцать копеек.

Уже на обратном пути, когда мы прошли половину крепостного моста, я остановил отца и тихо, стараясь не глядеть ему в глаза, сказал:

— Тато, послушай! Даю честное слово, я больше никогда не буду врать, только прошу — никому не рассказывай. Никогда не буду. Вот клянусь. Не расскажешь?

— Посмотрим.

— Что посмотрим?

— Посмотрим, говорю.

— Тебе трудно сказать, да? Ну раньше тебе было

жалко ложек. А теперь ложки у тебя есть. Почему ты не хочешь?

— Мне было жалко ложек, да? — перебил меня отец. — Ты думаешь, мне нужны эти цацки. Да я могу и деревянными есть. Вот!

И не успел я опомниться, как отец вытянул из кармана все три ложки и с силой швырнул их через перила в пенящийся водопад. Кувыркаясь и поблескивая, полетели они вниз, а рябой дядька в соломенной шляпе, проезжавший мимо на широкой арбе, даже рот раскрыл от удивления.

Не отрываясь, я следил за их падением и поднял глаза на отца, лишь когда ложки, одна за другой, исчезли в белой пене водопада.

В этот день я не обедал. Чтобы не попадаться на глаза знакомым, я ушел далеко за Райскую брамку и лег на полянке возле обрыва. Я вырвал из земли дикий чеснок и стал жевать терпкую и красноватую его луковицу.

Мимо скользили, гудя, черные шмели, пчелы. Пестрый удод, махая радужными крыльями, прилетел из леса, уселся на камешке напротив, потряс хохолком и, заметив меня, скрылся за бугром. Две малиновки, покачиваясь на тонких ветках соседнего кустика, затянули веселую свою песню. Но все это теперь меня не интересовало. Я даже поленился поискать в кустике гнездо малиновок, — а ведь оно было там, полное рябеньких теплых яиц, иначе не стали бы малиновки так долго вертеться вокруг одного и того же куста.

Густая трава, расцвеченная лютиками, лиловым куколем, медуницей, мохнатыми васильками и другими полевыми цветами, сладко пахла; чуть заметно шевелились у самого моего лица острые зеленые былинки. Я безразлично разглядывал их в упор и все думал об одном и том же.

Еще когда мы шли к ювелиру, отец сказал мне:

— Василь, а помнишь, как ты, когда в городе были петлюровцы, прибежал ко мне в Нагоряны со своими ребятами? Помнишь, ты первый рассказал мне, как петлюровцы расстреливали Сергушина. Я долго думал после: какой у меня хороший хлопчик растет... А вот теперь...

И отец махнул рукой. И это было обиднее всего. Уж пусть бы лучше он назвал меня как угодно, выбранил самым страшным словом, пусть даже высек бы меня ремнем с пряжкой так, как сек своего младшего сына Стаха наш давний сосед по Заречью колбасник Грживбовский, — ничто бы не было так обидно, как этот жест и молчание отца потом.

Ясное дело — отец расскажет всем, что я украл ложки.

Тетке первой расскажет, а она пожалуется на меня Полевому. Да и сам отец ему все сообщит. Пропал тогда комсомол, пропало все. Незачем жить дальше, все меня будут презирать, и Галя первая. Скажет: наговаривал на Котьку, что он плохой, а сам вор. И руки не подаст.

Нет, жить дальше не стоит. Надо кончить жизнь самоубийством. Несколько раз я повторил про себя это слово и, забывшись, сказал громко и очень медленно:

— Самоубийство!

Услышав свой голос, непривычный и чужой, я закрыл глаза. Страшно стало. Точно меня могли подслушать. С трудом обернулся. Никого. Пустынный скалистый берег. Река медленно течет внизу. Молодой лес весь звенит от птичьего пения, а позади, словно двое часовых, высокие ржавые скалы Райской брамки.

Надо кончать. Но как? Кинусь с моста в глубокий водопад. Нет! Найду другое место. Броситься разве вот здесь со скалы в каменоломню? Неудобно. Камень, сложенный штабелями, рассыплется, еще штаны порву, и, даже если и убьюсь, не скоро меня разыщут в пустынных каменоломнях. Сперва меня собаки бродячие обглодают, а лишь потом кто-либо из пастухов найдет мои кости.

«Постой! Постой! — сказал я себе. — А минарет зачем?» Уже несколько человек прыгало оттуда и разбивалось насмерть. Минарет стоит в центре города — высокий, узкий, со статуей богоматери наверху. Его построили еще турки, когда захватили город у поляков. А потом, когда турок прогнали, мусульманскую мечеть переделали в кафедральный костел. Но тут я вспомнил, что с этого минарета прыгнула одна польская панночка. Она прыгнула от несчастной любви. И не разбилась. Только ноги поломала.

Еще песенку шутливую про нее сложили:

Панна Гацька
Впала звенацька,
И з велькей милосци
Поломала соби косци...

Ну его! С минарета прыгать не буду. А вдруг я, как эта панна, не убьюсь, а только поломаю себе кости, а потом хлопцы смеяться будут. Скажут, здоровый бугай, в этом году трудшколу окончил и пытался на себя руки наложить.

Надо кончить жизнь иначе. Но как? Вот чудак! Я совсем забыл о револьвере. Пальнул сам в себя — и готово. И ходить никуда не надо. Оставлю записку родным — и тут же в кухне... Засуну дуло в рот да как пальну! А потом все прибегут, тетка будет плакать; может, и отец заплачет, пожалеет, что сказал «посмотрим».

Но ведь я ничего этого не увижу! Я-то буду мертвый! Что мне с того, что кто-то по мне заплачет? Какой интерес?

Напрямик через кладбище возвращаться было, конечно, гораздо ближе, но очень уж сумрачно там стало вечером, и я, обогнув полями кладбищенскую ограду, пошел в город по мягкой проселочной дороге. Там, около дороги, сидели два каменотеса и высекали из куска гранита памятник. Их зубила, подгоняемые молотками, звонко выцокивали.

Интересно, мне поставят памятник, если я покончу с жизнью? Нет, не поставят. Даже и на кладбище не похоронят, а зароют где-нибудь на пустыре, как бездомного щенка.

Во дворе совпартшколы, возле железных ворот, стояли Марущак и Валериан Дмитриевич Лазарев. На Лазареве был старенький, потертый на локтях чесучовый китель, соломенная шляпа. Я даже не поверил сперва, что это Лазарев. В тот день, когда мы уговорились с Марущаком пойти к Лазареву, его дома не было. Пришли, а жена сказала нам, что Валериан Дмитриевич уехал в Киев на конференцию учителей. Мы решили сходить к нему позже, как только он приедет.

— Здравствуйте, Валериан Дмитриевич, — сказал я, снимая шапку.

— А, Манджура! Здравствуй! — ответил Лазарев рассеянно. — Ты что, разве здесь живешь?

Мне стало еще обиднее: Марущак не только познакомился с Лазаревым без меня, он даже не сказал Валериану Дмитриевичу, кто первый направил его к нему.

— Здесь. Видите, вон там, в белом флигеле, — сухо ответил я и только собрался уходить, как за спиной у меня раздался спокойный знакомый голос отца:

— Может, ты все-таки пообедаешь?

— Я не хочу, тато. Я уже обедал.

— Где же ты мог обедать, Василь? — спросил отец, улыбаясь. — В каком таком ресторане?

— И совсем не в ресторане. Я у... Петьки Маремухи обедал...

— Ну невелика беда. Пообедаешь еще раз. Пойдем, — сказал отец.

Когда мы уходили, я слышал, как Лазарев сказал Марущаку:

— Итак, договорились — после занятий?

— Приходите обязательно. Будем ждать! — ответил Марущак.

«Зачем я ему нужен? — медленно шагая вслед за отцом по траве, думал я. — То молчал-молчал и укорял меня, а теперь нежности пошли — обедать позвал. Нужна мне его нежность!»

Широкая спина отца с выступающими лопатками покачивалась в такт движению, край белой рубашки был запачкан типографской краской.

— Между прочим, Василь, — сказал отец, оборачиваясь, — меня интересует: в какое время ты успел пообедать со своим Петькой? Я недавно проходил по Заречью и зашел к ним. А Петька говорит: «Почему, скажите, Василь не заходит ко мне? У меня дело к нему есть». Ты бы зашел, Василь.

Отец снова припер меня к стене.

— Молодой человек! Молодой человек! — послышалось сзади. Нас догонял Марущак. — Товарищ Манджура, — спросил он у отца, — ничего, если я твоего хлопца задержу?

— Только недолго, а то и так его обед уже простыл, — разрешил отец и направился к лестнице флигеля.

И только он скрылся во флигеле, Марущак спросил:
— Василь, кто тебе рассказывал о привидениях?
— А что?
— Да ты не бойся, мне просто интересно.
— Маремуха говорил...
— Он твой приятель или как?
— Приятель.
— А ты не можешь у него порасспросить, от кого он это слыхал? Только, знаешь, осторожненько так, между прочим.
— Могу.
— Только не налегай особенно, пусть сам все расскажет. Понятно? Значит, расспросишь?
— Расспрошу.
— Ну и ладно. Валяй тогда обедай!
За обедом, поедая чуть теплый густой гороховый суп, я все никак не мог догадаться: знает тетка, куда делись ложки, или нет? Пока я обедал, отец, сняв покрывало, улегся на кровать и взял газету. Он читал газету, шурша газетными листками, и за все время не проронил ни одного слова. Тетка тоже молчала. Не то они повздорили, не то вдвоем рассердились на меня. Так и не поняв ничего, я доел сладкую пшенную кашу с холодным молоком и потихоньку вышел на крыльцо.
Из окон курсантского общежития доносилась веселая песня:

Так громче, музыка, играй победу:
Мы победили — и враг бежит..
Гони его!
Так за союз рабочей молодежи
Мы грянем громкое ура! ура! ура!

Как я завидовал сейчас курсантам! Я завидовал тому, что они старше меня, я завидовал их веселью. Ну почему я не родился лет на семь раньше? И с петлюровцами мне бы удалось повоевать, и, может, меня где-нибудь ранили бы в бою, и был бы я, наверное, комсомольцем. А так что?
В эту минуту на дереве запел скворец.
Как только мы переехали сюда, я заметил, что под крышей флигеля свили себе гнездо скворцы. Они изредка залетали туда, юркие, рябенькие, с темно-синим отливом. А недавно я уже слышал писк птенцов. С каж-

дым днем птенцы пищали все громче; когда подлетал к гнезду старый скворец, они высовывали из дыры в стене желтые клювы, и каждый из них норовил первым ухватить принесенного червяка. Целыми днями из-под крыши слышался громкий писк; лишь к вечеру, когда солнце скрывалось за кладбищем, накормленные досыта птенцы затихали, а довольные и усталые старики скворцы взлетали на соседнюю акацию и начинали петь. Вот и сейчас какой-то из них затянул свою вечернюю песню. Сквозь редкую листву акаций я видел черную грудку скворца, задранный кверху тоненький и дрожащий его клюв. Скворец то передразнивал иволгу, то запевал соловьем, то свистал, как чиж, то чирикал совсем по-воробьиному. Он пел все громче и надрывистее, стараясь перекричать голоса курсантов. Я загляделся на скворца и не заметил, как ко мне подбежал Петька Маремуха. Он запыхался и покраснел.

— Я... меня не пускали к тебе... Насилу уговорил... часового... Давай...

Я глядел на Петьку и ничего не понимал.

— Давай... побежали...

— Куда?

— Ты ничего не знаешь?.. Побежали...

— Да куда, скажи?..

— Борцы приехали! — выпалил Петька.

Этих слов было достаточно, чтобы я, забыв обо всем, побежал за Петькой на улицу.

Уже за воротами Петька на ходу бросил:

— Я не знаю, когда начало. Может, в десять, а может, в девять. Но если в девять, тогда опоздали.

— А где борются?

— В клубе совторгслужащих.

— Много?

— Ой, много!.. И Али-Бурхан... И Дадико Барзашвили... Все...

— А билеты?

— Не журись!

— Верно, самые дорогие остались?

— Не журись, я говорю!

— Хорошее дело — не журись!

— Есть билеты... Понимаешь? — радостно сообщил Петька, едва поспевая за мной. — Один борец, Лева Анатэма-Молния, здоровый такой... тише, не беги так... здоровый такой... принес до папы ботинки чинить...

Увидел меня и говорит: «Хочешь, хлопчик, на борьбу пойти?» Я говорю: «На какую борьбу?» Он говорит: «Как, разве у вас афиш еще нет?» Я говорю: «Нет». Он говорит... тише, Васька... он говорит: «Вот негодяи, еще не выклеили афиши, — говорит, — сбора не будет...» Тише... И дает мне сразу три контрамарки. «Нá тебе, — говорит, — приходи в клуб, посмотри, как я положу чемпиона Азии Али-Бурхана... А за это, — говорит, — скажи всем своим знакомым, что мы приехали... И выступаем у совторгслужащих».

— А ты сказал?

— Спрашиваешь! Целый день бегал, говорил, всем хлопцам сказал... До Сашки Бобыря на Подзамче бегал...

Не верилось — правду ли говорит Петька? Стриженный под «польку», с большими мясистыми ушами, он бежал вприпрыжку рядом со мной по тротуару и тяжело сопел.

— А где контрамарки? — спросил я.

— Есть... есть...

Петька залез в карман штанов, потом в другой и остановился.

— Погоди, где ж они? — бледнея, спросил он.

Мне даже показалось, что мокрая прядь волос зашевелилась на Петькином лбу, но тут Петька подпрыгнул и быстро сунул два пальца в кармашек рубашки. Он вытащил оттуда сложенную вдвое розовенькую бумажку.

— Фу... Напугался! — сказал он с облегчением. — Думал, потерял. Смотри! — И Петька на ходу развернул бумажку.

Действительно, в потной его руке было три билета.

— Это ж настоящие билеты!

— Ну не все равно — билеты чи контрамарки. Факт — пройдем.

— А третий куда?

— Третий? Продадим и конфет купим.

— Конфет, конфет! — передразнил я Петьку. — Ты что — маленький... Давай, знаешь, лучше... возьмем Галю на борьбу...

— Галю? А она разве дома? Давай, если дома! — быстро согласился Петька.

Галя, к счастью, оказалась дома, и мы не дали ей даже переодеться. Она пошла с нами в город в про-

стеньком сером сарафане, набросив на плечи вязаную голубую кофточку-безрукавку.

Уже издали, выйдя из переулочка на Центральную площадь, мы заметили, что борьба еще не начиналась: все восемь окон зала клуба совторгслужащих были освещены. А часы на городской ратуше показывали четверть десятого. Одно из двух: либо начало назначили в десять, либо не пришла публика.

Мы подошли ближе и увидели, что еще не собралась публика. На дверях клуба висела длинная, напечатанная оранжевыми буквами афиша, но мы не стали ее разглядывать, а по узенькой каменной лестничке поднялись на второй этаж. Петька Маремуха отдал контролеру, седенькому старичку в зеленой вельветовой куртке, наши билеты, старичок оторвал контроль и дал нам дорогу.

В ярко освещенном зале были выстроены простые сосновые скамейки.

В зале недавно вымыли пол, он весь был покрыт мокрыми пятнами, даже на скамейках поблескивали капли воды.

Я стер рукавом воду с наших мест, и мы уселись.

— Хорошие места, правда? — гордо спросил Петька и оглянулся.

— Ничего, — сказала Галя. — Но там, в первом ряду, было б лучше.

— Ну, лучше! — протянул Петька. — Ничего не лучше. Ты просто ничего не знаешь. Это если театр, тогда лучше, а борьбу надо отсюда, с четвертого ряда смотреть.

— Почему с четвертого? — поддерживая Галю, сказал я. — С первого же лучше видно?

— Лучше-то лучше, но там сидеть опасно. Ты знаешь, что в Проскурове было? Там один борец другого как схватил да как бросил его через себя, а тот как полетит в зал и ногами одну женщину чуть-чуть не убил. В больницу увезли. Правда, правда! Не смейтесь.

— Я одного не понимаю, — сказала Галя, — отчего все эти борцы такие здоровые?

— Ну отчего! — важно ответил Петька. — Во-первых, они каждый день выжимают гири, а потом — ты знаешь, что они кушают? Не знаешь? Думаешь, как обыкновенные люди? Совсем нет. Во-первых, они едят

сырое мясо — раз? Посолят и едят. Потом они пьют сырые яйца. И кровь пьют...

— Ну это ты, Петька, не ври, — перебил я Маремуху. — Откуда кровь?

— Откуда? — выкрикнул Петька и даже вскочил от обиды. — Ты думаешь, я вру, да? А вот и не вру. Ты знаешь, что́ меня сегодня Лева Анатэма-Молния спросил? Вот догадайся.

— Не знаю.

— А вот что. Вышли во двор, а он говорит: «Скажи, Петя, где у вас здесь можно крови достать?» Я говорю: «Какой крови?» А он смеется и говорит: «Ты не пугайся, не пугайся, не человечьей. Мне, — сказал, — обыкновенная кабанья кровь нужна, сырая. Я должен пить сырую кровь».

— Ну, а ты что ему сказал? — спросил я.

— Идите, говорю, до колбасника Гржибовского, он каждый день кабанов режет, у него есть.

— Ну и сбрехал! Откуда каждый день? — сказал я Петьке. — Это раньше, до революции, он резал каждый день, а после того как убили его Марка, он хвост совсем поджал. Теперь он режет только перед ярмарками, когда базар.

— Много ты знаешь, — протянул Петька обидчиво

— А вот и знаю. Что я, не жил рядом с ним? Жил. И все видел. Тихий он стал — как-никак сын петлюровец был у него и бандит...

— Значит, сырая кровь силу прибавляет. Смотри! А я не знала! — сказала Галя.

— Еще бы! — ответил Маремуха уверенно, — она здо́рово полезна. Ты же знаешь Сашку Бобыря? Так вот у этого Сашки была самая настоящая чахотка. Он кашлял — спасу нет. Тогда его мама стала его лечить. Каждый день утречком Сашка ходил на бойню и пил там сырую кровь. Много выпил. Стаканов сорок выпил. И что ты думаешь? Поправился. Да и сейчас иногда пьет. Говорит — вкусная.

— Фу, противно! — Галя поморщилась и закрыла глаза.

— Тише, смотри! — сказал Петька.

В зал один за другим вошли музыканты из пожарной команды. В медных, хорошо начищенных касках, в плотных желтых куртках, с большими серебряными трубами. они прошли, тяжело стуча сапогами, в левый угол

зала, под сцену, и стали рассаживаться. Ноты были приколоты у музыкантов на спинах, лишь первая четверка не имела перед собой ничего, видно, все они играли по слуху. Капельмейстер Смоляк, низенький горбатый человек в белой вышитой рубашке, подпоясанный сыромятным пояском, лысый и большелобый, поднял палочку, и оркестр заиграл для начала веселый марш «Прощание друзей». Под звуки этого громкого марша из фойе, из курилки, с улицы стала сходиться публика. Мне было не по себе: казалось, что билеты наши фальшивые и нас могут вывести. Было неприятно и то, что рядом с нами никто не сидел, неуютно было.

В эту минуту из двери, ведущей на сцену, вышел Котька Григоренко. Этого еще недоставало!

Важный и нарядный, в батистовой рубашке, сквозь которую ясно просвечивали упругие мускулы, подпоясанный кавказским ремнем с воронеными язычками, Котька медленно спустился по лесенке и, покачивая плечами, как борец, подошел к первой скамейке и уселся.

Трудно было удержаться, и я сказал Гале как можно ехиднее:

— Гляди, кавалер твой пришел.

— А, брось! — сказала Галя безразлично и даже рукой махнула, но, видно, ей неприятно стало, что Котька не поздоровался с ней. Погас свет, и занавес зашевелился. Петька Маремуха заерзал на скамейке. Подымаясь, занавес накручивался на деревянную палку. Вот свернулась лира, и мы увидели освещенную сцену. Декораций не было, лишь позади висел черный кусок сукна.

На сцену выбежал тот самый седой старичок, что отрывал у нас билеты. Он успел переодеться, вместо зеленой вельветовой куртки на нем была длинная, до коленей, бархатная толстовка с поясом и черным бантом на шее. Старичок низко поклонился, и в ту же минуту в зале послышался шум. Обгоняя друг друга, зрители мчались на первые места. Кто-то больно ударил меня локтем в спину. С грохотом упала на пол скамейка во втором ряду, несколько человек перелетели через нее, каждый, усаживаясь, точно квочка, раздвигал руки, ноги, стараясь занять как можно больше места.

— Побежали, сядем там! — охваченный общим волнением, шепнул Петька, вскакивая.

— Сиди! — цыкнул я, — куда бежишь? Смотри!

Все скамейки уже позанимали, а двое опоздавших медленно, будто прогуливаясь по залу, возвращались обратно.

Старичок поднял руку и сказал:

— Уважаемые граждане! По совершенно непредвиденной случайности судьбы наш мировой чемпионат посетил ваш замечательный древний город. Сейчас вы увидите здесь лучших богатырей нашего времени. То, что вы увидите, надолго останется у вас в памяти, и, поверьте мне, ваши дети и внуки позавидуют вам. Но я должен извиниться, уважаемые граждане, мы даем программу в несколько измененном виде. Дело в том...

В зале стало очень тихо, и все насторожились.

— Дело в том, — очень твердо сказал старичок, — что чемпион Кавказа и Каспийского моря Дадико Барзашвили не приехал...

— Обман! — закричали позади. Кто-то протяжно свистнул. Затопали ногами.

— Минуточку! — закричал старичок. — Ничего не обман!

— Самый настоящий шахер-махер! — подымаясь, закричал басом высокий широкоплечий человек в плоской, слегка засаленной кепке.

Это был Жора Козакевич, литейщик с завода «Мотор». Говорили, одной рукой он свободно выжимает мельничный вальц.

— Вы думаете, обман, да? — закричал Козакевичу старичок. — А я говорю — не обман. Дадико Барзашвили ехал с нами. Он всей душой мечтал побывать в этом уважаемом городе, но, увы, непредвиденная ирония судьбы! В городе Одессе, — старичок повысил голос, — в городе Одессе в самую последнюю минуту Дадико Барзашвили покусала бешеная собака. По настоянию врачей он остался делать прививки. Но чтобы не огорчить уважаемую публику, — старичок обвел глазами зрительный зал, — мы расширяем нашу программу. Волжский богатырь, мастер стального зажима, Зот Жегулев принимает вызов любого из присутствующих здесь и согласен бороться до полной победы... Итак, мы начинаем... Маэстро, прошу марш...

Когда все борцы, сотрясая деревянную сцену и выпячивая мускулистые свои груди, прошли в «параде-алле» перед публикой и скрылись за кулисами, стари-

чок в бархатной толстовке попросил на сцену трех человек, знающих французскую борьбу. Первым поднялся туда седой железнодорожник в форменной фуражке, за ним — начальник штаба частей особого назначения Полагутин, коренастый и черноволосый военный в красных брюках, сапогах со шпорами и белой гимнастерке. Недоставало третьего — старичок выжидающе глядел в зрительный зал. И тут очень легко на сцену выскочил Котька Григоренко. Оправляя батистовую рубашку, он смело подошел к старичку распорядителю, пожал ему руку и уселся рядом с Полагутиным на венском стуле в глубине сцены у низенького, покрытого зеленым сукном столика. Как он ни храбрился, но видно было, что ему не по себе там, на сцене. Котька положил на стол свои кулаки и все время, пока не началась борьба, смотрел на них. Задавака проклятый! Везде и всюду он старался быть первым, всюду совал свой нос. Ну вот сейчас — кто его просил идти на сцену? Разве он знает хорошо французскую борьбу? Ничего подобного! Так всякий ее знает — и я и Петька Маремуха.

Мне было очень неприятно, что Котька сидит перед нами, что Галя сможет его все время разглядывать. Котька красивее меня. Она может полюбить его, и тогда я останусь в дураках — с опасением думал я и мечтал: «Скорее бы начиналась борьба!»

МАСТЕР СТАЛЬНОГО ЗАЖИМА

Первые две пары боролись неинтересно: видно было, что их выпустили на затравку; но вот когда распорядитель объявил: «Али-Бурхан — Лева Анатэма-Молния!» — в зале зашумели и все уставились на сцену.

Духовой оркестр играл добрых минуты три — борцы не выходили. Должно быть, они набивали себе цену.

Наконец, покачиваясь, из-за кулис первым вышел чемпион Азии знаменитый Али-Бурхан.

Коренастый, рябой, стриженный ежиком и остроголовый, с широкой, оплывшей грудью, тяжело ступая, он подошел к рампе. Медленно раскланялся и, точно желая проверить, не провалится ли сцена, топнул ногой по деревянному ее полу так сильно, что электрическая лампочка вверху замигала, словно перегорая. Через пле-

чо у Али-Бурхана была надета синяя атласная лента с двумя медалями. Не спеша Али-Бурхан снял ее и подал распорядителю. В эту минуту из-за кулис выскочил Лева Анатэма-Молния, и я сразу перестал смотреть на Али-Бурхана. Загорелый, с очень гладкой, блестящей кожей, с выбритой головой, в парчовых трусиках, Лева Анатэма-Молния двигался по сцене крадучись, точно на цыпочках.

— Это он дал контрамарки! — шепнул Петька.

— Тише! — цыкнул я.

Лева Анатэма-Молния поклонился и запрятал шнурок, выбившийся наружу из легкого ботинка, пошаркал подошвами по толченой канифоли и повернулся к Али-Бурхану. Командир конвойной роты Полагутин взял со стола никелированный звоночек и потряс им.

Борцы сразу же, не успел затихнуть звоночек, стали ловить друг друга за руки. Али-Бурхан мне совсем не нравился, и я очень хотел, чтобы Лева Анатэма-Молния положил его.

Но это было не так-то просто.

...Али-Бурхан только кажется с виду таким толстым, неповоротливым. Он старый и хитрый борец. Нагнув морщинистую, всю в жирных складках шею, он крепко стоит на раздвинутых ногах и почти не двигается с места, только узкие и хитрые его глаза перебегают вслед за Левой.

Анатэма-Молния не знает, с какой стороны удобнее схватить ему Али-Бурхана. Вот он намерился взять его под мышки. Раз, два! — ничего не вышло... Али-Бурхан ударил тяжелыми руками по загорелым рукам Левы, и Анатэма-Молния снова забегал вокруг него. Али-Бурхан на ходу схватил Леву за руку, потянул его на себя.

Лева растянулся на полу, вскочил.

Али-Бурхан обошел раз вокруг Анатэма-Молнии. Обходит второй. Чего ему спешить? Он примеривается.

Поднял тяжелую и волосатую руку да как хлопнет Леву по шее! «Макароны» — так я и знал!

Лева покачнулся, но устоял. Али-Бурхан хлопает его вторично. Еще! Еще! Он, словно фуганком, строгает тяжелой рукой Левину шею. На весь зал разносятся эти отрывистые, глухие удары. Затылок у Левы побагровел, лицо налилось кровью, колени разъезжаются.

— Ему ж больно! Что он делает? — выкрикнула Галя.

— Довольно! — закричали в заднем ряду.

Командир Полагутин взял колокольчик. Али-Бурхан заметил это и выпрямился.

Он невольно пожимает плечами и сразу грудью наваливается на Леву. Анатэма-Молния всем телом рухнул на ковер. Али-Бурхан хватает его и быстро выворачивает на спину. Ну кончено! Сейчас на обе лопатки. Остается каких-нибудь два вершка, и Лева коснется спиной ковра.

Обеими волосатыми лапами Али-Бурхан жмет Леву к земле. Анатэма-Молния опомнился, он пробует стать в мост, он хочет сделать стойку на голове и выскользнуть, он упирается головой о сцену, доски прогибаются под ним, но уже поздно. Кряхтя и посапывая, Али-Бурхан прижимает его к земле. Все меньше и меньше становится зазор между ушибленной спиной Левы и ковром, все меньше и меньше... Готово... А может, еще вывернется? Вывернись, выскользни, да ну, скорее, скорее! Чего же ты ждешь?.. Эх, поздно! Зажав в руке колокольчик и позванивая шпорами, подбегает к борющимся главный судья, командир Полагутин. Заглядывает вниз. Выходят из-за стола старик железнодорожник, Котька Григоренко.

Звонок.

Лучше б его не было!

— Вот жалко! То он забил ему баки теми «макаронами», — спрыгивая со скамейки, бормочет Петька Маремуха.

Галя побледнела. Глаза у нее испуганные.

Судьи совещаются. Выбежал из-за кулис и подбежал к ним распорядитель. И сразу от судей он подошел к рампе. Поднял руку. В зале шумно. Хлопают.

— Анатэма-Молния, браво! — крикнули совсем рядом.

— Анатэма! — тоненьким голоском закричал Маремуха.

— Лавочка! Сговорились! — крикнули совсем рядом.

Распорядитель ждет. Ну говори, уже тихо!

— После захвата руки через плечо чемпион Азии знаменитый Али-Бурхан положил чемпиона Кубани Леву Анатэму-Молнию правильно! — выкрикнул распорядитель и кивнул капельмейстеру Смоляку.

Оркестр играет туш.

Важный, надутый Али Бурхан раскланивается. Раз. Другой. Третий.

Лева Анатэма-Молния, отряхивая с трусов пыль и не глядя на публику, поклонился только один раз и, потирая ушибленную ляжку, убежал за кулисы.

Один, с сольным номером, выступает чемпион Житомира Иосиф Оржеховский, красивый, поджарый борец в красных трусиках. Он широкоплечий, с хорошо развитыми бицепсами, тонкой талией. Кожа у него плотная, совсем без жира. Недаром он так свободно ложится спиной на доску, сплошь усаженную гвоздями. Эти острые гвозди густо вылезают из доски, — кажется, что все они вопьются Иосифу Оржеховскому в кожу. Но ничего. Спокойно, скрестив на груди руки, он лежит на этих гвоздях, словно на перине. Звучит военный вальс «Душа полка».

Когда, легко соскочив на ковер, Оржеховский поворачивается к публике спиной, на его коже всюду заметны маленькие точечки, но крови не видно. Вот кожа! Как у кабана.

Оржеховский свободно бегает по этой же длинной доске босыми ногами, он укладывается на скамейку и подсовывает себе под голову, под лопатки, под ноги остриями вверх три казацкие шашки, он заколачивает голой ладонью в скамейку длинные гвозди — пять гвоздей подряд! Он гнет на груди толстый прут железа, он разрывает крепкую цепь, тут же на сцене он разбивает две бутылки, толчет их в медной ступке, высыпает затем осколки стекла в фанерный ящик из-под спичек и становится туда ногами. В ящик, ногами на стекло!

И все ему сходит благополучно!

Перерыв...

Выйти? Не стоит! Еще займут места, и тогда придется смотреть оттуда, с «камчатки». Я с Галей остаюсь в зале. Только Петька, положив на свое место шапку, бежит за семечками.

Придерживая Петькину шапку рукой, чтобы не украли, я разглядываю публику. Там, на сцене, за плотным занавесом громко смеялись, топали ногами борцы. Мне было все еще досадно, что этот жирный Али-Бурхан положил такого ловкого хлопца. В зале было душно. С улицы в открытые окна доносился сладкий запах цветов акации. Эти цветущие акации стояли на тротуа-

ре рядом с клубом, их белые ветви были хорошо видны в сумраке наступающего вечера.

— Интересно, кто ж из публики, какой дурной пойдет с тем богатырем бороться? — спросила Галя, обмахиваясь платочком.

— Кто-нибудь пойдет. Может быть, твой Котька пойдет.

— Кто тебе сказал, что он мой? Чего ты прицепился?

— Ты же страдаешь по Котьке. Что я, не знаю?

— Ничего не страдаю... Нужен...

— Тише! — оборвал я Галю.

Рядом, на улице, громко запели «Интернационал».

— Кто это? — спросила Галя.

— Держи места, — приказал я и бросился к открытому окну. Высунувшись, я увидел, что верхний этаж типографии освещен. Типография стояла рядом с кафедральным костелом. Черный шпиль минарета и мадонна, стоящая на полумесяце, выделялись на светлом еще небе. В освещенных окнах типографии я заметил людей. Они стояли и пели.

— То в ячейке печатников, — объяснил я, возвращаясь. — Наверное, у них кончилось комсомольское собрание.

Да, я угадал правильно. Только затихли последние слова «Интернационала», они запели «Молодую гвардию».

Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе!
Штыками и картечью
Проложим путь себе.

Смелей вперед, и тверже шаг,
И выше юношеский стяг.
Мы — молодая гвардия
Рабочих и крестьян! —

очень ясно доносилось оттуда, из типографии.

И мне сразу сделалось очень тоскливо здесь, в этом душном, шумном зале, среди незнакомой публики. Там, в соседнем доме, дружно пели комсомольцы, наверное, они решали там важные дела. Может быть, они уславливались, как лучше ловить бандитов; может быть, они принимали кого-нибудь в комсомол? Стало тяжело, что я не с ними. И даже то, что рядом со мной

сидела Галя, не могло отогнать тоски, нахлынувшей внезапно вместе с громкой этой песней. Я вспомнил, как тяжело жилось мне в эти дни, вспомнил все свои огорчения, и стало еще больнее, и ничто, казалось, уже не поможет моему горю.

Но тут я услышал знакомый голос Маремухи:

— Семечек нема, а есть только монпансье. Бери, Галя, это кисленькие! — сказал Петька.

На клочке газетной бумаги Маремуха держал штук восемь конфеток. Они были разных цветов и слиплись.

— Бери, Галя, ну! — твердо сказал Петька.

Галя осторожно, двумя пальцами взяла липкую конфетку и захрустела ею. И мне тоже захотелось попробовать сладкого. Я отодрал сразу две конфеты и отправил их, не разъединяя, в рот.

Так, хрустя кисленькими конфетами, мы дождались открытия занавеса.

— Победитель чемпиона мира Черной Маски, известный волжский богатырь, мастер стального зажима, никем не победимый Зот Жегулев! — выкрикнул распорядитель и сразу же отбежал в сторону. Он прижался к стене и стал смотреть в глубь сцены так, словно оттуда должен был выскочить не борец, а самый настоящий зверь.

Я думал, что волжский богатырь будет фасонить больше всех и выйдет на сцену не скоро, но Зот Жегулев появился сразу, как только оркестр заиграл марш. Он вышел, и мне сперва показалось, что к нам плывет одно туловище безногого человека. А показалось так потому, что Зот Жегулев был в черном трико до пояса. Это плотное шерстяное трико туго обтягивало его длинные, худощавые ноги в легоньких черных ботинках без каблуков. Очень недоброе, злое было лицо у этого человека: все в шрамах, морщинах, смуглое и сухое, с большими зализами на лбу, редкие черные волосы и нос тонкий, острый, словно клюв хищной птицы. Когда Зот Жегулев, подойдя к рампе и кланяясь, улыбнулся, я увидел белые и крупные его зубы. Я сразу невзлюбил этого человека. Я почувствовал, что Зот Жегулев улыбается нарочно, из-за денег.

Поклонившись, волжский богатырь отошел на середину сцены и остановился там, сложив на груди руки и выставив вперед правую ногу.

Распорядитель объявил:

— Итак, уважаемые граждане, мастер стального зажима волжский богатырь Зот Жегулев принимает вызов любого из вас и будет бороться до полной победы, если вы того пожелаете! Зот Васильевич, прошу подтвердить согласие.

Волжский богатырь молча поклонился.

В зале стало тихо.

Зот Жегулев, прищурившись и сжав узкие губы, глядел прямо на публику.

— Ну так что ж, граждане? — спросил старичок распорядитель. — Угодно кому-нибудь попробовать свои силы в схватке с уважаемым Зотом Васильевичем?

В зале по-прежнему молчали. Только позади кто-то хихикнул.

Так же, скрестив руки, стоял, выжидая, Зот Жегулев. Рядом со мной тяжело дышал Петька Маремуха. Вот бы ему, коротышке, выйти попробовать этого длинного богатыря.

— По-видимому, желающих нет и не будет? — хитро улыбаясь и подмигивая волжскому богатырю, сказал распорядитель. — Тогда...

— Подожди, не торопись! — послышалось сзади.

Все обернулись.

В проходе стоял Жора Козакевич.

— Простите, — спросил распорядитель, — вы что-то сказали?

— Я буду бороться! — твердо выкрикнул Жора.

— Простите, а спортивный костюм у вас есть?

— Как-нибудь! — крикнул Жора и, не сходя с места, стал стягивать рубашку.

Только он стащил ее, мы увидели широкую загорелую его грудь, очень сильные его руки.

— Барышни, прошу не смотреть! — крикнул Козакевич и, согнувшись, ловко сбросил штаны, оставшись в одних трусах и тяжелых ботинках.

— Костик, дай-ка твои тапочки! — попросил он, протягивая в ряды рубаху и штаны.

Ему сразу же подали взамен белые, на лосевой подошве тапочки. Козакевич разулся, надел тапочки, попробовал, хороши ли они, и, увидев, что хороши, приглаживая пальцами взъерошенные волосы, прошел мимо нас к сцене.

Вытянув шею, старичок в толстовке силился разглядеть его.

Когда Жора подошел к подмосткам, распорядитель спросил:

— Гражданин, а вы знаете правила французской борьбы?

— Как-нибудь! — ответил Жора и, задрав ногу, вскочил на сцену. Жмурясь от внезапно нахлынувшего на него света, он стал возле рампы спиной к волжскому богатырю и, улыбаясь, хлопнул себя ладонью по груди. В зале засмеялись. Тогда Жора повернулся к Жегулеву и вытянул руки, чтобы бороться.

— Погодите, молодой человек, — остановил Жору распорядитель. — Еще успеете. Скажите вашу фамилию.

— Козакевич Георгий Павлович! — весело тряхнув головой, ответил Жора.

Из зала закричали:

— Жора, а ты пил боржом?

— Жора, завещание напиши, Жора! — крикнул мой сосед, толстый усатый кузнец Приходько.

— Ничего, как-нибудь! — сложив лодочкой ладони, прокричал в публику Козакевич.

Зот Жегулев тем временем поправил свой широкий резиновый пояс и, взяв со стола кусочек мела, стал медленно натирать мелом ладони.

— Скажите вашу профессию, гражданин Козакевич, — осторожно попросил старичок.

— Металлист! — гордо ответил Козакевич.

— Жора, адрес оставь, — не унимался какой-то крикун в задних рядах.

Старичок распорядитель пошептался с волжским богатырем и объявил:

— Итак, мы продолжаем. Следующая пара: волжский богатырь, мастер стального зажима, непобедимый Зот Жегулев и любитель французской борьбы металлист Георгий Павлович Козакевич! Музыка, прошу!

Дрогнули сияющие трубы в руках у пожарников.

Борцы шагнули друг к другу. Жегулев пригнулся. Он протягивает навстречу Жоре длинные руки, видно, хочет выведать, каков Жора на простом захвате. Но Жора, не дожидаясь, хватает Жегулева прямым поясом и поднимает его вверх. Черные ноги богатыря уже в воздухе, он болтает ими, готовый ко всему.

А ну, тряхни его как следует, стукни ногами об землю!

Жегулев ловко выбрасывает вперед обе свои руки, одной из них он упирается в шею Козакевича, отталкивается. Жора покраснел, но не отпускает богатыря. Жегулев жмет его сильнее. Тогда Жора круто поворачивается и пробует стать на колено, но Жегулев, громко крякнув, вырывается.

Бросились снова друг другу навстречу.

Жора неловко повернулся, и Жегулев сразу захватил его руку под мышку. Жмет. Крепко жмет! Слышно, как хрустят кости. Вот он, стальной зажим!

Пропал Жора, недаром он такой красный. Поворот.

— Здóрово!

Жора выскользнул и сразу поднял Жегулева на бедро. Богатырь пробует высвободиться, хочет опоясать Жору, но тот широк и ловок.

Козакевич быстро подхватывает Жегулева, потом с размаху опускается на колено и швыряет его на спину.

Богатырь успел вывернуться.

Он падает на бок. Оба они возятся на ковре, богатырь кряхтит, силится вырваться. Но Жора крепко держит его обеими руками, а потом приказывает стать в партер.

И вот этот черный длинноногий борец покорно переползает на карачках на средину сцены и устраивается там на ковре; его недобрые глаза блестят, на локте краснеет ссадина.

— Жора, дай «макароны»! — закричал Приходько.

Жора не слышит. Он нежно похлопывает богатыря по спине, видно, не знает, каким приемом схватить его.

— Бери двойным, Жора! — заорали с «камчатки».

Козакевич услышал.

Он пробует схватить Жегулева двойным нельсоном, но тот быстро прижимает обе руки к туловищу — двойной не получился. Тогда Козакевич ловко и словно невзначай хватает Жегулева обеими руками за плечо, рвет его на себя. Богатырь хотел вскочить, но поскользнулся — он лежит на боку, Жора наваливается изо всей силы. Еще немного, немного, и Жегулев будет придавлен спиной к полу. Слышно, как тяжело кряхтит он, сопротивляясь, быстрые его ноги елозят по ковру, он пробует задержаться ими.

Ну еще, еще!

— Жми его сильней!

В зале зашумели.

Все вскакивают.

Стучат скамейки.

— Давай, давай, Жора! Прибавь давления! — кричит усатый Приходько.

— Жора, ты же пил боржом! Не подкачай! — крикнули сзади.

Даже музыканты, побросав свои трубы, столпились у рампы.

Козакевич жмет богатыря широкой грудью, одна его тапочка отлетела под судейский столик, он упирается в Жегулева левым плечом, давит его изо всей силы вниз, вот-вот щека Козакевича коснется острого богатырского носа — как бы этот Жегулев со злости не откусил нашему Жоре ухо. Остается еще капелька до полной победы, как вдруг Козакевич круто вскакивает и, задыхаясь, кричит в зал:

— Это жульничество! Он меня мажет!

А Жегулев тем временем вскочил и налетает на Козакевича сзади, видно, не хочет, чтобы тот его выдавал.

Жегулев хватает Козакевича двойным нельсоном, давит ему на шею — это очень опасный прием, но Козакевич рассердился не на шутку. Собрав последние силы, он загибается, падает на колено и перебрасывает богатыря через себя.

Падая на спину, Жегулев ударяет ногой по жестяной рампе.

Точно ведро бросили! Рампа погнулась.

Жора бросается к богатырю и, схватив его за плечи, оттаскивает на середину ковра и с ходу — на обе лопатки.

Полагутин зазвонил.

Жегулев опомнился. Он хочет вырваться, он вертится на ковре так, словно ковер — это не ковер, а раскаленная плита. Теперь он страшен, очень страшен, этот никем не победимый и побежденный Козакевичем богатырь, но ему не вырваться. Жора навалился на него и не пускает ни в какую.

— Хватит! Хватит! — кричит на ухо Жоре Полагутин.

К борющимся подбегает Котька Григоренко, трогает Жору за локоть. Козакевич бьет локтем назад, Котьке по колену.

Правильно! Не лезь!

Котька отскочил.

Полагутин смеется. Широко расставив ноги в красных бархатных брюках, он подносит звоночек к самому Жориному уху. Козакевич, сообразив, наконец, что победил, вскакивает и подбегает к рампе.

— Граждане! Граждане! — силится перекричать он шум и аплодисменты.

Жора потерял и вторую тапочку, он стоит теперь на сцене в одних серых носках, волосы его слиплись на лбу, нос блестит, щеки мокрые, на потной груди очень хорошо заметна татуировка: русалка с длинным рыбьим хвостом и серп и молот.

— Та тихше, нехай скаже! — обернувшись к публике, басом кричит усатый Приходько.

Когда шум затихает, Жора Козакевич, тяжело дыша и не глядя даже на Жегулева, выкрикивает:

— Я с этим бугаем борюсь... а он... дам тебе, говорит, десятку, только поддайся... Слышите?

— То жулик, а не мастер! — кричит в ответ Приходько.

— Он врет!.. Врет!.. — порываясь подойти к Жоре, кричит со стороны сцены Жегулев.

Полагутин его не пускает.

Старичок распорядитель дрожащими руками распутывает веревку занавеса.

— Ну давай тогда еще бороться. Посмотрим, кто кого! — кричит богатырь.

Жора Козакевич тяжело прыгает в зал.

Уже снизу он отвечает Жегулеву:

— Хватит. В Одессе, на Молдаванке, поищи себе партнеров, а я с такими жуликами больше не борюсь...

— Жора, тапочки! — через весь зал кричит приятель Козакевича.

Услышав этот крик, Котька Григоренко подбирает белые тапочки и протягивает их Козакевичу.

Зажимая их под мышкой, взволнованный Жора в одних носках быстро шагает в глубь зала. И не успевает он подойти туда, крашенный масляными красками тяжелый холщовый занавес, раскручиваясь, падает вниз и закрывает сцену, судей и злого побежденного волжского богатыря, мастера стального зажима Зота Жегулева.

Мы вышли не сразу. Мне казалось, что скандал на этом не закончился, и я предложил подождать немного. Разгоряченные и взволнованные не меньше Жоры, мы пошли в буфет, где, вытягивая из комнаты табачный дым, гудел в окне вентилятор.

Нам сразу стало прохладно. Сквозняк обдувал нас. Петька Маремуха угостил Галю шипучей сельтерской водой. Мне тоже хотелось пить, но просить у Петьки денег на воду при Гале я стыдился, а он, коротышка, не догадался сам меня угостить.

Скандала не было.

Прямо в трусах, не одеваясь, Жора Козакевич вышел на улицу. Я пожалел, что мы захватили Галю. Если бы мы были одни, можно было бы свободно пойти за Козакевичем, послушать, что он рассказывает своим приятелям. А теперь мы не спеша прошли по душному и уже пустому залу на площадку и стали медленно спускаться по лестнице.

— Василь! — сказал Петька. — Я одного не понимаю. Отчего Жора кричал: «Он меня мажет». Чем он его мазал?

— Дурной! — ответил я, смеясь. — Мажет — это значит взятку дает. Он ему хабар обещал.

— А-а-а! Хабар! А я не понял, — протянул Петька, прыгая через ступеньку. — Какой же это «волжский богатырь»? Разве такие богатыри бывают? Это заправский шарлатан...

На улице было совсем прохладно. Вверху, над крыльцом, горела лампочка, освещая кусок тротуара и кривую акацию.

Огни на площади уже погасили. Темная стояла сбоку типография, под аркой костельных ворот было совсем темно.

— Галочка! — послышалось сбоку.

Я увидел в темноте белую рубаху Котьки. Галя вздрогнула, оглянулась и, бросив нерешительно: «Подождите меня, хлопцы», — быстро пошла к Григоренко.

Не знаю, о чем они говорили. Зато было очень больно стоять здесь, на освещенной полоске тротуара, и знать, что любимая тобою девушка шепчется с *твоим* врагом. Этот проходимец не постеснялся и при нас назвал ее нежно Галочкой. А быть может, она сама дала ему право называть себя так? Меня передернуло от этой

мысли! Озадаченный Петька молчал и только посапывал.

Галя возвратилась веселая.

— Ну пошли, хлопцы! — сказала она и, вынув кривую гребенку, зачесала назад ровные и густые волосы.

До самого бульвара мы шли молча. Хотелось спросить Галю, зачем позвал ее Котька, но гордость не позволяла. Стыдно было. Видно, Галя сама чувствовала, что это меня интересует, потому что, только мы перешагнули каменный порог бульварной калитки, она сказала:

— И чего только он ко мне пристает, не знаю. Давай, говорит, я тебя провожу. Спасибо, говорю, я же с хлопцами иду, не видишь разве? Ну и пошел домой.

Мы не ответили. Оскорбленные, мы шли молча, а Петька Маремуха, молодец, понимая, что с Галей говорить не стоит, что надо ее наказать, сказал мне:

— А знаешь, Васька, что мне Анатэма-Молния утром сегодня сказал? Пощупал мои мускулы, грудь — из тебя, говорит, хлопчик, может хороший борец выйти, у тебя, говорит, атлетическое телосложение. Атлетическое! Ты чуешь, Васька?

— Много он понимает, твой Анатэма, — отмахнулся я с досады. — Разве он борец? Он сморкач, а не борец. Не мог даже Али-Бурхана побороть...

— Ну это еще вопрос! — ответил Маремуха с обидой, и голос его дрогнул. — Он хороший борец и правду сказал. А ну пощупай, какие у меня мускулы.

— Пощупай, пощупай... Зачем мне щупать! Давай просто поборемся.

— Давай! — ответил Маремуха.

— Василь, не борись, Петька тебя положит, — подшучивая, сказала Галя.

— Что? Положит? Ну это еще посмотрим. Гайда, снимай пояс! — приказал я.

— Как? Здесь? — испугался Петька.

— А ты хотел на улице? Здесь, здесь, на полянке!

— Ну давай! — решился Петька и щелкнул пряжкой.

— Смотри, Галя, чтобы не покрали вещи, — сказал я.

Трава на полянке была мокрая от росы и скользкая, и только я схватил Петьку под мышки, мы оба сразу грохнулись на землю. Это кажется со стороны, когда сидишь в зале, что бороться легко. Петька сопел, отби-

вался кулаками, но я быстро повалил его, подмял под себя. Мне хотелось поскорее побороть его, чтобы выказать перед Галей свою силу. Уже оставалось совсем немного до победы, но тут Петька вывернулся и прыгнул мне на спину. Он устроился на мне, точно на лошади, и, подпрыгивая, силился повалить меня, прижать к земле. Я понатужился, стал сперва в партер, а затем на колени и опрокинул Петьку. Можно было, конечно, для быстроты дела поймать его за ногу, но я боялся, что Галя увидит.

Петька вскочил и стал хватать меня за руки. Ладони у нас были мокрые от росы, мне надоело возиться, я схватил Петьку прямым поясом и так, сжимая его изо всей силы, пошел вперед. Петька, сопротивляясь, попятился. Не знаю, сколько бы мы шли так, но, к счастью, позади оказалась ямка. Петька шагнул в нее и покачнулся, я приналег, мы грохнулись на землю, и тут, наконец, я положил Маремуху на обе лопатки.

— Ну, то не по правилам! — пропыхтел Петька, вставая. — На ровном ты бы еще поборолся со мной. Так и дурак положит!

— Хватит вам. Тоже мне борцы нашлись! — сказала Галя, протягивая пояса и наши шапки. — Пойдемте!

Пошли. Темный бульвар спускался по скалам вниз, к лесенке на Выдровку. Под нашими ногами скрипел рассыпанный по аллейке речной песок. Было очень приятно, что я положил Маремуху на глазах у Гали. А она-то думала, что Петька сильнее.

По ту сторону реки белели на склонах домики Заречья. Уже всюду погасили огни. Только в одном окне горел свет. В нашей бывшей квартире было тоже темно. Интересно, каких жильцов вселил туда комхоз?

Когда, проводив Галю, мы переходили по узенькой деревянной кладочке через реку, Петька сказал:

— Василь! А давай отлупим Котьку, чтобы он не вязался до Гали.

— Когда?

— Или нет! Давай лучше его напугаем!

— Напугаешь его! Как же.

— Факт — напугаем. Вот послушай. Будет он к себе домой на Подзамче возвращаться, а мы его в проулочке подкараулим да тыкву навстречу выставим. И завоем, как волки. Думаешь, не побежит? Факт — побежит!

— А где ты сейчас тыкву достанешь? Они же маленькие еще.

— У меня с прошлого года осталась. Сухая. Корка одна. Вырежем рот, глаза, заклеим красной бумагой, а в середину — свечку. Вот напугается! Подумает — привидение.

— Постой, Петька, — остановил я Маремуху. — Хорошо, что напомнил. Кто тебе говорил, что в нашей совпартшколе привидения есть?

Петька оглянулся и спросил тихо:

— А что?

— Да ничего. Сколько живем — и ничего. Не слышно даже.

— Мне Сашка Бобырь говорил. Может, он набрехал?

— А ты спроси, кто ему говорил, — интересно.

— Добре!

— Ты, случайно, завтра не увидишь его?

— Может, увижу. Я утречком на Подзамче за кукурузой пойду.

— Зайди к нему, Петька. Что тебе стоит? Ведь интересно, откуда он это взял. Какие такие привидения?

— Ну хорошо, зайду. А на борьбу пойдешь завтра?

— Давай сходим. Я приду вечером.

— Пораньше только приходи, — попросил Петька. — Так часов в семь.

— Приду обязательно, — пообещал я. — Не забудь, спроси Бобыря.

— Хорошо, хорошо! — сказал Маремуха, и мы расстались.

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Из всех хлопцев, с которыми мне приходилось встречаться, Сашка Бобырь, или Бобырюга, как мы его прозвали в трудшколе, был самый невезучий.

Однажды, еще когда существовала гимназия, мы спускались по телеграфному столбу из гимназического двора на Колокольную улицу. Все спускались быстро, а Сашка Бобырь захотел пофасонить и стал тормозить: поедет немножко, а затем с размаху останавливается. До земли оставалось совсем немного, когда Сашка заорал, да так громко, что даже те хлопцы, которые были уже у реки, побежали на его крик обратно наверх.

Сашка спрыгнул на мостовую и, не переставая кричать, держась обеими руками за живот, помчался по Колокольной вверх, к городу. Мы пустились за ним.

Сашка с ходу ворвался в квартиру доктора Гутентага. Мы тоже хотели забежать туда, но сестра в белом халате нас не пустила. Из открытых окон на улицу доносились вопли Сашки Бобыря.

Казалось, доктор Гутентаг резал его на куски.

Стоя под окнами, мы думали разное. Петька Маремуха утверждал, что, когда Сашка спускался по столбу, у него лопнул живот.

Мой приятель Юзик Куница говорил, что, наверное, Бобыря укусил тарантул. Вылез из щелки и укусил.

Вскоре крики умолкли. Мы уже решили, что Сашка не жилец на белом свете, как вдруг, заплаканный и бледный, поддерживая живот, он появился на крыльце. Следом за Бобырем в белом колпаке и в блестящем пенсне с золоченой дужкой вышел сам доктор Гутентаг. Он держал в руке зажатую в белой ватке черную окровавленную щепку.

Не успел Сашка спуститься по лесенке вниз, доктор окликнул его и, протягивая окровавленную щепку, сказал:

— Возьми на память!

За углом Сашка задрал рубашку и показал всем дочерна смазанный йодом и слегка вспухший живот. Заноза влезла ему под кожу от пупка до самой груди. Внизу, там, где она входила, был приклеен круглый, как пятачок, кусочек бинта.

Морщась от боли, Сашка Бобырь рассказывал, что доктор Гутентаг выдирал у него из-под кожи эту занозу здоровенными клещами и что даже дочка доктора, Ида, помогала отцу. Мы шли рядом и, поеживаясь, поглядывали на занозу. Она и в самом деле была велика, куда больше всех тех заноз, которые не раз залезали каждому из нас в босые ноги.

Сашка гордился приключением. Хотя в ушах у нас все еще стоял его крик, но он говорил, что ему ни чуточки не было больно.

— А чего же ты кричал? — спросил Куница.

— Чего кричал? А нарочно! Чтобы доктор принял меня без денег.

Пропахший йодом и коллодием, Сашка несколько дней был героем нашего класса.

Вскоре история эта забылась, но прошло два месяца, и о Сашке снова заговорили.

На большой перемене мы играли в «ловитки». Сашка побежал за гимназические сараи и нечаянно прыгнул на деревянную крышку помойной ямы. Крышка мигом наклонилась, и Сашка влетел в квадратный люк.

Все думали — конец Сашке. Только подбежали к черной дыре, откуда несся кислый запах помоев, как вдруг снизу послышался глухой, придавленный крик:

— Спасайте!

— Ты держишься? — осторожно заглядывая в люк, спросил Куница.

— Я стою. Тут мелко! — донеслось к нам из ямы.

Мы вытащили Сашку уздечками, снятыми наспех с директорского фаэтона.

Мокрый, с обрывками бумаги и капустных листьев на одежде, Сашка вылез из ямы и сразу же стал прыгать. В рыжих его волосах застряла картофельная шелуха, от него плохо пахло.

Напрыгавшись вдоволь, Сашка разделся догола и сложил свою мокрую одежду в угол под сараем. Качая воду из колодца, хлопцы ведрами таскали ее к Сашке и окатывали его этой холодной водой с налету, как лошадь; брызги чистой воды разлетались далеко, сверкали под солнцем. Дрожа от холода, Сашка прыгал то на одной, то на другой ноге, фыркал, сморкался и быстро потирал ладонями конопатое лицо, рыжие волосы и все свое худое, покрытое гусиной кожей тело.

Сторож Никифор дал Сашке свою старую, пропахшую табаком ливрею. В этой расшитой золотыми галунами ливрее, которая была ему до пят, Сашка побежал в актовый зал и сидел там за сценой целый день, пока жена Никифора не выстирала и не высушила ему одежду. На перемене мы побежали к Сашке в актовый зал.

Завидев нас, Сашка сбросил ливрею и, голый, колесом заходил по паркетному полу актового зала.

Какой-нибудь год оставался нам до окончания трудшколы; все хлопцы выросли, поумнели, меня даже в учком выбрали — один только Сашка Бобырь свихнулся и вдруг стал прислуживать у архиерея. Днем учится, а как вечер — в Троицкую церковь. Что ему в голову взбрело, не знаю. Раза два мы нарочно ходили в церковь поглядеть, как Сашка прислуживает. Рыжий, в на-

рядном позолоченном стихаре, с длинным вышитым передником на груди, Сашка бродил, размахивая кадилом, по пятам седого архиерея. Сашка зажигал в церкви свечи, тушил пальцами огарки и даже иногда, обходя верующих с блюдцем, собирал медяки. Всем классом мы объявили Сашке бойкот, мы нарисовали его в стенной газете «Червоный школяр», мы даже просили Лазарева, чтобы этого поповского прихвостня убрали от нас в другую группу. Один только Котька Григоренко в те дни разговаривал с Бобырем — они стали вдруг закадычными друзьями. Вместе ходили домой и сидели на одной парте.

Не знаю, сколько бы еще прислуживал Сашка архиерею, возможно, вышел бы из него дьякон или самый настоящий поп, как неожиданно из Киева возвратился старший брат Бобыря, комсомолец из ячейки печатников, Анатолий Бобырь. Три месяца учился Анатолий на курсах в Киеве и, вернувшись, стал агитировать Сашку, чтобы тот бросил своего архиерея.

Агитировал он его хорошо, потому что дня через два после приезда брата Сашка перестал ходить в Троицкую церковь. А уж через месяц сам кричал, что попы обманщики, а седой архиерей самый главный жулик. Сашка рассказывал нам, как каждый раз после богослужения архиерей забирал себе изо всех кружек и с подноса половину денег, а остальные давал попам. Сашка божился, что на одних восковых свечках попы Троицкой церкви вместе с архиереем зарабатывают втрое больше, чем директор нашей трудшколы Лазарев получает жалованья.

Оказалось, что архиерейским прислужником Сашка Бобырь сделался неожиданно. Как-то вечером вместе с двумя знакомыми хлопцами он полез в сад к попу Киянице за яблоками. Сидя на дереве, Сашка тряс яблоню, а хлопцы собирали. Они уже набрали полные пазухи, как вдруг заметили Кияницу и дали ходу. Бедный Сашка остался на дереве и, ясно, удрать не смог. Медленно слезая, он думал, что Кияница выпорет его ремнем, заберет рубашку, а то еще хуже — поведет к родителям. Ничего подобного не случилось.

Только Сашка спрыгнул на траву, Кияница ласково взял его за руку и сказал:

— Ты хотел яблок, мальчик? Ну что ж, собери, сколько тебе нужно.

Сашка осторожно подобрал в траве два яблока и ждал, что вот сейчас-то поп будет его пороть, но Кияница сказал:

— Чего ж ты? Бери, бери еще. Не стесняйся!

Сашка подумал-подумал и, решив «была не была», стал подбирать спелые, пахучие яблоки. Он насовал яблок в карманы, насыпал полную фуражку, набросал за пазуху. «Пропадать, так с музыкой!» — решил Сашка.

Усталый и сразу отяжелевший, он стоял перед Кияницей и ждал: что же будет дальше? К большому Сашкиному удивлению, Кияница не тронул его пальцем и не только не отобрал яблоки, а даже сам открыл Сашке калитку и сказал на прощанье:

— Захочешь еще яблок — попроси. Дам. А воровать не надо.

Через три дня Сашка отважился и пришел к попу снова. Прежде чем повести Сашку в сад, Кияница долго расспрашивал его о том, что делается в трудшколе, какие новые учителя пришли, как справляется Лазарев.

Ласково, нежно расспрашивал, а потом предложил Сашке помогать готовить ему уроки. Вот и стал Сашка захаживать к попу Киянице в гости, с ним вместе он и в церковь сперва ходил, а потом, когда Кияница устроил его прислужником, уже и сам бегал туда каждый вечер, когда была служба.

Меня очень удивило, что Сашка Бобырь рассказал Маремухе о привидениях в совпартшколе. После того как весной мы окончили трудшколу, я ни разу не видел Сашку Бобыря в наших краях: он пропадал где-то там, у себя на Подзамче. От кого же, интересно, он мог узнать, что в совпартшколе водятся привидения? Я с нетерпением ждал следующего вечера.

Но ничего я не узнал.

Больше того: я не смог прийти к Петьке Маремухе в семь часов, как обещал.

Утром, когда я мылся под кустом сирени, во двор въехали одна за другой четыре крестьянские подводы. Возница первой подводы спросил что-то у часового. Тот показал рукой на задний двор, и подводы уехали туда.

Уже попозже, когда солнце стояло над головой, я видел, как курсанты вынесли из здания несколько тюков с бельем, одеялами и погрузили их на подводы. Я решил, что, наверное, опять где-нибудь перешла гра-

ницу петлюровская банда и курсанты собираются ее ловить.

Наступило время обеда.

Я вбежал в комнату к родным и услышал, как отец сказал тетке:

— Ну довольно!

— Ничего не довольно! — вдруг закричала тетка. — Ты мне рот не закроешь. Говорила и буду говорить.

— Ну и говори, — сказал отец мягко.

— А вот и скажу. Сознательные, сознательные, а...

— Ты опять за свое, Марья? — повышая голос, сказал отец.

— А что, разве неправду говорю? Правду! Жили на Заречье — ничего не случалось. А сюда переехали, и сразу пошло: суп украли, ложки...

— Тише, Марья! — крикнул отец.

— Ложки украли...

— Тише, говорю!

— Ничего не тише. Ложки украли, а завтра...

— Замолчи! И не скули! — вставая, совсем громко закричал отец. — Замучила ты меня своими ложками. Так вот слушай! Я сам взял ложки и передал их в комиссию помощи беспризорным. Понятно? А будешь скулить — остальные отдам.

Тетка сразу замолчала. Она смотрела на отца с недоверием.

Я не знаю, поверила ли она ему.

Чтобы спасти меня от упреков тетки, отец наговорил на себя такое. Это здорово! Мне стало жаль отца. «Я скотина, скотина! — думал я. — Ну зачем мне надо было продавать эти ложки? Попросил бы у отца денег, ведь наверняка дал бы...» И суп этот еще сюда затесался. А с ним совсем смешно получилось.

На следующий день после ночной тревоги отец вернулся домой грязный. Под утро за городом прошел сильный дождь.. Черные брюки отца были до коленей забрызганы дорожной грязью, а ботинки промокли и были издали похожи на два куска глины. Стоя на крыльце, отец щепочкой счищал с ботинок грязь. Он бросал комья этой липкой желтоватой грязи с крыльца вниз и рассказывал мне о тревоге. Оказывается, вечером накануне банда Солтыса остановила возле Вапнярки скорый поезд Одесса — Москва.

Забрав из почтового вагона деньги, бандиты пода-

лись к румынской границе. Чоновцы поджидали банду в поле, недалеко от Проскуровского шоссе, но бандиты изменили направление и свернули к Могилеву.

Когда мне отец рассказывал, как лежали они в засаде, подбежала тетка с пустой кастрюлей в руках и спросила:

— Ты суп вытащил, признавайся?

— Да не мешайте, тетя. Не брал я ваш суп, — отмахнулся я.

Лишь позже, когда тетка ушла, я вспомнил, что оставил суп открытым на ободе колодца. Видно, ночью к нему подобралась собака или другой какой зверь, потому что тетка нашла пустую кастрюлю в бурьяне. Сознаться, что я вытащил суп, после того как я сказал «нет», было поздно, и я думал — все обошлось.

Но и тут я ошибся. А может, пойти признаться сейчас тетке, что это я вытащил суп? Пусть не думает на курсантов. Эх, была не была! Пойду признаюсь.

Я шагнул к двери, открыл ее и увидел отца.

— Куда, Василь?

— Да я хотел...

— Пойдем побеседуем, — предложил отец и вошел в кухню.

Я захлопнул дверь и подошел к плите.

— Садись, — сказал отец и показал на табуретку.

Оба мы сели.

— Не надоело тебе еще баклуши бить, Василь?

— Немного надоело, — ответил я тихо.

— Я тоже думаю, что надоело. Ходишь, болтаешься как неприкаянный. От безделья легко всякие глупости в голову лезут. Ложки, например...

— Но я не виноват, тато. Занятия на рабфаке еще не скоро. Что мне делать, скажи? Все хлопцы тоже ничего не делают...

— Я знаю, что хлопцы твои делают, но думаю, что пока там суд да дело, не вредно было бы тебе поработать немного.

Я в ожидании смотрел на отца. Ссора с теткой, видно, его мало расстроила — спокойный, молчаливый, он сидел на табуретке, глядел на меня и посмеивался.

— Ну так что же, Василь?

— А я не знаю...

— Опять не знаю?

— Ну, ты говори, а я...

— Ну хорошо, я скажу.

Отец поднялся и зашагал по комнате. Помолчав немного, он подошел ко мне вплотную и сказал:

— Видишь, Василь, у нашей совпартшколы есть совхоз. Не так чтобы очень далеко, не так чтоб и очень близко. На Днестре. Место там хорошее, сады, река. Сегодня в этот совхоз на работу уезжает группа курсантов. Как ты думаешь, не проехаться ли и тебе с ними?

— Меня разве возьмут?

— Возьмут. Я уже говорил с начальником школы.

— Хорошо. Я поеду.

— Поедешь?

— Поеду...

— Но только придется тебе в совхозе поработать, Василь. Баклуши там бить нельзя. И кофе с барышнями по вечерам распивать не удастся. Словом, сам себе будешь зарабатывать на хлеб. Я в твои годы уже давно этим занимался и не жалею. Согласен?

— Согласен.

— Тогда живенько давай укладывайся — и марш к Полевому. На задний двор.

— Полевой тоже едет?

— Да. Он начальник отряда. Поживей собирайся.

— Хорошо, тато, хорошо! — выкрикнул я и, вскочив на плиту, потащил вниз матрац, простыни и подушку.

— Матрац брать не надо, — сказал отец. — А постель возьми. И пальто возьми.

— Зачем пальто? Жарко же!

— Возьми, говорю. Пригодится.

Я снял с крюка свое старое осеннее пальто, сложил его вдвое и завязал в один узел вместе с полотенцем, простынями и подушкой. Отец стоял у меня за спиной и наблюдал, как я укладывался.

КТО УБЕЖАЛ?

Мы уехали — восемнадцать человек, и я даже не смог повидать перед отъездом Галю. Когда наша подвода катилась по крепостному мосту, я, привстав, увидел внизу под скалами крышу Галиного домика. Мне стало очень тоскливо, что я не простился с Галей. Возможно, в эту минуту она сидела в комнате и даже не дума-

ла, что я, надолго покидая город, проезжаю мимо. Побежать сказать ей об этом я не мог. Никто бы не стал меня дожидаться. Да и так все еще не верилось, что курсанты взяли меня в совхоз, что я, как взрослый, еду работать вместе с ними.

За городом, только выехали на шлях, ведущий к Днестру, быстро стемнело. Проселочная дорога вилась под самыми огородами и кукурузными полями. Лужи воды блестели на ней. Комья густой грязи то и дело срывались с колес и летели в кукурузу, слышно было, как чавкают копытами, увязая в грязи, кони, как мелкие брызги стучат в деревянные борта подводы. Вскоре стало так вязко, что пришлось свернуть на шоссе, хотя это было и не очень здорово для селянских коней: все они были подкованы только на передние ноги. По шоссе поехали быстрее, сразу затрясло, зубы выцокивали на каждом ухабе. Я ехал на второй телеге, подложив под себя узел с одеялом, но все равно это мало помогало, и я мечтал, как бы поскорее свернуть опять на мягкую проселочную дорогу. Возница Шершень, дядька лет тридцати, в холщовых брюках, коричневой свитке и солдатской фуражке с обломанным козырьком, то и дело подхлестывал низеньких, но бодрых коней сыромятным кнутом. Кнут громко щелкал, и я жалел коней: и так им доставалось — каждый острый камешек, должно быть, больно впивался в их неподкованные задние ноги со стертыми копытами. Сказать же вознице, чтобы он не бил коней, я не решался и всю дорогу ехал молча.

На задней подводе курсанты пели:

Мы идем на смену старым,
Утомившимся борцам,
Мировым зажечь пожаром
Пролетарские сердца...

Эта песня, заглушаемая грохотом колес, разносилась далеко над молчаливыми полями в свежем после недавнего дождя воздухе.

Рядом со мной сидели четверо незнакомых курсантов. Трое из них шутили, переговаривались, а четвертый спал, подложив себе под голову мешок с овсом.

Прислушиваясь к разговору курсантов, глядя на мелькающие вдоль дороги черные шапки лип, я с тревогой думал о том, что ожидает меня впереди.

А вдруг я буду плохо работать в совхозе и меня выгонят?

Надо будет поспевать за взрослыми, чтобы никто и слова дурного про меня не сказал.

Хотя наш город находился в пятнадцати верстах от границы, я еще ни разу не бывал на Днестре, а знал только по рассказам, что это широкая и очень быстрая река. Правда, от вокзала до самого Днестра тянулась одноколейная линия железной дороги, но пассажирские поезда по ней не ходили. Только изредка, раза два в месяц, направлялся к Днестру за песком и галькой балластный поезд, составленный из расшатанных открытых платформ. Его медленно тянул туда по заросшему бурьяном пути маневровый паровоз «овечка».

Петьке Маремухе удалось однажды попасть вместе с демонстрантами на такой балластный поезд. Он тоже ходил по берегу, пел песни, а потом, вернувшись, долго рассказывал, как хорошо купаться в Днестре, какое там славное песчаное дно, какой отлогий берег, без ям и обрывов, куда лучше, чем в Смотриче.

Петька божился, что с нашего берега отлично видна Бессарабия, он говорил, что на него даже закричал румынский солдат.

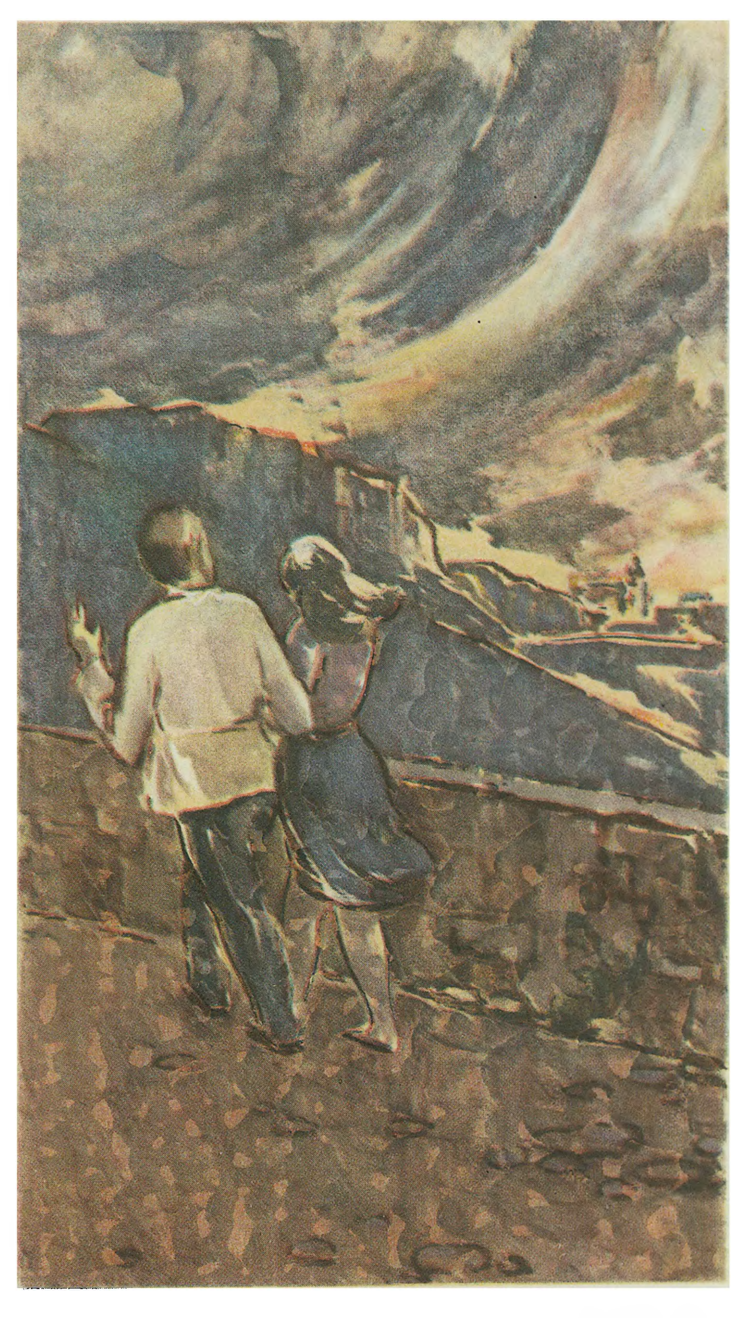
Что и говорить — я с завистью слушал рассказ Маремухи. Мне очень хотелось побывать на Днестре и самому, но я не думал, что это случится так скоро.

Ехали мы долго, миновали сонное село с белыми хатками среди деревьев, мелькнул на околице у колодца высокий, поднятый к темному небу «журавль». Шершень дернул вожжи, мы бесшумно свернули с мощеного тракта на проселочную дорогу, и здесь я почувствовал, что близок Днестр. Оттуда, с горизонта, лежащего перед нами, где звездное и уже чистое от дождевых туч небо соединялось с черными холмами, потянуло влагой. Земля под нами была уже сухая, дождь здесь не падал, и я понял, что сыростью тянет от Днестра.

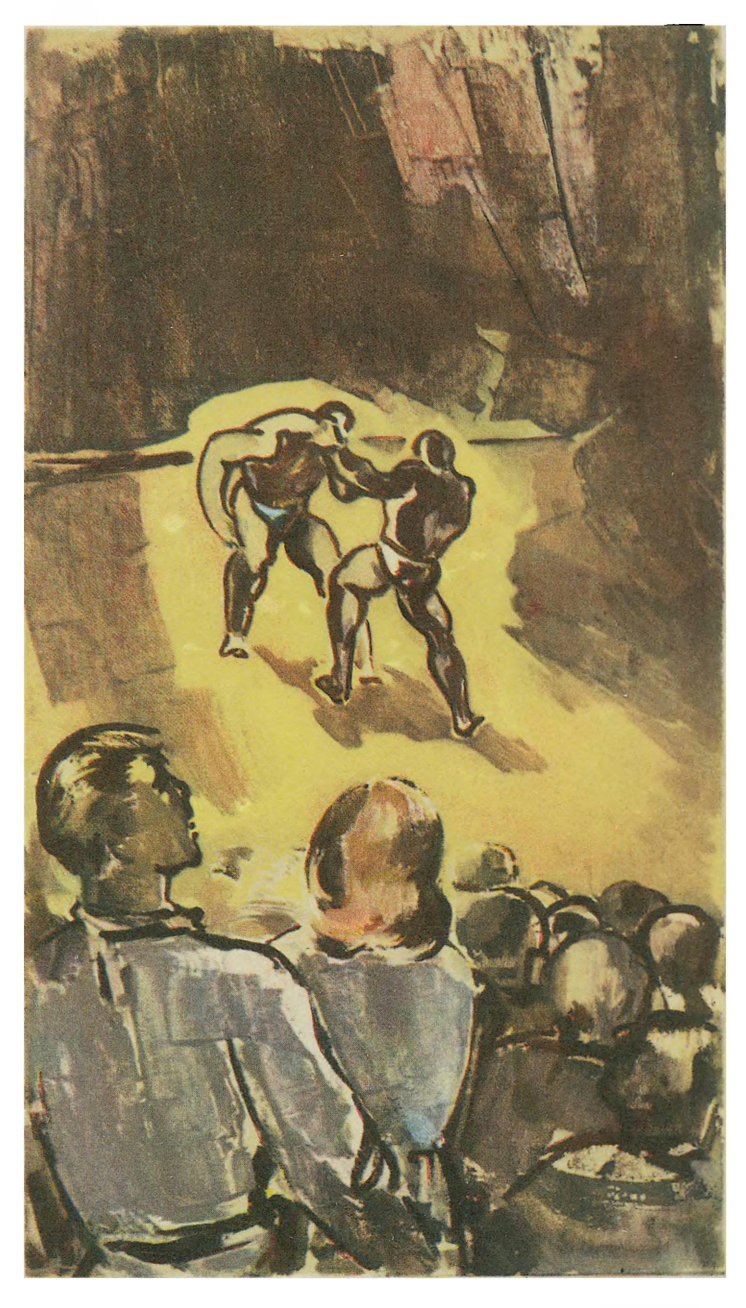
Вскоре, как только мы перевалили через бугор и поехали вниз, провожаемые далеким лаем собак, я увидел белую полосу речного тумана. Туман стлался низко над Днестром, сворачивал влево и пропадал за поворотом реки далеко в приднестровских оврагах. Похоже было, совсем недавно кто-то промчался перед нами на горящей арбе с сеном и густой дымный след указывал дорогу неизвестного возницы.

К стр. 268

К стр. 285

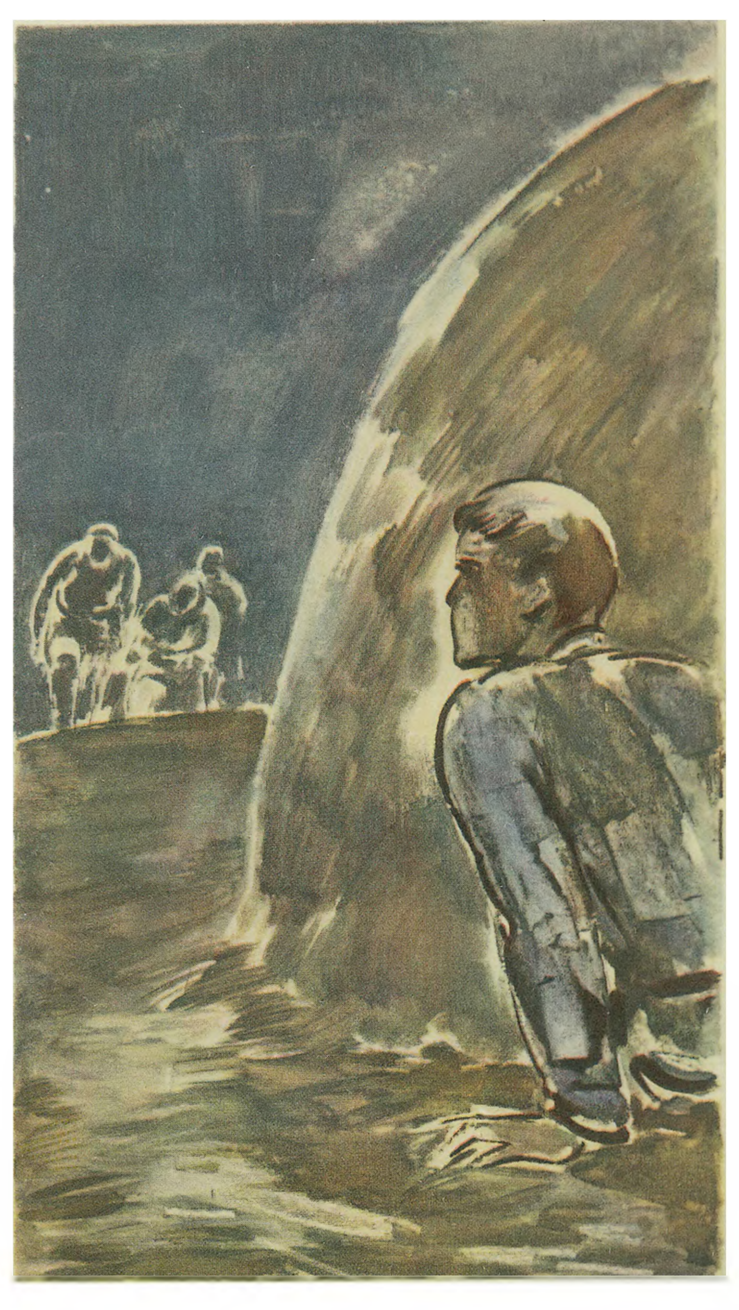


К стр. 294



К стр. 330

К стр. 383



К стр. 393

К стр. 395

К стр. 433

Чем ближе мы подъезжали к Днестру, тем становилось холоднее, и я уже подумал было, не надеть ли пальто, как вдруг из оврага вынырнула первая белая хатка.

— Ну вот и приехали, — сказал сидевший рядом со мной курсант.

— Отставить песню! Селян побудите, — донесся с задней подводы голос Полевого.

Песня замолкла, и сейчас был слышен только скрип колес нашего обоза.

Село тянулось долго, хаты были разбросаны на буграх, далеко одна от другой. Почуяв знакомые места, весело заржала наша левая коренная, и Шершень ласково хлопнул ее вожжой по крупу.

— Это и есть совхоз, а, дядько? — спросил я Шершня.

— Ага, хлопчик, — ответил он. — До революции тут была панская экономия, а теперь совхоз.

Подвода остановилась перед высокими железными воротами, за ними виднелись какие-то строения, сад.

Шершень спрыгнул с облучка и, подойдя к воротам, постучал в них кнутом.

— Диду! — закричал Шершень.

За решеткой ворот показался сторож с винтовкой за плечом.

— Это ты, Шершень? — спросил он неуверенно.

— Я, я. И гостей привез. Открывай быстрее, — откликнулся Шершень и зазвенел цепью, закрывающей ворота.

Как только обе их половинки разъединились, мы сразу въехали во двор совхоза и остановились возле конюшни, откуда слышалось приглушенное ржанье лошадей. Хорошо после долгой дороги спрыгнуть на твердую землю. Вокруг было тихо и тепло. К нам подъехали другие подводы; пока возницы распрягали лошадей, курсанты собрались вокруг Полевого.

— Вещи снимать, товарищ Полевой? — спросил кто-то.

— Погодите, — ответил Полевой и обратился к сторожу: — Дед, а заведующий где?

— Нет заведующего!

— Как нет?

— Заведующий поехал в Витовтов Брод.

— Давно?

— Да еще светло было. Гонец оттуда прискакал, и вдвоем они уехали. Не знаю, то ли правда, но люди в селе говорили, будто банда Мамалыги границу снова перешла. И всех партийных туда в район созвали.

— Товарищ начальник, если хотите, я разбужу Ковальского, — подойдя к Полевому, предложил Шершень.

— А кто он такой?

— Старший рабочий.

— Не стоит, пожалуй. Пусть спит. Мы с ним утром познакомимся, — ответил Полевой. — Ты вот лучше скажи, сеновал далеко здесь?

— Сеновал? А вон. Туточки сено прошлогоднее сложено, — махая кнутом в сторону длинного темного строения, сказал Шершень.

— Ну и чу́дно, — сказал Полевой. — Ночлег обеспечен, теперь как с ужином быть? И чайку выпить не мешало бы...

— Где же ты его сваришь, чай-то? — спросил кто-то хмуро.

— Ну это пустяки, — ответил Полевой.

— Пустяки-то пустяки, а вот заварку не взяли, — сказал стоявший около меня высокий курсант.

— Правда?

— Верное слово, — подтвердил курсант.

— Худо, брат, дело, — печально сказал Полевой. — Какой же чай без заварки? Хотя... — И, заметив меня, неожиданно спросил: — Манджура?

— Да! — откликнулся я робко.

— Ты знаешь такое дерево — сливу?

Я молчал, думая, что Полевой меня разыгрывает.

— Да ты что — онемел? Сливу знаешь? Венгерку, например, или ренклод?

— Отчего ж, — ответил я тихо Полевому.

— Ну так вот, будь другом, беги в сад и наломай веток сливы. Только молоденьких. И почище. Понял?

— Понял, — ответил я и спросил у сторожа: — А где у вас сад?

— Вон за конюшней. Сперва баштан будет, а за ним сад, — ответил сторож, попыхивая самокруткой.

Все деревья казались одной породы на фоне темного неба. Если бы кто другой приказал мне, я бы никогда не пошел сюда, но ослушаться приказа Полевого

было трудно. И я, задирая голову, ощупывая листья на ветвях, долго отыскивал среди обкопанных фруктовых деревьев совхозного сада сливу. Липкие росистые лопухи хватали меня за ноги. Наконец уже на окраине сада я заметил молодое, стройное деревце, очень похожее на сливу. Чиркнул спичкой, — в самом деле слива, да еще и не простая, а настоящий чернослив. Это я заметил по крупным созревающим плодам, которые заблестели в редкой листве, как только я зажег спичку.

Я мигом наломал с одного этого дерева пучок веток и, чтобы не возвращаться обратно по темному саду, решил перелезть через забор и пройти к нашим по дороге. Забор виднелся уже совсем близко. Из-за темных конюшен через весь сад доносились ко мне сюда голоса курсантов, вспыхивали отблески костра. Подойдя к забору, я увидел, что он не такой уж низенький, каким казался издали. Положив наверх пучок веток, я с трудом вскарабкался на забор. Сразу показалось, что земля очень далеко внизу, но иного выхода не было, и я с шумом прыгнул в придорожный бурьян.

И не успел я выпрямиться, как из-под куста, черневшего вблизи дороги, испуганный моим падением, точно из засады, выскочил человек в белом, с винтовкой в руке, и сразу же бросился опрометью в поле, к стогам.

Он мигом исчез в кукурузе, только слышно было, как звонко затрещали стебли под его быстрыми шагами.

Что было сил я помчался по дороге в другую сторону, к своим.

Задыхаясь, я влетел во двор совхоза и, протягивая Полевому пучок веток, рассказал про белого человека.

— Не почудилось? — недоверчиво спросил Полевой.

— Да нет же. И с винтовкой, — обиделся я.

— Бес его знает, кто он! — задумчиво сказал Полевой. — Может, это бандюга какой нас выслеживает? — И распорядился: — Товарищ Шведов, товарищ Бажура! Возьмите винтовки — и туда. Живо. Прощупайте огород. А ты, дед, — сказал Полевой сторожу, — прогуляйся с ними тоже, чтобы случайно на проволоку не напоролись.

Когда курсанты ушли, наступило молчание. Чудилось — вот-вот грохнет там, возле стогов, тревожный выстрел и все помчатся на подмогу. Но время шло, да-

леко за садом, возможно, на другой стороне Днестра, в Бессарабии, лаяли собаки, пламя костра освещало насторожившихся курсантов, коренастого Полевого.

Его сухощавое лицо теперь казалось смуглым, козырек буденовки был наравне с густыми бровями. Полевой в упор смотрел на закипающую в котле воду, но видно было, что весь он превратился в слух и силится уловить каждый шорох там, за садом.

Вода в чугунном котле закипела. Большие ключи поднялись со дна, и сразу развеялся пар над котлом.

— Ну ладно, хлопцы! — сказал Полевой. — Помолчали — и хватит. Видно, разведка наша ничего не обнаружила. А вот чай мы сейчас смастерим знатный. — С этими словами Полевой стряхнул со сливовых веточек росу и бросил их в кипящую воду вместе с таблетками сахарина.

Прутики варились в котле долго. Уже вернулись с разведки, никого не найдя, курсанты со сторожем. Уже были разгружены все подводы и снаряжение сложено тут же, на траву, а Полевой все поглядывал на кипящую воду, изредка помешивая ее ложкой. Наконец он скомандовал:

— Кушать подано! Давайте ложку и подходите за чаем.

Он сам разлил в алюминиевые кружки чай и, когда все расселись вокруг котла, одну за другой вылил две поварешки кипятку в костер.

Сидя на траве, под звездным небом, мы все пили из кружек очень горячий и горьковатый, пахнущий осенним садом чай. Мы закусывали его ржаным хлебом. Каким вкусным показался мне этот чай! Я выпил его целых две кружки, обжег себе губы, рот и кончил чаевничать последним.

— Разобрать винтовки! — послышался в стороне голос Полевого.

Курсанты пошли за винтовками. Я сидел на траве и видел, как они получали у Полевого патроны, оружие.

— Кто еще не брал винтовку? — строго спросил Полевой.

— Все брали, — ответил кто-то.

— Какой все, когда одна винтовка лишняя? — сказал Полевой. — Может, ушел кто?

— Все здесь, — твердо ответил Шведов.

— Манджура! — выкрикнул Полевой.

— Я тут! — отозвался я, вставая.

— Брал винтовку?

— А разве можно?

— Да ты что думаешь, мы тебя в городки взяли сюда играть? — сказал Полевой. — «Можно, можно»! — И, подойдя ближе, протягивая винтовку, сказал: — Держи! И не баловаться. А будешь баловаться — в комсомол не примем.

Когда ближе к полуночи, выставив у вещей в помощь сторожу часовых, курсанты и я направились к сеновалу спать, в руках у меня была настоящая тяжелая трехлинейная винтовка с пристегнутым к стволу пахучим кожаным ремнем. Держа винтовку наперевес в одной руке, а другой прижимая постель, я пошел следом за курсантами по сену. Они забрались повыше под навес, и я не хотел отстать. Поминутно проваливаясь в сухом сене, я карабкался все выше и выше к балкам, под темную крышу, очень довольный тем, что мне выдали винтовку. Радостно было услышать слова Полевого о комсомоле.

Значит, отец сохранил тайну моего первого в жизни преступления и ничего не рассказал курсантам о ложках.

Расстилая одеяла и простыни, курсанты устраивались на ночлег, и вся эта высокая многопудовая куча сена колыхалась под нами. Было очень мягко, тепло и уютно под крышей.

— Только не курить, ребята, смотрите! — приказал Полевой из темноты.

Я расположился вблизи Полевого. Придерживая винтовку, чтобы она случайно не соскользнула вниз под сеновал, я постлал простыню, разделся, лег на нее и, зажав между ногами винтовку, закутался в легкое пикейное одеяло. Несколько минут я полежал не шевелясь, с открытыми глазами, прислушиваясь к отдаленному говору часовых да ржанию лошадей в конюшне. Потом, чувствуя, что засыпаю, продел руку под винтовочный ремень и так, прижимая к телу скользкую холодную винтовку, заснул. Спал я крепко, но к утру один другого страшнее пошли кошмары. Я почувствовал, что на меня наваливается тяжелый груз,

даже дышать стало трудно, я хотел отбиться и ушибся. Открыв глаза, я не мог сперва сообразить, где нахожусь. Вокруг было сено. Винтовка лежала у меня на груди, а сам я находился в какой-то норе под заваленной сеном старой бричкой. Должно быть, во сне я ворочался и постепенно, завернутый с головой в одеяло, съехал на самое дно сеновала и нырнул в пустоту, под бричку. Рядом слышались чьи-то голоса, смех. Быстро свернув одеяло и простыню, волоча их за собой и разрывая одной рукой проход, я выбрался наружу, в лопухи, жмурясь от яркого утреннего солнца.

— Вот и зверь последний — пожалуйста! — сказал Полевой, показывая на меня курсантам.

Я и в самом деле, наверное, походил на зверя: сонный, с растрепанными волосами, в нижнем белье да еще с винтовкой в руках.

Курсанты стояли возле сеновала уже одетые, причесанные. Они подсмеивались надо мной. Лужи воды да пятна мыльной пены белели позади, в траве. Видно, курсанты давно умылись.

Заметив мое смущение, Полевой сказал:

— Ну ладно, забирай свои манатки да пойдем с нами жилье искать. Пошли, товарищи! — обратился он к курсантам. — Времени остается мало — глядишь, и на работу позовут.

Я наскоро свернул простыню и одеяло в один тючок, натянул брюки и рубашку и, взяв за ремень винтовку, пустился догонять курсантов. Вместе с Полевым они уже подходили к высокому двухэтажному дому под железной крышей, что стоял на краю усадьбы, вдали от конюшни и амбаров. Дом этот окружали заросшие высоким бурьяном клумбы, окна в доме были выбиты, а по его стенам и ржавым водосточным трубам вился дикий виноград.

НИКИТА ИЗ БАЛТЫ

Меня приставили подручным к тому самому курсанту, что выставил меня в городе с комсомольского собрания. До полудня вдвоем с ним мы подвозили к молотилке пшеницу. Выглядел этот курсант совсем молодо — низенький, худощавый, с гладкой смуглой кожей. Курсант оказался старше меня только на три года, но

первое время держался как взрослый и разговаривал со мной свысока.

Когда мы приехали на поле, он похвастался, что мигом забросает подводу снопами.

— Поспевай укладывать, — важно сказал он и взял вилы.

Однако уже после седьмого снопа вилы в его руках задрожали, кое-как он протянул мне тугой сноп и, утирая пот со лба, буркнул:

— Тяжелые, собаки! Перекурим это дело.

Пока он свертывал цигарку и закуривал, я спрыгнул на землю, подхватил блестящие вилы и с размаху вогнал их в пышный верхний сноп, прикрывающий соседнюю, еще не початую копну.

Очень трудно было выбрасывать без передышки на подводу один за другим скользкие и тяжелые снопы. Но я швырял их, не отдыхая. Хотелось доказать курсанту, что я сильнее его. «Ты остался на закрытом собрании, у тебя широкие бриджи, буденовка, сапоги, ты старше меня, а я работаю лучше. Вот смотри!» — думал я, прокалывая острыми вилами сухие слежавшиеся снопы. За шиворот сыпались колосья пшеницы, осот. Уже болела спина, шея, волосы были в соломенной трухе, но я не успокаивался и все кидал, пока не перебросал на подводу целую копну — пятнадцать снопов. Лишь когда на месте бывшей копны осталась лысая полянка с примятым куколем, травой да уходящей глубоко под землю мышиной норкой, я прислонил вилы к подводе. Тяжело дыша, медленно, как ни в чем не бывало подошел к сидевшему на колючей стерне курсанту.

— Ты, я вижу, лихой работник, — сказал он, вставая. — Не зря тебя ко мне напарником назначили. У меня тоже была когда-то сила, да вот с голодухи я ее порастерял немного. Ну ладно, полезай теперь наверх, а я пошвыряю.

Так, меняясь, мы скоро наложили подводу снопами, притянули их увесистой жердью, называемой «рубелем», и, забравшись наверх, не спеша, чтобы не рассыпать снопы, поехали обратно в совхоз. Только мы свернули на пыльную дорогу, я осторожно спросил:

— А как вас зовут?

— Во-первых, ты мне не выкай. Я тебе не барон и не князь, — сказал курсант важно. — А зовут меня

Коломеец, Никита Федорович Коломеец, честь имею! — Он снял буденовку, сидя поклонился, и чуб его сразу распушило ветром.

— Ты... что — беспризорник?

— Чего вдруг? — спросил Коломеец удивленно.

— Ну, а где же... ты голодал? Родных у тебя нет?

— Почему? Есть. В Балте остались. Но я с ними разошелся на почве религиозных убеждений, — ответил Коломеец небрежно и загадочно.

Я посмотрел на Коломейца с недоверием, но видно было, что он сказал правду. И тут я решил, что мой новый знакомый — поповский сын. Словно угадывая мои мысли, Коломеец прищурился, хлестнул батогом коней и сказал:

— Только не думай, что я из духовного звания. Наоборот. Батька мой — самый главный в Балте пролетарий был, он у меня на вальцовой мельнице машинистом работал, но в бога тем не менее верил и порол меня, как цуцыка. И никак я его перевоспитать не мог. Все комнаты в иконах, лампадки горят, как пост — мяса ни-ни-ни, а я должен страдать. И страдал долго в семейной неволе, но однажды забыл, что пост, принес домой кольцо колбасы. Вкусной такой — с перцем, с чесноком, просвечивает вся. Сижу себе на завалинке и жую. А окно в хату открыто, а в хате батько священное писание читает. А мне ни к чему. Уплетаю колбасу за оба уха. Всю бы съел, да батько услышал из комнаты запах и шасть ко мне с ремнем. Выпорол здорово. Больно. Ремень солдатский, знаешь, с пряжкой медной. Убежал я в город, хожу по улицам и плачу. Спина болит, сердце болит и жить не хочется. Обидно ведь — за какую-то поганую колбасу выдрали. Свернул на главную улицу, а там клуб комсомольский, все окна светятся, а у дверей афишка: лекция о происхождении религии, и вход свободный. И как раз, понимаешь, на мое счастье, лектор хороший попался. Азартный такой. Волосы, как у попа, длинные, густые, бегает по сцене и все кричит: бога нет, религия — буржуйские сказки, а человек на самом деле произошел от обезьяны. Зло меня взяло. Вот, думаю, бога нет, а меня из-за этого самого бога выпороли. Пришел домой — пусто. Все в церковь пошли, а ключ лежит под собачьей будкой. Отпер я хату, зажег лампу — иконы так и заиграли вокруг, святые на меня отовсюду глядят,

злые такие, старые. Схватил я самых главных со стены, да и забросил их в помойную яму, — святые, святые, а сразу на дно пошли. Бросил — и страшно стало. Ну теперь, думаю, крышка — погиб Никита. Не жить тебе с родными. Убьет, думаю, отец, как вернется из церкви. Оставил я ему записку, а в той записке написал: «Тато, вы меня выпороли, что я в пост ел колбасу, а на самом деле бога нет, все это буржуйские сказки, и я в отместку вам покидал ваших святых в помойную яму. Пока».

Махнул я за помощью в комсомол, служил сторожем в комсомольском клубе, голодал здорово, такой пост мне был — лучше не вспоминать. Ну, а погодя послал меня уком комсомола в совпартшколу.

— Товарищ Коломеец...

— Можешь называть меня Никитой.

— Никита, а чего ты с курсантами в футбол не играешь?

— В футбол? Ну вот глупости! — Коломеец пожал плечами. — В футбол одни сопливые играют, стану я с ними пачкаться!

— Какие сопливые? — едва не закричал я. — А Полевой, а Марущак? Даже Картамышев — и тот не гнушается играть, а ведь его, я слышал, в уком отзывают.

— Ну, ну, ну. Ты не горячись. Я просто пошутил. А вообще футбол я считаю бессмысленной тратой времени. Лучше Рубакина почитать. Читал его книжицы?

— Нет.

— Занятные, познавательные. Я, когда комсомольский клуб в Балте охранял, ими увлекался. Все разойдутся, я насобираю под скамейками окурков, потушу всюду свет, только на сцене оставлю, притащу диванчик туда из библиотеки, лягу, сукном красным укроюсь и читаю. Кушать хочется зверски, а нечего. Вот и покуриваю и читаю.

— А ты «Спартака» читал? — решил я похвастаться перед Коломейцем, но он, не слушая меня, сказал задумчиво:

— Да, Балта... Хороший город Балта. У меня в этом городе дивчина одна осталась. Люся. Хотя ты, положим, еще пацан и в этих делах ничего не понимаешь.

— Я не понимаю? Ого! — сказал я обиженно. — У меня у самого в городе девушка есть.

Коломеец посмотрел на меня и засмеялся.

— Ох ты, франт-герой! С тобой, оказывается, держи ухо востро! — сказал он весело и хлестнул лошадей.

Мы проезжали мимо баштана. Он весь зарос вьющейся низко, у самой земли, ботвой. Кое-где из этой темно-зеленой ботвы выглядывали круглые бока арбузов, желтые дыни. Посреди баштана, сложенный из жердей, покрытых лебедой, чернел шалаш сторожа.

— Дядько! — сложив руки лодочкой, закричал Коломеец.

Из шалаша в коричневой домотканой коротайке, с тяжелой клюкой в руках вышел сторож.

— Чего вам? — спросил он подозрительно.

— Продайте арбуза, дядько, — попросил Коломеец.

— Вы чьи будете?

— Мы городские. В совхозе работаем.

Старик постоял минуту молча, а потом зашагал по баштану, обстукивая арбузы. Искал он недолго и, выйдя на дорогу, протянул Коломейцу продолговатый арбузик.

— Берить. О це добрый кавунчик.

— Спасибо, дядько. Сколько вам грошей?

— Ничего! — ответил сторож.

— Почему же? — удивился Коломеец. — Даром мы не возьмем.

— Берить, берить, — сказал дядько. — Хлопцы вы молодые, грошей у вас, наверное, мало — возьмите так. Друга сатана просто бы полезла в баштан, а вы люди аккуратные, попросили по-доброму, возьмите потому бесплатно.

— Ну, спасибо вам! — сказал Коломеец, погоняя лошадей. — Дай вам боже еще столько прожить!

Только мы отъехали, Коломеец ударил арбузом по деревянной перекладине, арбуз с треском раскололся, и липкий его сок потек на сухие колосья пшеницы.

— Желтый! Смотри! — удивился Коломеец. — Ну ничего, хоть желтый, но спелый. Видишь — косточки черные.

Я взял меньшую часть арбуза и, прижав ко рту, стал выедать сердцевину. Арбуз был очень сочный и тепловатый, сладкий сок капал мне на рубашку, я глотал куски арбуза и был благодарен Коломейцу за его угощение. Что и говорить, он, видно, ловкий и находчивый парень. С ним не пропадешь.

Кони медленно везли тяжелую подводу. Высоко в синем небе пели невидимые в солнечных лучах жаворонки. Где-то за зелеными холмами протекал Днестр. И далеко, на совхозном току, равномерно попыхивал локомобиль; черный дым из его трубы подымался над совхозным садом.

Один за другим я швырял огрызки арбузной корки на дорогу, и они сразу зарывались в густую дорожную пыль.

У совхозного мостика нас встретил Полевой.

Он стоял у перил босой, без фуражки, с расстегнутым воротом гимнастерки.

— Вас, ребятки, за смертью только посылать, — сказал он хмуро. — Отчего так долго?

— Какое долго? — обиделся Коломеец. — Да мы раньше всех, товарищ Полевой.

— Погоди, залезу, — попросил тот. Он быстро влез к нам наверх, и скомандовал: — Поехали, да поживей!

Коломеец щелкнул кнутом, кони рванули вперед, и подвода покатилась, шатаясь, мимо огороженного каменным забором совхозного сада.

— Остальные скоро там? — спросил Полевой.

— Еще накладывают, — доложил Коломеец. — Мы первые управились.

— Там, понимаешь, хлопцы наши поднажали — пшеница кончается и нечего больше молотить, — уже несколько мягче объяснил Полевой. — Так вот, если вы первые, — добавил он, — идите работать к молотилке. Снопы возить будут совхозные рабочие. У них, я думаю, это скорее получится.

Сперва мне было обидно, что нас так быстро сняли с подвозки снопов, но как только я влез на решетчатую площадку молотилки и стал позади Коломейца, готовясь ему помогать, я понял, что новая работа будет куда интереснее.

Мы с нашей подводой поспели вовремя. Подвезенные раньше снопы кончились, только мы въехали на ток. Длинная, выкрашенная в кирпичный цвет молотилка «Эльворти» работала сейчас на холостом ходу. Курсанты завязывали мешки с зерном, подбирали с утоптанной земли остатки соломы. Совхозный ток был расположен поодаль от нашего жилья, у разрушенных глиняных сараев. Видно, когда-то здесь были строения

панской экономии, а теперь лишь глиняные стены напоминали о них.

Небольшой локомобиль-паровичок, с высокой задымленной трубой попыхивал рядом, соединенный с молотилкой широким кожаным ремнем. То и дело тугой этот ремень осыпали толченой канифолью, и в воздухе пахло смолой. Поодаль виднелся высокий стог соломы. По верху стога бродили с вилами и граблями, разравнивая солому, сельские девушки в пестрых платках из грубого полотна.

Курсанты волочили по земле от молотилки к стогу перехваченные веревками охапки соломы, подавали ее наверх девушкам, те принимали солому и утаптывали ее. Оттуда, со стога, доносились к нам веселые голоса, смех девушек, видно, работа спорилась.

— Ну принимай, хлопче, первый на почин, — сказал мне снизу наш вчерашний возница Шершень, который уступил место у барабана Коломейцу. С этими словами Шершень протянул мне с подводы сноп; взяв его руками, я покачнулся и чуть не полетел вниз — сноп был очень тяжелый. Я быстро распутал тугое, хорошо сплетенное перевясло и, разделив сноп надвое, передвинул половину его Коломейцу.

Тот разворошил пшеницу и толкнул ее вперед колосьями в барабан. Кривые блестящие зубья захватили пшеничные колоски, смяли их, потащили к себе стебли, молотилка, получив пищу, затряслась, зашумела, из барабана поднялась пыль.

— Поехали! — крикнул Коломеец и, сдвинув на затылок буденовку, протяжно засвистал на весь ток.

— Никита свистит — значит дело будет. Поднажали, ребята! — сказал, смеясь, Полевой, подгребая ногой к локомобилю солому.

Чтобы не стоять без дела, Полевой помогал кочегару. Сейчас кочегара не было видно. Полевой нагнулся и, подобрав охапку соломы, ловко швырнул ее в топку локомобиля. Упав на раскаленное поддувало, солома задымилась, первые языки огня прорвались наружу, мигом охватили ее со всех сторон.

— Давай, давай! Чего загляделся? — Коломеец сердито подтолкнул меня. Я поспешно двинул к нему вторую половину снопа.

Пыль все больше рвалась наружу из барабана, защекотало в носу. Чихая, я один за другим подсовывал

Коломейцу развязанные снопы. Жарко пекло солнце, мелкие колючки осота впивались в ладони, но выковыривать их не было времени. «После иголкой выну», — думал я, разрывая перевясла. Весело на душе было, что я работаю наравне со взрослыми, да еще у самого барабана — не где-нибудь. Поглядел бы на меня сейчас Петька Маремуха. Ему и не снилось такое — стоять на площадке молотилки. Ведь Маремуха даже и Котьке Григоренко завидовал, что тот у медника Захаржевского работает. А что Котька по сравнению со мной? Подумаешь! Гордый и довольный, я принимал от Шершня снопы. Шершень в рваных холщовых штанах бродил по снопам с вилами. Вот он начинает новый ряд.

«Ну-ка, подай этот крайний широкий снопик — его, пожалуй, на три порции хватит», — подумал я.

Шершень, словно угадывая мои мысли, перебросил мне сноп. Только я развязал перевясло, к моим ногам со стуком упало что-то тяжелое. Я нагнулся и увидел на решетке длинный ржавый болт.

— Никита, смотри! — шепнул я Коломейцу.

Тот поднял болт, нахмурился.

— В самом снопе?

— Ага!

— Давай, давай, Никита! — закричали снизу.

— Да погоди ты! — отмахнулся Коломеец и, переведя ремень на холостой маховичок, подозвал Полевого.

Когда я объяснил, где был найден болт, Полевой сказал:

— Не иначе — кулацкие штучки. Случайно такие железяки в снопы не попадают. Это не перепелка. — И тихо предупредил меня: — Ты гляди, Манджура, может, еще чего найдешь. Подсунули болт — могут и бомбу в солому заплести.

Молотьба пошла дальше.

Теперь, прежде чем подвинуть сноп Коломейцу, я прощупывал солому, а он то и дело подгонял меня. Я здорово упарился, рубашка прилипла к спине, соленый пот затекал в глаза, я протирал их рукавом и думал: поскорее бы шабаш.

— Эй, шевелись, Коломеец! — покрикивали все чаще и чаще курсанты.

Они вошли во вкус, быстро отгребали солому, подставляли к жестяному желобу пустые рогожные мешки и сердились, когда теплое зерно шло слабой струйкой.

Перед обедом все пошли на Днестр купаться. Дорога на реку пролегала под забором совхоза. Мы миновали то место, где вчера я, прыгая в бурьян, спугнул неизвестного человека. Совхозный сад днем выглядел не таким густым, как ночью.

Днестр заблестел сразу же за каменным забором. Он показался мне с первого взгляда очень широким — раз в пять шире нашего Смотрича. Тот я переплывал с одного маху, а здесь, пожалуй, пришлось бы попыхтеть. Мы с Коломейцем сели у самой воды. Гористый бессарабский берег был хорошо виден и отсюда, снизу.

На глинистых холмах зазеленели виноградники, за ними на бугре, далеко от Днестра, виднелось село — белые хатки под соломенными крышами, садики, на краю села тускло поблескивал купол церкви. Оттуда, с околицы села, к Днестру спускалось вниз по крутым склонам несколько тропинок. Они вели к двум чернеющим на воде мельницам. Издали эти черные дощатые мельницы, закрепленные на якорях посреди реки и соединенные с берегом узенькими кладочками, были похожи на сорванные наводнением курятники. Бессарабский берег был пустынен, только у левой мельницы, стоя на мостках, стирали белье две женщины. Когда они шлепали вальками, гулкие хлопки доносились к нам сюда вместе с поскрипыванием мельничных жерновов.

— Ну что ж, выкупаемся, а, Василь? — сказал Коломеец и стащил с ноги покрытый пылью сапог.

Когда он стянул суконные бриджи и нижнюю рубашку, я увидел, что вся спина и грудь его густо поросли черными волосами.

Коломеец нежно провел себя ладонью по волосатой груди и сказал с гордостью:

— Это у меня с детства и притом наследственное. Батька мой тоже волосатый — ужас.

— Эй, Никита! — крикнул издали Коломейцу широкоплечий рослый курсант Бажура. — Поплыли на тот берег?

— Туда не доплыву, — ответил, вставая и поеживаясь, Коломеец, — заморился. Немного давай поплаваем — и все.

Оба они — широкоплечий Бажура и низенький, щуплый Коломеец — вошли в чистую воду Днестра и тихо поплыли.

Ко мне подсел Полевой.

— Ну как, Манджура, подружился с Коломейцем? Хорошо работали вдвоем? — спросил Полевой.

— Вы же сами видели, как работали.

— Коломеец — парень хороший, компанейский.

— А в футбол не играет, говорит: детская игра, — сказал я Полевому.

— Ну это старая история, — сказал, смеясь, Полевой. — Это тебе, новичку, он накрутил чего-то. Он первые дни, как приехал в совпартшколу, таким гоголем ходил — не подступись. Да и стал хвастаться: я-де, мол, самый главный был футболист в Балте. В сборной города голкипера играл. С Одессой встречались — ни одного мяча не пропустил. Все уши-то развесили, а я думаю: вот удача-то. Хоть одного игрока настоящего бог послал. Ну вышли на тренировку и Коломейца взяли с собой. Стал он в голу, и тут конфуз получился. Ни одного мяча поймать не может. Руками машет, как журавль крыльями, а мы ему меж ног мячик за мячиком накатываем. Вот смеху-то было после! Ну он, понятно, обиделся и перестал играть.

В эту минуту Коломеец вышел из реки и направился к нам. На его волосатой груди блестели капли воды.

— Я вот, Никита, рассказываю твоему напарнику, как ты в футбол с нами играл, — подмигивая мне, сказал Полевой.

— А-а-а, в футбол! — сконфуженно протянул Коломеец и запрыгал на одной ноге, делая вид, что ему в ухо попала вода. Напрыгавшись и не глядя на Полевого, он сказал мне:

— Ну чего сидишь? Пошли купаться!

Вода в Днестре была холодная и течение очень быстрое.

Не успел я проплыть и десяти шагов, как меня снесло далеко вниз.

Плыть напрямик за Коломейцем на середину реки я не решился и медленно поплыл вдоль берега. Плавал я совсем немного, а отнесло меня порядком. Обратно к своей одежде я побежал по отмели.

— Ты где устроился, Манджура? — следя за тем, как я одеваюсь, спросил Полевой.

— На балконе.

— Спать будешь на балконе?

— Да.

— Ну, а вещи где?

— Тоже на балконе.

— А если дождь?

— Ничего. Как-нибудь.

— Смотри, — сказал Полевой, — как бы ты не прогадал. А то перебирайся лучше к нам, вниз. Как раз место одно в уголке есть свободное. Сухо, тепло, и никакой тебе дождь не будет страшен.

— Да нет, товарищ Полевой, спасибо. Мне на балконе лучше будет.

— Как знаешь, — сказал Полевой и, попробовав рукой воду, стал раздеваться.

БУРЖУАЗНЫЕ ПРЕДРАССУДКИ

На балконе у меня было не так уж плохо. Обвитый с двух сторон диким виноградом, он напоминал беседку. Прямо на расшатанные, выжженные солнцем половицы я бросил соломенный матрац, а вещи спрятал в нише около дверей, ведущих в бывшую помещичью столовую. Там, разложив на полу хрустящие матрацы, устроились курсанты. Можно было, конечно, и мне улечься рядом с ними, но этот полутемный зал с заколоченными снаружи ставнями не понравился мне. Слишком сумрачно, прохладно в нем было.

— Э, да у тебя здесь шикарно! — заходя ко мне в гости на балкон, сказал Коломеец. — Как в тропическом лесу. И лианы растут! — Коломеец потрогал виноградную лозу, обвивавшую железный кронштейн, и, опершись на шаткие перила балкона, посмотрел вдаль. Днестр отсюда не был виден, он протекал глубоко в лощине, зато можно было хорошо разглядеть бессарабское село на том берегу.

— Знаешь что, молодой человек? — сказал, обернувшись, Коломеец. — Мне здесь определенно нравится: пейзаж, воздух и все такое — словом, я поселюсь с тобой. Не возражаешь?

— А чего ж мне возражать? Давай перебирайся! — ответил я радостно.

Когда уже совсем стемнело, мы с Коломейцем разложили поудобнее рядышком оба матраца и начали укладываться.

Несколько минут мы лежали молча. Над ухом у ме-

ня тонко прозвенел комар. На бессарабском берегу протяжно пели грустную молдавскую дойну.

— Словно хоронят кого-то, — сказал я.

— Чего ж им веселиться? — ответил Коломеец. — Жмут их, бедняг, румынские бояре, жмут жандармы, попы всякие — от такой, брат, жизни краковяк не спляшешь.

— А ты как думаешь: Бессарабия когда-нибудь будет советской? — спросил я у Коломейца.

— Рано или поздно весь мир пойдет по нашему пути! — затягиваясь цигаркой, мечтательно сказал Коломеец. — А Бессарабия — тем более. Это же наш край. Ты разве не знаешь, что румынские бояре захватили ее жульнически, когда мы генералов колошматили?

Налетел ветер, и верхушки тополей под балконом тихо зашелестели, заскрипел флюгер на крыше. Ветер обдал меня табачным дымом. Коломеец лежал на своем матраце, до подбородка натянув ворсистое солдатское одеяло. В зубах его тлел огонек папироски. Он сжимал ее крепко, как старый заправский курильщик. Я смотрел искоса на Коломейца и завидовал ему: всего на три года меня старше, а куда там. Вот я никак не могу научиться курить, сколько раз пробовал и каждый раз бросаю. Какое удовольствие глотать противный табачный дым? Долго после него во рту погано, в горле першит и есть не хочется. Какая бы ни была вкусная еда — все равно что бумагу жуешь.

— Хорошо ему, черту, было здесь. Один, а такой дом имел! — сказал Коломеец.

— Кому? — не понял я.

— Да этому Григоренко.

— Кому, кому?

— Ну чего закомукал? Помещику здешнему, Григоренко.

— Какой это Григоренко? Ты его знаешь?

— Еще бы! — ухмыльнулся Коломеец. — Каждую субботу к нему в гости приезжал, а на этом балконе мы чай...

— Нет, правда. Ты его не знаешь?

— Откуда я его могу знать? Вот чудак! — обозлился Коломеец. — Что я — помещичьего роду или исправник какой? Мне сегодня Шершень рассказывал, что этим имением владел пан по фамилии Григоренко.

— А он не доктор ли, случайно, был?

— Он?.. Подожди... подожди... Шершень мне что-то говорил и о докторе. Дай припомнить. Нет, этот помещик сам не был доктором, а у него брат был в городе — доктор медицины или что-то в этом роде. А ты что — знаешь его?

— Еще бы!

И я рассказал Коломейцу, за что был расстрелян большевиками доктор Григоренко.

— Смотри, мерзавец какой, — удивился Коломеец. — Значит, оба братца были нашими врагами! Один большевиков Петлюре выдавал, а другой и посейчас людей на той стороне мучит.

— А разве помещик на той стороне?

— Ну!.. В том-то и фокус, милый. Его отсюда, из имения, как Советская власть установилась, крестьяне выгнали, имение под совхоз, а он собрал манатки, да и перемахнул на другой берег. И живет сейчас у бояр припеваючи. И на той стороне ведь его имение.

— Что, видно отсюда?

— Ну да. Все его, собственное. А племянничек здесь, выходит? У медника, говоришь, работает?

— Ага. У Захаржевского.

— Все они, сукины дети, орабочиваются сейчас! — сказал Коломеец. — Без стажа-то им зарез. Ни в вуз поступить, никуда. Вот и подстраиваются.

— Этот Котька в совпартшколу ходит.

— А что ему делать в совпартшколе?

— Он к садовнику Корыбко ходит...

— Постой, я этого паныча, кажется, видел... Он такой смуглый, ловкий!

— Да, да!

— Ну, значит, он самый. Я пришел как-то в спортзал и вижу — на брусьях незнакомый паренек раскачивается. «Что вам — говорю, — гражданин, здесь нужно? Посторонним, — говорю, — сюда вход воспрещен». А он забросил ноги на брусья и отвечает: «Я, — говорит, — не посторонний. Я к вашему сотруднику, садовнику Корыбко, пришел». Значит, он и есть последний из могикан?

— Он совсем не Могикан, его фамилия Григоренко...

— Ох, Василь, Василь! — рассмеялся Коломеец. — Да ты, я вижу, совсем необразованный. Чудак-рыбак.

— Эй, Никита! — донесся из комнаты чей-то глухой голос. — Ты скоро заснешь в своем скворечнике? Сам не спишь, так хоть людям не мешай.

Не обращая внимания, Коломеец продолжал:

— Почему я назвал этого Григоренко последним из могикан — вот вопрос? А потому, что он есть последний отпрыск вымирающего класса помещиков и феодалов. Таких субъектов на нашей земле больше не будет. Понял?

Я ничего не ответил. Не хотелось, чтобы из комнаты, где спали курсанты, прикрикнули и на меня.

На той стороне Днестра по-прежнему пели протяжную дойну. «Пока я здесь работаю, — подумал я, — этот прохвост будет отбивать у меня Галю. А Галя, может, до сегодняшнего дня еще не знает, что я уехал, что меня нет в городе. Надо будет обязательно написать Гале письмо!» — решил я, засыпая.

Но прошло много дней, а я все никак не мог написать Гале. Утром, только всходило солнце, я бежал к Днестру, раздевался на скалах и с разбегу прыгал в быструю воду, фыркал, мылся в ней, прогоняя остатки сна, затем мчался в столовую, где звенела уже посуда. Кормили нас по утрам просто, но сытно — мамалыгой. Давали мамалыгу с разными приправами: то с кислым молоком, то с холодным компотом из сушеных фруктов, то со вчерашним холодным борщом, то политую сметаной, то приносили ее на стол плавающей в свежем парном молоке утреннего удоя, то накладывали в миски посыпанную румяными шипящими шкварками.

И каждый раз она была вкусная, рассыпчатая, горячая, ослепительно желтого цвета, дымящаяся, пахучая! Она возвышалась янтарными глыбами в глубоких алюминиевых мисках, привезенных нами из города.

Плотно поев такой мамалыги, нельзя было болтаться без дела. Работа так и прилипала к рукам, веселая, дружная работа у молотилки, среди запахов свежей пшеницы, под песни сельских девчат, шуршанье приводного ремня, посапывание задымленного локомобиля на совхозном току, под горячим летним солнцем, в нескольких десятках шагов от быстрого и прохладного Днестра.

На обед нам тоже подавали мамалыгу, но только уже вместо хлеба к первому и второму. Повар резал ее, густо сваренную, кирпичиками и, пока мы купались после работы, расставлял кирпичики этой мамалыги возле каждой миски.

После обеда было очень жарко, невозможно было усидеть в накаленном солнцем доме. Мы расходились по совхозному саду и отдыхали кто на густой траве под высокими тополями, кто в пустых, прохладных амбарах на охапках сухого прошлогоднего сена. Тихо становилось в послеобеденное время в совхозе: пастухи угоняли весь скот к Днестру, коровы стояли там по колено в холодной воде, изредка обмахиваясь хвостами от назойливых слепней, лошади пережевывали в конюшнях овес. Весь огромный совхозный двор был заставлен пустыми подводами. Засыпав лошадям корма, конюхи уходили кто в село, кто в сад.

Хорошо было лежать после обеда где-нибудь под деревом на траве и видеть, как дрожит в нескольких шагах от тебя накаленный солнцем воздух, как медленно проплывают по чистому небу случайные прозрачные тучки, слушать, как позвякивают колокольцами коровы у Днестра, как прозвенит и замолкнет на той стороне звоночек извозчика-балагулы.

Удобно было лежать так на мягкой траве и чувствовать, как ноет все уставшее за день тело. Радостно было разглядывать исцарапанные соломой загорелые руки — я уже набил себе на ладонях изрядные мозоли. Приятно было сознавать, что хлеб, который ты сейчас ешь, уже не отцовский, а заработанный тобою, что вкусная, рассыпчатая мамалыга, которую подает к обеду повар Махтеич, принадлежит тебе по праву, потому что ты заработал ее, так же как и другие курсанты, вот этими исцарапанными своими руками. Славно было лежать так под высоким островерхим тополем, размышляя о том, что ты начинаешь жить самостоятельно, что перед тобой открыта дорога в большую и такую заманчивую жизнь.

Обычно стоило мне только расположиться где-либо на отдых под тополем либо под густыми кустами жасмина, как в ту же минуту неизвестно откуда появлялся совхозный пес Рябко, черной с белым масти, с подрубленными ушами и мохнатым хвостом, полным репейника. Уже издали, подходя, Рябко глядел на меня добры-

ми глазами, вилял хвостом и всячески пытался подмазаться ко мне, чтобы я разрешил ему улечься у меня в ногах. Но у Рябко были блохи, поэтому я сразу же отгонял пса подальше. Он растягивался где-нибудь неподалеку в тени, положив на грязные лапы мохнатую морду с черным носом, и, высунув сухой от жары язык, тяжело дышал. Скоро он успокаивался, закрывал глаза и начинал дремать.

Я пробовал читать «Политграмоту», которую дал мне Коломеец, но читалось после обеда очень плохо. Я многого не понимал, что было написано в этой книжке, и все время думал о Гале.

«Вот отдохну чуть-чуть, — думал я, — пойду в красный уголок и напишу ей письмо, большое, нежное». Я придумывал самые ласковые слова для этого письма. Я представлял себе, как удивится Галя, получив от меня письмо, и постепенно с мыслями о Гале засыпал. Просыпался я с тяжелой от жары головой. Шумели возле дома, играя в городки, курсанты. На дворе стоял уже вечер.

С той ночи, как я спугнул в бурьяне под забором неизвестного человека, в совхозе было спокойно. Однако в соседних селах пошаливали бандиты.

Пересылали их через Днестр на нашу сторону румынские бояре. Приходили они и из панской Польши. Сами они вряд ли бы рискнули действовать так нахально, если бы за спиной у их хозяев — польской и румынской буржуазии — не стояла мировая буржуазия.

Капиталисты тех стран, подготовляя новое нападение на Советскую страну, прибирали к своим рукам всякую нечисть, изгнанную народом за границу и ненавидящую Советскую власть. Особенно в темные, пасмурные ночи бандиты нередко переправлялись на советский берег и растекались по соседним селам. Они соединялись с местными кулаками, с бывшими петлюровцами, грабили на дорогах проезжих, нападали на сельсоветы, на комитет незаможных селян, поджигали хаты бедняков, убивали коммунистов. Чем ближе к осени, тем наглее становились бандиты: они знали, что на полях собран большой урожай, что крестьянство живет лучше, чем раньше. А хозяева бандитов хотели, чтобы все было наоборот, чтобы снова вернулись на эти богатые земли из-за границы паны и помещики,

чтобы наш совхоз, в котором работали сейчас курсанты, опять был превращен в панское имение.

Побаиваясь выйти в открытую против Советской власти, иностранные капиталисты старались вредить нам через своих посыльных — бандитов.

Вооруженные ручными пулеметами системы «Шош и Льюис», подвесив на поясах ручные гранаты, с бумажниками, набитыми долларами, бандиты ночью шныряли по дорогам. Днем же они скрывались в лесах, в амбарах у местных кулаков, в глубоких сырых погребах под кулацкими хатами.

К совхозу бандиты боялись подбираться — видно, знали, что у всех нас есть оружие. Однако чувствовалось, что наш совхоз — первое социалистическое хозяйство на берегу Днестра, в котором работает много коммунистов и комсомольцев, — не дает бандитам покоя. Не давал совхоз покоя и тем, что жили на другой стороне Днестра. Был на другой стороне Днестра бугор, с которого легко можно было разглядеть совхозный ток. Часто на этом бугре проезжие помещики останавливали фаэтоны, кабриолеты и подолгу смотрели в бинокли, как идет в совхозе молотьба.

А молотьба шла хорошо — все больше и больше тугих, тяжелых мешков со свежей пшеницей свозили в амбары. Вырастал за током огромный стог: целыми днями к нему подгребали обмолоченную солому, втаскивали ее охапками наверх. С этого стога можно было увидеть даже город Хотин, расположенный на берегу Днестра, у самой румынской границы.

После двух недель работы в совхозе в субботу я получил свою первую получку — одиннадцать рублей тридцать семь копеек. Сначала я решил приберечь все деньги до возвращения в город, но потом не удержался и пошел в сельский кооператив. Там я купил себе полфунта маковников, розовое репейное масло, чтобы лучше лежали волосы, гребешок в кожаном футлярчике и флакон одеколона «Ландыш». Идя обратно, я нюхал одеколон и, когда уже подходил к совхозу, возле конюшен, не удержался, открыл пробку и вылил себе на ладонь немножко одеколона, побрызгал им вышитую сорочку, натер лицо. Одеколон был крепкий. Я света невзвидел. Кое-как засунув флакон в карман, я побежал, зажмурив глаза, по дорожке, ведущей к дому. Я хотел, чтобы одеколон побыстрее выветрился. Но не

успел я пробежать десяти шагов, как наткнулся на чью-то вытянутую руку. Приоткрыв один глаз, я увидел сквозь слезы Коломейца.

— Ты что, милый друг, в жмурки играешь? — спросил Коломеец весело. Но в ту же минуту лицо его изменилось, и он, широко раздувая ноздри, стал нюхать воздух. Потом, взяв меня за плечи, Коломеец понюхал мою рубашку и грозно спросил:

— Ты, кажется, надушился, молодой человек?

— Надушился, — ответил я беспечно, вытирая слезы. — Пахучий одеколон, правда? «Ландыш» называется.

— Это что еще за буржуазные предрассудки? — закричал Коломеец. — Надушился! Да ты, может, завтра еще галстук наденешь или воротничок! Кто это тебя надоумил?

— А что — разве нельзя? — спросил я дрогнувшим голосом.

— Он еще спрашивает — смотрите! — сказал Коломеец. — Да ты что, милый, дурачком прикидываешься? Ты что — хочешь, чтобы мы тебя на курсантском собрании за эти отрыжки прошлого проработали?

— Но я же не знал, что нельзя душиться одеколоном. Я думал: раз одеколон продается в кооперативе, значит, мне можно его купить и надушиться.

— «Продается в кооперативе», — передразнил меня Коломеец. — Разные вина тоже продаются в кооперативе, так что, ты завтра, может быть, и вин напьешься? Одеколон, брат, это буржуазная штучка, им золотая молодежь пользуется — лорды всякие, аристократы, а тебе, рабочему подростку, эта роскошь не нужна.

— Какие лорды? — закричал я. — Разве у нас есть лорды?

Коломеец протянул небрежно:

— Ну не лорды, так нэпманы всякие, у кого денег много. Частный капитал, словом. А ты рабочий подросток. Понял? Ты в комсомол хочешь вступать. И я тебе как другу, советую, не как комсомолец беспартийному, а как другу — понял? — ты дурь эту выбрось из головы. Одеколон, галстуки и всякая прочая дребедень — это мещанство, и я тебе советую забыть об этом, иначе тебе комсомола никогда не видать.

Он так меня «накачал», что я сразу же ушел из сов-

хоза «проветриваться». За много шагов огибал я попадавшихся мне навстречу курсантов: боялся, как бы и они не подняли меня на смех за то, что от меня пахнет «Ландышем». В тенистом овраге, который спускался к Днестру, ко мне подбежал, виляя хвостом, Рябко. Жалко мне было расставаться с одеколоном, но иного выхода не было. Я вытащил флакон из кармана, открыл пробку и вылил весь одеколон на взлохмаченную, запорошенную дорожной пылью шерсть Рябко. «Чтоб не пропадало!» — решил я. Рябко, не подозревая дурного, радостно взвизгнул и, думая, что я бросил ему еду, принялся шарить носом по земле, но потом он насторожился, повел носом и сделал стойку, глядя назад так, словно ему на спину уселся шмель. Наконец, отважившись, Рябко лизнул смоченную одеколоном шерсть, обжегся и, поджав хвост, помчался, скуля, обратно к совхозу. С каждой минутой он скулил все громче, будто ему перебили ногу, и вдруг залаял. Мне стало жаль Рябко. «Вот скотина, — подумал я про себя. — Ну что тебе дурного сделала собака?» Чтобы снова вернуть к себе любовь Рябко, я твердо решил во время ужина насобирать ему побольше костей.

У Днестра я разделся, долго махал рубашкой, проветривая ее, потом выкупался и хорошо вымыл лицо, чтобы совсем уничтожить запах одеколона.

На обратном пути я встретил Полевого.

— Купался, Манджура? — спросил Полевой.

— Немножко.

— Ну пойдем сейчас на ток, посмотрим, как механики разбирают молотилку.

— А что — разве сломалась молотилка?

— Да пока что не сломалась, но подшипник в ней чего-то заедает, вот я и вызвал рабочих с завода посмотреть, что и как.

Едва поспевая за Полевым, я осторожно спросил его:

— Скажите, товарищ Полевой, почему в кооперации продают буржуазные предрассудки?

— Какие буржуазные предрассудки? — насторожился Полевой.

— А одеколон?

— Одеколон... А что такое?

— Ну вот комсомольцу, скажем, душиться им же нельзя?

— Вообще говоря... Нет, почему? После бритья, скажем, в целях гигиены. А зачем тебе нужен одеколон! Усов у тебя еще нет.

— А если вырастут усы, тогда можно?

— Что можно?

— Одеколоном душиться?

— А чего ж нельзя? Душись себе на здоровье, если денег много.

Сейчас мне стало досадно, что я послушал Никиту и вылил такой дорогой одеколон. Рубль сорок копеек вылил псу на спину. Зачем? Побоялся, что меня «проработают». Не надо было слушать Коломейца.

На совхозном току, разостлав вблизи молотилки рогожные мешки, перебирали чугунные детали двое рабочих. Когда мы подошли ближе, в одном из них я узнал Козакевича, литейщика с завода «Мотор». Он стоял на коленях перед коленчатым валом и промерял его диаметр.

Замасленная кепка Жоры Козакевича была сдвинута на затылок, выгоревшая под солнцем, когда-то синяя, а теперь уже ставшая голубой блуза-толстовка плотно облегала его широкие лопатки.

— Ну что, серьезное дело, товарищи? — спросил Полевой.

— Если баббит и кузнечное горно есть, — сказал Жора, вставая, — залью наново подшипники, а товарищ вот подшабрит — и все тут.

— Баббит есть, — сказал Полевой, — а горно у кузнеца в селе попросим. Как долго протянется?

— Ремонт? Не очень долго. День-полтора. Словом, как-нибудь быстренько управимся! — сказал Жора и, заметив, что я разглядываю его, спросил: — А ты что, молодой человек, уставился на меня?

— Я был однажды в клубе, когда вы положили на обе лопатки приезжего борца Жегулева, — ответил я, растерявшись.

— Вот оно что! — протянул Жора весело. — Ты, значит, борец тоже. Ну что же, очень приятно, будем знакомы! — И он протянул мне тяжелую смуглую руку.

Я неловко подал ему свою, а Полевой, стоявший рядом, улыбнулся. Я был рад, что познакомился с Жорой.

За ужином Козакевич сказал мне, что после окончания ремонта он думает выехать в город. Он согласил-

ся взять от меня письмо и опустить его в городе в почтовый ящик. Сразу же после ужина я пошел в красный уголок и стал сочинять там письмо Гале.

«Дорогая моя Галя! — писал я в этом письме. — Ты, верно, думаешь, что я в городе и не хочу приходить к тебе, а я совсем не в городе, а на границе, в совхозе, где работаю машинистом у молотилки. Между прочим, совхоз этот находится в бывшем имении дяди Котьки Григоренко. Здесь очень хорошо, я зарабатываю много денег и каждый день по три раза купаюсь в Днестре. В первый день, когда мы приехали — это было ночью, — я выследил бандита, который подкараулувал у забора наших курсантов. Бандит испугался меня и бросился убегать, так мы его и не поймали, а если бы поймали, пришлось бы ему плохо. Вообще говоря, здесь очень опасно, потому что вокруг ходит много бандитов, у нас у всех есть оружие, я тоже получил винтовку и сорок патронов. Скоро будет моя очередь дежурить всю ночь у нашего дома, все будут спать, а я их буду охранять. Я уже, Галя, научился хорошо работать и очень доволен тем, что поехал сюда, скоро здесь поспеют хорошие груши, и я, когда буду возвращаться в город, привезу этих груш побольше. Сейчас здесь уже поспел чернослив, его можно рвать и есть сколько угодно — не то что в городе. А о том, что сколько угодно можно собирать падалицу, и говорить нечего. Мне иногда бывает очень скучно без тебя, Галя. Правда, здесь много курсантов, с которыми я дружен, много работает в совхозе сельских девчат, но ни одна из них не может заменить мне тебя. Я даже не смотрю в их сторону. Вот. Знай это!!!

Если у тебя будет время, напиши мне, как ты живешь, ходишь ли в кинематограф и какие картины смотрела, что теперь представляют в клубе совторгслужащих и какая погода стоит в городе. Здесь у нас очень жарко, я сплю ночью на балконе под одной простыней, только к утру приходится натягивать одеяло, потому что по утрам с Днестра идет туман. Если ты помнишь и... уважаешь меня, то обязательно напиши, потому что мне без тебя тоскливо. Да, если ты увидишь Петьку Маремуху, скажи ему, что интересуюсь, узнал ли он у Сашки Бобыря то, что я просил его узнать перед отъездом. Если Петька Маремуха узнал то, что я просил его узнать, пусть он сходит в совпартшколу, найдет

там курсанта Марущака и все ему расскажет, что узнал от Сашки Бобыря. Расскажи Петьке, что мне здесь хорошо, и пусть он мне напишет, как поживают у него мои голуби. Пусть Петька напишет обо всем подробно. Да, я чуть не забыл тебе написать, Галя, что сюда к нам прибыл ремонтировать молотилку Жора Козакевич с завода «Мотор» — тот самый борец-любитель, что в клубе совторгслужащих положил на обе лопатки чемпиона стального зажима Зота Жегулева. Он со мной познакомился и показал уже мне таких два приема французской борьбы, что только ахнешь. Теперь, когда я выучу эти приемы, я не только Петьку Маремуху, но и самого борца Леву Анатэму-Молнию смогу положить. Я здесь поправился, кормят нас хорошо, и у меня от работы стали такие мускулы, как у борца. Уже устала у меня рука, потому кончаю, напиши мне ответ. С товарищеским приветом Василий Манджура».

Кончив писать, я промокнул письмо старым номером газеты «Беднота» и, прежде чем вложить исписанный листок в конверт, вынул из кармана флакон из-под одеколона «Ландыш». На дне матового флакона сохранилось еще несколько капелек прозрачной зеленоватой жидкости. Я открыл пробку и покропил остатками одеколона письмо Гале. Снова хорошо запахло вокруг. Чтобы этот приятный запах не улетучился, я поскорее запрятал письмо и, проведя языком по блестящим краям конверта, плотно и наглухо заклеил его.

ВЕРХОМ НА КАШТАНЕ

Уже кончилась жатва, и надо было поскорее подвозить к молотилке последнюю пшеницу. Но, как назло, стояли такие жаркие дни, что вязать снопы можно было только по ночам или на рассвете. Когда сноп обхватывали тугим перевяслом в жару, сухое зерно высыпалось из колосьев на пыльную, изборожденную трещинами землю. А ночи были лунные, одна другой яснее, полная луна подымалась вечерами из-за высоких тополей, освещала обвитый плющом и диким виноградом совхозный дом, пересеченный глубоким оврагом тенистый сад и обрывистый берег у широкого Днестра.

В такие лунные ночи с нашего балкона хорошо бы-

ло видно, как поблескивала на току под луной высокая труба локомобиля. Но с каждым днем луна появлялась на небе все позднее — мы понимали, что вскоре она исчезнет совсем и наступят иные ночи, хоть и звездные, но темные. Надо было, пока не поздно, ловить полнолуние и убирать хлеб — вот почему в пятницу с утра все свободные люди выехали на дальнее поле жать последнюю пшеницу.

До самого вечера там, в шести верстах от совхоза, на обрывистом и глинистом берегу реки трещали жатки-лобогрейки, жатки-самоскидки; их зубчатые крылья взлетали над ровным посевом пшеницы и то и дело сбрасывали на колючую стерню охапки срезанных острыми ножами колосьев.

Много нажали курсанты за этот день: там, где раньше от пыльной проселочной дороги на Жванец и до самого обрыва уходило широкое густое поле пшеницы, теперь сплошь виднелась колючая стерня, и на ней лежали кучки срезанных тяжелых колосьев.

Холмики нарытой кротами земли, мышиные норки, следы давних селянских межей, свитые у кочек гнезда жаворонков — все это, ранее запрятанное в густой пшенице, теперь обнажилось и стало заметным.

Курсанты возвратились в совхоз, когда стемнело, голодные, загорелые за целый день работы на солнце. Возвратился с ними и я. Ближе к вечеру я отвез туда, на дальнее поле, целую бочку холодной ключевой воды; ее распили почти всю, лишь на донышке, на уровне дубового крана, звонко плескались недопитые остатки. Только я выпряг из оглобель худую облезлую лошадь, ко мне подошел Полевой.

— Вот что, Василь, — сказал он, — ты не очень заморился?

— Совсем не заморился. Я же воду возил. Разве это работа?

— Тогда слушай. Народ сегодня поработал крепко. После ужина все как завалятся спать, никого не разбудишь. Придется тебе сегодня подежурить на поле. Как взойдет луна, там будут вязать сельские девчата. Ну, а вы вдвоем с Шершнем берите коней и тоже подавайтесь к ним на поле. Девчата, как повяжут, лягут спать, а вы будете сторожить, как бы какой куркуль не утащил снопы. Ну, а пока, до луны, ты, как поужинаешь, поспи. Шершень тебя разбудит.

— Зачем мне спать? Я и так обойдусь, — отказался я и подумал: «Интересно, какую же лошадь мне дадут на дежурство?»

Дали Каштана, резвого карего коня, который до полудня возил снопы, а все остальное время отдыхал в прохладной конюшне.

До сих пор мне удавалось ездить на совхозных конях только к водопою — до Днестра и обратно. К реке кони шли спокойно, медленно входили в быструю воду и стояли в ней, пофыркивая, по нескольку минут, но зато обратно они неслись галопом, обгоняя друг друга, — знали, что в деревянных яслях уже засыпан для них овес. Приходилось изо всей силы натягивать поводья, чтобы не слететь. А один раз я купал серого жеребца по странной кличке Холера, так он как понес меня на обратном пути — я уж думал: все!

Я бил Холеру пятками в мягкие бока, натягивая изо всей силы узду, но все было напрасно: жеребец обогнал всех лошадей и, похрапывая, мчался к совхозному двору. Проносились мимо деревья, столбы, вот мы обогнули каменный забор, вот влетели в распахнутые ворота. Увидев конюшню, жеребец рванул так, что я сразу же переехал на круп и выпустил поводья. Бревенчатые стены конюшни приближались, все шире казалась черная дыра дверей.

Остановить коня я уже не мог и понимал, что он затащит меня прямо к стойлу. Но это было бы еще ничего. Уже когда до конюшни оставалось несколько шагов, я сообразил, что ударюсь о деревянную притолоку. На всем скаку я спрыгнул с Холеры и зарылся ногами в мягкую кучу навоза. Только это меня и спасло, а не то лежать бы мне под стеной с разбитым черепом.

Каштан, на котором мне предстояло ехать караулить, был хоть и норовистый конек, но зато куда спокойнее Холеры. Шершень сам набросил на спину Каштана кожаное седло, затянул подпруги, хлопнул коня по шее и, когда все было готово, скомандовал:

— Садись, хлопче. Поедем!

Я поправил винтовку за плечами, передвинул запрятанный в кобуру «зауэр» по ремню назад, чтобы не мешал садиться, и подошел к коню. Но не успел я схватить его за гриву, как Шершень засмеялся и сказал:

— Да кто же на коня так садится? На коня надо с левого боку влезать. Ты что — верхом не ездил, что ли?

— Ездил, но только в седле никогда... — сказал я смущенно и обошел Каштана.

И в самом деле, вскакивать с левого боку оказалось гораздо удобнее.

Я взобрался на коня и сразу же всадил ноги глубоко в стремена. Земля показалась далеко внизу, темная и опасная. Каштан стоял тихо и только силился перегрызть удила. Шершень поправил поводья у Серого и легко, как заправский кавалерист, вскочил в седло.

— Н-но, с дымом! — сказал он и подобрал поводья.

Мы выехали со двора рысью, и тут я понял, что совсем не умею ездить верхом. Каштан так меня подбрасывал, что зубы у меня стучали. Да еще винтовка хлопала меня по спине: я слишком свободно отпустил ремень. Остерегаясь, как бы не прикусить язык, я старался попасть в такт бегу коня, но сперва мне это не удавалось. Ноги свободно болтались в стременах, я прыгал в седле так, что мне казалось — вот-вот лопнут подпруги, и я свалюсь в канаву. Хорошо, что Шершень ехал впереди, шагах в десяти от меня, и ничего не замечал. Но больше всего мне было жалко коня. Я чувствовал, что набиваю ему холку; казалось, что от каждого моего прыжка седло царапает кожу на спине у Каштана, натирает кровавые раны.

Наконец я поймал носками стремена и попробовал приподниматься. Стало лучше. Когда Каштан выбрасывал правую ногу, я старался облегчить ему это и тоже слегка приподнимался в стремени. Постепенно меня перестало швырять, я уже взлетал плавнее и чувствовал, что начинаю понимать коня. Осмелев, я выпрямился, как настоящий конник.

«Вот бы меня сейчас увидела Галя, — подумал я. — Верхом, да еще с винтовкой! А что, если прискакать к ней сейчас в город да вызвать ее из дому? Она выскочит из хаты, испуганная, еще сонная, ничего не понимая, а я скажу, не слезая с лошади: «Прости, что я тебя разбудил, Галя, но меня посылают по важному секретному делу, куда — я не могу сказать, и вот я решил с тобой попрощаться. Может, меня убьют, так ты никому не рассказывай, что я заезжал к те-

бе, но запомни, что я буду любить тебя до самой смерти!»

Скажу все это спокойно, не слезая с коня, и протяну Гале через плетень руку. Она пожмет ее, все еще ничего не понимая. Возможно, она попросит меня слезть, но я слезать не буду, а сразу же поверну коня и ускачу в темноту, не оглядываясь.

И, наверное, Галя всю ночь до самого утра не заснет; подушка ее будет мокрая от слез, Галя будет ворочаться, вздыхать, плакать; в эту ночь она очень пожалеет, что ходила с Котькой...»

А что, если в самом деле махнуть в город?

Но в эту минуту Каштан оступился, ноги мои выскочили из стремян, и я едва-едва не перелетел через голову коня. «Вот был бы номер!» — подумал я, нащупывая стремена и все еще держась за луку седла. Вместе с толчком разлетелись и мечты о Гале. Снова замелькали в глазах сады, в густой их зелени белели хаты, кое-где в маленьких квадратных окошечках светились уже коптилки, и подымалась над полями еще красная луна...

За околицей Шершень погнал Серого галопом, Каштан тоже рванулся вдогонку, и я понял, что галопом ездить куда приятнее, чем рысью. Словно летишь куда-то далеко-далеко, то и дело проваливаясь, конь глухо взбивает копытами мягкую и еще теплую пыль на проселочной дороге, что-то ухает у него внутри, тело твое почти не чувствует седла, и плывут, плывут навстречу неубранные селянские поля с темными копнами сжатого хлеба.

Отъехали версты четыре от села и стали догонять сельских девчат в подвязанных высоко юбках.

Девчата несли в узелках еду. Я понял, что они торопятся туда же, куда и мы.

Одна из девушек узнала Шершня и, давая нам дорогу, крикнула:

— Агов, дядько Шершень! Караулить нас едете?

— Караулить, дочка, абы сатана до бояр на ту сторону не затащил, — весело отозвался Шершень.

По всему широкому и освещенному луной полю мелькали холщовые кофты девчат.

Девчата подбирали в охапки сжатую пшеницу, быстро взвивалось в руках перевясло, и вскоре тяжелый

темный сноп падал на стерню. Кое-где девчата сложили готовые снопы в копны-пятнадцатки: точно малые хатки выросли вмиг в поле. Весело спорилась работа, тронутые росой колосья не рассыпали зерно, как днем, хорошо было вязать из такого же влажного клевера крепкие перевясла.

Несколько девчат, подбирая пшеницу и увязывая ее в снопы, пели:

Ой, зацвіла, рожа, край вікна,
Ой, зацвіла, рожа, край вікна,
Ой, мала я мужа,
Ой, мала я мужа,
Ой, мала я мужа
Пляка.

Как легко, свободно дышалось в эту лунную ясную ночь над Днестром! Воздух был чистый, пахучий, он давал человеку такую силу, что, казалось, любую работу можно сделать в несколько минут. Глубоко вдыхая запахи чабреца, полыни, сухой мяты, слушая, как где-то далеко кричит коростель, я медленно объезжал по меже совхозное поле. Наверное, курсанты давно спят на своих соломенных матрацах. С другой стороны Днестра донесся сюда звоночек балагулы. Кто это едет там, над рекой, в такую пору? Может, помещик какой-нибудь объезжает свои поля? Или сонный поп отправляется исповедовать умирающего? Или румынские жандармы везут в Хотинскую тюрьму нового арестанта?

Слышно было даже, как поскрипывают колеса брички там, в кукурузе, над Днестром.

Не бий мене, муже, не карай,
Бо покину діти,
Бо покину дрібні,
А сама поіду
За Дунай.
Ой, як я на лодку сідала,
Ой, як я на лодку сідала,
Правою ручкою,
А білим платочком,
А білим платочком
Махала... —

пели девчата тягучую, грустную песню.

Каштан медленно переступал ногами и силился ухватить зубами траву. Я опустил поводья, и конь остановился, вырвал на меже кустик бурьяна, стал пере-

жевывать его; слышно было, как позвякивают его удила, как скрипят, стараясь освободиться от железа, лошадиные зубы.

Но вот Каштан фыркнул, насторожился и неожиданно заржал. Погодя минутку, на другом берегу Днестра весело откликнулась запряженная в бричку лошадь, и ее ржание заглушило на миг звоночек.

— Эге-ге-гей! Василь! — донеслось ко мне с другого конца поля.

Я узнал голос Шершня и тряхнул поводьями. Каштан сразу рванул галопом. Я мчался напрямик через поле, кое-где объезжая готовые уже снопы. «А может, там куркуль какой снопы потащил и Шершень зовет меня на помощь?» — подумал я и на всякий случай нащупал «зауэр».

Но Шершень, стоя у копны, мирно разговаривал с высокой девушкой. Голова ее была повязана белым платочком.

Освещаемое светом луны лицо девушки показалось мне необычайно красивым.

— Слезай, ужинать будем! — приказал Шершень. — Это дочка моей хозяйки — Наталка, у нее харчи для нас припасены.

— Куда ужинать? Мы же поели сегодня в совхозе, — сказал я.

— Давай, давай, — настаивал Шершень. — Когда то было? Часов в девять было. А сейчас уже добрых два часа. Скоро светать будет.

Я спрыгнул с коня, и Шершень ловко привязал ему поводья к ноге.

Каштан и Серый, позвякивая стременами, ушли пастись, а мы втроем уселись у копны, прямо на колючую стерню.

Девушка развязала узел и прежде всего вытащила оттуда буханку пахучего хлеба.

— Порежьте, дядько Шершень, — попросила она.

— Ого! — удивился Шершень и подбросил на руке буханку. — Еще горячий. Когда ж вы пекли, Наталка?

— То не мы пекли. Гарбариха пекла и нам долг вернула, — отозвалась Наталка и, вытащив из-под холщовой тряпки широкую миску, вылила в нее полную крынку кислого дрожащего молока. По этой колючей стерне Наталка двигалась маленькими босыми ногами

очень ловко, как по глиняному полу хаты. Она разостлала на стерне вышитое полотенце и положила перед каждым из нас деревянную ложку.

Шершень тем временем порезал крупными ломтями хлеб и свалил его рядом с миской.

— А тут брынза, дядько, — разворачивая бумагу, сказала Наталка и задела меня своей жесткой юбкой.

— Доберемся и до брынзы, — сказал Шершень, окуная ложку в кислое молоко. — Ох и холодное! Ты случайно жабу сюда не пустила?

— Да ну вас, дядько! Скажете тоже... — отмахнулась Наталка. — Разве можно такую гадость при еде вспоминать?

— Гадость? И совсем не гадость. Ты молодая еще и не знаешь, что во многих селах бабы нарочно в крынки жаб пускают.

— То выдумывают люди, — сказала Наталка.

— Ничего не выдумывают, — настаивал Шершень. — Я когда под Бендерами в одном именье у пана работал, моя хозяйка этим делом занималась. У нее в подвале в горшках с молоком всегда жабы плавали. Вот однажды жара была, пришел я домой. «Нет ли, — говорю, — хозяйка, чего-нибудь холодненького?» — «А чего ж, — говорит, — полезай в погреб и напейся молока холодного». Я и полез. Схватил первую попавшуюся крынку и давай пить. Залпом. И вот чувствую, как вместе с молоком что-то твердое мне в горло скользнуло, я подумал сперва, что сметана так застыла, а потом, чувствую, шевелится. И пошла эта жаба гулять по моему животу. Как на ярмарке гуляла!..

Я рассмеялся, понимая, что Шершень шутит, а Наталка, откладывая ложку, сказала:

— Скажете такое, фу, и есть не хочется!

— Правда, правда! — даже не улыбаясь, продолжал выдумывать Шершень. — И послушай, что дальше было. Как раз перемена погоды ожидалась, дождь, словом. И тут, как ночь, так эта жаба у меня из живота голос подает. А хозяйка спать не может. А потом взяла да и сказала: «Перебирайся ты, Шершень, на другую квартиру, а я тебя держать не буду, беспокойный ты очень жилец». Я говорю: «Какой же я беспокойный, когда это ваша собственная жаба во мне поет. Перемену погоды предвещает».

— Ну и что дальше было? — уже заинтересовавшись и сдерживая смех, спросила Наталка, поглядывая искоса на меня.

— Водкой я эту проклятую жабу уморил. И вот с той поры, как дают мне молоко, спрашиваю: «Жаб нет?» Если нет, ем спокойно. — И, как бы подтверждая свои слова, Шершень зачерпнул полную ложку кислого молока.

Не отставая от Шершня, я то и дело окунал ложку и заедал кислое ледяное молоко вкусным домашним хлебом. Скоро на вышитом полотенце осталась пустая миска да белый кусок брынзы. Мы втроем уничтожили целую буханку хлеба.

— Это ваша родственница, дядько? — спросил я у Шершня, когда мы, вскочив на коней, отъехали от Наталки.

— Она хозяйская дочка, — сказал Шершень. — Я у них столуюсь и ночую. А что, понравилась?

— А у вас разве своей хаты в селе нет? — спросил я, уходя от щекотливого разговора о Наталке.

— Своей хаты? — Шершень весело свистнул. — Нет пока у меня хаты, хлопче. Была у меня на той стороне хата, да жандармы в девятнадцатом году, как Хотинское восстание было, спалили.

— Вы тоже восставали?

— А то как же! Все тогда восставали. Видишь, я до революции все время в батраках работал. То у одного пана, то у другого. Под Бендерами работал в Цыганештах, даже у одного купца в Кишиневе конюхом четыре месяца прослужил. Ты видел, на той стороне против нашего совхоза село Атаки виднеется? Ну так вот, я сам из этого села родом. Заработал себе денег, все как полагается, и как раз перед самой войной приехал в село. Красивую жену взял, молодую, моложе меня на три года, с детства мы с ней знакомы были. И вот только построился, хату себе соорудил, виноградник развел, целую десятину батутой-нягрой засадил — бах, бах — война, и меня берут до войска.

На Кавказском фронте служил, до самого Эрзерума дошел, а в революцию вернулся домой. «Ну, — думаю, — теперь не двинусь с места». Сын за это время вырос, четыре года хлопцу было, сейчас, если только жив, наверное, тебе ровесник.

— Да какое там — я девятьсот девятого года рождения! — обиделся я.

— Ну неважно — большой хлопец, словом. И вот, понимаешь, только мы землю помещичью поделили, слышим — идут какие-то разговоры, что Бессарабию хотят румынские бояре себе забрать. И в самом деле, вскоре в наше село приезжает какой-то пан Радулеску из самого Букарешта, поселяется у попа и — как это они с попом устроили, до сих пор не знаю — едет как бы депутатом от наших селян в Кишинев на Сфатул-Церий. Парламент ихний так называется. А никто этого Радулеску не выбирал, и даже многие крестьяне его в глаза не видели. И вот приходит в наше село газетка, и мы читаем, что делегат из села Атаки Радулеску требовал, чтобы Бессарабия соединилась со своим старым другом Румынией. А потом переворот, смотрим — жандармы пришли. И тут началось! Землю панскую отбирают, а тех, кому она досталась, — шомполами. Выпороли и меня. Виноградник молодой отняли.

Затаили мы злобу на румынских бояр — не передать. И вот, когда услышали, что в Хотине да по селам соседним народ бунтуется, все, кто победнее, тоже поднялись. Кто на лошади, кто пешком, кто с вилами, кто с дробовиком — айда к Хотину. Холодно было, помню, начало января, а я, как был, в суконной гимнастерке, схватил трехлинейку, ту, что с фронта привез, да и пошел в Хотин. Крепко мы дрались с боярами. Сколько их экономий пожгли, сколько жандармов под лед днестровский пустили — не рассказать, но вот беда, некому было помочь нам, не было среди нас такого вожака, как, скажем, Котовский, — он тогда с Петлюрой воевал и не мог к нам пробиться. Одиннадцать тысяч наших перебили жандармы, меня ранили под самым Хотином, около крепости. Видел ее? В ногу ранили из пулемета. Вот я и пополз ночью по льду на эту сторону — как только не замерз, не знаю. Ползу по льду, кровью снег раскрашиваю, и рядом товарищи мои раненые, тоже по одному, через лед на украинский берег перебираюсь. А боярские войска по нас вдогонку из орудий бьют. Крепко били — в одном месте от снарядов даже лед тронулся, как весной. Переполз я на эту сторону, а тут Петлюра тогда хозяйничал — то же самое, что румынские бояре. Когда жан-

дармы ихние под Хотинской крепостью с нами расправлялись, петлюровцы из пулеметов с этого берега по повстанцам огонь вели.

Прятался я у одного дядьки, пока нога не зажила, а потом понял, что нельзя мне возвращаться в родное село. Знал, что убьют. Всех, кто подымался на бояр, румынские жандармы убивали. И еще мне передали, что хату мою жандармы дотла сожгли, землю, виноградник — все как есть у жены отняли и дали помещику новому, Григоренко. Так вот я и остался здесь, долю свою возле Днестра караулить. И все никак не могу из этого села уехать. Хлопцы знакомые в Баку нефть добывают, заработки, пишут, там богатые, зовут: приезжай, Шершень, а я не могу. Все жду того часа, когда Бессарабию освобождать будем. У меня в Жванце начальник пограничный есть знакомый. Так я каждый раз, как за почтой для совхоза еду, все ему надоедаю. «Ну когда же, — говорю, — на ту сторону? Смотрите, — говорю, — если тронетесь, обязательно меня берите. Проводником. Я те места хорошо знаю. Каждую тропинку, каждую канавку. Все исходил. Да и разговор кое с кем будет крупный. Смотрите, — говорю, — если перейдете границу без меня, поссоримся навеки!»

Начальник тот, хороший такой хлопец, Гусев по фамилии, из самой Москвы приехал, смеется и говорит: «Во-первых, — говорит, — границы-то никакой здесь нет, так что обязательно на той стороне рано или поздно придется побывать, это мы тут временно задержались. А лишь получим приказ, не забудем и тебя, Шершень».

— А про жену что-нибудь известно? — спросил я, выждав немного.

— В двадцать третьем году был у нас перебежчик с той стороны. Спалил пана и к нам прибежал. Мы тут, пока пограничники за ним пришли, побеседовали. Говорит, видел мою жену. Она после восстания у одного куркуля в батрачках служила, а потом жандармы выгнали ее из села туда, вглубь: видно, пронюхали, что я жив и в совхозе работаю...

И вот уже сколько времени — ни весточки. А до двадцать второго года мы с ней перекликались даже. Я на бугре стану, возле воды, — знаешь, где лошадей совхозных купают? — а она на мельницу сойдет и буд-

то бы на мостках белье стирает, а сама слушает, что я кричу, и откликается иногда. Один раз мы так перекликались и не заметили, что в кукурузе жандарм засел. Он послушал, послушал, да как пустится к жене моей, да нагайкой ее, нагайкой. Она белье бросила — поплыло все, и кричит от боли. А я бегаю по берегу, вижу, как этот гад мою жену мучит, и прямо зубами скриплю от злости. И как раз пограничник наш проходил. Я и стал, помню, просить: «Позычь, друже, карабина, я этого гада враз сниму». А пограничник мне и говорит: «Ничего, — говорит, — потерпи. Придет время — и снова будет твоя родная Бессарабия свободной».

Совсем близко, за полоской речного тумана, виднелся освещенный луной бессарабский берег. Шершень остановил Серого и глядел теперь туда жадными, полными тоски и гнева глазами.

Я понял, что всю свою жизнь он будет ждать той минуты, когда сможет перейти Днестр и ступить ногой на эту близкую и родную ему землю.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

На балконе, где мы ночевали, завелись осы. Каждое утро, прежде чем залететь в щель под крышей, где было их гнездо, они долго кружились над матрацами, и всякий сон пропадал.

— Ну его к черту! — сказал однажды утром Коломеец. — Надо перебираться отсюда.

— Давай выкурим их, — предложил я.

— Пока ты их выкуришь, они тебя так обработают... У меня нет никакого желания ходить с распухшей мордой! — сказал Коломеец, отгоняя желтую назойливую осу.

Но оса не отставала. Тогда Коломеец в одном белье сорвался с постели и побежал в комнату, где еще досыпали курсанты.

Мы стали ночевать под стогом соломы, у молотилки. Там было еще лучше, чем на балконе. Мы подстилали сколько угодно соломы, сверху свисала тоже солома; кроме того, ночевать здесь, под стогом, было удобно еще и потому, что рядом был расположен совхозный баштан. Можно было ночью, когда захочется,

выбрать на ощупь арбузик или спелую дыню и порешить ее тут же, на поле, под звездным небом. Одно было плохо: приходилось издалека таскать с собой одеяла и простыни.

Видно, поэтому-то Коломеец спустя два дня, когда я позвал его ночевать, стал крутить носом.

— Видишь, Василь, откровенно тебе сказать, мне что-то не хочется уходить туда на ночлег. Больно далеко. Давай лучше с хлопцами устроимся в комнате.

— Где ж ты устроишься, когда там и так тесно? И так многие уходят ночевать к амбарам.

— Как-нибудь примостимся.

— Ну какой смысл, подумай, Никита. В комнате мы успеем ночевать, когда приедем в город. А здесь возле стога свежий воздух, пахнет хорошо, баштан рядом — все удовольствия. Да ты же сам говорил, что тебе очень нравится ночевать там, на соломе.

— Говорить-то говорил, — замялся Коломеец, — а сейчас что-то расхотелось. Знаешь, таскать эти манатки такую даль — ну его...

— Ну хочешь, я сам понесу твою постель? А? Ты порожняком пойдешь.

— Да нет, Василь. Не хочется что-то. Да и дождь, может, будет. Видишь?

За Днестром полыхнула молния, озарив на секунду край темного пасмурного неба. Сегодня к вечеру действительно на небе было много туч, лишь кое-где в просветах между ними искрились звезды.

— А при чем здесь дождь, Никита? Под стог вода не затекает. Ты же помнишь, позавчера...

— Позавчера не затекла, а сегодня может затечь...

— Так не пойдешь к стогу?

— Не пойду.

— Ну тогда я сам пойду.

— Один? — Коломеец протяжно свистнул. — Ох, какой ты храбрый!

— А думаешь, не пойду?

— Думаю, страшненько будет, и ночью прибежишь обратно.

— Посмотрим! — сказал я упрямо.

Когда, зажав под мышкой тюк с одеялом и простынями, я шагал к стогу, мне уже очень хотелось остаться ночевать на совхозном дворе, вблизи курсантов. Можно было найти удобное местечко где-либо в амбаре

или устроиться на подводе со свежим сеном, однако упрямство не позволяло мне поступить так. Ведь только узнает об этом Коломеец, он мне житья не даст, будет снова «прорабатывать» меня, станет рассказывать, что я побоялся ночевать один. «А, чепуха, — сказал я себе. — Что ж такого? Переночую один, и ничего со мною не станется. Чего бояться? Подумаешь! А зато как завтра утром я посмотрю на Коломейца! Скажу ему: «Интересно, кому было страшно?».

Как только я, взбив солому, улегся под стогом, ко мне приплелся Рябко. Сейчас я уже не думал его отгонять. Хоть одна живая душа будет рядом.

— Иди сюда, Рябко! — позвал я собаку.

Пес подошел совсем близко и лизнул мою руку.

— Ложись, Рябко! — приказал я. — Вот здесь, на одеяло.

Пес колебался и стал пятиться. Тогда я насильно повалил его вниз, он улегся в ногах и сразу же, довольный, начал искать блох.

Зарницы в Бессарабии полыхали сейчас уже раз за разом, и небо в промежутках между вспышками становилось темное-темное, звезды гасли там, вверху, после каждого удара молнии.

Стог наваливался на меня, он прижимал своей тяжестью нижние слои соломы, так что в них нельзя было просунуть руку. В нескольких шагах от стога ничего не было видно, даже белый забор, который так ясно был заметен отсюда в самые темные ночи, сейчас исчез в темноте, и только когда зарницы пробегали за Днестром, можно было его различить. В эти минуты, когда вспыхивали зарницы, освещалось темное небо и локомобиль. Со своей высокой трубой он был похож на задравшего хобот слона, вблизи него виднелись бочки с водой, проступали в темноте ровные очертания молотилки.

Завтра с утра мы станем на решетчатую площадку у ее барабана. Коломеец примет от меня первую половину снопа, задрожит, перебивая колосья, зубчатый барабан, шумно будет вокруг... Но как пусто, одиноко сейчас на совхозном току! Никого. Ни одной живой души. Только мы с Рябко улеглись под стогом. Я поудобнее подложил себе под бок холодную винтовку и поправил «зауэр», висевший у меня под рубашкой на сыромятном шнурке.

Я все еще побаивался носить револьвер в открытую, думал, кто-нибудь из курсантов может отобрать его у меня. Я выпросил у Шершня длинный сыромятный ремешок, привязал его обоими концами за колечко на рукоятке «зауэра» и носил пистолет вечерами под рубашкой, прямо на голом теле. Он всегда был теплый и уж больше не ржавел.

Плохо только, что во сне он врезывался мне в бок, и я спал беспокойно, часто переворачиваясь.

Я заснул далеко за полночь в ожидании близкого дождя и проснулся, чувствуя облегчение в ногах. Рябка возле меня не было. Он громко лаял совсем неподалеку. Он бросался на кого-то чужого, идущего по полям к совхозу со стороны Днестра. Я услышал шаги этого неизвестного человека. Они приближались. Нет, эти был не один человек, их было несколько: я слышал, как хрустит под ногами идущих картофельная ботва. Я сразу прижался к стогу. Рябко хрипло лаял, он бросался уже прямо под ноги идущим.

— Цюцька, цюцька, иди сюда — сала дам! — попытался кто-то приласкать собаку. Голос был тихий, вкрадчивый и недобрый.

— Та ударь его шаблюкой, чтоб не гавкал! — буркнул другой сердито.

И в ту же минуту я услышал глухой удар и страшный, последний визг Рябка. Видимо, отползая и теряя последние силы, он заскулил жалобно, тоскливо и вдруг замолк.

— Ото дав. Напополам! Аж руке больно, — сказал ударивший и хрипло засмеялся.

— Тише, хлопцы! — скомандовал кто-то.

Бандиты остановились в нескольких шагах от меня, возле локомобиля. Снизу я довольно хорошо видел подымающиеся с земли черные очертания их фигур.

Бандиты прислушивались. Я боялся пошевельнуться. Мне показалось, что я уже никогда не смогу двинуть рукой или ногой, тело онемело, только голова была свежая-свежая. Я слышал, как шуршат сдуваемые ветром отдельные соломинки у меня над головой, как поют сверчки за стогом. Я слышал, как далеко в селе тревожно лают собаки, разбуженные визгом Рябка.

— Так слухайте, хлопцы, — после минутного молчания хрипло сказал кто-то, видимо, атаман бандитов. —

Видите вот этот стог? Только мы его подожжем — все за мной сюда, в канаву. И будем ждать. А когда они выбегут тушить, мы их добре из темноты побачим и перекокаем, как зайцев. Приготовьте-ка гранаты. Юрко, запалюй иди!

— Дай-ка сирныки, — попросил тот, кому поручали зажечь стог, и сразу же, отделившись от других бандитов, направился неловкими, осторожными шагами нащупывая землю, ко мне.

Мигом я вырвался из-под стога и, полуголый, с одним револьвером, болтающимся на животе, пустился бежать. «Скорей, скорей к совхозу, пока бандиты не подожгли стог». И я помчался напрямик через баштан к совхозному дому, чтобы предупредить курсантов, чтобы разбудить их и с ними вместе возвратиться сюда. Но не успел я сделать и трех шагов, как, раздавив ногой скользкую дыню, грохнулся со всего размаха на землю. Я сейчас же вскочил и едва не закричал от боли. Падая, я вывихнул ногу. Острая боль в ноге на минуту заглушила страх. Чувствуя, как на глаза навертываются слезы, едва держась на ногах, я сорвал предохранитель с «зауэра» и выпустил в бандитов первую пулю.

Вспышкой выстрела я обнаружил себя. Я понял, что меня уже не спасет и тень высокого стога. Мне снова стало очень страшно, но разжать палец и освободить гашетку «зауэра» я уже не мог. Теперь я палил в бандитов уже автоматически. Я ничего не видел перед собой — только черная-черная ночь вокруг и яркие вспышки выстрелов над взлетающим кверху дулом «зауэра».

Когда вылетела последняя стреляная гильза, я услышал хриплый голос бандита.

— Гранатой! — крикнул он.

В ту же секунду где-то совсем близко перед моими ногами вырвался из баштана огромный столб пламени, я сразу оглох и почувствовал только, как по лицу меня хлестнула арбузная ботва.

Первой мыслью было позвать на помощь, но в раскрытый рот попала земля; я хотел выплюнуть ее, но почувствовал, что падаю — медленно и куда-то очень далеко, но падать было не страшно. Еще одна граната разорвалась рядом, я даже не вздрогнул. Хорошо вдруг стало, приятно, боль в ноге сразу утихла, что-то

теплое скользнуло по лбу, я собрал последние силы, чтобы выплюнуть землю, и почувствовал, что губы и язык уже не повинуются мне: они стали чужие, мягкие, онемевшие — так, со вкусом земли во рту, я рухнул на землю.

Я не помню, как меня перевозили в город, как на рассвете главный врач городской больницы Евгений Карлович Гутентаг сделал мне очень серьезную операцию: он вытащил у меня из головы два осколка, застрявших в черепной кости. Он вырезал сломанное ребро и вправил вывихнутую ногу.

Обо всем этом я узнал после, когда очнулся.

Приходил в себя я долго и с трудом. Сперва, лежа с закрытыми глазами, я вслушивался в один и тот же далекий однообразный стук. Я не мог понять, что это такое. Казалось, где-то очень далеко, в большом доме, комнат за шесть от меня, кто-то без устали стучится в закрытую дверь.

«А может, это молотилка работает, а я проспал?» — подумал я и хотел вскочить, но не смог: ноги и все тело были тяжелы, точно их привязали к кровати. Я открыл глаза и встретился взглядом с Петькой Маремухой. Он сидел на краешке белой табуретки, смешной каплоухий Петька Маремуха. Он смотрел на меня в упор широко раскрытыми глазами так, словно перед ним лежал не я, а мертвец.

Петька Маремуха напялил на себя полотняный халат. Стоячий воротник халата упирался в подбородок Петьки. Заметив, что я открыл глаза, Маремуха заерзал на табуретке и жалобным голосом протянул:

— Спи, Васька, еще рано!

— Какое рано, я сейчас встану.

— Куда встану? — Петька испугался и вскочил. — Тебе нельзя еще вставать. Спи. А может, хочешь морсу? Бери, пей.

Я вспомнил, что мне давно хочется пить. Принимая из дрожащей Петькиной руки полный розового клюквенного морсу стакан, я жадно прижался губами к его граненому краю.

Морс был кисленький, холодный. Петька Маремуха, не отрываясь, испуганными глазами следил, как пусте-

ет стакан. Как только я кончил пить, Петька, предупреждая мое движение, выхватил у меня стакан и поставил его на мраморную доску столика.

— А теперь спи! — скомандовал Петька.

— Что это стучит, Петро? — спросил я, отдышавшись.

— «Мотор» стучит. Что стучит? Спи!

— Какой мотор? — не понял я.

— Ну двигатель на «Моторе» — не знаешь?

— Почему двигатель?.. Где я?.. А совхоз?

В эту минуту в палату вошла в таком же белом халате, как у Петьки, моя тетка Марья Афанасьевна.

Высокая, седая, она в халате была похожа на врача. Маремуха бросился к ней.

— Марья Афанасьевна, смотрите, он уже хочет вставать. Я ему говорю, чтобы он еще спал, а он меня не слушает.

— Надо закрыть окно. Уже проветрилось, — тихо сказала тетка и направилась к окну.

— Не надо, пусть так! — пробормотал я вяло, растягивая слова, и опять крепко, надолго впал в забытье.

Очнулся я снова только глубокой ночью. Тетки и Маремухи возле меня не было, высоко под потолком горела синяя электрическая лампочка. На стуле возле моей постели дремала, облокотившись обеими руками на столик, какая-то незнакомая женщина в белом халате.

За открытым окном, у самой стены дома, чуть слышно шевелились ветви клена. За ними, в просветах между листьями, перемигивались звезды — теплая осенняя ночь стояла на дворе. Город спал, там, за окнами, давно замолк двигатель на заводе «Мотор», давно спал на топчане у себя дома Петька Маремуха, давно спали мои родные.

Теперь, ночью, я почувствовал, что, наверное, буду жить, хотя все еще болела нога, болела раненая грудь; стоило немного пошевелить шеей — острая боль пронизывала насквозь череп. Я осторожно высвободил из-под одеяла руку и чуть слышно провел пальцами по лбу. Вся голова забинтована. На виске пальцы мои нащупали короткие колючие волосы. Я понял, что попал в больницу и что меня, когда я был без сознания, остригли. Хотелось поговорить с кем-нибудь, спросить, как я попал сюда, что со мной, но никого уже рядом

не было. Несколько минут я лежал с широко раскрытыми глазами, уставившись в потолок. Я силился припомнить все, что случилось со мною, но скоро устал и опять заснул до утра.

КАК МАРУЩАК ПОЙМАЛ БЕЛУЮ МОНАХИНЮ

Каждое утро, прежде чем уйти на работу, меня навещал отец. Он смотрел подолгу на меня. Я все еще не мог выносить его пристального взгляда: сразу вспоминалась история с ложками, и я отворачивался. Отец ни о чем меня не расспрашивал — видно, все уже знал. Каждый раз приносил мне яблоки из сада совпартшколы и интересные книжки из библиотеки.

Придет, узнает, как я себя чувствую, и уйдет советоваться с врачами.

В эти дни я понял, как дорог мне отец, как дорога мне Марья Афанасьевна, как дорог толстяк Петька Маремуха. Но странное дело: стоило мне только начать расспрашивать у них, что было дальше в ту ночь, когда я ночевал под стогом, все они, словно уговорившись, бормотали: «Потом, потом». Только один отец четко и ясно сказал: «Выздоравливай поскорее, Василь, тогда все узнаешь!» Видно, доктора приказывали им не тревожить меня понапрасну воспоминаниями о той страшной ночи, когда я стрелял в бандитов.

Прошло несколько дней. Как-то вечером я лежал один в пустой маленькой палате, вслушиваясь, как хлопцы гоняют на площади перед «Мотором» футбольный мяч. В больничном коридоре послышались гулкие торопливые шаги, и на пороге палаты появились Никита Коломеец и Марущак. Никита так загорел за те дни, что я лежал в больнице, что я не сразу узнал его. Халат ему дали не по росту, очень большой, черная стриженная наголо голова Коломейца смешно торчала из свободного воротника халата. Рослый, плечистый Марущак, в щегольских сапогах и халате до коленей, смотрел на меня, улыбаясь. Давно я его уже не видел — с той поры, как уехал на работу в совхоз. И мне было особенно приятно видеть его сейчас здесь.

Никита оглядел палату, покрутил носом и, шумно придвинув стул, сказал:

— Э, да у тебя, брат, здесь шикарно! Сам Керзон никогда не спал в такой палате.

— Лучше, чем на балконе? — спросил я.

— Балкон — это дикая природа джунглей, — ответил Никита. — А здесь, гляди, цивилизация. Морс — это здесь дают пить или домашний?

— Здесь дают. Больничный, — сказал я.

— А мне как раз пить хочется очень! — сказал Никита. — Можно? — И, не дожидаясь ответа, он поднес к губам стакан морса.

— Оставь, Никита! — прикрикнул на Коломейца Марущак. — Парень раненый лежит, ему, может быть, каждую минуту пить захочется, а ты его грабишь.

— Пей, пей, Никита, — поспешно сказал я. — Морса я могу получить сколько захочу.

— Ну вот видишь, я же сказал — цивилизация! — обрадовался Коломеец и, чмокая, стал пить морс. Худой выпуклый его кадык зашевелился. Коломеец даже глаза зажмурил от удовольствия.

— Хорошо! — сказал он, облизываясь. — Шикарно! Надо, пожалуй, и мне лечь в больницу, чтобы меня поили бесплатно морсом.

— Морс дают только тяжелобольным, Никита, — сказал я как можно более спокойно. — А тебя в больницу не возьмут, как бы ты ни просился.

— Почем ты знаешь? А может быть, и взяли бы? — беспечно сказал Коломеец. — Вот если бы я в ту ночь пошел с тобой к молотилке, и меня, наверное, подбили бы. Хотя нет... — добавил он важно. — Я бы скорее их уложил. И не одного, а всю компанию.

— А я что — разве кого-нибудь уложил? — спросил я, поднимаясь.

— Здравствуйте! — Коломеец засмеялся. — Совершил, можно сказать, подвиг, а теперь незнайкой прикидывается.

— Да я ничего не знаю, Никита. Я же как упал там на баштане, так только здесь и пришел в сознание.

— Нет, в самом деле ничего не знаешь? — переспросил Коломеец.

— Ну конечно, ничего! — подтвердил я.

— Ну, так мы тебе сделаем информацию. Ты не возражаешь, товарищ Марущак? — обратился Коломеец к молчавшему Марущаку.

— Вали рассказывай, а я помогу! — согласился Марущак.

Бандиты, в которых я стрелял, шли издалека: их послала из Бессарабии на советскую сторону на помощь атаману Сатане-Малолетке румынская разведка.

Сатане-Малолетке в те дни, когда мы все работали в совхозе, приходилось очень круто.

В город на усиление охраны границы прибыла из Москвы ударная группа по борьбе с бандитизмом. В ней были самые смелые, испытанные чекисты. Худо пришлось бандитам! Почти каждую ночь из ворот управления погранотряда и окружного ГПУ один за другим выезжали в соседние леса небольшие отряды ударников-чекистов. Верхом, в кожаных куртках, с тяжелыми маузерами в деревянных кобурах, ударники мчались на сильных, выносливых конях по мостовым сонного города. Подковы их коней звонко стучали под аркой Старой крепости. Выехав за город, на мягкие проселочные дороги, ударники пропадали в ночной мгле, и только в одном доме на Семинарской улице, из которого они выезжали, знали цель их поездки, знали их конечный маршрут.

Целые ночи до рассвета горел в том доме электрический свет. Чекисты работали всю ночь, выполняя наказ Советского правительства: очистить от бандитских шаек пограничные районы страны.

Часто, когда ГПУ подготовляло крупные операции, на помощь ударникам-чекистам приходили курсанты из нашей совпартшколы и коммунары ЧОНа — коммунисты и комсомольцы из городских партийных и комсомольских ячеек. Нередко даже днем по тревоге являлись все они в штаб ЧОНа на Кишиневской улице, там получали винтовки и под командой ударников-чекистов надолго уходили из города «прочесывать» соседние леса.

Оказывается, в то время как наша группа спокойно обмолачивала в совхозе хлеб нового урожая, те курсанты, которые остались в городе вместе с Марущаком, тоже не сидели без дела. Несколько раз они прерывали занятия, уходили ловить бандитов.

Казалось бы, бандиты должны уходить подальше от города и особенно пуще огня бояться совпартшколы, но, как рассказывал мне Марущак, все получилось иначе. У бандитов были друзья в самом городе, и од-

ним из таких друзей оказался старый садовник Корыбко. Оказывается, он служил в епархиальном училище, где теперь помещалась совпартшкола, еще при царе. Когда в городе установилась Советская власть, Корыбко по-прежнему захаживал в это здание.

Нередко по старой привычке он вынимал из кармана пальто тяжелые острые ножницы и заботливо, ни от кого не требуя за это денег, подстригал во дворе перед главным зданием кустики туи, срезал лишнюю поросль со стволов акации, вырывал бурьян в палисаднике. К старому садовнику привыкли, и, когда понадобилось наводить порядок в запущенном саду, начальник совпартшколы зачислил Корыбко в штат. Как и другие сотрудники, Корыбко получал обеды в курсантской столовой и целыми днями возился с ножницами и с цапкой в саду или во дворе совпартшколы.

Молчаливый, неразговорчивый и тихий, он ни в ком не возбуждал подозрений. Часто, заработавшись до позднего времени, Корыбко оставался ночевать в своем складе около кухни; там у него стоял топчан, покрытый соломенным матрацем. Никто не знал, что у старого садовника есть взрослый сын по имени Збышко.

Еще в первые месяцы после революции молодой Корыбко, тогда еще студент Киевского политехникума, подался в Варшаву и там поступил на службу к Пилсудскому. Вместе с пилсудчиками он занимал Житомир. Потом, когда конница Буденного выгоняла легионы Пилсудского с Украины, удрал вместе с ними в Польшу. Старый Корыбко, как только в наш город пришли красные, стал рассказывать своим соседям по Подзамче, что его сын-студент умер в Киеве от сыпного тифа. Соседи посочувствовали старику, пожалели его и вскоре позабыли о том, что у садовника был сын. А Збышко продолжал жить и, когда польской дефензиве нужно было связаться с бандами, которые гуляли на советской стороне, его послали для связи в наш город. И вот здесь молодому поручику польской разведки очень пригодился его старый отец. Часто, когда надо было переночевать или получить пищу, молодой Корыбко приходил к своему отцу в совпартшколу и ночевал здесь — то в саду, то на чердаке, то в сушилке, где садовник высушивал на медленном огне нарезанные кружочками груши или яблоки.

Возможно, долго бы еще никто не догадался о воскресшем из мертвых сыне Корыбко, если бы не мой «зауэр».

Как раз в ту ночь, когда мы с Петькой Маремухой шли в сад пробовать револьвер, садовник Корыбко встретился на окраине сада со своим сыном. Он принес сыну ужин в курсантской алюминиевой миске с погнутыми краями.

Вот она-то, эта простая миска, и помогла Марущаку узнать всю правду о садовнике Корыбко.

Когда я передал Марущаку алюминиевую миску, он осторожно начал выяснять, кто бы мог обронить ее в саду. Случилось так, что через несколько дней к повару пришел садовник Корыбко и попросил дать ему новую миску взамен старой, которую, как говорил садовник, какой-то «чертяка» унес из его склада.

Повар выдал ему новую миску и забыл об этом, но, когда Марущак стал его расспрашивать, не пропала ли из кухни какая-либо посуда, вспомнил о пропаже и пожаловался Марущаку, что вот у садовника кто-то утащил миску. Марущак сделал вид, что прослушал это, а сам стал приглядываться к старику садовнику. Вскоре он узнал, что садовник очень набожный человек и не пропускает ни одной службы в костеле. Ночью же в саду, когда я стрелял из «зауэра», человек, выстреливший в ответ, кричал по-польски «прендзе». Но, возможно, Корыбко смог бы отвести от себя все подозрения, если бы не история с колокольным звоном.

Когда Марущак узнал от меня о нашем бывшем директоре трудшколы Валериане Дмитриевиче Лазареве и познакомился с ним, он долго расспрашивал Лазарева об истории здания совпартшколы. Вдвоем они ходили по длинным коридорам и старались выяснить причину загадочного колокольного звона. И вот однажды Лазарев вспомнил историю, рассказанную ему когда-то, еще когда он был гимназистом, — историю о белой монахине, которая бродит ночью по епархиальному училищу и не может найти себе покоя, созывая на богослужение монашек-францисканок из давно закрытого католического монастыря.

Откуда появилась легенда о белой монахине, кому она была нужна, для чего ее выдумали?

Давным-давно долгие годы в старинном этом зда-

нии был женский францисканский монастырь. Огражденные высоким забором, жили в этом монастыре монашки-францисканки, иногда они выходили в мир в белых своих сутанах, ходили по селам, пробовали обращать в католическую веру крестьянок. Монахини хотели, чтобы больше католиков было в этих краях, чтобы больше было хорошей земли у монастыря. Но русское правительство один за другим стало закрывать костелы, монастыри. И вот однажды царским указом был закрыт католический женский монастырь. Вместо него царь приказал открыть женское епархиальное училище для девочек из семей духовного звания. В это мрачное и сырое здание были собраны поповские дочки со всей губернии. В монастырском костеле устроили православную церковь. В кельях сделали классы. Из поповских дочек отцы настоятели должны были готовить воспитанных жен для служителей епархии. Но выгнанные из своего монастыря францисканки не могли простить русским нанесенную обиду. Они стали пугать их. И вот время от времени в коридорах епархиального училища стала появляться высокая женщина в белом и молча прогуливаться по зданию.

Завидев ее, поповны визжали на все огромное здание.

Слухи о белой монахине проникали в город, шляхтичи говорили, что это сам господь бог и папа римский мстят русским за то, что они закрыли монастырь, что появление белой монахини — это знамение божие, что скоро будет эпидемия чумы, которая перекосит всех православных, и только слуги папского престола, католики, останутся в живых.

Молодые поповны, когда наступала темнота, боялись ходить по дортуарам, собирались вместе, загораживали наглухо столами двери, а один раз начальница училища, встретив около кухни белую монахиню, даже упала в глубокий обморок. Нашли ее только утром на каменных плитах подвала.

Падая, начальница набила себе шишку.

После этого случая местный исправник приказал на ночь высылать в епархиальное училище наряды полицейских, и — странное дело — монахиня исчезла, но зато время от времени по коридорам стал разноситься заунывный колокольный звон. История появле-

ния белой монахини и причины этого колокольного звона в те далекие времена, откуда пришли к нам эти легенды, не были обнаружены. Возможно, в здание училища пробиралась пугать епархиалок какая-нибудь из фанатичек-монахинь, которые после закрытия монастыря разместились на частных квартирах у католиков. Возможно, потом, когда полицейские помешали ей проникать в здание, она через кого-нибудь из подкупленных служащих училища продолжала давать о себе знать колокольным звоном.

Тайну этого колокольного звона открыл Марущак, когда я находился в совхозе. Уже подозревая Корыбко в том, что тот связан с какими-то чуждыми нам людьми, Марущак однажды, когда Корыбко ушел молиться в костел, проник в его склад, где хранились всякие садовничьи инструменты. Ничего особенного в этом складе не было, если не считать католического молитвенника и вложенной в него маленькой записочки, в которой было написано:

«Отец! Завтра в 9 вечера жду тебя на кладбище, возле склепа каноника Тшилятковского.

Збышко».

Тщательно обыскав весь склад, Марущак собрался уже уходить, как вдруг заметил крошки черной сажи внизу у стены, как раз под дверцей дымохода. Было лето, время чистить трубы еще не наступило — значит, старик садовник лез в дымоход с другой целью. Марущак придвинул скамейку и, открыв дверцу, заглянул в дымоход. Там он увидел что-то белое. Он засунул руку в дымоход поглубже и вытащил тяжелый сверток. В свертке, завернутый в бумазею, лежал маузер выпуска 1918 года с двумя запасными обоймами.

Осторожно закрыв дымоход и отодвинув на старое место скамейку, Марущак помчался в окружной отдел ГПУ сообщить о своей находке. В окротделе ГПУ сразу выяснили, что маузер № 6838 за 1918 год принадлежал чекисту-ударнику Грищуку, которого две недели назад нашли убитым и брошенным в колодец около пограничного местечка Витовтов Брод.

Маузера при убитом не оказалось.

В ту же ночь садовник Станислав Корыбко был арестован. При обыске у него нашли две ампулы с ядом.

Вечером на следующий день на польском кладбище, около склепа каноника Тшилятковского, был арестован и молодой Корыбко, поручик разведки Пилсудского, шпионивший также в пользу английской разведывательной службы. Когда к нему подошли ударники, он пытался бежать и даже пробовал отстреливаться, но его поймали, отобрали револьвер, и вскоре он встретился на допросе со своим отцом.

Оказалось, что Збышко был послан польской разведкой для связи в банду Сатаны-Малолетки. Вместе с бандитами, у которых не хватало оружия, они должны были сделать налет на оружейный склад совпартшколы. Старый садовник выведал, что в этом складе находится около двухсот винтовок, много наганов и коробок с боевыми патронами. Он рассказал все это сыну, а сын передал ему яд. Бандиты решили прийти в совпартшколу глубокой ночью. Накануне старый Корыбко должен был подбросить в котлы с курсантским ужином яд. Вместе с ядом сын дал отцу на всякий случай и маузер, тот самый, который двумя неделями раньше он снял с убитого бандой Сатаны-Малолетки чекиста Грищука.

Когда старик и его сын были арестованы, чекисты еще раз тщательно обыскали склад садовника. Посмотрели в дымоход. Там они заметили то, чего второпях не смог обнаружить Марущак. В глубине дымохода чернело привязанное к уходящей куда-то высоко вверх проволоке заржавленное железное кольцо. Когда потянули его сильно на себя, откуда-то сверху послышался заунывный колокольный звон. Проволока из нижнего этажа тянулась на самый верх и там была прикреплена к замурованному в нише небольшому медному колоколу. Покрытый пылью и сажей, этот колокол висел здесь, в здании, много-много лет — видно, еще до того времени, как бродила по коридорам, пугая епархиалок, белая монахиня. Возможно, колокол этот давным-давно замуровали в стену католические каноники — агенты Ватикана, для того, чтобы пугать суеверных монахов, чтобы изредка выдавать этот таинственный колокольный звон за чудо, за знамение божие. И быть может, в тайну замурованного колокола уже в наше время посвятил католика-садовника Корыбко кто-либо из городских ксендзов. Стоило внизу, из кельи, где помещался сейчас склад садовника, потянуть проволо-

ку, мгновенно раздавался тягучий колокольный звон, тот самый, что слышали мы с Марущаком, когда бродили во время чоновской тревоги по опустевшему зданию.

— Для чего вы звонили в колокол? — спросили на допросе у садовника Корыбко.

— Попугать хотел... коммунистов... — сказал, насупившись, Корыбко.

— Что, разве коммунисты — епархиалки? — спросил следователь.

— По глупости! — сознался Корыбко. — Теперь это не модно — привидения. Советская власть ликвидировала господ, а с ними вместе и привидения. А я оплошал и себя зря выдал.

Садовник Корыбко был арестован как раз в ту самую дождливую ночь, когда я отправился один спать под стогом.

Перешедшие границу бандиты хотели перебить курсантов около пылающего стога и затем двинуться дальше, к городу, на соединение с бандой Сатаны-Малолетки. Мои выстрелы помешали бандитам выполнить этот план. Они даже не успели поджечь стог. Когда, услышав разрывы гранат около баштанов, выбежали из совхоза курсанты, бандиты, не приняв боя, махнули обратно в Бессарабию. Но один из них не сумел уйти. Я ранил его пулей из своего «зауэра» в ногу, пуля раздробила ему кость. Оставленный своими товарищами, бандит пополз огородами к Днестру, и здесь, уже у самой воды, его нашел патруль пограничников, прибежавший на выстрелы с соседней заставы.

МЕНЯ НАВЕЩАЕТ ГАЛЯ

Все это рассказали мне Марущак и Коломеец, сидя у моей кровати. Я слушал их жадно и жалел, что мне еще не так скоро удастся побывать в совпартшколе, посмотреть на монастырский колокол в размурованной нише.

— А... мой револьвер нашли? — спросил я осторожно у Никиты.

— Что за вопрос! — сказал Никита. — Он возле тебя лежал. Его сторож утром подобрал. У Полевого на хранении сейчас твой револьвер.

— А мне его назад отдадут?

— Почему же? — удивился Марущак. — Запишут в чоновскую карточку номер и отдадут.

— В какую чоновскую карточку? Я же еще не комсомолец!

— Ну это, брат, сейчас только формальности остались, — сказал уверенно Марущак. — Выздоравливай только поскорее!

— И на собрание приходи! — добавил Никита важно. — Там посмотрим, взвесим, разберем!

— Да, приходи! — протянул я, вспомнив обиду, которую нанес мне когда-то Коломеец. — Я приду, а ты снова выгонишь.

— У-у-ух, какой ты злопамятный, — протянул, смеясь, Марущак. — Не бойся, мы на этот раз другого председателя выберем, доброго.

— А я, по-твоему, кровожадный? — спросил Коломеец.

— Ну ясное дело... — сказал Марущак шутливо.

В эту минуту две санитарки с грохотом вкатили в палату высокую тележку на роликах. При виде этой тележки у меня сжалось сердце, я сразу забыл про моих гостей.

— На перевязку! — объявила полная голубоглазая санитарка Христя.

— Разве сегодня? — жалобно протянул я. — Лучше завтра. Не надо сегодня!

— Фу, как не стыдно! Такой герой, и перевязок боится, — сказала Христя, наклоняясь близко и подсовывая мне под спину сильную и мягкую свою руку.

Перевязки мне делал сам доктор Гутентаг. Вот и сегодня, когда меня вкатили в светлую перевязочную, он уже стоял наготове, с пинцетом в руках, низенький, скуластый, в надвинутой на лоб белой шапочке. Только санитарки переложили меня с носилок на твердый стол, Гутентаг быстрыми шагами подошел ко мне и сразу схватил меня за ногу. Он стал сгибать ее в колене, щупать. Я, чуть приподнявшись, со страхом следил за цепкими и сильными пальцами доктора.

— Больно? — глухим грудным голосом спросил, наконец, Гутентаг.

— Немножко! — протянул я, жалобно скорчив лицо.

— Немножко не считается, — отрезал доктор и распорядился: — Снимите бинты!

Проворная худенькая сестра Томашевич принялась распутывать бинты. Багровый длинный шрам со следами ниток по краям обнажился у меня на груди в том месте, где было вырезано ребро. Гутентаг глянул на шрам, свистнул и сказал:

— Зажило отлично. Через пару дней можно будет ему уже наклеечку прилепить. Смажете коллодием — и все. Понятно?

Сестра, обтирая шрам спиртом и накладывая на него чистую марлю, понимающе кивнула головой.

Все было ничего до тех пор, пока она, перебинтовав мне грудь, не взялась за кончики бинта на голове. Уже заранее я закусил нижнюю губу и заелозил ногами по столу.

— Что это за фокусы? — грозно спросил Гутентаг и нахмурился.

— Больно, доктор! — заныл я сквозь зубы.

— Злее будешь, — бросил доктор. — В следующий раз не дашь, чтобы тебе под ноги гранаты бросали. Тоже вояка! Сам должен целехонек быть, а врага — на землю. Понял?

Я понял, что доктор заговаривает мне зубы, и со страхом прислушивался, как сестра Томашевич легкими и быстрыми пальцами разматывает бинт: все меньше и меньше оставалось его на голове, и вот, наконец, последний хвостик мелькнул перед глазами. Я зажмурился. Теперь начиналось самое страшное: сестра начала потихоньку отдирать подушечки, наложенные на раны.

— Ой, ой, ой, ой! — заныл я. — Тише, ой!

— Терпи, терпи, — бубнил где-то рядом доктор. Я уже не видел доктора, не видел сестры, глаза мне застилали слезы, они лились по лицу, соленые, горячие, я слизывал их языком с губ.

Это было очень больно, когда сестра отдирала тампоны, они присохли к выросшим вокруг раны волоскам, я вертелся на столе от боли, махал руками, подвывал.

— Ну, будет! Слышишь, все уже, все! — кричал мне в ухо Гутентаг, но я все еще лежал, болтая ногами, ничего не слыша и подвывая.

— Видите, — тихо сказал доктор сестре, — обошлись без трепанации черепа, и все хорошо получается. Крепкий парень! — Он похлопал меня по ноге.

Хорошо было возвращаться в палату после перевязки: предстояли два дня спокойной жизни без мучений.

Длинные, покрытые кафельными плитами коридоры тянулись через все здание, тележка грохотала на этих плитах, проплывали мимо узкие сводчатые окна, за ними виднелось синее-синее небо, далеко, за Должецкий лес, опускалось солнце. Как хотелось мне в эти минуты туда, на волю, в лес, к знакомым хлопцам!

Меня подвозили уже к палате. Я увидел сидящих на дубовой скамейке в коридоре Сашку Бобыря, Петьку Маремуху и... Галю. Галя была здесь! Милая, дорогая моя Галя пришла навестить меня! Я готов был спрыгнуть с носилок, подбежать к Гале, поздороваться.

Маремуха вскочил и, шагая рядом с тележкой, поспешно забормотал:

— Швейцар не хотел нас втроем пускать к тебе, Василь, так я побежал к Гутентагу, и нас пустили!

Петька хотел зайти вместе со мной в палату, но Христя подняла руку и сказала:

— Подождите, ребята. Вот уложим раненого на койку, и тогда зайдете.

Лежа на свежих взбитых подушках, покрытый серым ворсистым одеялом, концы которого Христя аккуратно подоткнула вокруг матраца, я встретил гостей. Первой подошла к моей постели Галя. Я словно впервые увидел ее. Очень она была хорошенькой, самой красивой, самой родной для меня в эту минуту. Она покраснела, смутилась, а кончики маленьких ее ушей побагровели от волнения. Подавая мне теплую руку, которую я пожал изо всей силы, Галя сказала тихо:

— Ты получил мое письмо, Василь? Я ответила сразу...

— Не получил. Но это пустяки. Получу, наверное. Привезут. Там и вещи еще мои остались, — буркнул я, смущаясь. Не хотелось, чтобы Сашка и Маремуха узнали о нашей переписке.

— А я думала... — протянула Галя. — Очень больно, Василь? — спросила она, кивая на мою забинтованную голову.

— Так себе, — ответил я беспечно.

— А кто тебе операцию делал, Василь? — полюбопытствовал конопатый Бобырь.

— Гутентаг.

— Ну тогда, значит, не больно было. Когда он меня оперировал, я никакой боли не чувствовал, — шмыгая носом, сказал Бобырь.

— Сравнил тоже! — обиделся я. — У тебя простая заноза была, а здесь — видишь! — И я показал рукой на свои раны.

— Ну положим, не простая заноза, а целая щепка, — возразил Бобырь. — Она до самой кости вошла.

— У тебя до кости, а у меня череп разломан так, что мозг видно!

— Мозг? — с ужасом спросил Маремуха.

— Ну да, — ответил я как можно более спокойно. — В двух местах мозг видно. — Я искоса поглядел на Галю.

Она тоже испуганно смотрела на мою перебинтованную голову.

Чтобы поддать жару и выставить себя еще большим мучеником, я сказал небрежно:

— Но это пустяки. Вот заживут немного раны, тогда доктор припаяет мне под кожей такие золотые пластинки. Крепче кости будут!

— Оловом припаяет? — спросил Бобырь.

— Оловом? Нет, зачем... Не оловом... Есть такой... Ну, понимаешь, есть такой клейстер особый. Я забыл название, — едва вывернулся я.

— А ты слышал, Василь, что вашего Корыбко арестовали? Теперь в сад можно будет лазить сколько угодно! — сказал Маремуха. — Я тебе раньше не хотел говорить, потому что...

— Все знаю... — сказал я. — Мне курсанты рассказали... А... что Котька теперь делает?

— Котька перебрался к своему Захаржевскому, — объяснил Маремуха. — И знаешь, он теперь посещает комсомольскую ячейку печатников.

— Нет, правда? — не поверил я.

— Ага! — подтвердил Бобырь. — На каждое открытое собрание приходит. И, наверное, скоро заявление подаст в комсомол.

— Ничего не выйдет из этого! — отозвалась неожиданно Галя. — Все же знают, что Котька недаром к меднику поступил. Он хочет себе стаж рабочий получить — вот что!

Я смотрел на Галю и не верил своим ушам... Ведь еще так недавно она ходила с ним, а сегодня... Я радостно смотрел на Галю, на ее высокий лоб, густые мягкие волосы, зачесанные назад и заложенные по краям за уши, на чуть вздернутый нос. Галя отвела в сторону зе-

леноватые глаза, поправила вязаную кофточку и сказала смущенно:

— Что ты смотришь, думаешь, неправду говорю? А вот правду... Да он сам мне рассказывал об этом...

— Кто? Котька? Что рассказывал? — полюбопытствовал Маремуха.

— Ну да, Котька. Вот когда Василь уехал, — Галя кивнула в мою сторону, — он пришел ко мне домой и говорит: «Пойдем на гулянье»... Ну... мы пошли. А по дороге Котька открыл кошелек и стал хвастаться: «Я тебя, — говорит, — сейчас на каруселях покатаю: видишь, — говорит, — сколько денег! А все, — говорит, — заработанные. Но деньги, — говорит, — пустяки. Денег еще больше будет. Самое главное — стаж. Вот проработаю еще немного, нагоню себе рабочего стажа, тогда никто и не пикнет, кем был мой папа, с рабочим стажем я далеко пойду».

— И ты... и ты с ним еще говорила после этого? — спросил я.

— Зачем? — сказала Галя спокойно. — Я говорю: «Не надо мне твоих денег, не надо карусели, а ты жулик и бесчестная личность». Повернулась и ушла.

— Правда, Галя? — спросил восхищенно Маремуха.

— Спроси сам, если не веришь, — сказала Галя.

— Надо мне очень тоже! — буркнул презрительно Петька. — Я с ним три года не разговариваю.

— Что, молодые люди, пришли навестить страдальца?

Я быстро оглянулся, а ребята вскочили. На пороге палаты, улыбаясь, стоял Полевой. Голова его была выбрита наголо и загорела так же сильно, как и лицо.

— Сидите, сидите. Что вы переполошились? И я сяду, — сказал Полевой и схватил свободную табуретку.

Подвинув ее к моей кровати, Полевой шумно уселся и посмотрел на меня. Сели и хлопцы. Оправив голубенькое платье, осторожно села на табуретку возле Полевого Галя.

— Ты не сердись, Василь, что я не зашел к тебе вчера, как только мы приехали: дела много было у меня. Но я послал к тебе Коломейца. Был Коломеец у тебя?

— Был. И Марущак с ним пришел.

— Ну мне, значит, уже нечего делать. А я-то собирался сам тебе о подвигах твоих порассказать. Как здоровье?

— Ничего!

— Да я-то, положим, и сам знаю как, — сознался Полевой. — Я, прежде чем к тебе зайти, доктора все выспрашивал. Ничего, говорит, заросло прекрасно, скоро будет в футбол гонять. Сыграем в футбол, Василь?

— А чего ж, сыграем! — отозвался я.

— Тогда старайся выздоравливай поскорее, чтобы до выпускного вечера был на ногах, — приказал Полевой и, разглядывая сидевшего смирно Маремуху, сказал: — Этого молодца знаю, с этим блондином мы тоже как будто встречались, — добавил он, кивая на Бобыря, — а вот барышню вижу первый раз. Может, невеста?

Полевой хитро смотрел на меня. Я не знал, как ответить ему, чтобы не обидеть Галю. А она тоже покраснела, смутилась и не знала, куда девать глаза.

Чтобы нарушить неловкое молчание, Полевой обратился к Гале и, не переставая улыбаться, сказал:

— Смотрите, барышня, держите этого героя в руках. — Полевой кивнул на меня. — Потому что, я слышал, он уже по кофейням с девушками разгуливает.

У меня перехватило дыхание. Не иначе, Полевой узнал о кафе Шипулинского от моего отца. А что, если отец рассказал ему и про ложки? Краснея от стыда, я искоса смотрел на Полевого и пытался узнать, все ли ему известно или нет. Но Полевой улыбнулся хитро и загадочно, и ничего нельзя было понять в его взгляде. Потом он встал и неожиданно сказал:

— А у меня, кстати, деловой разговор к вам есть, молодые люди. Куда думаете податься осенью? Что вы думаете делать дальше?

Наступило молчание.

Погодя Сашка Бобырь отважился и спросил:

— Как что?

— Трудовую школу вы окончили? — деловито спросил Полевой.

— Ого, еще весной! — протянул Петька.

— Ну, а сейчас? — обводя нас внимательным взглядом, спросил Полевой.

— Я не знаю, как Бобырь и Галя, а вот мы с Петькой, — сказал я тихо, — думали осенью на рабфак поступить.

— На рабфак? — Полевой задумался. — Ну что ж, на рабфак — оно, конечно, тоже неплохо, но у меня к вам есть интересное предложение. Быть агрономом,

инженером или ученым — это, конечно, очень похвально. Но ведь у станка кому-то стоять нужно? Профессия любого квалифицированного рабочего не менее почетна и уважаема. К чему я это вам говорю? Вы знаете, хлопчики, сейчас мы пускаем в стране один за другим старые заводы и, надо полагать, будем скоро строить новые. Для этих заводов нам нужны ученые руки. Не сегодня, так завтра, быть может, их понадобится ой, ой, ой как много. Сейчас во многих городах открываются школы фабрично-заводского ученичества. Будет такая школа и в нашем городе. Как раз вчера мне в окружкоме партии сказали, что я назначен директором этой школы. Я ведь в молодости на заводе в Екатеринославе работал. Деньги уже отпущены. Мастерские будут особые. Стипендию ученики будут получать. Инструкторов дадим хороших. Скоро начинаем набор в школу. Ну, мне бы хотелось подобрать туда славных, боевых ребят. Вот гляжу я на вас, вижу — так в общем компания ничего подобралась. А что, если с осени в фабзавуч?

Мы переглянулись.

— Я слыхала о фабзавуче, — тихо сказала Галя. — Моего отца инструктором столярного цеха приглашают.

— Ну вот видишь, как хорошо. С отцом вместе будешь в школу ходить, — обрадовался Полевой.

— А мне разве тоже можно? — недоверчиво спросила Галя.

— А почему же нельзя? — Полевой усмехнулся.

— Ну я же не мальчик! — тихо сказала Галя. — Девочкам в фабзавуч можно?

— А по-твоему, надо для вас особо епархиальное училище открыть? — ответил Полевой. — Сейчас другие времена. Что, разве ты не можешь на механика выучиться или на токаря? Поработаешь, получишь квалификацию. На ногах тверже стоять будешь. А о высшем образовании еще будет время подумать.

— На слесаря тоже можно будет в том фабзавуче выучиться? — все еще недоверчиво поглядывая на Полевого, спросил конопатый Бобырь.

— Слесарное отделение как раз будет самым большим, — сказал Полевой и, оглядывая всех нас, добавил: — Так вот, молодые люди, я сейчас ухожу, а вы подумайте, посоветуйтесь. Если будет охота, милости прошу под мое начало.

ДАЕМ БОЙ!

Из больницы меня выписали уже после выпускного вечера. Так и не пришлось мне повеселиться последний раз с отъезжающими курсантами, не удалось поиграть с ними на прощание в футбол. Когда я вместе с отцом подъехал на извозчике к знакомому решетчатому забору в конце Житомирской, меня поразила непривычная для школьного двора тишина. Не видно было пробегающих в аудитории курсантов в голубых буденовках, не прохаживался, как прежде, с винтовкой около сторожевой будки курсант-часовой, ворота были просто закрыты на тяжелый ржавый замок. Брызги известки белели на окнах главного здания; там, внутри, шел ремонт, да и снаружи фасад тоже отделывали к новому учебному году; около водосточных труб висели маленькие деревянные люльки на канатах, и яркие пятна зеленой и коричневой краски были разбросаны по крыше совпартшколы — это маляры пробовали, в какой цвет лучше красить давно уже выцветшую под солнцем крышу.

Отец хотел, чтобы я, пока совсем не поправлюсь, поселился с ним и теткой вместе, но я настоял на своем и устроился в кухне. Доктор Гутентаг, выписывая меня из больницы, велел, чтобы я первое время поменьше двигался и побольше лежал, но стоило мне только очутиться в этом знакомом доме, как сразу меня потянуло на улицу, и я после обеда выбрался из своей кухни на волю. Опираясь на старую отцовскую палку, я медленно спустился по лестнице флигеля на заросшие подорожником булыжники двора и направился к главному зданию. Тихо было в здании, очень тихо. Перила ведущей вверх каменной лестницы с вытоптанными ступеньками покрывал слой пыли, деревянные полы в коридорах были забрызганы известью, а под стенами стояли вытащенные из аудитории черные парты. Двери в курсантский клуб были широко раскрыты, и я мимоходом прочел над сценой такой знакомый лозунг: «Мир хижинам — война дворцам!» Дойдя до того окна, из которого Марущак палил из винтовки, я понял, что прогулялся сюда напрасно. Дыру в широкой печке уже замуровали: лишь плотный слой красного кирпича указывал место, где висел старый монастырский колокол, так долго пугавший живущих здесь своим загадочным звоном. Я потрогал рукой квадратики кирпичей, отковырял кусочек

застывшей штукатурки и медленно поплелся вниз, в сад.

Уже на деревьях желтела листва; целые заросли бурьяна появились на лужайках сада; красные от мелких, похожих на кораллы ягодок, стояли кусты барбариса; давно повылетели из гнезд ставшие теперь уже взрослыми птенцы. Вдоль каменного забора тянулась ореховая аллея, серые гладкие стволы высоких деревьев подымались над соседними сливами и яблонями; в расщелине самого старого из ореховых деревьев я заметил черное дупло, в которое засунул тогда, весенним утром, алюминиевую миску.

Очень тихо было в саду, и когда я подошел близко к ореховой аллее, где-то высоко в листве послышался чуть различимый шум — это, пробивая блестящие лапчатые листья, падал вывалившийся из кожуры орех.

Я заметил место в траве, где он упал, и, ковыляя, направился туда.

Орех был спелый, большой, он слегка припахивал йодом. Я опустил его в карман и принялся искать в траве другие орехи. Много их было здесь, в густой траве, под лопухами, в поросших бурьяном канавках. Одни лежали голенькие, высохшие, в твердой своей скорлупе, другие еще были в мясистой кожуре с белыми волокнами. Кожура эта легко лопалась в руках, и чистенький, слегка влажный орех выкатывался из нее на ладонь. Тяжелели от собранных орехов карманы, побаливала нога в колене, отцовская палка была оставлена где-то далеко, в самом начале ореховой аллеи. На лбу, оттого что я еще как следует не поправился, проступила испарина, но я не замечал ничего и старался набрать как можно больше орехов.

Вспоминая детство и ползая на коленях, я увлекся так, что не заметил, как в саду потемнело. Наступали сумерки, солнце давно закатилось за предместье Беляновку, пора было уходить домой. Усталый, измученный, но зато с полными карманами орехов, я вышел во двор и, усевшись на скамеечке возле калитки, принялся раскалывать орехи. Я вставлял орех в щель между калиткой и железной балкой, легко тянул калитку на себя, и орех с хрустом раскалывался, на ладонь летели обломки скорлупы и белые куски молодых зерен.

На земле под скамейкой уже валялось порядочно

шелухи, когда я услышал за кустами голос Петьки Маремухи.

— Если мы сейчас этому подлецу не покажем, то он потом еще больше задаваться будет! — взволнованно доказывал кому-то Петька.

— Сюда, Петька! — крикнул я, подымаясь.

— Смотри, он уже по двору ходит! — удивился Петька, появляясь из-за кустов вместе с Бобырем. — А мы думали, что ты еще в кровати. Дай-ка орехов!

Я отсыпал в пухлую ладошку Маремухи пяток орехов и угостил орехами конопатого Бобыря. Сашка сразу же, точно обезьянка, засунул один орех в рот и стал разгрызать его.

— Вот сумасшедший! — сказал я Сашке. — И так двух зубов нет, остальные хочешь поломать? Калиткой дави.

Теперь калитка ездила на крючьях взад и вперед без остановки.

Маремуха, посапывая, ел орехи, то и дело поглядывая на мой вздувшийся карман.

— Откуда идете, хлопцы? — спросил я.

— Мы шли... — начал Маремуха. — Да, знаешь, Васька, Григоренко в комсомол принимают.

— Что, в комсомол?! — крикнул я.

— Ага, — спокойно подтвердил Сашка, разжевывая орех. — Мне брат Анатолий рассказал, он же в ячейке печатников, а Котька ту ячейку посещал. Брат сказал, что Котька вчера им анкету и заявление подал.

— Еще не разбирали? — поспешно спросил я.

— В субботу на собрании разберут, — сообщил Бобырь.

— Ну так это еще не факт, это еще посмотрим! — протянул я облегченно.

— Думаешь, не примут? — Петька заволновался. — Примут, вот увидишь. Ты что, не знаешь, какой он проныра и жулик?

— Чего ж ты молчишь, Сашка? — напустился я на Бобыря. — Твой брат в ячейке печатников, расскажи ему, что за тип этот Григоренко, пусть он выбросит его заявление в помойную яму — и все.

— А я не говорил? Говорил. Только узнал сегодня, сразу же и рассказал. Но видишь, какое дело: Анатолий поехал в село по шефской работе и вернется лишь в четверг. Он, как я ему рассказал про Котьку, сказал

мне, чтобы я собрал своих хлопцев и пришел с ними в субботу на собрание.

— Ну, ясное дело, мы должны дать отвод! — сказал я горячо.

— А может, ты вместо отвода, Василь, пойдешь на кровать? — услышал я позади голос отца. Он стоял у забора возле будки часового.

— Зачем на кровать? Я уже здоров!

— Голова не болит? — выходя на улицу, спросил отец.

— Ни капельки!

— А нога?

— Чуть-чуть, — обманул я отца.

Нога еще болела, колено ныло, но если бы я сознался в этом, отец немедленно уложил бы меня в кровать.

— А ну, посуньтесь, хлопчики, — попросил отец Маремуху и Бобыря. Те поспешно подвинулись.

— Кто орехами угощает? — спросил отец.

Я вытащил из кармана горсть орехов и протянул отцу.

Заглядывая мне в глаза, отец сказал:

— Значит, мы уже и в саду успели побывать, не так ли? Ой, Василий, Василий, пороть бы тебя следовало, да рука у меня не поднимается. Просил же я: не ходи много, отлеживайся. Так нет, понесло тебя сразу в сад. А если швы разойдутся, снова в больницу, что?

— Не разойдутся, — ответил я неуверенно и сразу пощупал ребро.

Помолчав немного и с треском раздавив ладонью о скамейку орех, отец спросил:

— Кому вы это собираетесь отвод давать?

— Котьке Григоренко. Докторскому сыну. Знаешь? — объяснил я.

— За что? — спокойно спросил отец.

— Его ж отца в Чека расстреляли! — сказал я горячо.

— А что сам Котька собой представляет? — спросил отец.

— Как что? Он же чуждый! — возмутился Маремуха.

— Он у петлюровских скаутов начальником патруля был, а сейчас нарочно к меднику Захаржевскому поступил, чтобы стаж рабочий себе нагнать! — добавил я.

— А я, когда мы в гимназии учились, — важно за-

явил Сашка Бобырь, — сам слышал, как этот Котька хвалился, что гетман Петро Дорошенко, который нашу крепость брал, ему родичем доводится.

— Ты спрашиваешь, что представляет, да? — продолжал я горячо втолковывать отцу. — Да он собственный дом имел, он хлопцев наших быдлом называл, этот Котька, он презирает рабочий класс, а если бы сейчас Петлюра вернулся, он бы всех нас порезал. Разве ему можно быть в комсомоле?

— Значит, вы ему дадите бой на собрании? — спокойно и как бы подзадоривая нас, спросил отец.

— Ого! Еще какой! — ответил я запальчиво.

— Ну и правильно! — согласился отец. — Только горячиться особенно не надо. Если вы уверены в том, что он чуждый комсомолу, докажите это. Важно доказать, что он сам подлец, вот в чем штука. В комсомол должны идти ребята с чистым сердцем, а если вы уверены, что на сердце у этого Котьки грязь, говорите об этом смело, честно и ничего не бойтесь.

Помня советы моего отца, мы втроем долго обсуждали, как будем давать отвод Котьке.

Мы решили не вспоминать мелкие наши обиды, а сказать на собрании только самое важное, как отец выразился, основное и принципиальное. Тут же мы условились, что первым в прениях выступит Сашка Бобырь, так как брат его состоит в ячейке печатников, потом возьмет слово Петька Маремуха, а я буду заключать и скажу самое главное по отводу: то, что мне рассказала в больнице о Котьке Галя. Мне предстояло доказать собранию, что Котька хитрый карьерист, что надел он рабочую блузу только для того, чтобы побыстрее замазать свое прошлое. Когда приятели ушли, я один в пустой кухне начал репетировать будущее выступление.

— Товарищи! — кричал я изо всей силы, обращаясь к русской печке. — Этот чуждый тип, этот выскочка в рабочей блузе, этот карьерист с грязным сердцем хочет вступить в комсомол только для того... только для того... — Здесь я запинался. Что дальше говорить, я не знал. Хорошее начало выступления неожиданно обрывалось.

«Ну ничего! — утешал я себя. — Как-нибудь! А если даже не скажу всего, приятели помогут. Как-никак втроем выступать будем».

Но уже вечером в пятницу выяснилось, что на ком-

сомольском собрании придется выступать только нам с Петькой вдвоем. Сашка Бобырь выбыл из строя. Ему снова не повезло. Мы прослышали, что после обеда в пятницу на стадионе около завода «Мотор» будут играть в футбол наши зареченские хлопцы. Мы пришли на площадь еще до начала игры, и Бобырь сразу стал проситься, чтобы его взяли на левый край, но охотников играть хватало, и ему отказали. Сашка заметно огорчился, но потом, делая вид, что ему не особенно хочется играть, сказал капитану команды Яшке Тиктору:

— Ну ладно, я тогда позагораю, а когда кого-нибудь подкуют, позовите меня!

Вблизи ворот, за линией поля, стояла расшатанная судейская вышка. Обычно, когда на стадионе играли волейбольные команды, эту вышку подтягивали к площадке, на нее залезал судья и свистел оттуда сверху, как милиционер. Сашка Бобырь взобрался на эту вышку, разделся и, оставшись в одних только малиновых трусиках, подставил солнцу свое худое веснушчатое тело.

Площадка на верху вышки была не очень широка, и поэтому Сашкины ноги высовывались наружу.

— Все равно не загоришь, Бобырь! — крикнул снизу Петька Маремуха. — Конопатые не загорают! Иди лучше к нам!

Сашка даже не откликнулся на приглашение. Оскорбленный тем, что его не взяли в игру, он решил оставаться в одиночестве. Мы с Петькой растянулись на мягкой траве около самой линии поля и, следя за игрой, вскоре позабыли о Сашке. Зареченцы сперва играли неважно, и я подумал даже, что зря они начали игру в двое ворот, им бы в пору еще на одни ворота тренироваться: нападение было слабое, центрфорвард и капитан команды Яшка Тиктор так «мазал» все время, что тошно было смотреть. Однако чем дальше шла игра, тем все больше было настоящих ударов, а под конец первого тайма хлопцы из первой команды очень ловко стали пасоваться головами.

В эту минуту за воротами раздался отчаянный вопль Сашки Бобыря.

Сашка прыгал на вышке, отмахивался руками, кричал, а над головой его вилась целая туча пчел. Они наседали на Сашку и, видимо, стали его жалить, потому что Сашка закричал еще сильнее и бросился к перилам.

Вышка повалилась набок, и Сашка вылетел из нее далеко в траву. Но и здесь пчелы донимали Сашку. Видя, что укрыться от пчел не удастся, Сашка вскочил и, закричав: «Хлопцы, спасайте, они меня заедят!» — помчался на середину поля, к играющим.

Игра прервалась, точно по команде.

— Это рой, хлопцы! Убегайте! — закричал на все футбольное поле капитан Тиктор и сам первый понесся на улицу.

Услышав разумный приказ капитана, обе футбольные команды в полном составе вместе со зрителями и заворотными хавбеками мчались теперь наискосок по зеленому полю к зданию больницы. Белели на линии корнера кучки оставленной ими одежды, сиротливо желтел у ворот новенький мяч, а ослепленный укусами Сашка Бобырь, не переставая растирать лицо руками, призывая изо всех сил на помощь, гнался за футболистами в своих малиновых трусах, и туча разъяренных пчел — последний, чудом появившийся рой этого лета — летела за ним вдогонку.

Полчаса спустя, когда Сашка лежал на клеенчатой кушетке в аптеке провизора Дулемберга и распухал на глазах у всех, мы узнали подробно, что произошло.

Когда Сашка задремал, греясь на солнце, ему на малиновые трусы, видимо приняв их за цветок, села матка пролетающего вблизи роя. Не успела она перелезть на Сашкино тело, как мигом на Сашку стал садиться и весь рой. Задушил ли Сашка с перепугу пчелиную матку, или, быть может, просто грубо сбросил ее на землю, во всяком случае, пчелы покусали его так здорово, что к вечеру глаза Сашки превратились в маленькие узенькие щелочки, кожа на лице поднялась, точно квашня, веснушки на коже расплылись, руки и ноги тоже были покусаны и пухли. Провизор Дулемберг вылил на Сашку добрый стакан нашатырного спирта, мы прикладывали ему к укусам влажную землю, но эти средства помогали мало. Сашка повизгивал от боли и полнел, полнел...

На следующий день, в субботу, Сашке стало немного лучше, опухоль спала, но было ясно, что показаться в таком виде на комсомольском собрании — значит провалить все дело. Оставив больного Сашку дома, мы с Петькой пошли к печатникам без него.

Когда мы пришли, собрание уже открылось, и ком-

сомольцы стоя пели «Молодую гвардию». Все передние места в этом длинном и узком зале с низкими сводами были заняты, и нам с Петькой пришлось устраиваться позади, на скамье под плакатом, призывающим жертвовать деньги на эскадрилью «Наш ответ Чемберлену».

Первые два вопроса меня интересовали мало, я почти не слушал, что говорили на собрании, я шептал про себя слова своего выступления и ждал, чтобы поскорее начался прием. Я хорошо видел Котьку, его затылок, его широкие плечи, плотно обтянутые батистовой рубашкой. Он уже чувствовал себя здесь своим, он уже чувствовал себя комсомольцем: в то время как другие посещающие сидели позади, стояли у двери, не вылезая вперед, Котька Григоренко нахально полез в самый первый ряд. Он сидел там вместе со старыми комсомольцами, и мне все время казалось, что вопрос о его приеме в комсомол уже давно решен и что мы со своим отводом только осрамимся здесь, среди лучшей комсомольской ячейки города.

«А может, и не надо вовсе ничего говорить? Ну кто нас послушает? Здесь же сидят взрослые ребята, комсомольцы, многие из них успели уже повоевать в гражданскую войну, почти все состоят в ЧОНе, они все разбираются в политике лучше нас и сами прекрасно знают, кого можно принимать в комсомол, кого нельзя. Может, просто тихонько посидеть до конца собрания и, поглядев, как окончится дело, незаметно первыми уйти отсюда? И никто на нас внимания не обратит, и никто не будет смеяться, если мы скажем не то, что следует, и пальцами на нас потом не будут показывать!»

Думая так, я чувствовал, что все больше и больше волнуюсь. Я еще не сказал ни одного слова, но во рту у меня уже пересохло, голова слегка побаливала, и мне казалось со страху, что швы на груди и на лбу начинают расходиться. Но тут же я соображал, что не выступить мне уже нельзя. Во-первых, меня засмеет Петька Маремуха; во-вторых, Котьку могут принять в комсомол; наконец, что я скажу отцу, если он меня спросит дома, какой мы бой дали Григоренко на собрании? «Нет, ты должен выступить во что бы то ни стало, иначе ты трус. Обязан выступить, слышишь?» — шептал я себе и вдруг в эту минуту увидел в том же самом

ряду, где сидел Котька, знакомый затылок Никиты Коломейца.

Никита из Балты пришел на собрание! Вот это здорово! Я слышал, что Коломеец, окончив школу, находится еще в городе и ждет направления в район из окружкома комсомола, но что он может заглянуть на собрание к печатникам, мне и в голову не приходило.

Теперь я уже чувствовал себя значительно смелее. Я знал, что, если собьюсь, Коломеец не даст меня в обиду. Хотелось, чтобы Никита меня заметил; я привстал и начал делать ему знаки пальцами, но тут Петька дернул меня за рубашку и шепнул:

— Готовься!

— Почему? — спросил я.

— А вот послушай. Уже...

Издали, из президиума, донесся тихий голос председателя — высокого парня в очках, с большой черной шевелюрой:

— Поступило заявление о приеме в комсомол Константина Ивановича Григоренко, из служащих, социальное положение — рабочий, ученик медника, работает по найму у кустаря... Посещает нашу ячейку четыре месяца, по заданию бюро проводил среди кустарной молодежи Заречья сбор средств в фонд общества смычки с деревней...

— Вопрос! — послышался голос Никиты.

Мне сразу стало веселее. «А ну, Никита, скажи пару теплых слов!»

— А может, вопросы после? — обратился председатель к собранию.

— Да нет, товарищ председатель, я хотел спросить, по какой группе принимается данный товарищ? — не унимался Никита.

— То есть что значит — по какой группе? — удивился председатель. — Ясно, по какой. По группе рабочих.

— Понятно! — громко сказал Коломеец.

Я так и не понял: согласился ли он с председателем или замышлял против него наступление.

Когда председатель прочел заявление и анкету Котьки, я почувствовал, что почва ускользает из-под моих ног и нам с Петькой почти ничего не остается сказать.

Григоренко сам в своих анкетах написал, что его

отец расстрелян чрезвычайной комиссией за контрреволюцию и что он в связи с этим отрекся навсегда от своих родных. Когда анкеты были прочитаны, председатель огласил приложенную к ним вырезку из газеты «Червоный кордон», в которой было написано, что Константин Григоренко, 16 лет, на почве религиозных и идейных расхождений отрекается от своего отца и от своей матери и просит считать себя сиротой. Объявление это было напечатано полгода назад.

— Где сейчас мать находится? — сурово спросил с места Никита.

— Разрешите ответить, товарищ председатель? — обратился к председателю Григоренко.

— Отвечай! — буркнул председатель, почти к самым глазам поднося Котькины анкеты и вчитываясь в них.

— Мать живет здесь, в городе, — спокойно сказал Котька.

— И ты не поддерживаешь с ней никакой связи? — спросил Коломеец.

— Абсолютно никакой! — Котька гордо тряхнул головой.

— А почему? — сказал Никита.

— То есть как почему? — не понял Котька. — Я же отрекся.

— Это мы знаем, что ты отрекся! — сказал Никита. — Вообще говоря, это очень интересно: человек сам себя превращает в сироту. А может быть, ты захотел бы, чтобы тебя считали подкидышем, а? Но вот почему ты отрекся, не можешь ли сказать? Отец, я понимаю, был контрик, так сказать, подлец в отношении к революции, и у тебя были основания. Ну, а вот с матерью как же?

— Я немножко не понимаю существа вопроса, — медленно, видимо волнуясь, сказал Котька. — Женщина, которая физически была моей матерью, в моральном отношении была для меня чужда и являлась женой человека, враждебного нам... Потому я... Да и, кроме того, она была косвенным эксплуататором.

— Кого же, интересно, она эксплуатировала? — спросил Коломеец.

— Как кого? — возмутился Котька. — Горничную... наконец, больных, то есть пациентов.

В зале послышался смех. Я не понял, смеялись ли

это над вопросом, который задал Коломеец, или над ответом Котьки. Никита, не обращая никакого внимания на смешки, спросил:

— Значит, ты утверждаешь решительно, что у тебя с матерью никаких связей нет?

— Утверждаю решительно, — гордо заявил Котька.

— Понятно! Значит, полный сирота. Ни отца, ни матери, а дядя по несознательности перебежал в Румынию да имение себе там с горя купил, — сказал Никита и, обращаясь к председателю, добавил: — У меня вопросов больше нет!

Пока другие комсомольцы задавали Котьке разные пустяковые вопросы: сколько ему лет, много ли он зарабатывает у своего кустаря и давно ли перестал верить в бога, я поспешно придумывал, что мне говорить, когда начнутся отводы.

Котька держался на собрании очень храбро, он говорил такие слова, как «существо вопроса», «физическое и моральное отношение», «косвенный эксплуататор»...

Наверное, его кто-то научил выступать здесь с такими учеными словами.

— Приступаем к обсуждению, — сказал председатель. — У кого есть отводы?

По залу прошел шорох, и стало очень тихо. Председатель приподнялся на цыпочки, вглядываясь далеко в конец зала. Он сейчас казался очень длинным; казалось, вот-вот он раздавит обеими широкими ладонями покрытый кумачом маленький столик. Коломеец обернулся и начал разглядывать сидевших сзади комсомольцев так, словно хотел догадаться заранее, кто из них будет давать отвод.

Котька смотрел в упор на председателя. Видно было — ему очень хотелось повернуться лицом к собранию, но было страшно.

В этой настороженной тишине я услышал, как сидящий позади меня загорелый комсомолец сказал соседу:

— Случай интересный!

Услышав шепот, председатель спросил:

— Ты имеешь отвод, да, Поливко?

Загорелый комсомолец смутился от неожиданности и буркнул:

— Да нет, я просто так.

— Говори, Петрусь, — сказал я и толкнул Маремуху.

— Хорошее дело. Почему я? Говори ты первый!

— Мы же условились. Я буду последний, — сказал я.

— Но Сашки же нет? — заскулил Петька. — Я не буду первым. Говори!

— Будут отводы? Не стесняйтесь, товарищи! Что? — сказал председатель.

— Ну Петька! — угрожающе прошипел я на ухо Маремухе.

Петька молча сопел.

— У меня есть отвод! — выкрикнул я, отважившись, и, точно на уроке в трудшколе, поднял кверху два пальца.

— Ну что ж, давай! — оживился председатель. — Выходи на сцену!

— Да я отсюда...

— Выходи, выходи... — призывал председатель.

Мне очень не хотелось идти туда, так далеко, к столику президиума, и я попросил:

— Лучше я отсюда. Все равно!

— Пусть парень говорит с места. Не сбивай его! — крикнули председателю.

Махнув рукой, он уселся на табуретку, испытующе глядя на меня.

Но меня уже и так сбили. Все, что я хотел сказать, я забыл. Передо мной были десятки внимательных и незнакомых глаз, только где-то вдали виднелось улыбающееся лицо Коломейца. Котька тоже смотрел на меня, и я видел в его взгляде нескрываемую злобу. Что говорить? Как начинать? Сказать о том, как Григоренко бил в трудшколе Маремуху? Но ведь об этом мы решили не говорить. А что же еще?

Собрание ждало.

Тихо было.

И страшно.

Я понял, что, если еще одну секунду простою так, молча, меня подымут на смех. Надо было говорить. Что? Неважно. Лишь бы говорить!

— Товарищи! — задыхаясь от волнения и едва не пустив петуха, сказал я. — Мы хорошо знаем... Я хорошо знаю этого, — здесь я поперхнулся и выдавил хрипло: — типа... Его родственник был гетман Петро Доро-

шенко, а сам он был начальником «удавов» у петлюровских...

Громкий хохот прервал меня.

Собрание смеялось. Я видел вокруг смеющиеся лица комсомольцев.

— Чего вы смеетесь? — заглушая шум, закричал я изо всех сил. — Разве я неправду говорю? Правду! Он был начальником патруля «удавов» у петлюровских скаутов, а его отец... — Но, вспомнив тут, что про отца уже говорить не стоит, я снова сбился и после минутной паузы быстро пробормотал: — Он хочет поступить в комсомол, чтобы карьеру себе сделать, он всегда против Советской власти был, вы ему не верьте!..

Надо было говорить еще, много надо было говорить, но я почувствовал, что ничего больше сказать не сумею, — ни одной связной мысли не было в мозгу, и язык отяжелел.

Махнув рукой, я опустился на скамью. Я не мог смотреть на Петьку, мне было стыдно перед ним, что я оскандалился.

— Ты кончил, паренек? — крикнул председатель.

— Ага, — тихо ответил я, и по залу снова пронесся смешок.

— Разрешите справку по этому поводу! — услышал я жесткий, спокойный голос Котьки.

— Какие могут быть сейчас справки? — сказал председатель. — Справку получишь в конце прений. Что?

— У меня справка в порядке ведения собрания! — не сдавался Котька. — Два слова — и все будет ясно.

— Пусть говорит! — крикнул председателю загорелый комсомолец. — Дай ему слово.

Председатель кивнул Котьке:

— Говори, только кратко.

— Я скажу очень кратко! — еще тверже начал Котька. — Вряд ли можно назвать отводом эту чепуху, которую сказал данный товарищ, все вы понимаете, что это глупости. Дело в том, что здесь со мной сводятся личные счеты...

— Мотивы? Факты? — прервал Котьку председатель.

— Сейчас, — солидно заявил Котька. — Все дело в том, что вместе с этим товарищем мы ухаживали за одной девушкой, и эта девушка предпочла меня ему, ну, а он, ясно... теперь...

— Неправда! Ты врешь! — закричал я с места.

— Тише, Манджура. Потом скажешь! — ласково крикнул мне Никита, и его голос успокоил меня. Я понял, что Коломеец на моей стороне.

— И ясно, он теперь ненавидит меня на личной почве! Из-за ревности, — продолжал Котька и осклабился, думая вызвать у собрания сочувственные улыбки. — Кроме того, — продолжал Котька, — когда еще был жив мой бывший отец, то вот этот парень вместе с остальной зареченской шантрапой не раз залезал к нам в сад. Однажды отец поймал его, снял штаны и выпорол крапивой. Но ведь я за это не отвечаю! — И, разведя руками как заправский артист, чувствуя себя победителем, Котька уселся на место.

Все, что он сказал, было очень обидно. Котька осрамил меня перед всем собранием. Теперь я его ненавидел еще больше, но странное дело: чувствуя себя оскорбленным, понимая, что я оскандалился со своим выступлением, сказав пустяки и не сообщив собранию самого главного, я в то же время понимал, что собрание на моей стороне, что Котька со своей справкой повредил себе еще больше.

— Дай-ка мне еще вопросик, председатель! — подымаясь из-за рояля, сказал Никита.

— Но ведь вопросы уже кончились. Что? — сказал, недовольно поморщившись, председатель, но тут же бросил: — Давай!

— Слушай-ка, Григоренко, — уже иным, суровым голосом, глядя в упор на Котьку, сказал Коломеец. — Расскажи собранию подробно, в каких ты был отношениях с садовником Корыбко.

— Я не понимаю... Я был... я был его квартирантом... — торопливо ответил Котька.

Собрание насторожилось.

В быстрой скороговорке Котьки мы все услышали волнение.

— Еще? — сурово потребовал Никита.

— Потом я был понятым, когда у Корыбко производили обыск... — добавил Котька.

— Ну, а сына ты его знал?

— Нет... То есть... — сбился Котька.

— Что это значит — «то есть»? Да ты не виляй, друг! Говори прямо и без фокусов. Разоружайся!

— Я знал, но не думал, что это его сын... Они при мне были на «вы».

— Значит, ты видел, когда этот Збигнев приходил к отцу? — спросил Никита.

— Видел. Это было два раза. Один раз он пришел ночью, я уже спал, а другой раз я вернулся из города — они сидели в кухне и обедали.

— И ты ни о чем не догадывался?

— О чем я мог догадываться? — спросил Котька.

— Ну, что этот человек наш враг и тому подобное.

— А откуда я мог это знать? — удивился Котька.

— Как откуда? Неужели ты не знал, что этот сын садовника был пилсудчиком, Киев завоевывал и, как выяснилось на следствии, в довершение всего являлся английским шпионом? Что он пришел с той стороны? Ничего этого ты не знал? — спросил Котьку Никита.

— Конечно... ничего не знал! — дрогнувшим голосом ответил Котька и оглянулся, точно собираясь уйти.

— А что ты говорил на Семинарской?

— Где? — уже совсем тихо спросил Котька.

— Да ты не придуривайся. Сам знаешь отлично, где! — зло сказал Котьке Никита и, обращаясь к председателю, попросил: — Дай-ка мне слово!

Никита вышел к проходу и, стоя почти рядом с Котькой, сказал:

— Иногда, товарищи, бывают случаи, когда мы принимаем в наш союз выходцев из чуждых семей. Мы поступаем тогда наперекор пословице, что яблочко от яблони недалеко катится, и порой бывает так, что мы оказываемся правы, а не пословица. Однако мы делаем это в том случае, если люди, выбравшие себе новый путь, честно порывают с прошлым, ничего от комсомола не скрывают и не обманывают нас. Вот здесь сидит этот... с позволения сказать, последний из могикан... Как будто бы все гладко: все рассказал, во всем сознался, руки рабочие, а говорит-то как — заслушаешься. Прямо можно сразу агитпропом ячейки выбирать. Все это так, да не так. Вот вы слушали его, разинув рты, а он вас всех обманывал здесь...

Никита передохнул, собрание с тревогой ждало, что он скажет дальше.

Котька сидел, опустив голову, а председатель выдвинулся со своей табуреткой ближе к рампе.

— А он обманул вас! — повторил Никита, утирая

ладонью вспотевший лоб. — И не зря я предложил ему разоружаться. Дело садовника совпартшколы Корыбко вы знаете, читали о нем в газете. Садовник Корыбко вместе со своим сыном уже давно в штабе Духонина, дело сдано в архив, и все это, так сказать, седое прошлое. Но зачем врать? Зачем врать, спрашивается? Врать может только тот человек, у кого совесть нечиста. А вот этот, как его правильно здесь назвали, тип соврал. Я, вы знаете, у вас в ячейке новый человек. Меня временно прикрепил сюда окружком комсомола для усиления работы. Когда Григоренко подал заявление о приеме, я, зная, что он жил на квартире у садовника Корыбко, справился о нем у следователя ГПУ, товарища Вуковича, который вел дело Корыбко. В деле этом есть показания Григоренко. Там, в ГПУ, он сознался, что видел не два, а даже три раза, как в дом к садовнику Корыбко приходил сын его, Збигнев, причем там в своих показаниях Григоренко прямо и ясно написал, что еще со времен петлюровщины он знал, что сын садовника — пилсудчик, что он удрал за границу и так далее. Григоренко заявил на следствии, что он не сообщил обо всем этом властям только потому, что боялся, как бы этот Збигнев его не пристрелил. Не будем здесь говорить, правильно ли сделал Гигоренко или неправильно, — думаю, что все вы понимаете это сами, — но зачем врать, спрашивается? Зачем обманывать собрание, прикидываться незнайкой, кричать тут всякие революционные слова, говорить об отречении от матери и в то же время встречаться с матерью тайком? Все это мне очень и очень не нравится, товарищи. Предложение: данного субъекта в комсомол не принимать! — И, точно отрубив последнюю фразу, Никита неожиданно сел на место.

— Продолжаем прения или... — спохватился председатель.

— Голосуй! — послышались выкрики в разных концах зала.

— Кто за предложение товарища Коломейца? — спросил председатель.

Комсомольцы подняли руки и заслонили от меня Никиту.

— Против? — спросил председатель.

Никто не поднял руки против.

— Тогда... минуточку... — объявил председатель и,

отыскав на столе повестку дня, поднес ее к очкам. — Переходим к следующему вопросу, — продолжал он. — Но прежде попрошу беспартийную молодежь покинуть зал.

Пока мы с Петькой протискивались между двумя скамейками, стараясь выйти в проход, Котька Григоренко, высоко подняв голову и размахивая руками, как борец, быстро прошел перед нами и скрылся в дверях. Когда мы вышли на Центральную площадь, белая рубашка Григоренко маячила далеко в Кузнечном переулке. Котька шел к себе домой такой же нахальной, вызывающей походкой. Он сегодня проиграл, но видно было по всему — решил не сдаваться.

Это воскресенье выдалось холодное, ветреное.

Вверху, на валах Старой крепости, было совсем холодно. Мы с Галей взобрались туда по склонам бастионов, покрытых выгоревшей, желтой травой, и весь город сразу раскинулся перед нами, окруженный узенькой, сверху похожей на ручеек речкой. Слева виднелись маленькие домики Заречья, где-то на самом краю его белел в саду фасад здания совпартшколы, справа, за крепостным мостом, ведущим в крепость из города, над самой скалой были разбросаны Русские фольварки — так называлось западное предместье города. Далеко внизу, у изгиба реки, под башней Стефана Батори, я увидел нависший над водой черный камень.

Он казался отсюда очень-очень маленьким, водоворот под ним совсем нельзя было различить.

Я вспомнил, как напугал нас тогда ночью, когда мы с Галей возвращались из кафе Шипулинского, стоявший на мостике дежурный милиционер.

Как давно все это было! Кажется, что не три месяца, а добрых два года прошло с той поры.

Мы стояли, отдыхая, несколько минут. Холодный ветер трепал густые Галины волосы, Галя натянула на себя отцовскую куртку. Эта вытертая на рукавах кожаная куртка была Гале велика, рукава были длинные-длинные — только кончики пальцев едва выглядывали из них. Щеки Гали зарумянились от ветра.

— Хорошо здесь, правда? — спросил я.

— Ага! — ответила она, поворачиваясь.

Не знаю, откуда набралось у меня храбрости, но

в ту же минуту, осмелев, я схватил Галю обеими руками и прижал ее голову к себе.

— Пусти! Дурной. Да ты ошалел? — сказала Галя, силясь вырваться.

— Ничего не дурной... Просто... я хочу тебя поцеловать... — буркнул я.

Мои губы столкнулись с Галиным лицом. Я очень неловко, с размаху поцеловал Галю в кончик ее холодного носа и в лоб.

— Ну как тебе не стыдно, Василь! — крикнула Галя, отталкивая меня обеими руками.

Я боялся, что Галя рассердится не на шутку, что теперь она не будет разговаривать со мной.

— Ну знаешь, Василь! — сказала Галя, отбегая. — Если бы я не знала, что ты был ранен... Целоваться вздумал!

— Не сердись, Галя... я так... я нечаянно... — пробормотал я смущенно.

Галя покраснела и тоже смешалась. И, желая скрыть смущение, она сказала быстро:

— Давай пойдем отсюда. Я уже проголодалась.

— Так я тебя сейчас накормлю. У меня есть яблоки, хлеб. Смотри.

И я вынул из кармана завернутую в бумагу горбушку свежего черного хлеба и четыре яблока. Все это, не успев позавтракать, я захватил из дому.

— Из вашего сада? — спросила Галя, принимая большое и слегка загорелое на боку желтое яблоко.

— Это золотой ранет. Да ты понюхай, пахнет как!

Галя понюхала яблоко и откусила загорелый его бочок. Следы ровных ее зубов остались на кожуре яблока.

— Ты с хлебом попробуй. С хлебом вкуснее! — посоветовал я.

— И сытнее! — согласилась Галя, взяв у меня горбушку.

Жуя свежий, хорошо пропеченный хлеб с хрустящей глянцевитой коркой, я, краснея, сказал:

— Галя... у меня... к тебе есть вопрос.

— Какой?

— А ты... правду скажешь?

— Смотря что.

— Котька... тебя целовал?

— Попробовал бы!

— Ты правду говоришь, Галя? — радостно спросил я.

— А с какой стати, скажи мне, врать тебе?

— И даже не обнимал?

— Конечно, нет!

— Ну, а почему же он тогда на собрании хвастался?

— Опять ты за свое, Василь? — сердясь, сказала Галя. — Мало ли чего еще этот дурак выдумает? Я же тебе рассказывала, что он меня ни чуточки не интересовал. Тоскливо было одной, ну и ходила с ним.

С большим душевным облегчением я вынул из кармана яблоко и в два счета съел его. С кожурой, семечками и хвостиком съел.

— А красивый наш город, правда, Василь? — задумчиво сказала Галя, глядя на белеющие вдали по склонам здания.

— Еще бы! — согласился я, дожевывая второе яблоко.

— Есть ли еще такие города на Украине?

— Не знаю.

— А в России?

— А кто его знает! — сказал я неуверенно.

— Интересный наш город! — протянула Галя. — Жалко будет уезжать отсюда, когда мы окончим фабзавуч. Правда?

— А ты думаешь, нас примут всех в фабзавуч?

— Тебя-то, наверное, примут, — сказала Галя с некоторой завистью. — Ты же Полевого знаешь, он твой знакомый.

— Ну, если меня примут, — сказал я важно, — то я и за тебя похлопочу. Вот честное слово, Галя. Вместе учиться будем!

ЧУГУН ТЕЧЕТ

...Уже зажжена вагранка, потрескивая, горят в ней сосновые щепки, и легкий запах дыма разносится по мастерской. Но дым не страшен: в углу большой комнаты проломлен потолок, видно вверху чистое синее небо, косой луч солнца падает сквозь эту дыру на песчаный пол литейной, на красноватую кучку гатчинского песка под стеной.

Как празднично и чисто сегодня у нас! Все лишние вещи, инструменты, листы с закопченными песчаными

стержнями — шишками — все это убрано и лежит на столах в соседнем складе. Здесь, в большом зале бывшего казначейства, около вагранки, на песчаном полу выстроилось несколько рядов свеженьких деревянных рамок, положенных одна на другую и туго набитых песком. Сверху эти ящики-опоки выглядят одинаково — ровно на уровне деревянных стенок собран песок, круглые черные воронки идут в глубь каждой формы.

Рядами стоят на песчаном полу маленькие ящики, распластались между ними большие квадратные, разделенные решетчатыми перегородками опоки. В них заформованы маховики. Тяжелые они, эти большие, с маховиками: сколько труда ушло на то, чтобы подымать да опускать их под начальством нашего инструктора Жоры Козакевича.

Сегодня у нас в мастерской первая отливка. Недаром Жора надел новый брезентовый костюм. Он осторожно расхаживает между рядами опок, проверяет, всюду ли есть душники для выхода газов, то и дело поглядывает, не потух ли огонь в топке вагранки. Но огонь не потух, видно сквозь раскрытую дверцу, как, свиваясь и исчезая, горят белые стружки, как язычки огня пробегают вверх к тонко наколотым лучинкам из сосны. Поверх лучинок положены дрова. Как только огонь запылает в полную силу, можно будет закрыть наглухо поддувало, замуровать боковую дверцу и пустить дутье.

Вагранка прислонилась к стене, она стоит на изогнутых стальных лапах, упирающихся в кирпичный фундамент.

Ради первой отливки мы смазали нашу вагранку машинным маслом — вагранка сейчас сияет, лоснится, черная, пузатая, праздничная.

Всего полтора месяца прошло с того дня, как навестил меня в больнице Полевой, а сколько перемен в моей жизни случилось за это короткое время! Мысль о фабзавуче не давала мне покоя, мы со всеми хлопцами решили идти туда учиться. Нас приняли очень легко, но, когда стали распределять по цехам, оказалось, что половина фабзайцев хочет быть литейщиками, а эта мастерская была самой маленькой — на десять учеников. Я не знал еще тогда, что это за штука такая — литейщик, но стал проситься именно в литейную

мастерскую. Но вот беда: Полевой отказался направить меня в литейную.

— Ты после операции, Василь, — сказал он, — а работа литейщика не из легких, это горячий цех. Я без разрешения врача не могу тебя принять в литейную, выбери себе что-нибудь полегче.

Но я не сдавался.

Горячий цех! Сколько было в этом слове загадочного, опасного! Плавить чугун, превращать твердые, тяжелые обломки старых машин в расплавленную яркую жидкость! Сколько было в этой работе нового, неизвестного, заманчивого! Это совсем иное дело, чем вытачивать в столярном цехе, как Петька Маремуха, деревянные ручки для соломорезок или выпиливать дверные ключи в слесарной, как Галя Кушнир. Я хотел быть литейщиком, еще не зная подробно, что мне предстоит делать. От Полевого я метнулся в городскую больницу, но там мне сказали, что доктор Гутентаг в отпуске. Целый час я бродил по аллеям бульварчика на Колокольной возле его дома — я думал встретить Евгения Карловича на улице, но его, как на грех, не было; тогда я отважился и потянул рукоятку звонка у его дверей. Открыла мне дочка Евгения Карловича, очень хорошенькая черноволосая девушка Ида. Вечерами она любила стоять у забора докторского дома, и я не раз потихоньку заглядывался на ее смуглое, резко очерченное лицо с высоко вздернутыми бровями. Сейчас Ида открыла мне дверь и, ответив на мой поклон, так внимательно посмотрела на меня, что я почувствовал, как быстро краснею.

— Что вам, молодой человек? — спросила Ида.

Она заметила мое смущение. Я видел далекую, спрятанную улыбку в ее больших карих глазах.

— Мне... к... Евгений Карлович дома?

— Евгений Карлович в отпуску и сейчас не принимает.

— Но я не на прием, а я... скажите ему, что это Манджура спрашивает. Доктор знает... Я у него в больнице лежал...

Ида пошла к двери, оставляя меня в приемной одного, но у самой двери она быстро повернулась на высоких каблучках и, еще внимательнее разглядывая меня, спросила:

— Как вы сказали — Манджура? Это не вас бандиты гранатой ранили?

— Меня... — сознался я не без удовольствия.

— Папа! — громко закричала Ида из приемной.

Она сидела в кабинете отца все время, пока я просил доктора разрешить мне работать в литейной. Доктор написал бумажку к Полевому о том, что я уже совсем здоров. Я нес эту бумажку в фабзавуч и всю дорогу думал, что Ида в меня определенно влюбилась. Еще, чего доброго, страдать начнет, писать станет всякие сердцещипательные записки.

Со справкой Гутентага я попал в литейную, и Козакевич, единственный наш инструктор, стал с места в карьер обучать нас формовке. Целыми днями мы ползали под руководством Жоры по влажному песку, выдавливая в нем коленками круглые ямки, — мы отформовывали маховики для соломорезок, буксы для селянских подвод, печные дверцы. Сперва мне казалось баловством то, что мы делаем: подумаешь, работа — копаться, точно пацан, в песке и бабки делать. Но потом, когда стал приближаться день первой отливки, формовка казалась мне еще интереснее. Я уже понемногу начал понимать, почему так нежно надо вытаскивать вверх деревянные модели, для чего так старательно надо приглаживать стальной гладилкой каждый лишний бугорок по краям формы, зачем надо выметать каждую соринку из глубоких темных канавок, оставляемых в песке выступами модели.

Я понимал, что формовка — это еще не главное, не самое интересное, что самое главное и самое интересное наступит впереди, когда начнется отливка.

Вот почему сейчас, когда пришел этот долгожданный день, я следил за каждым шагом Козакевича, я ждал, что же будет дальше.

Далеко на той стороне площади, где рядом с заводом «Мотор» помещался наш фабзавуч, равномерно постукивал заводской двигатель. Там, в фабзавуче, занимались сейчас слесари, токари, столяры; там, нажимая ногой педаль, вертел токарный станок Маремуха, вытачивая на нем из сухого ясеня рукоятки для инструмента; там на втором этаже сейчас выпиливала бородки ключиков Галя. Шумно там было сейчас, в предобеденную пору, а у нас в литейной еще стояла тишина, и слышно было в этой тишине, как потрескивают дро-

ва на дне вагранки. Сосновые щепки уже догорали, огонь охватывал теперь крупные сухие поленья.

Жора Козакевич поглядел в вагранку и сказал:

— Василь! Скажи-ка мотористам, пусть дают воздух, а сам с хлопцами садись завтракать.

Я ворвался в соседнюю комнату и срывающимся голосом крикнул:

— Пускайте мотор!

Низенький инструктор-механик Гуменюк поковырялся немного у старого автомобильного мотора системы «Пежо» и, натужась, завел его рукояткой. Мотор чихнул раз-другой и наконец затрещал, наполняя комнату синеватым бензиновым дымом. Рядом на деревянной подставке высилась эмалированная, наполовину облупившаяся ванна с погнутыми краями. От нее к мотору тянулись длинные резиновые шланги. За обычный автомобильный радиатор местный коммунхоз запросил с нашего фабзавуча очень дорого, тогда Полевой и Гуменюк приспособили для охлаждения мотора эту ванну. Они разыскали ее среди всякого хлама во дворе бывшего воинского присутствия на Колокольной улице. Говорят, эта ванна когда-то принадлежала графине Рогаль-Пионтковской.

Мотор работал, вздрагивая, чихая, и скоро потянул в себя воду; вода забулькала в ванне, и Гуменюк довольно улыбнулся, снял фуражку и вытер мокрую лысину.

Около мотора с важным видом стоял Сашка Бобырь. Он числился за слесарной мастерской, но работал на разборке автомобильных моторов, и его вместе с Гуменюком на время отливки Полевой прислал к нам в литейную. Сашка держался свысока, он почти не разговаривал с нами, литейщиками. Сейчас, заметив, что я не отрываясь слежу за работой мотора, Сашка делал вид, что он все уже понимает в моторе. Он схватил тряпку, обтер маслянистые бока корпуса мотора, оглянулся и важно спросил инструктора:

— Можно пускать вентиляторы, товарищ Гуменюк?

Инструктор кивнул головой, и Сашка солидно, не спеша перевел рычагом оба ремня, идущие от мотора к вентиляторам, на рабочий ход.

Черные, похожие на улиток, оба вентилятора вздрогнули, завертелись, косые их лопасти сразу погнали воздух к вагранке. Теперь уже здесь было неинтересно.

Я помчался в литейную. Шум мотора тут слышался уже меньше. Воздух, шипя, врывался по трубам внутрь вагранки; пламя заколыхалось, сперва показалось, что от сильных струй воздуха оно затухнет, но потом быстрые его языки метнулись кверху, жадно сжигая дрова и пробираясь к черным глыбам кокса, придавленным тяжелым грузом чугуна. Сквозь синие стеклышки в глазках вагранки видно было, как рвется вверх пламя, — дутье было сильное, настоящее, и я увидел по лицу Жоры, что наш инструктор доволен.

Он весело оглянулся и, закатывая до локтей рукава брезентовой куртки, сказал нам:

— А ну завтракать, чемпионы! Еще насмотритесь.

Мы расселись в свободном углу литейной рядом с Жорой прямо на сыром песке и, поглядывая на гудящую вагранку, стали завтракать. Хлеб, намазанный маслом и медом, хрустел на зубах — как я его ни заворачивал в бумагу, всегда мелкие крупинки песка попадали на хлеб, но это уже вошло в привычку. Жора Козакевич держал в большой мускулистой руке кусок сала. Счистив с него перочинным ножиком соль, Жора начал есть сало, как едят яблоки, крупными, большими кусками. Жора отгрызал куски сала зубами, хотя в руках у него был ножик; он так трудился, что большие желваки бегали под смуглой кожей на щеках. Я смотрел на Жору, на его большие, слегка волосатые руки — прямо не руки, а клещи — и вспоминал, как Жора поборол заезжего чемпиона стального зажима Зота Жегулева. Я гордился тем, что у нас такой инструктор. Кончив завтракать, я вышел в соседнюю комнату, где у нас хранились на листах шишки и модели, и там, в этой комнате, потихоньку засучил и у себя рукава до локтей. Мне хотелось походить на Жору.

— Капает, капает, глядите! — услышал я в соседней комнате визгливый голос Сашки Бобыря.

Я вернулся в литейную и, растолкав товарищей, прорвался к синему глазку. Да, действительно, сквозь синее стекло было видно, как по глыбам пылающего кокса скатываются вниз первые скользкие маленькие капли чугуна.

Вагранка была теперь горячая, масло, которым мы ее смазали, дымилось.

Похожие на слезы капли чугуна становились все больше, тяжелея, они уже не скользили по коксу,

а в пустых промежутках падали вниз отвесно, ослепительно яркие, никогда не виданные мной капли расплавленного металла.

— Что, побежало уже молочко? — услышал я у себя за спиной голос Полевого.

Он стоял, полусогнувшись, и глядел поверх наших голов в глазок.

— Скоро начнет, товарищ директор, — сказал Козакевич.

— Но смотри, Жора, сделаешь козла — оскандалишься на весь город. Лучше подождать немного, — на всякий случай предупредил Полевой.

— И козленка даже не будет. Вы уж не беспокойтесь. Как-нибудь! — сказал, улыбаясь, Жора и подмигнул Полевому.

— Меня ребята просили разрешить им посмотреть первую отливку, — сказал Полевой. — Я разрешил. Сейчас там кончаются занятия, и они придут сюда. Будешь, словом, иметь еще зрителей, так что гляди не подкачай.

— Ой, не надо мне этих юных зрителей! — заволновался Козакевич. — Они мне формы поломают или еще что.

— Ты погоди, Жора, — успокоил Козакевича Полевой. — Для фабзайцев посмотреть отливку очень полезно, а насчет форм — не беспокойся, я им скажу.

— Да, скажете... — протянул Жора. — А где же они стоять будут? Здесь не театр, не французская борьба, а отливка. Видите, как тесно!

— В дверях постоят.

— В дверях? — Козакевич презрительно усмехнулся. — Что вы, товарищ Полевой. А если, скажем, авария или за глиной сбегать — что тогда? Проход должен быть свободен, и никаких зрителей.

— Ну хорошо, тогда мы откроем окна, и пусть глядят со двора через окна, согласен? — не унимался Полевой.

— Со двора пусть смотрят, — согласился Жора. — Не жалко. Там уже ваша территория. Там хоть бал-конфетти устраивайте, мне все равно.

Когда Жора подхватил тяжелый острый ломик, чтобы пробить им летку, у каждого из окон толпились зрители — фабзайцы. Шутка ли сказать — первая отливка! Фабзайцы жадно заглядывали в глубь литейной.

Здесь уже было жарко, и сквозняки не спасали от зноя. Я знал, что в какое-либо из окон заглянет Петька Маремуха, и догадывался, что, наверное, и Галя пришла посмотреть на первую отливку, но обернуться я уже не мог. Я был занят важным делом: держал в руках три деревянных посоха с насаженными на конце каждого из них затычками из глины. Козакевич размахнулся и ударил острием стального ломика в закупоренную летку. Сухая глина раскрошилась, куски ее покатились по желобу, но ломик с первого удара не достиг чугуна. Жора ударил второй раз, ломик пробил глину и пошел вглубь. Жора понатужился, загнал его еще глубже и стал раскачивать в разные стороны. Он раскачивал его сильно — казалось, сейчас вагранка рухнет с подставок. Изредка ломик задевал желоб, брезентовая куртка натянулась на Жориной спине; стоя на широко раздвинутых ногах перед самым желобом, Козакевич посапывал и смело вращал ломик.

«Как ему только не страшно! — удивился я. — Ведь чугун может вытолкнуть ломик и хлынуть Жоре прямо на живот!».

Козакевич сразу, резко подавшись всем туловищем назад, выдернул из летки раскаленный на конце ломик.

Оттуда, из летки, выкатился шарик красного шлака и затем, точно из пробитого родника, вырвалась струя чугуна.

Тихо шипя, ослепительно яркая, белая, она побежала по глиняному желобу, смывая крошки глины и пыль.

Козакевич отбросил ломик и вместе с фабзайцем Тиктором подхватил ковш. Только струя чугуна сорвалась с желоба, Жора поймал ее ковшом. Яркие брызги подлетели со дна ковша к самому потолку; падая, они осыпали нас всех, стоявших у вагранки, точно звезды от бенгальского огня; запахло паленым: струя была широкой и хлестала в ковш сильно.

— Подхватывай, Гуменюк! — крикнул Козакевич.

Гуменюк ловко перехватил руками рогачи от рукоятки ковша. Жора освободился и спокойно взял у меня посох с затычкой. Не сводя глаз со струи чугуна, он пощупал пальцами затычку, сделал ее поострее. Ковш наполнялся быстро. Поверх чугуна плавал липкий красноватый шлак — точно пенка на молоке. Чугун поднимал пенку все выше. Ну, уже конец — казалось, сейчас он перельется через верх, хлынет в яму.

Но Жора не растерялся.

Раз! И он вгоняет прямо в летку, откуда бьет чугун, глиняную затычку. Искры разлетелись в разные стороны, но маленькая струйка чугуна все еще продолжала бежать по ковшу.

Жора, не глядя, вырвал у меня другую палку и изо всей силы загнал вторую затычку в самый центр струйки. И сразу темно-красный венчик окружил глиняную затычку; охлаждаясь, чугун в летке стал застывать, и последние его капли упали в ковш, пробивая темную пенку шлака. В литейной сразу стало сумрачно, только от ковша шел ослепительный свет. Жора Козакевич быстро взял длинную сосновую лопатку и сбросил ею шлак, плававший на чугуне. Теперь чугун пылал еще ярче, белый, чуть пузырящийся.

— Пошли! — крикнул Жора и, отстранив Тиктора, сам стал на его место.

Осторожно пробираясь между рядами опок в самый дальний угол, Козакевич и Гуменюк подтащили ковш к большой квадратной опоке, в которой был заформован маховик. Жора наклонил ковш, но в ту же минуту закричал на всю литейную:

— Манджура, убери паклю, живо!

Я примчался к опоке и выхватил из воронки летника клок пакли. Я не успел отскочить обратно, как Жора перегнул ковш, и струя чугуна полилась в форму. Прямо передо мной, в каких-нибудь трех шагах, сверкал ковш, искры летели на меня, жар от расплавленного чугуна обдавал мне лицо, я стоял, прижавшись спиной к стене, не мог уйти и только моргал веками, когда искры пролетали близко.

Форма забрала много чугуна.

Он лился и лился в широкую воронку большой струей, и, казалось, весь ковш уйдет на один этот маховик, как неожиданно у самых моих ног поднялся по запасному отверстию — выпору — с другой стороны формы красный столбик чугуна.

— Стоп! — крикнул Жора и потянул ковш к другой опоке.

Чугун в залитой форме застывал быстро — первым потемнел тонкий выпор, затем стала охлаждаться, краснеть широкая конусообразная воронка.

Следующие ковши на пару с Козакевичем таскали фабзайцы. Жора управлял рукоятками рогача, точно

прицеливался струей в устье воронки, а фабзайцы только поддерживали ковш за круглую ручку с другой стороны. Я с тревогой следил, когда же наступит моя очередь нести чугун. А может, Полевой тайно распорядился, чтобы Жора не допускал меня к разливке? Может, снова они начнут тыкать мне в глаза, что я после операции, что мне нельзя надрываться? А если и в самом деле Жора не даст мне хоть раз подтащить к опокам ковш, ведь это будет позор! Учиться на литейщика, столько ждать этого дня первой отливки — и не залить хотя бы одну форму!

Я старался изо всех сил, чтобы обратить на себя внимание: я гонял туда и обратно за новыми затычками, бродил между рядами опок, держа наготове счищалку, подавал Жоре ломик.

Выпускали последний чугун.

Уже давно замолк мотор в соседней комнате, в литейной было тихо, только слышно было, как потрескивали опоки, тлели, исходили дымом их обуглившиеся местами стенки, слышно было, как переговаривались между собой фабзайцы-зрители. Снова подошел к рукоятке ковша светловолосый, скуластый Тиктор, он собирался тащить ковш вторично, а я все держал наготове деревянные посохи.

Теперь отливка была уже для меня не мила.

Обо мне забыли нарочно, жалея, делали вид, что меня не замечают. Я стоял у вагранки, опустив голову, потный от жары, усталый и скучный.

И вдруг я услышал голос Жоры:

— Погоди, Тиктор, ты уже разливал, дай-ка Василию!

Я бросил на пол затычки и мигом схватил за железное кольцо рогач.

Повел Козакевич.

Он шел согнувшись, я видел перед собой, за пылающим кружочком ковша, его широкую спину, его слипшиеся на затылке от жары волосы, его мускулистые, обнаженные и татуированные руки, по которым струился пот. Я шел позади, держа обеими руками кольцо рогача и мелко переступая ногами по мягкому грунту литейной. Ноги вязли в песке, я думал сейчас только об одном: как бы не упасть. А упадешь — тогда расплавленный чугун хлынет на ноги, обожжет лицо.

Заливать последнюю опоку было очень неудобно. Летник приходился как раз в углу, мы долго не влезали с рогачами в этот угол, я уже стоял на цыпочках, задерживая дыхание, а Козакевич подымал обе руки своего рогача как можно выше.

— Гляди не танцуй! — крикнул Козакевич. — Замри. Будем лить сверху! — И наклонил ковш.

Струя чугуна полилась в опоку с высоты моей груди. Хорошо еще, что Жора нацелился точно: круглая воронка сразу приняла струю. Чугун бил туда сильно, мелкие брызги его разлетались повсюду, они жалили меня в лоб, в лицо, в руки. Так пекло, что хотелось кричать от жары. Я думал, что уже кожа слезает с лица, а тут еще от близкого огня глаза начали слезиться, я точно в тумане видел перед собой падающую вниз струю и едва удерживался на ногах. Я с надеждой ждал той минуты, когда ковш опустеет: эта минута наступала, ковш становился все легче и легче, форма наполнялась. Но тут, как назло, я услышал совсем близко тревожный голос Гали:

— Василь! Штаны горят!

Я сразу шевельнулся и сбил струю. Вместо воронки чугун хлынул на мокрый песок. Брызги рванулись во все стороны. Фабзайцы спрыгнули с окон на землю, но в ту же минуту шум, шипение чугуна, крик Жоры: «Да тише ты, Василь!» — все это заглушил отчаянный крик Сашки Бобыря.

— Ай, ай, ай, ай! — голосил где-то возле вагранки Бобырь.

— Лей быстро, ну! — приказал мне Жора.

Мы не вылили, а скорее выплеснули в опоку остатки чугуна и, бросив на песок ковш, помчались в соседнюю комнату, откуда слышался крик Сашки Бобыря.

Я на ходу затушил тлеющую штанину и вбежал вслед за Жорой в моторное отделение.

Там, держась обеими руками за рваный ботинок и припадая на правую ногу, носился по комнате со страшным воем Сашка Бобырь. Он кричал во всю глотку, царапал всеми пальцами кожу ботинка, силился разорвать шнурки, топал ногой об землю с такой силой, что казалось, сейчас крыша рухнет на наши головы. Наконец, отчаявшись, Сашка на секунду остановился, скользнул по нас безумным взглядом и мигом, слов-

но его догоняла стая бешеных собак, пустился к эмалированной ванне.

Никогда в жизни я не видел такого прыжка! Сашка, не переставая кричать, с разбегу влетел обеими ногами в теплую воду ванны. Ванна не выдержала и опрокинулась вместе с Бобырем, потоки воды, плеснув на стену, поползли к нам, а Сашка, видимо получив минутное облегчение, вскочил и кошкой выцарапался в открытое окно.

Мы нашли его на лугу, шагах в пятидесяти от мастерской. Весь мокрый, заплаканный и притихший, Сашка сидел по-турецки на траве и очень внимательно разглядывал свою красноватую ногу с длинными, видно, давно не стриженными ногтями.

— Что с тобой, милый? — легко хватая Бобыря за плечи, спросил Козакевич.

Сашка повернул к нам худое конопатое лицо и очень жалобно, плаксиво протянул:

— Вот!

— Что вот? — не понял Жора.

— Вот, смотрите! — проныл Сашка, тыча пальцем в ладонь. Там, на мокрой ладони, чернела маленькая, похожая на конопляное зерно крупинка застывшего чугуна.

— Ну и что? Капелька чугуна! — сдерживая смех, сказал Козакевич.

— Хорошая капелька! — еще жалобнее проныл Сашка. — Да смотрите, эта капелька мне до самой кости ногу пропалила.

— Где до кости? А ну-ка, покажи, — попросил Жора.

Чувствуя, что сыграть мученика не удастся, Бобырь уже более скромно показал на маленькое красненькое пятнышко у себя на подъеме ноги.

— Нет, милый, — сказал Жора, — это тебе с перепугу показалось, что до кости. Кость еще цела, но...

— Товарищ инструктор, — послышался голос Полевого, — а в следующий раз надо будет проверять обувь перед отливкой. У кого будут рваные башмаки — в литейную не пускать. Получают же все хлопцы спецобувь?

— Я не получаю, товарищ директор, — проныл Сашка, — я не литейщик, а моторист.

— Ну, а если ты моторист, — сказал, улыбаясь, По-

левой и поднял с земли Сашкин ботинок, — то все равно обязан следить за обувью. Гляди, по шву же ботинок распоролся? По шву. Что, трудно зашить? Взял дратву — раз, два — и готово. А ты бы еще босиком пришел на отливку! Ну хочешь, я тебе починю ботинок?

— Нет, зачем! — испугался Сашка, вставая. — Я сам починю. — Он подошел к Полевому, волоча за собой по траве портянку, и поспешно отнял ботинок.

— И портяночки надо стирать, — сказал Полевой, глядя вниз. — Рана-то у тебя не бог весть какая — воевать с таким ожогом можно, а вот от грязной портянки может хуже дело быть. Беги-ка сейчас в школу на перевязку. Живо!

Сашка побежал, а Жора, оглядывая нас всех, приказал:

— А ну по местам, гуси-лебеди! Я один, думаете, буду вагранку разгружать?

В этот день мы возвращались домой позже обычного.

— Пойдем через Старый город, — сказал я Петьке Маремухе, когда мы вышли из ворот фабзавуча.

— А зачем через город? — удивился Петька. — Через бульвар же скорее.

— Ничего, пойдем через город. Мне надо книжку там купить по механике.

Никакой, конечно, книжки мне не надо было покупать.

Просто мне хотелось, чтобы меня увидели в городе в рабочем костюме, с прогорелой штаниной, грязного и усталого.

Был в этот день какой-то церковный праздник, и навстречу нам, когда мы шли по Новому мосту, то и дело попадались нарядные сынки торговцев с барышнями. Они шли в новеньких костюмах из контрабандного бостона, в остроносых ботинках «джимми» на низких каблуках, их барышни — нарядные девушки в шелковых платьях, с бантиками в косичках, в белых чулках, в лакированных туфлях — лузгали семечки, сосали монпансье. Как мне хотелось в эту минуту нечаянно задеть кого-нибудь из этих бездельников, этих папенькиных и маменькиных сынков, которые целыми днями шатались по бульварам да загорали на берегу реки под крепостным мостом! Я с удовольствием втиснулся бы

среди них, чтобы выпачкать своей грязной, закопченной рубашкой их нарядные заграничные костюмы!

Спекулянты проклятые! Они все еще жили лучше нас, обманывая честных тружеников. Как мы ненавидели в эти годы всех нэпманов и их переполненные товарами магазины! Казалось бы, дать нам волю, мы сами в два счета разогнали бы всю эту буржуазную шваль. Одна мысль только удерживала нас от этого, удерживала и утешала: то, что нэп был введен как временная мера по указанию Владимира Ильича Ленина, по решению партии. Сознание этого не разрешало нам выступить открыто, как выступали мы раньше, громя петлюровских бойскаутов, против всей этой спекулянтской гнили. Вот и сейчас я проходил мимо городских спекулянтов с высоко поднятой головой, я гордился тем, что я рабочий, что я получаю деньги, — восемнадцать рублей в месяц, тогда как каждый из них может в любое время получить у своего отца на карманные расходы пятьдесят, а то и целых сто.

— Чего ты не помылся в школе, Васька? — обгоняя меня и заглядывая мне в лицо, спросил Маремуха.

— Дома помоюсь, мылом, — ответил я и, проведя рукой по лицу, еще сильнее размазал сажу.

Лицо у меня горело, руки болели, в горле першило от запаха серы, который растекался по литейной во время отливки. Начиналась Колокольная, на которой жил доктор Гутентаг. Я замедлил шаги, мне очень хотелось, чтобы Ида стояла у забора и увидела меня такого замазанного. Но Иды не было, и в доме на окнах были задернуты занавески. Сожалея, что не увидел Иду, я пошел дальше вслед за Петькой.

— Куда Марущак уехал? — неожиданно спросил Маремуха.

— Марущак? — сказал я небрежно. — Временно в Ярмолинцах работает, агитпропом райкома. Надо будет к нему сходить туда в воскресенье. Пойдем, а, Петрусь?

— А это далеко?

— Ярмолинцы? Пустяки.

— Ну тогда пойдем!

— Обязательно пойдем, — загорелся я. — Да еще фабзайцев возьмем с собою. Целой компанией отправимся. Еды захватим и двинем с утра. Здорово будет,

правда? Ну, кого взять — Сашку Бобыря, Тиктора можно, ну... Галю.

— А я в свою алюминиевую фляжку воды наберу, — решил Петька.

— И ты знаешь что, — сказал я, — мы не просто гулять пойдем. Мы еще сможем там, в Ярмолинцах, в хате-читальне какую-нибудь работу провести. Мы же рабочие-подростки, верно? А я в «Червоном юнаке» читал: рабочие-подростки должны шефствовать над сельской молодежью. И Марущак нам еще спасибо за это скажет.

— Только Галю незачем тащить. Пускай одни хлопцы идут.

— Ну ты брось! Она тоже пригодится, — сказал я как можно спокойнее. — Она сельских девушек может агитировать...

Тут я почувствовал, что смутился. До сих пор я не мог без волнения вспоминать, как в то холодное, ветреное воскресенье поцеловал Галю на валах Старой крепости. Я не мог забыть этого поцелуя и, вспоминая о нем, чувствовал еще большую нежность к Гале. Я тосковал, когда случалось подолгу ее не видеть. Я радовался, когда Козакевич посылал меня в слесарную принести что-нибудь, я не шел, а бежал тогда, зная, что увижу за тисками в синем фартуке мою Галю. Да и Галя сейчас относилась ко мне иначе. Ясное дело, сегодня, например, она крикнула: «Василь, штаны горят!» — потому что волновалась, как бы я не обжегся.

Когда мы разговаривали, она часто отводила в сторону глаза, краснела; бойкая и смелая в обращении с другими хлопцами, со мной она говорила тихо и сбивчиво, подолгу подбирая нужные слова, точно обидеть меня боялась. Я уверен был, что Галя любит меня. Я гордился одной этой мыслью, и страшно было подумать, что вдруг все это мне померещилось.

Иногда мне хотелось рассказать всем, и, конечно, в первую очередь Петьке, о своей любви к Гале, но каждый раз я вовремя останавливал себя. Мне казалось, что такие вещи не рассказывают даже самому близкому другу, что любовь к Гале надо скрывать глубоко в сердце и не хвастаться ею.

Сейчас в словах Петьки я почуял подвох. А не хочет ли он выведать, каковы мои отношения с Галей?

Но Петька шел как ни в чем не бывало — толстенький, простодушный мой приятель, и я сказал ему:

— Ты, Петрусь, сам уговоришь Галю пойти с нами. Хорошо?

— Да не хочу я. Она заморится.

— Смотри, чтобы ты не заморился. Ты вот боишься далеко заплывать, а Галя как плавает? Она хоть и девушка, но куда выносливее тебя.

— Ну... ну... это еще положим, — возмутился Петька и, видно, чтобы замять этот неприятный разговор, помолчав немного, спросил: — На будущей неделе и у нас будет организована комсомольская ячейка.

— Факт!

— А туда... всех примут?

— Нет, зачем всех — самых выдержанных.

— А меня... как ты думаешь... примут?

— Посмотрим, Петро... Надо взвесить, обсудить, подумать! — сказал я важно, так, словно уже был комсомольцем.

— А ты знаешь, Василь, меня батька давно комсомолистом зовет. Вот обидно будет, если не примут! — И Петька Маремуха печально вздохнул.

Вдали послышался стук кувалды.

Это в мастерской Захаржевского, освещенной багровым отблеском кузнечного горна, ковал раскаленный кусок железа Котька Григоренко. Он трудился, старался там, в пыльной мастерской частника, все еще нагоняя себе рабочий стаж. Он не терял надежды перехитрить нас. Видно было, он проклинал в душе всю эту работу, ему хотелось тоже в город, на гулянье, но Захаржевский был католик и не признавал православных праздников. Вот и погромыхивал там молотком Котька, когда мы проходили мимо него по другой стороне улицы.

Маремуха, тот искоса поглядывал в глубь мастерской, а я посмотрел один раз и сейчас шел, высоко подняв голову, мимо Котьки, замазанный, усталый, с прогоревшей штаниной, опустив руки, на ладонях которых были давно натерты твердые мозоли.

За углом, за афишной будкой, начиналась широкая Житомирская улица. Где-то в самом ее конце, за зеленью садов, уже на самой окраине города, белел дом совпартшколы. Петька повернул на Заречье, а я пошел дальше, к этому дому.

СОДЕРЖАНИЕ

Беляев Владимир Павлович

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ. Трилогия Книга первая — Старая крепость. Книга вторая — Дом с привидениями. М., «Молодая гвардия», 1971. 448 с., с илл. («Тебе в дорогу, романтик».)

Р2

Редактор *Е. Максакова*
Художник *Р. Адамян*
Оформление *Д. Шимилиса*
Художественный редактор *В. Плешко*
Технический редактор *Н. Туркина*

Сдано в набор 28/IV 1971 г. Подписано к печати 10/VIII 1971 г. Формат 84×108¹/₃₂ Бумага № 2. Печ. л. 14 (усл. 23,52)+16вкл. Уч.-изд. л. 25,3. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 13 к. Т. П. 1971 г., № 177. Заказ 978.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.